МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. Л. ТОЛСТАЯ



А. Л. Толстая

Дочь



Москва
2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2)
Т52

Толстая, А. Л.

Т52 Дочь / А. Л. Толстая. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 554 с.

ISBN 978-5-4475-5574-0

В издание вошли воспоминания Александры Львовны Толстой – младшей дочери и личного секретаря великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Ее жизнь – это удивительный рассказ о годах, проведенных на фронтах Первой мировой войны в чине полковника медицинской службы, тяготах военной службы, ранении и революции 1917 г. Александра Львовна вспоминает подвалы Лубянки, куда она попала после ареста, первый советский концлагерь и свое чудесное освобождение. На страницах книги без каких-либо прикрас перед читателями разворачивается масштабная картина жизни советской России. Автор рассказывает о своей титанической работе по созданию музея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, непреодолимых трудностях на этом пути и тяжелом решении покинуть Россию.

УДК 821.161.1
ББК 84(2)

ISBN 978-5-4475-5574-0

Часть I. Из прошлого. Кавказский и западный фронт

Июль 1914-го

Вероятно, это обычное явление: массы не отдают себе отчета в происходящих политических событиях ни в национальном, ни еще менее в мировом масштабе.

Люди обрастают своими мелкими интересами и не заглядывают дальше собственного благополучия, собственных забот и несчастий. Зачем нам ломать голову над делами государственной важности? Пусть этим занимаются цари, короли со своими министрами и парламентами, президенты республик.

Мы опоминаемся только тогда, когда грянула беда и непосредственно коснулась нашего благополучия.

Первая мировая война для многих разразилась неожиданно, хотя думающие и читающие газеты люди знали о милитаристских настроениях Германии, о боязни Германии великой и сильной в то время России, о вражде Австрии к Венгрии и Сербии, о ненависти к австрийцам сербов, которые не могли им простить Боснию и Герцеговину. Все знали о настроении австрийской династии Габсбургов, считавших себя избранниками – гордостью и могуществом Австрии.

Это знали все русские люди, но никому не хотелось верить в грядущую опасность. У каждого народа есть своя утешительная фраза, к ней прибегают, когда не хотят думать, волноваться и беспокоиться, – «Ничего... образуется...» Так говорят русские, утешая себя этой любимой поговоркой. У

американцев, когда им не хочется думать о неприятном, тоже своя поговорка: «Эвритинг вилл би олл райт»[1].

Даже когда сербский юноша Принцип убил кронпринца Франца-Фердинанда в Сараево и уже слышалось бряцание оружием в Австрии и Германии, искавших повода к войне с Россией, и атташе английского посольства в Берлине продолжал еще делать все возможное, надеясь на благополучное разрешение конфликта, русские не верили в возможность войны – обойдется, мол, благополучно, образуется.

Но цель этих моих записок – не описание политических событий. Пусть это делают историки. Я принадлежала к числу людей, не вникавших в политические события. Кое-что слышала, почитывала газеты, и политические настроения проходили мимо меня, не задевая. Поэтому меня как громом поразило, когда 1 августа 1914 года была объявлена война.

Годы после смерти отца и до объявления войны были самыми тяжелыми в моей жизни.

При нем – у меня не было своей жизни, интересов. Все серьезное, настоящее было связано с ним. И когда он ушел – осталась зияющая пустота, пустота, заполнить которую я не умела.

Казалось, что оставленное отцом завещание на все его литературные права, посмертное издание трех томов его неизданных сочинений, покупка у семьи земли Ясной Поляны на средства, вырученные от первого издания трех томов, и передача этой земли крестьянам – все это должно было заполнить мою жизнь.

На самом деле этого не было. Нарушились мои отношения с семьей. Мои любимые старшие брат и сестра – Сергей и Татьяна, самые близкие, особенно Таня, к отцу, моя мать и братья, не получившие авторских прав, – все были обижены.

---

[1] Everything will be alright (*англ.*) – Все будет в порядке.

Это было тяжко.

И очень скоро наступило горькое разочарование в последователях отца, так называемых толстовцах.

В. Г. Чертков, с которым мне пришлось близко работать, – меня давил своим бессмысленным упрямством, прямой властностью, с которой мне в мои 26 лет и с моей неопытностью трудно было бороться, когда я считала его неправым.

Он считался другом отца, в ранней молодости бросил блестящую карьеру при Дворе, сделался строгим вегетарианцем, опростился и посвятил всю свою жизнь распространению философских сочинений отца. Вместе с Горбуновым-Посадовым он основал дешевое издательство «Посредник», распространявшее народные рассказы отца по 1–3 копейки на книжечку, и эта деятельность составляла главный интерес его жизни.

Одной из основных черт моего отца была благодарность за все, что люди для него делали. И это чувство благодарности отец очень сильно чувствовал по отношению к Черткову. «Никто не сделал для меня того, что сделал Владимир Григорьевич», – говорил отец.

Но трудно было найти более разных по характеру людей.

В нескольких строчках трудно определить, в чем заключалось это различие.

В Черткове не было гибкости, он был тяжел своей прямолинейностью, полным неумением приспособиться к обстоятельствам. Его поступки, действия, его ум, устремленный в одном направлении, не допускали компромиссов... У Черткова не было чуткости, в нем не было тепла. Чертков подходил к людям, строго анализируя их: если человек ел мясо и был богат, для Черткова он уже не был интересен. Для Толстого каждый человек был интересен, он любил людей. Может быть, как раз в этом-то и было различие между ним и его верным последователем.

Толстой испытывал радость в общении с людьми, и они интересовали его. Кто бы ни приходил к нему, с кем бы он ни сносился – он всегда видел в человеке что-то особенное...

Для Черткова светская дама была ничтожеством.

Для Толстого она с какой-то стороны была чем-то.

Чертков не заметил бы дурочку, которая, стоя у крыльца с глупой улыбкой, просила копеечку.

Для Толстого она была человеком, она была добрая и всех одинаково любила.

Для меня Чертков был тяжел, он давил меня...

Да. За редким исключением, я недолюбливала толстовцев.

Я чувствовала в них неискренность, несвободу какую-то, неестественность.

Помню, мой маленький шестилетний племянник читал объявление в доме Черткова: «Сегодня в 8 часов вечера будет прочтена лекция о духовном браке». Мальчик заинтересовался: «Аннушка, – спросил он кухарку, – что такое духовный брак?» Аннушка, здоровая работящая женщина, которая ежедневно варила пищу на всех этих лежебок, только махнула рукой: «Делать им нечего! Глупости выдумывают. Нынче духовный брак, а завтра духовные дети пойдут...»

Эти грязные, пахнущие грязным бельем люди с мрачными лицами, убивающие в себе всякую радость жизни, были мне противны, особенно после двух случаев, когда мне пришлось бежать от преследования этих «духовных» лиц.

В этих людях, за некоторыми исключениями, не было любви, и была большая доля рисовки и самолюбования.

Они носили блузы, высокие сапоги, некоторые отпускали себе бороды. И в то время, как их учитель полностью понимал радость жизни, отражавшуюся в выражении его лица, улыбке, шутках, остротах, веселом смехе, – последователи сохраняли постные, мрачные лица, боясь лишней улыбкой, ве-

селой песней нарушить свое безгрешие. Отец любил не только классическую музыку, но и народные, цыганские песни. Толстовцы избегали веселой, захватывающей музыки.

Помню, как знаменитая пианистка, исполнительница старых классических произведений на клавесине, Ванда Ландовска, гостившая у меня в имении рядом с домом Черткова, играла для его обитателей.

На другой день до нас дошли слухи, что молодежь плохо спала. Их разбудила игра Ландовской и навеяла грешные мысли.

Когда я об этом рассказала Ванде, она очень смеялась, а на следующий вечер во время ее игры у Чертковых я спросила ее: «Ванда, что вы наделали? Вы сегодня так играли, что я боюсь, что нынче ночью никто из толстовцев не сомкнет глаз!»

Были люди, как Мария Александровна Шмидт – большой друг отца, отказавшаяся от всей своей прошлой жизни и посвятившая себя помощи крестьянам, рядом с которыми она жила. В ней не было и тени неискренности, и она действовала на людей не словами нравоучения, а любовью.

Она очень помогала мне в этот трудный, безалаберный, нехороший период моей жизни.

На фронт

Я жила своими маленькими интересами, развлекалась, работала с крестьянами по передаче им земли и по организации кооперативов; старалась помочь им с помощью агронома улучшить их полевое хозяйство, и постепенно крестьяне вводили многополье, начали сеять клевер. Зимой я жила в Москве, летом – у себя в имении. Завела стадо племенных симментальских коров. Посылала молоко ежедневно в г. Тулу в больницу; приобрела кровных, рысистых лошадей. На них пахали и делали все полевые работы.

Со мной жила бывшая секретарша моей матери, большая любительница собак. У нас в доме жили два черных пуделя. Один – мой верный Маркиз, прозванный так моим отцом, и его подруга Нитуш и две белые лайки: большие, могучие красавцы Беляк и Белко.

Я что-то делала, чем-то занималась, но все это было не то, в душе была пустота.

И вдруг неожиданно... война!

Против своего обыкновения, я с жадностью прочитывала газеты. В соединенном заседании Совета и Думы государь держал речь. «Мы не только защищаем свою честь и достоинство в пределах своей земли, – закончил государь свою речь, но боремся за единокровных братьев славян».

Громкое дружное «ура» было ответом на речь государя. После государя говорили председатель Государственного совета Голубев и председатель Государственной думы Родзянко.

Родина в опасности! И русские люди различных партий, толков, направлений объединились в одном горячем порыве любви к родине и преданности монарху, возглавляющему Россию.

Сидеть сложа руки было немыслимо. Уходят один за другим племянники, рабочие; взяли моих рысистых лошадей. Усадьба опустела, и все то, что частично заполняло жизнь, – хозяйство, организация и работа в кооперативах, – все отошло на задний план.

Я не могла сидеть дома, я должна была участвовать в общей беде. Я решила идти сестрой милосердия на фронт и поехала в Ясную Поляну проститься с матерью.

Трудно было узнать в этой старой, тихой и кроткой женщине мать, которую я знала раньше. Куда девались ее беспредельная энергия, воинственность, властность? Целый день сидела она в кресле и дремала. В укладе жизни Ясной Поляны почти ничего не изменилось. Только теперь во флигеле жила моя старшая сестра с дочкой Танечкой. Тот же повар

Семен Николаевич – крестник моей матери – готовил завтрак к 12 часам дня и обед из 4 блюд к 6 часам вечера; к столу прислуживал старый служащий Илья Васильевич. В доме было тихо, безлюдно, скучно.

– Зачем ты едешь на войну? – сказала мне мать. – Ни к чему это. Отец был против войны, а ты хочешь в ней участвовать.

– Я не думаю, чтобы он был против того, чтобы я помогала больным и раненым.

Но мать была недовольна:

– Ну, я сказала тебе свое мнение, но я знаю, что это бесполезно. Ты всегда делаешь все по-своему...

Чертков и толстовцы тоже меня осудили, но меня это не трогало. Я не могла оставаться дома.

Еще при жизни отца я увлекалась медициной. Изучала анатомию, физиологию. Вместе с доктором Никитиным – нашим домашним врачом, приглашенным моей матерью, чтобы следить за здоровьем отца, – мы организовали амбулаторию в деревне и принимали больных крестьян не только из Ясной Поляны, но и со всей округи. Доктор Никитин многому меня научил. Исследуя больных, он читал мне целые лекции о той или иной болезни, учил меня делать перевязки, приготавливать мази, делать уколы. Краткие курсы сестер милосердия и практическая работа в Звенигородском госпитале, где главным врачом был доктор Никитин, помогли мне легко выдержать экзамен на сестру милосердия военного времени.

В госпитале меня назначили хирургической сестрой. Привыкать было трудно. Первый раз, когда мне пришлось увидеть нагого человека, я растерялась... Но доктор мне помог:

– Сестра, что с вами? Живо! Скальпель! Тампоны! – крикнул доктор.

Стало стыдно, неловкость исчезла, передо мной был страдающий человек, ему надо было помочь. Второй раз мне сделалось нехорошо, когда доктор пробивал больному череп. Но… человек ко всему привыкает…

Работа в тылу меня не удовлетворяла. Я решила просить перевода на фронт. Мне хотелось забыться, хотелось подвигов, геройских поступков… Политические события проходили мимо, не задевая меня! Разгром немецкого посольства, вспыхнувшая ненависть ко всему немецкому, наше наступление в Галиции, наше августовское поражение в Восточной Пруссии – все это, к стыду моему, меня мало интересовало. Волновал только собственный вопрос: попаду ли я на фронт?

Председателем Всероссийского Земского Союза был князь Львов. Я пошла к нему просить место, все равно где, только ближе к фронту.

Князь Львов, как мне казалось, насмешливо улыбался.

– Вы на фронт? Если вы хотите ответственной работы, я вам прямо скажу: вы не годитесь. Вы непрактичны, неопытны.

Я рассердилась. Его насмешливое лицо раздражало меня.

– А какое вы имеете право думать, что я не умею работать?

– Не обижайтесь, я один раз наблюдал в Туле, как вы сдавали свой яблочный сад и арендатор вас надул… Нет у вас деловой смекалки…

Да, я вспомнила, это было в конторе адвоката. Я не была знакома тогда с князем Львовым, но меня поразили его практичность и умение разговаривать с арендатором, выколачивая из него каждую копейку. Он был прав – я не умела этого делать.

– Но какое же это имеет отношение к работе на фронте?

На ответственную работу он меня так и не взял, и только через несколько месяцев меня назначили уполномоченной

Всероссийского Земского Союза. В конце концов я попала в санитарный поезд, работавший на Северо-Западном фронте.

Белостоцкий санитарный пункт

Наш поезд привозил раненых и больных с фронта в Белосток на санитарный пункт, где их перевязывали и эвакуировали дальше.

Облик нашего старшего врача Марии Александровны Савиных совсем не подходил, в моем представлении, к ее профессии. Она была очень красива. Правильные черты лица, черные брови, карие живые глаза, молодое лицо и... совершенно белые волосы. Мы все уважали и любили ее[2]. Она была прекрасным товарищем – веселая, общительная, но была плохим и неопытным врачом. Пугалась тяжелых случаев ранения, терялась, когда надо было принять экстренные меры, сделать операцию, чтобы спасти раненого или больного.

Раненых привозили прямо с поля сражения, и бывали тяжелые случаи ранения в живот, в голову, иногда умирали тут же во время перевязки.

Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела... черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы. Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась, и

---

[2] После революции М. А. Абакумова-Савиных работала в Ясной Поляне школьным врачом.

чтобы задний проход оставался свободным, было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…

Знаю только, что я была неопытна, что надо было пройти еще большую тренировку, чтобы научиться не расстраиваться, забыть об ужасных открытых ранах с белыми жирными червями, чтобы это не мешало мне нормально есть, спать…

Помню еще один случай: на перевязочном пункте в Белостоке я перевязывала солдата, раненного в ногу. Веселый был парень, и, хотя нога у него сильно болела, он радовался, что его эвакуируют: «Домой поеду, к жене, ребятам. Они, небось, соскучились обо мне». Напротив веселого солдата сидел на стуле немец. Рука перевязана кое-как, бурым потемневшим пятном через марлю просочилась кровь.

– Эй, немчура! – вдруг заорал во все горло веселый солдат. – Не гут, не гут, зачем ты мне, немецкая морда, ногу прострелил? А? – и показывает на рану.

– Jawohl[3]! – соглашается немец, показывая руку. – Und Sie haben mir auch mein Hand durchgeschossen[4].

– Ну ладно, немчура, война, ничего не поделаешь… – точно извиняясь, сказал солдат. Оба весело и ласково друг другу улыбнулись.

Как-то раз наш поезд остановился в маленьком немецком городке. Городок чистый, армия не успела еще его загадить

Немцы ушли, побросав имущество. Тяжело было видеть, как солдаты ходили из дома в дом, набирая полные мешки разного добра, одежду, стенные часы, постельное белье. Мебель не унесешь, ее просто разбивали. Крах! Крах! Из верхнего окна чистого, уютного домика летят стулья, столы, комоды, а за ними с жалобным стоном сотен струн ударяется о мостовую пианино. Солдаты весело гогочут.

---

[3] Jawohl (*нем.*) – Да.

[4] Und Sie haben mir auch mein Hand durchgeschossen (*нем.*) – И мне тоже мои руки прострелены.

Доктор назначил меня в офицерский вагон. Я шла туда неохотно. С солдатами работать было легче. Они проще и поэтому деликатнее офицеров. Отворачиваются, когда надо, чтобы не смущать сестру. В офицерском вагоне несколько человек легкораненых, и, когда их перевязываешь, они позволяют себе отпускать грубые шутки, двусмысленные остроты.

Попасть в теплушки и покинуть их можно только на остановках. Закончив работу, приходится сидеть и ждать, пока наш длиннейший поезд подойдет к станции и можно будет выскочить и по платформе добежать до своего вагона.

Как-то раз пришлось долго ждать. Было особенно неприятно и скучно слушать банальные разговоры и остроты офицеров. Поезд едва полз по высокой, вероятно, только что построенной насыпи. Я смерила глазами высоту подножки – невысоко, и, не долго думая, спрыгнула на насыпь. И, о ужас! – поезд тотчас же наддал пару. Быстрее, быстрее один за другим проскакивали вагоны, проскочил и наш персональный вагон. Зима, мороз, а я в одном халате... Что делать? Вскочить обратно в поезд на таком ходу было невозможно. Я испугалась. Что я буду делать, если поезд уйдет и я останусь одна на полотне железной дороги? Ни одного жилья, кругом лес, занесенный снегом. И вдруг загремели колеса, застучали друг о друга буфера... Поезд остановился...

– А я, зная вас и на что вы способны, поглядывала в окошко и, увидев на насыпи вашу растерянную фигуру в белом халате, остановила поезд, – с упреком сказала мне Мария Александровна[5]. – В другой раз, пожалуйста, этого не делайте, – добавила она, укоризненно качая своей седой головой.

[5] Д-р Абакумова-Савиных.

У подножия Арарата

16 октября, не объявляя войны, турецкий флот обстрелял Одессу, Новороссийск и Севастополь. Россия немедленно приняла вызов. Одержав несколько блестящих побед, наша армия, почти без боя, продвинулась в глубь Турции.

Т. Н. Полнер – старый земский деятель – и Сергей Глебов – энергичный и идейный молодой человек, с домами которых мы были знакомы с детства – его сестра была замужем за моим братом Михаилом, – организовали в это время 7-й передовой отряд В. З. С., командированный для работы на Турецком фронте. Меня приняли в отряд только по протекции Полнера и Глебова, так как принимали только кадровых краснокрестных сестер, и я была единственной сестрой военного времени.

Наш эшелон шел в Тифлис больше недели, и там нам пришлось ждать назначения около месяца. Настроение у всех понизилось. Чудесные прогулки, знаменитые серные бани, безделие – все это было хорошо для туристов, но мы рвались в бой.

Наконец, было назначено общее собрание. Тряся черной с проседью бородкой и испытующе ощупывая нас своими умными карими глазами, Полнер держал речь: «Мы должны идти по двум направлениям, – сказал он. – Одно направление на Эрзерум-Каре, другое – Эривань-Игдырь и дальше – Каракалиса Алашкертская в глубь Турции. Второе направление – опасное: нападают по дорогам банды курдов, свирепствуют все три вида тифа, длинные тяжелые переходы верхом через перевалы без дорог. Решайте сами, кто куда пойдет работать, я никого не назначаю».

И не успел он закончить, как почти половина отряда отделилась и высказала желание работать на Эривано-

Игдырьском направлении. Наконец-то, думали мы, начнется настоящая работа!

Т. Н. Полнер встал впереди нас: «Спасибо, – сказал он, – я сам возглавлю ваш отряд».

Игдырь – маленькое местечко у подножия горы Арарат, расположенное на берегу бурной речки Евфрат. Библейские, но унылые, болотистые места с невероятным количеством комаров, носителей одной из самых тяжелых форм тропической малярии.

Здесь, в Игдыре, в бывшей школе, мы организовали первый перевязочный пункт 7-го передового отряда Всероссийского Земского Союза. Работа закипела.

Женщина-врач, смуглая, иссохшая, как мне казалось, от злости, социалистка с дежурной папиросой во рту – остро меня возненавидела.

– Прислали, видите ли, «работницу»! – жаловалась она молодому врачу. – Без протекции она сюда бы не попала. Что она знает? – графиня, аристократка!

– Сестра, вымойте все полы, окна, двери в палатах, – приказала она мне, чтоб было чисто.

Щеток не было. Молча, стиснув зубы, я терла полы тряпками. Я так боялась, что врачиха будет смеяться над моей никчемностью, называть белоручкой, барыней, – тем более что опыта в мытье полов у меня не было никакого.

Спасибо, выручил брат милосердия Эмилио Феррарис – доброволец-итальянец, неизвестно почему попавший братом милосердия в наш отряд.

– Impossible[6], синьорина, – горячился Эмилио. – Эта docteur[7], она влюбляй во все мужчин, красивый заведующий хозяйства и ревнуйт. Вы очень устает; я вам помогайт.

---

[6] Impossible (*англ.*) – Невозможно.

[7] Docteur (*англ.*) – Доктор.

И мы терли полы, мыли окна, расставляли и стелили кровати, и нам было весело. А докторша шествовала по отряду, и за ней, как собака, плелся ее любимец козел, которого она приручила и угощала табаком.

А когда привезли тридцать человек ревматиков – докторша назначила меня делать им массаж. И я терла им ноги, руки, спины часами, пот лил с меня ручьем. Я не знала тогда, что мыть полы, массировать десятки больных – не входило в обязанности сестры. Да злая докторша и не назначала кадровых сестер на эту работу.

– Сестрица, брось, умаялась, – говорили мне больные солдаты. Они жалели меня, но я не обращала внимания на их слова, продолжая их часами массировать.

Может быть, это и был подвиг? Но подвигом в моем представлении было нечто совсем другое!

В Игдыре мы простояли несколько месяцев.

Наступили теплые дни. Зажурчали ручьи, разлились по всей долине реки.

Нестерпимая жара. Скучно. Работы мало. Вечером тучами вились над нами и кусали комары. Страшная жажда. Студенты, исполнявшие в отряде роль братьев милосердия, принесли из деревни виноградный сок. Сок кисло-сладкий, вкусный и чудно утоляющий жажду. Наливаем в большие эмалированные кружки и с наслаждением пьем одну за другой.

– Что это? Катя, что с вами? – Катя очень милая, скромная краснокрестовская сестра, и мы дружили с ней, смеется, заливается, не может остановиться. Хотела пройти несколько шагов, споткнулась, обеими руками обняла столб на балконе; стоит, хохочет, а двинуться не может.

Весь отряд – сестры, братья милосердия – все были вдребезги пьяны. Только потом мы узнали, что забродивший виноградный сок чуть ли не пьянее вина.

Ждали начальника. К нашему счастью, злая докторша уже ушла к себе. Полнера любили, но боялись, он был очень строг. Что если он увидит весь свой персонал в таком состоянии?

Из всего отряда только заведующий хозяйством и я не были пьяны. Мы стали поспешно разводить и укладывать всех своих товарищей спать. Едва-едва успели, приехал Полнер.

– Где же все? – спросил начальник, оглядывая пустую столовую и террасу, где обычно до позднего вечера засиживалась молодежь.

– Спать пошли, устали от жары...

Старый земский врач-хирург назначил меня в операционную помогать опытной хирургической фельдшерице. Я была счастлива, что вышла из-под начальства злой докторши и она, наконец, лишилась садистического удовольствия меня мучить.

Ранения были тяжелые, турки употребляли разрывные пули дум-дум. Трудно было привыкнуть к ампутациям. Держишь ногу или руку и вдруг ощущаешь мертвую тяжесть. Часть человека остается у тебя в руке. «Сестрица, – с надеждой, боясь ответа, обращается ко мне молодой красивый казак, очнувшись от наркоза, – а ногу-то оставили, не отрезали, пятка чешется...» Как ему сказать? Большие черные глаза смотрят на тебя с надеждой, мольбой...

И, узнав правду, сильный могучий красавец-казак, закрыв лицо руками, рыдал как ребенок.

– Сестрица... как же я теперь? Дуня-то моя... Дуня... не будет калеку любить... уйдет... а ребята... чем зарабатывать буду?!

– А ремесла никакого не знаешь?

– Знаю, сапожник я... Может, заработаю как-нибудь, А как ты думаешь, Дуня моя разлюбит, не захочет со мной жить?

– Коли стоящая Дуня твоя, она еще больше любить и жалеть тебя будет!

А через неделю он веселил всю палату и громко, заливистым тенором пел свои казацкие песни.

В турецкой Армении

В Игдыре мы оставались недолго. Отряду было приказано выехать в Каракалису Алашкертскую – 100 с лишним верст в глубь Турции – в Турецкую Армению.

Пригнали транспорт верблюдов, они должны были доставлять в Каракалису продовольствие и керосин для отопления форсунок в палатках.

Наше выступление было назначено через несколько дней. Все обрадовались, лихорадочно готовились к отъезду. Я решила приобрести собственную лошадь. Приводили курды и армяне нескольких лошадей, но они мне не подходили. Единственный жеребец, в которого я влюбилась, был слишком молод – трехлетка. Он не выдержал бы переходов через перевалы. Я не могла оторвать глаз от этого белого с черным ремнем вдоль спины арабского жеребца. Я никогда не видела белых лошадей. По-видимому, только арабы, и то редко, бывают белой масти. Как влитой, спокойно сидел на нем старый, смуглый, с белой бородкой курд в полосатом шелковом халате и белой чалме, сдерживая нервно бившего копытом араба, покрытого ярким ковровым потником.

Ах, как мне хотелось его приобрести! Если бы не боязнь, что он не выдержит длинных переходов, перевалов, купила бы его. Но эта лошадь, с лебединой шеей, раздувающимися ноздрями, нервно танцующая на месте, не была создана для работы. Мне пришлось купить другую, выносливую простую лошадь, которую я позднее променяла на прекрасного, серой масти кабардинца, на котором впоследствии и сделала все переходы по Турецкой Армении.

Длинный и странный был караван. Нагруженные верблюды, весь персонал сестры, врачи – все верхом, многие, не умеющие ездить, сидели на лошадях – по выражению кавалеристов, – как собака на заборе.

А вечером на стоянках не могли ни ходить, ни сидеть от боли в ногах. А я только посмеивалась... Недаром отец меня приучил ездить верхом с 6-летнего возраста.

Весной, когда в горах еще лежал глубокий снег, нельзя было и думать о повозках.

Наш начальник Полнер, видимо, тоже чувствовал себя верхом на лошади прескверно. Вывернувши носки ног, согнувшись в седле, ехал Полнер на своей лопоухой, с отвислой губой кобыле. Он был кабинетный человек, старый земец, общественный работник. Наездник был плохой, но он никогда и виду не показывал, что он устал или что у него болят ноги и спина. Выдержка у него была колос-сальная.

Немного страшно было переправляться через бурные реки. Широко разлились полноводный Евфрат и его приток, через которые пришлось переправляться. Я даже не заметила, как лошадь отделилась от земли и поплыла. Сильным течением нас отнесло далеко в сторону, и, как ни поджимала я ноги, они промокли выше колен.

Слева вдали сиял на солнце снеговой покров Арарата, и дальше, утопая в туманной мгле, виднелись цепи снеговых гор. Подъем. Выше, выше. Склоны гор голубые, покрытые незабудками, но незабудки не такие, как у нас в Тульской губернии, а крупные, точно искусственные. Дикие нарциссы, тюльпаны...

Чингильский перевал. Выше, выше. Становится холоднее. Снега. Местами лошадь проваливается по брюхо. Слезаю, чтобы облегчить коня, кувыркаюсь в снегу... Спуски, подъемы, дикая горная природа, ни одного жилья, ни одной живой души... Вдруг голос: «Здравствуйте, сестра!» У скалы,

вправо от меня, группа казаков в папа́хах с белым верхом и черкесках держат лошадей. Среди них высокий, с правильными чертами лица, смуглый, в черкеске и папа́хе генерал «Здравствуйте, сестра!» Я осадила лошадь, стою, смотрю на него вопросительно. «Я генерал Абациев, женат на вашей троюродной[8] сестре. Вы ведь Толстая?» Я никогда не встречалась с ним, но много о нем слышала. Он был одним из самых храбрых генералов, осетин, Георгиевский кавалер со всеми Георгиевскими крестами и Георгиевским оружием. Про него рассказывали, что он никогда никого и ничего не боялся. Во время боя, стоя на горе во весь свой громадный рост, на виду у неприятеля, он командовал войсками.

Генерал ехал по направлению к Игдырю, но штаб-квартира его была в Каракалисе, куда и направлялся наш отряд.

* * *

Чингильский перевал позади. Опять жара, долина покрыта густой травой. Множество цветов. Бурные речки, мостики с гранитными перилами. Изредка попадаются на нашем пути развалины громадных мраморных и гранитных зданий. Храмы, может быть? Что было здесь раньше? Кто здесь жил, кто строил эти храмы?

Из-под земли бьют горячие и холодные источники... Вода пузырится, из некоторых ямок идет пар. В одной из них, видимо, в полном блаженстве, сидит смуглый, с бронзовой спиной армянин.

Какое природное богатство! Какой прекрасный край и какая дичь!

Жилищ мало, только изредка, как будто из-под земли, вьется тонкой струйкой дым. Это жилища курдов и армян.

---

[8] Лика Фукс, родство через семью Берсов.

Они под землей. В верхнем этаже скотина: коровы, овцы, а внизу, в подвалах, – семьи. Под землей теплее, меньше надо топлива.

Каракалиса Алашкертская – грязная, немощеная греческая деревня. Несколько небольших убогих домов, в них разместились военные. Самый большой двухэтажный дом занимает генерал Абациев со своим штабом.

Разбиваем палатки под больных, раненых, персонал.

Сестер не хватает. Едва-едва справляемся. Раненых мало, но свирепствуют все формы тифа – брюшной, сыпной и возвратный.

Иногда не хватало питания, если почему-либо задерживался караван верблюдов.

Верблюды были единственным транспортом, доставлявшим нам продовольствие, керосин для отопления форсунок и почту. Верблюдов ждали с нетерпением, и, когда из-за гор появлялся длинной цепью караван, их встречали с восторгом: «Идут, идут, верблюды идут!»

Верблюды шли спокойно, медленно, с аккуратно притороченными к бокам грузами. Грузы должны точно взвешиваться – ровно по 4 пуда с каждой стороны. После разгрузки верблюды ложились правильными рядами, деловито пережевывая корм своими маленькими ротиками.

Помню один случай, который мог кончиться катастрофой, но, к счастью, кончился благополучно, вызвав много смеха у сестер.

У нас было несколько молодых, наскоро испеченных врачей военного времени. Помню одного. Он был такой чистенький, в новеньком мундирчике; его румяное круглое личико, всегда свежевыбритое, сияло молодым задором и жизнерадостностью. Он краснел, как наивная девушка, когда собирался делать операцию, и, не моя рук, торопил нас снимать перевязку. А мы с фельдшерицей стояли как вкопанные с

поднятыми кверху вымытыми руками, не слушая приказания.

– Снимайте повязку! Вы разве не слышали?

– Простите, доктор, – отвечала фельдшерица, – мы ждем, что вы руки помоете...

И вот один раз, когда улеглись в ряд верблюды, вздумал этот доктор удивить сестер и пройтись по спинам животных. Верблюды вскочили с быстротой молнии, подкинули нашего доктора, как с трамплина. Он летел в воздухе сажени три. Мы все ахнули, но, к счастью, он упал в кучу мягкого сена. Увидав, что все благополучно и доктор цел и невредим, – мы все, сестры и братья, покатились со смеху. Успокоимся на минутку, а потом вспомним, как летел доктор, взглянем на его красное, испуганное, смущенное лицо, новенький мундирчик, весь в сене, и опять заливаемся, хохочем.

Генерал Абациев очень хорошо ко мне относился и всегда старался помочь.

– Сестра, что я могу для вас сделать?

– Тяжелобольные у меня, ваше превосходительство. Кормить нечем. Если бы курочек достать, были бы для них и яйца, а то питание очень плохое...

– Хорошо, сестра, я сделаю, что могу.

И через несколько дней, смотрю, прискакали казаки.

– Так что их превосходительство курочек вам прислали.

Смотрю, к седлам головой вниз приторочены куры. Отвязали, а они на ногах не стоят... Отекли ноги. Я отыскала большой железный таз, устроила курам ножную горячую ванну. Молодежь издевалась надо мной, но постепенно ноги у моих пациентов отошли, и через несколько дней они занеслись.

Я радовалась, что мои больные получат яйца, а сестры завидовали и воровали у меня яйца прямо из-под кур для своих больных.

Генерал Абациев часто заходил к нам в отряд.

– Что еще я могу для вас сделать, сестра?

– Молока нет, ваше превосходительство. Может быть, можно коров достать?

Постоял, подумал. «Постараюсь, – говорит, – сестра». И через несколько дней смотрим, по дороге пыль столбом, казаки штук семь коров гонят.

Коров есть чем кормить. Травы много, да и пшеницы сколько угодно, только надо ее найти. Казаки ходят вокруг армянских домов, землю пиками нащупывают. Коли пика легко идет, начинают откапывать и находят спрятанное, засыпанное землей зерно.

А у меня новое занятие – коров доить. Коровы худые, маленькие, молока мало, но доить надо – больше некому.

Сижу на скамеечке, дою, руки болят с непривычки.

– Что это вы делаете, сестра?

Я и не заметила, как подошел генерал Абациев.

– Коров дою, ваше превосходительство.

Постоял, покачал головой, а вечером менонита прислал коров доить.

* * *

Ночью сестры дежурили по очереди. Четыре палаты по 40–50 больных в каждой. На каждую палату один дежурный санитар, а на все палаты одна сестра.

Почти все больные – тифозные. Всю ночь бегаешь из одной палаты в другую. Стонут, мечутся, бредят. Чувствуешь свое полное бессилие как-то облегчить, помочь. Минутами делается страшно. Особенно когда стоны превращаются в хрип... Подбегаешь, дыхания почти нет, больной затих, пульса нет. Только успеешь перекрестить, закрыть глаза – помер.

Захожу во время обхода в палату сыпнотифозных. Около умывальника стоит очень слабый выздоравливающий

больной. В глубине палатки кричит, ругается в бреду сыпнотифозный армянин. Не успела я подойти, как он, как кошка, с быстротой молнии вскочил, перелетел через две-три кровати, бросился к умывальнику, схватил бутылку сулемы и размахнулся над головой слабого больного. Он убил бы его, но я успела схватить армянина за руку сзади, бутылка скользнула по черепу больного, слегка его задев... Армянин бросился на меня, повалил меня на пол, схватил за горло и стал душить. Борясь, мы покатились по полу и завалили собою дверь. Руки больного стальными клещами сдавили мне горло... В дверь ломился дежурный санитар... Но открыть дверь он не мог. Каким-то образом мне удалось откатить армянина от дверей. В палату ворвались два санитара, схватили армянина, надели на него смирительную рубашку.

Все дрожало во мне, когда я пришла с дежурства в столовую...

А через несколько дней после кризиса, когда армянин был уже в полном сознании, он виновато мне улыбнулся, когда я вошла в палату. «Как же это ты задушить меня хотел?» – спросила я его шутя. Он был смущен: «Прости меня, сестрица, видит Бог, не помню ничего... Коли в памяти был бы, никогда такого не сделал бы».

Фельдшерицы не любили и не умели ухаживать за ранеными. От одной нашей фельдшерицы мне пришлось принять одного пластуна[9], раненного в голову. Пучки серого мозга торчали на бритой голове... У него были пролежни величиной с чайное блюдце, матрац промок, от его кровати шло страшное зловоние. Он был совершенно невменяемый, ничего не понимал и только помнил свою жену Марусю и называл меня ее именем: «Маруся, попить дай! Маруся, ноги

[9] Пеший казак.

потри, болят». Его пришлось эвакуировать, и по дороге он умер.

* * *

К нам часто заходил бравый терский казак-сотник. Небольшого роста, нос с горбинкой, с черной бородкой клином. Смуглое лицо его утопало в громадной мохнатой папáхе с белым верхом. Черная черкеска с газырями казалась мне слишком длинной по его росту. Сотник часто захаживал к нам. Молодежь, месяцами оторванная от женского общества, естественно, льнула к нам, но Полнер не поощрял визиты офицеров к сестрам, брюзжал что-то себе под нос и не особенно был любезен с гостями.

Один раз прискакал в отряд сотник. Смотрю: конь под ним – картина.

Спешился сотник.

– Нравится вам мой новый конь? Только что купил, араб кровный...

– Хорош! А в езде как?

– Смотрите. – Вскочил сотник в седло прямо с земли, проскакал по лощине, вернулся. – Ну, что скажете, сестра?

– Хорошо, – говорю. – Я и не знала, что в Турции столько арабских лошадей.

Несколько дней прошло. Выходим из столовой палатки. «Что это? – воскликнул вдруг заведующий хозяйством. – Смотрите, сотник вашего коня угнал!» Побежали мы к коновязям, смотрим – вместо моего рыжего мерина, а у меня тогда еще не было моего верного кабардинца, стоит арабский караковый жеребец сотника.

Не подумав, я похвалила жеребца, и по кавказскому обычаю сотник подарил его мне.

Вскочил заведующий хозяйством на араба, ребята наши – на своих лошадей и поскакали догонять сотника. С трудом

они уговорили его отдать им моего рыжего мерина и взять назад араба. Огорчился, обиделся сотник.

Вечером, когда мы пили чай, пришел казак, ординарец сотника.

– Так что сотник очень просит сестер на наурские танцы и песни пожаловать.

Вскочил Т. Н. Полнер, лицо сердитое, бородка трясется:

– Скажи ты своему начальству, что сестры здесь не для забавы офицеров, а для работы! Вон отсюда!..

Загулял сотник. Далеко за полночь раздавалось пенье казаков. Разгулялась сотня вместе со своим начальником. Пели, плясали под самым окном генерала Абациева.

А наутро генерал вызвал к себе сотника. Казаки получили выговор, а сотник был отправлен на фронт.

Через несколько дней он пришел ко мне.

– Я ухожу на фронт. Одно из двух, или выслужусь, или убьют. Обращаюсь к вам с последней просьбой: уделите мне один час времени.

Мы оседлали лошадей и поехали в горы. Что говорил он мне, не помню, но помню, что был он тихий, грустный и почему-то я чувствовала себя виноватой.

После этой прогулки я больше никогда его не видела, но 50 лет спустя, уже в эмиграции, я получила от него милое письмо из Франции. Он доживал свой век в доме для престарелых.

В город Ван

Как-то раз, когда приехал к нам наш уполномоченный Т. Н. Полнер, он привез мне новое назначение:

– В город Ван. Положение там тяжелое, много больных, свирепствуют все три формы тифа, болеет американская миссия, медицинского ухода нет, надо открыть питательный пункт для пленных...

– Когда надо ехать?

– Как можно скорее! Вызывайте ваших студентов.

Я давно уже просила Полнера взять на работу двух студентов, моего племянника Онисима Денисенко и его товарища Колю Красовского, в качестве братьев милосердия.

– Вас проводит заведующий хозяйством до Игдыря. В Эривани закупите нужное оборудование и со студентами, и я вам дам санитара и ординарца, поезжайте в Ван.

И вот мы едем обратно в Игдырь. Мой кабардинец и рыжий жеребец под заведующим идут бодро. Верста шагом, верста рысью, иногда спешиваемся. Нам весело... Больные, раненые, все заботы позади. Мы не думаем о том, что нас ожидает. Мы слились с природой, легкие наполняются горным чистым воздухом. Все, что нас окружает – бесконечные цепи гор, бурные речки, долины, покрытые буйной высокой травой, – все это так божественно прекрасно и так далеко от злобы людской, убийства, страданий.

Усталости нет. Среди дня делаем привалы на час-другой, расседлаем лошадей, поедим, отдохнем и опять в путь.

К вечеру мы дошли до военного пункта. Ночевать негде, отвели одну комнату на двоих. Разделись, потушив свет, в темноте, чтобы не мешать друг другу. А рано утром – опять в путь. Шли целый день. А вечером, когда стемнело и мы спускались под крутую гору, мимо нас вдруг просвистела одна пуля, вторая... «Курды!» – заорал во все горло ординарец-осетин. Мы, сестры, боялись курдов. Были случаи, когда курды насиловали и убивали женщин. И у всех нас, сестер, всегда был с собой цианистый калий...

Дали лошадям шенкеля и карьером понеслись под гору. А гора крутая, темно, ничего не видно, тропинка усеяна камнями, того и гляди, лошадь споткнется, упадет. И тогда... пропали. Я откинулась назад сколько могла, чтобы облегчить

передние ноги Алагеза, а мысленно все твержу: «Выручай, милый, голубчик, только не спотыкнись».

Ускакали...

А подходя к Игдырю, попали в солончаковое болото. Тьма. Лошади шли, выбирая сухие места, напрягая мускулы, растягиваясь, перескакивая с одной кочки на другую, минуя трясину. Кажется, никогда я не ценила так своего Алагеза, как в этот трудный поход. Шли мы так версты четыре или пять, пока не вышли на сухую землю.

* * *

Несколько дней провели в Игдыре и в Эривани вместе с заведующим хозяйством. Закупили оборудование. Очень было весело снова попасть в цивилизованный мир: автомобили, электричество, хороший ресторан... Может быть, мы задержались дольше, чем надо было...

– Почему вы еще не уехали в Ван? – ворчал Т. Н. Полнер. – Давно пора... Извольте немедленно отправляться... там большая нужда в вашей помощи. А вы, обратился он к заведующему хозяйством, – проводите Александру Львовну полдороги!

Мы очень обрадовались, нам не хотелось расставаться.

– Слушаюсь.

И вот мы снова в пути. На этот раз с нами два студента, санитар и ординарец.

Мой племянник Онисим[10] – красивый юноша с вьющимися светлыми волосами, медленными движениями. Когда с ним говорят старшие, он смущается, медленно цедит слова, и от смущения чуть кривится его рот с красиво очерченными губами. В больших темно-синих глазах его удивление и во-

[10] Сын моей двоюродной сестры Елены Денисенко – дочери Марии Николаевны Толстой.

прос, точно он хочет понять что-то еще невысказанное. Онисим мне всегда казался не от мира сего, и мне за него было страшно[11]. За товарища его – Колю Красовского – я не боялась. Он был в себе уверен, держал Онисима в подчинении, командовал им, и физически он был выносливее и крепче Онисима. Черные глаза его загорались, когда он видел верблюдов, лошадей, курдов в чалмах... Ему хотелось действия, приключений.

И вот мы снова на лошадях. Опять Чингильский и еще более высокий Топорисский перевалы. К вечеру клюешь носом, засыпая в седле. Алагез и я уже давно слились в одно целое, я чувствую каждое его движение.

С полдороги заведующий хозяйством нас покинул, ему надо было возвращаться в Каракалису.

Ночевка. Одну половину широкой бурки расстилаешь на траву, другой покрываешься. Вместо подушки изголовьем служит казачье седло. Воздух чистый, прозрачный. Смотришь на безоблачное небо, утопаешь в нем. Над тобой тысячи сверкающих звезд... Божественная тишина...

Алагез не привязан. Он ходит вокруг, пощипывая сочную траву, и я знаю, что он никуда не уйдет и не наступит на меня... Блаженно засыпаю.

Яркое солнце разбудило меня рано утром. Передо мной озеро, берегов не видно, вода сливается с небом.

Прозрачная голубоватая поверхность озера чуть колышется и тихо плещется у скалистых берегов. Какое величие, какая красота!

Студентов не видно, наверно, пошли умываться. Спускаюсь к воде и невольно отскакиваю в сторону. Что-то громадное с

---

[11] Онисим впоследствии принимал участие в Белом движении и был убит красными.

быстротой молнии метнулось предо мной и замерло. Черепаха-монстр лежала на камне, спрятав голову и ноги.

Я шла с намерением выкупаться, но, увидев это чудовище, решила не лезть в воду, а только обмыться.

Дальше шли тропой вдоль озера. Не доезжая до г. Ван, на последней стоянке расседлали лошадей, уселись в тени деревьев, чтобы поесть и отдохнуть. Только разлеглись на траве, смотрим, подъезжает большой блестящий автомобиль. Мне показалось, что люди, сидящие в машине, – две дамы и благородный мужчина люди из другого мира, нереальные существа среди этой дикой природы, безлюдья, что они попали сюда по ошибке. Красивые американки в элегантных ярких платьях, перчатках, шляпках на завитых, точно они только что были у парикмахера, волосах... Американцы были верны себе – в любой обстановке и при любых обстоятельствах они должны были look fine[12].

За последние месяцы я совсем отвыкла от цивилизации и не обращала никакого внимания на свою внешность. Да это было и невозможно во время походов. Вероятно, жуткий был у меня вид. Облупившееся от солнца и горного воздуха лицо, грубая, пропитанная лошадиным потом засаленная серая поддевка из кавказского сукна, шаровары, сапоги, на голове черная барашковая папа́ха с белым верхом. Их носят здесь для предохранения от солнечного удара.

Не знаю, за кого приняли меня американцы, спросившие у меня: «Где countess?»[13], на что смущенная countess ответила – «Это я». Последовали восклицания, приветствия...

Меня усадили в блестящий автомобиль, и я укатила с американцами в Ван, с некоторым сожалением покинув своих товарищей и Алагеза, передав его нашему ординарцу.

---

[12] Хорошо выглядеть (*англ.*).

[13] Графиня (*англ.*).

Тиф

Разрушенный город Ван. До нашего прихода здесь происходили страшные бои между армянами и турками

Турки осаждали крепость Ван, расположенную на высокой горе, где засели армяне. Они боролись как звери, защищая крепость. День и ночь женщины начиняли бомбы и бросали их в турок. Но выдержать осады они не смогли бы: иссякла пища, кончался запас пороха и снарядов, и армянам пришлось бы сдаться, если бы им на выручку не подоспели наши пластуны. Произошла кровавая битва с громадными жертвами с обеих сторон. Трупы убитых бросали в озеро, где они и разлагались, – озеро было отравлено, и нельзя было употреблять воду из него и есть рыбу.

Турки ушли, оставив в городе около 1 000 пленных: больных, женщин и стариков.

Армяне же из мести спалили весь турецкий квартал города, и так как глинобитные дома трудно загораются, каждый дом поджигали отдельно.

Несколько дней до приискания квартиры мы жили в квартире американского миссионера Ярроу. Большой дом со всеми удобствами – ванна, чистые светлые спальни, мягкие кровати, большая гостиная, столовая – все это казалось мне невероятно роскошным.

Ночью меня что-то покусывало и чесалось тело, но я так крепко заснула, наслаждаясь тем, что можно было, наконец, раздеться и снять с себя пропитанную лошадиным потом грязную поддевку и шаровары, что не обратила внимание на укусы. Я наслаждалась чистым бельем, подушками под головой вместо казачьего жесткого седла, чистым одеялом – вместо запыленной кусачей бурки. Утром я вымылась в горячей ванне, надела чистое шелковое белье, пропитанное белым дегтем, но опять что-то меня кусало. На этот раз я поймала на себе

несколько отвратительных белесых насекомых, лениво ползающих по белью. Это были вши.

Я не могла понять, каким образом культурные, чистоплотные, элегантные американцы могли допустить, чтобы у них в доме завелись вши? Откуда?

– Вся почва, все здания, где находятся военнопленные, – все заражено насекомыми, – объяснил мне американский миссионер мистер Ярроу, – мы ничего не можем сделать.

Мистер и миссис Ярроу и трое их детей – два мальчика и девочка – были очень милые люди и мне очень понравились. Видно было, что они с нетерпением нас ждали. Им нужна была помощь.

Доктора Рассела, работавшего при миссии, я знала меньше. Он и его жена вскоре после нашего приезда заболели сыпным тифом, осталась только сестра доктора.

Ознакомившись с предстоящей нам работой, я поняла, что можно было сделать очень мало.

Два больших школьных здания. Совершенно пустые громадные комнаты – ни кроватей, ни столов, ни стульев – ничего.

На полу грязные, покрытые тряпками тела. Турки. Мужчины, женщины, старые, молодые, дети... Все вместе вповалку.

Стоны, бред, плач маленьких детей... У некоторых, как мне казалось, подозрительные пятна на лицах. Что это? Оспа?

К нам простирались грязные худые руки, женщины плакали, о чем-то просили, молили нас, стараясь объяснить по-турецки: Ханум, Ханум![14]

Старики молчали. Хмурые, озлобленные, они не поднимали на нас глаз. Они были заняты. Сняв рубахи и обнажив тощие, смуглые тела, они искали вшей и ногтями, щелкая, их давили...

[14] Ханум – по-турецки госпожа.

Я обратила внимание на женщину, сидевшую в углу, странно опустив безжизненно болтающиеся по бокам рукава, она тихо, едва слышно, стонала.

– Руки у нее вывернуты, – объяснил мне мистер Ярроу на мой вопросительный взгляд.

– Кто это сделал? Почему?

– Во время стычки с армянами...

– Армяне? Но почему же женщину так изуродовали? – спросила я с удивлением. – Я читала в газетах, что турки зверствовали, резали армян. Я не понимаю...

– Все было. Резня с обеих сторон.

Разумеется, во время военных действий имело место и то, и другое. Вражда между турками и армянами длилась веками. Жестокости были с обеих сторон, но здесь, в Ване, нам пришлось наблюдать нечеловеческую жестокость армян. Говорили, что армяне отрезали груди женщинам, выворачивали, ломали им ноги, руки, и жертв этой бесчеловечной жестокости я видела лично.

Долго оставаться в доме у американцев было неудобно, и мы переселились в армянский домик. В одной комнате жили студенты, в другой – я. Внизу устроились санитар и ординарец.

Когда мы приехали в Ван, часть пленных уже умерла. Осталось около 800 человек. Организовали питание, согревали воду для мытья людей и стирки белья. Продукты доставали из военного ведомства. Но многого не было. Мыла нельзя было достать. Употребляли содово-соленый песок из озера, им можно было стирать белье. Устроили примитивную прачечную.

Один раз, запыхавшись, прибежал за мной Онисим.

– Тетя Саша, скорей идем со мной.

– Что случилось?

– Живого турка понесли хоронить!

Из здания несколько турецких мальчиков бегом выносили трупы на носилках. Каждый день 15–20 трупов сваливали в старые окопы и кое-как засыпали землей.

– Смотри!

Два мальчика несли носилки. Мы остановили их. Старик. Глаза закрыты, как будто не дышит, одна рука свисла и болтается по воздуху. Я взяла ее, чтобы проверить пульс, и вдруг глаза раскрылись, человек отдернул руку и с размаха положил ее к себе на грудь.

– Живой!

Мы отправили старика обратно в барак, но с этого дня, когда мальчики выносили покойников хоронить, мы шли проверять, нет ли среди них живых. Поставили санитара и Колю на это дело.

Онисима пришлось оставить. С ним делалось дурно от вида этих ужасных, посиневших трупов со стеклянными глазами, кучей наваленных друг на друга, от трупного зловония, шедшего из окопов.

Мы потребовали, чтобы трупы хорошенько засыпали землей и вместе с мальчиками выгоняли здоровых взрослых турок на работу.

Докторов не было. Остался только один русский военный врач, все остальные заболели тифом, некоторые умерли.

Постепенно заболевали американцы. Сначала заболел сыпным тифом доктор Рассел, позднее г-жа Ярроу и ее муж.

Работать было некому.

Я боялась за своих студентов, особенно за Онисима. Он был единственным сыном. Пожилые родители души в нем не чаяли. И вдруг заболеет? – думала я. Как я отвечу перед родителями? Они отпустили его на мою ответственность.

Я решила отправить его в тыл.

Через несколько дней после его отъезда я получила известие, что Онисим заболел сыпным тифом и отправлен в больницу в Эривань.

Единственным медицинским персоналом, оставшимся в Ване, были военный врач и я. Об отдыхе нечего было и думать. Мы работали не покладая рук, без сна и почти без еды.

Мистер Ярроу умирал. Лицо синее, пульса почти не было. Цианоз. «Умрет, наверное, – сказал доктор, безнадежно махнув рукой. – Ну, влейте соляной раствор».

Нам – сестрам – не полагалось этого делать. «Но как же, доктор? Мне надо к другому больному...» «Давайте кофе с коньяком и три раза в день инъекции камфоры...» – Доктор повернулся и ушел.

Американец выжил. Но заболел мой санитар и через несколько дней – Коля Красовский.

Что было делать? Оба мои помощника – Онисим Денисенко и Коля Красовский заболели сыпным тифом! Онисима я успела отправить в Игдырь и положила его в госпиталь. Коля Красовский поправлялся в Ване, и при нем остался наш ординарец.

Но несколько сот курдок, турчанок – больных, раненых – умирали без ухода в бывших американских школах, без мебели, без кроватей, со скудной пищей, которую варили курдки и турчанки из кукурузы. Каждый день умирало около 20 человек от трех видов тифа, главным образом, сыпняка.

Как известно, главные передатчики сыпного тифа – вши. Наши белье и платье, особенно в складках, были полны этими отвратительными сонными, вялыми белесыми насекомыми, и избавиться от них было невозможно. Шелковое белье было пропитано белым дегтем, стирали его ежедневно, но к вечеру все тело было искусано и бешено чесалось. Так не могло продолжаться.

Я пошла к командующему генералу. Генерал меня не принял. Он открыл окно. «Что вам нужно, сестра?» Генерал не вышел ко мне, вероятно, боялся от меня заразиться. Говорил со мной, высунувшись из окна.

– Ваше превосходительство, мне нужно 30 повозок, запас кукурузы, муки, стадо баранов... и...

– Что? Что такое? – Генерал в ужасе на меня смотрел. – Почему? Зачем?

Я объяснила ему:

– Школы, где находятся больные турчанки, на горе. Они переполнены больными. Много больных сыпнотифозных, громадная смертность. Ручей с горы течет вниз, где расположены военные казармы. Надо убрать всех из школ и отправить в их деревни. Этим вы спасете дивизию и мусульманских женщин, детей и стариков, которые заражаются друг от друга в тесноте, в грязи и во вшах.

– Хорошо, дайте мне подумать, сестра.

И дня через два появились подводы, стадо баранов и продовольствие. Надо было видеть радость женщин, когда они уезжали. Они что-то бормотали по-турецки, некоторые снимали с себя браслеты и ожерелье из каких-то камней, от которых я с трудом отказывалась. Им чем-то хотелось выразить свою благодарность и радость: «Ханум, ханум». Когда через несколько дней я уезжала из Вана, я по дороге встретила улыбающуюся во весь рот турчанку с глиняным кувшином на голове. «Ханум, ханум», – говорила она и что-то добавляла по-турецки. Я только поняла, по всему ее виду, – она была счастлива.

Бог с ним, с шофером!

Дело мое было закончено. Оставаться в Ване было незачем. Я оставила Колю Красовского с санитаром в Ване. Он поправлялся, но был еще очень слаб.

Генерал дал мне свой автомобиль с шофером, чтобы доехать до перевала. Дальше надо было ехать на двуколке или верхом.

Доехали до перевала, стали подниматься. Автомобиль застрял. Вместе с шофером мы столкнули его вниз, в лощину, чтобы не видно было с дороги. Боялись, что ночью нападут курды. Делать было нечего – надо было здесь переночевать.

После трех недель без сна безумно хотелось спать.

Глаза слипались. Я села на заднее сиденье и уже засыпала, как вдруг шофер тоже полез назад, собираясь сесть рядом со мной. Не знаю почему, я испугалась.

– Садитесь вперед, – сказала я строго.

– А почему?

– Вы слышали мое приказание? Садитесь на переднее сиденье!

– Я не понимаю почему. В случае нападения курдов я защищать вас буду. Я военный человек. Дайте мне ваш револьвер.

– Вы слышали, что я сказала? Делайте то, что вам приказано. – Он нехотя отошел. Описывать, что было дальше, я не могу. Непристойные жесты, грязные слова...

Я вынула револьвер из кобуры, висевшей у меня на ременном поясе, и взвела курок.

«Двинется, буду стрелять», – думала я.

И так просидела я до рассвета, следя за каждым движением ополоумевшего человека. Какая это была бесконечная, длинная ночь! Глаза слипались, мутилось в голове, все тело болело от напряжения. Спать, спать! Закрыть глаза на секунду и заснуть. Но я знала, что тогда пропаду. Отнимет револьвер, и я с ним не справлюсь. От ужаса сон улетучивался, но только на время. Я щипала себя, старалась волнующими мыслями отогнать сон. Ничего не помогало. Спать, спать! Но

при малейшем движении шофера – палец был уже на курке. Я была готова его нажать.

«Куда стрелять? В руку, в ногу?» – думала я. Убивать его я не хотела. Как ни противен и гадок был мне этот человек, я не хотела брать на свою душу убийство.

Но вот, наконец, чуть забрезжил свет. Из-за гор медленно всходило солнце. Я осмотрелась. Горы кругом. Мы в лощине, над нами узкая дорога...

И вдруг загромыхали по дороге повозки. Пулей выскочила я из автомобиля. Смотрю, солдаты на двуколках везут в починку колеса... «Братцы, братцы! кричу. – Остановитесь, возьмите меня с собой!»

Остановился один.

– Что ты, сестрица? Откуда?

И я все ему тут же рассказала, как родному, и не выдержала, расплакалась. «Ох, ты моя бедная. Ишь, пес похабный, напугал как. Садись, сестрица!» Солдатик принес мои вещи из автомобиля. Посадил меня сверху на колеса, я даже не оглянулась на шофера и, как только тронулись, заснула мертвым сном. А когда проснулась, увидела, что солдат меня обнял и держит за ремень, чтобы я не свалилась с двуколки. «Пить!» Слез солдат, снял картуз, зачерпнул воды из какой-то лужицы: «Пей, сестрица!»

Не помню, как доехала. Спала всю дорогу.

В Игдыре в эту ночь я спала как убитая. На другое утро я поехала в Эривань к Онисиму. Он уже поправлялся.

Вероятно, если бы я донесла на шофера, его бы предали военно-полевому суду, но я не хотела этого делать. Главное, что ничего плохого не случилось. Бог с ним!

Приехав в тыл, я узнала, что около двух месяцев наш большой отряд сестер и врачей Всероссийского Земского Союза, сидя в Тифлисе, изнывал от безделья, ожидая назна-

чения. А какое громадное поле деятельности могло бы быть для них в Ване!

Очевидно, Полнер, отступивший с нашим отрядом из Каракалисы, не успел подумать о посылке подкрепления в Ван и, не получая от меня известий, не представлял себе положения, в которое мы попали. Из Каракалисы наш отряд под командой начальника отступил в полном порядке.

– Жалко, что курочки мои и коровы пропали, – сказала я нашему начальнику.

– О нет, – ответил он, смеясь. – Я ничего туркам не оставил. Всех ваших кур забрали – и коров я угнал с собой.

Мои студенты, слава Богу, поправились, и я отправила их домой, к родителям в Новочеркасск.

Я долго не могла отделаться от тропической малярии, болела годами.

Чувствуешь себя совсем здоровой и вдруг начинаешь дрожать. Пароксизм длится около суток. Озноб подкидывает тебя на кровати, зубы стучат, покрываешься несколькими одеялами – ничего не помогает. Температура поднимается до 41°, 42°. Через несколько часов пот – температура падает. Человек здоров, только большая слабость.

За мной приехала из Москвы моя бывшая секретарша, и мы с нею жили в прекрасной гостинице. Попав в цивилизованный город Тифлис, я бегала по магазинам, покупала одежду, так как все платья висели на мне, как на вешалке. Я потеряла около 40 фунтов.

Вечером мы до поздней ночи сидели в ресторане, ели шашлык и слушали хороший оркестр. Но надо было ехать домой и приниматься за работу.

На западном фронте

В деревне я пробыла недолго. Без моих любимых рысистых лошадей было скучно. Хозяйство тряслось понемногу

под управлением надежного и честного человека, который работал у меня уже несколько лет. В Ясной Поляне спокойно жили моя мать и сестра Таня с дочкой. Мама́ целый день сидела в кресле и подремывала. Она уже плохо видела, не могла ни читать, ни писать, мало чем интересовалась.

Я пробыла с ними несколько дней и уехала в Москву.

Когда работаешь на фронте, погруженная в ежедневную рутинную работу – уход за больными, ранеными, – по правде сказать, не думаешь о политических и военных событиях, но, вернувшись в тыл, я сразу попала в сеть сплетен, разговоров о том, что происходило при Дворе, о неудачах на фронте, о разрушительной работе социалистов, которые где только могли подрывали власть. Все мыслящие люди: лучшая часть аристократии, интеллигенты – с ужасом наблюдали все увеличивающуюся активность пропаганды, с одной стороны, и разрушение царского престижа – с другой.

Особенно возмущались государыней, влиянием на нее Распутина и ее вмешательством в дела государственного порядка. Распространялись глупые сплетни, во многом винили приближенную царицы Анну Вырубову. В Государственной думе шли интриги. Члены Думы обвиняли военных в шпионской деятельности... Обвиняли полковника Мясоедова и министра Сухомлинова за отступление на Юго-Западном фронте. Рассказывали, что военный министр послал сражаться армию, вооруженную палками вместо винтовок; в Москве народ громил немецкие магазины.

Всюду шло брожение, начиная со столицы, недовольство, растерянность на верхах, в Ставке; в Думе шли бесконечные, ни к чему не приводящие разговоры. В тылу все было неясно, путано, сосредоточено на собственных эгоистичных интересах. Люди не думали о том, что тысячи гибли на фронте из-за их неорганизованности, интриг, карьеризма. Они не хотели, а может быть, даже не могли себе представить страданий, пе-

реживаемых людьми на фронте. Тыл и фронт представляли собой нечто совершенно различное, между собою не связанное.

Мне было больно и противно слушать тыловые разговоры. Я старалась не вникать в них, меня тянуло на фронт, и я обрадовалась, когда получила новое назначение на Западный фронт в качестве уполномоченного Всероссийского Земского Союза и поручение организовать на Западном фронте работу с детьми.

Многие семьи, жившие в прифронтовой полосе, не захотели эвакуироваться в тыл и, несмотря на ежеминутную грозящую опасность, продолжали жить в своих домах около самого фронта. Дети остались без школ.

Мне поручили организовать школы-столовые по всему Западному фронту.

Представленный мною доклад был одобрен Всероссийским Земским Союзом, и я поехала в Москву нанимать персонал. Около 200 учительниц отозвалось на мое объявление в газетах.

В коротком слове я объяснила учительницам их задачи, опасность и трудность их работы.

Окончив свое слово, я вызывала каждую учительницу отдельно, беседовала с ней и задавала ей несколько вопросов.

Все они или были на курсах, или только что окончили высшее образование. Меня главным образом интересовал вопрос их побуждений.

– Почему вы хотите работать на фронте? – спрашивала я у молоденькой хорошенькой девушки с белокурыми локонами.

– Ах, это так интересно, так волнительно... – Не годится, решаю я мысленно, записываю ее фамилию, ставя против нее минус.

– Мне хочется приключений, перемены... – отвечает другая. Опять минус.

– Нельзя же в такое тяжелое время сидеть в тылу, – отвечает некрасивая, гладко причесанная курсистка. – Пожалуйста, возьмите меня... – Плюс.

– Я люблю детей. И подумать только, что они не учатся и живут в таких тяжелых условиях. Я хотела бы поработать для них. – Плюс.

Так я набрала около 60 сестер и учительниц, как оказалось на практике, я не ошиблась ни в одной из них. Они работали превосходно.

То же самое я проделала с заведующими хозяйством. Чудесная оказалась молодежь – идейная, работящая.

В Минске мне предоставили квартиру из двух комнат, с ванной и кухней, реквизированную у какого-то очень посредственного художника. Я ахнула, когда вошла. Все стены были увешаны бездарными картинами, изображающими голых женщин во всевозможных позах.

В Минске я бывала редко, только на заседаниях уполномоченных, и квартиру свою с голыми женскими телами на всех стенах не любила.

Почти все время я была в разъездах. Надо было найти помещения для детских школ-столовых, наладить снабжение, достать оборудование и пособия для школ. Некоторые школы-столовые пришлось устроить под землей, в блиндажах. Молодежь работала без устали, с увлечением, и в течение нескольких дней школы-столовые были организованы. Дети в прифронтовой полосе не только учились, но и получали горячую пищу.

Работа была нелегкая. Дети и персонал подвергались постоянной опасности. Иногда немецкие бомбы с аэропланов разрывались совсем близко от школ-столовых.

– Мы все уже спали, – рассказывал заведующий хозяйством об одном из случаев обстрела. – Проснулись от страшного взрыва, совсем около нас, одна бомба, другая... Мы перепугались и, как были, в ночных рубашках, побежали в

столовую. Упали на пол, лежим... Одна сестрица под стол со страха залезла... Прошло несколько минут, настала тишина. Аэроплан улетел. Подымаемся с пола, а Валентина Павловна, как бросилась на пол, от страха закрыв голову подолом ночной рубашки, так и лежит, как мать родила! Столько потом смеха было!

Я объезжала одну столовую за другой. В Пинских болотах к школе нельзя было ни пройти, ни проехать. Меня переправили на лодке. Вхожу. Просторное помещение, сидят ребята за партами, пишут, а одна из самых моих любимых учительниц, здоровая, круглолицая, с вздернутым носиком, Зина Иванова ходит по классу, что-то держит в руках, покачивает и диктует ребятам.

– Что это, Зина? Ребенок?

– Ну да, ребенок. На днях отца и мать снарядом убило. Куда же его денешь? Я и подобрала его. Что теперь делать – не знаю... Я с ним замучилась. Надо ребят учить, а тут еще с грудным ребенком возись... Куда я его дену?

И вот я еду обратно в Минск с ребенком на руках. Держать я его не умею, того и гляди уроню. Кричит, отрыжкой запачкал платье. Сую ему соску в рот, которую дала мне Зина, чтоб не плакал.

Приехала домой к вечеру. Отвезла младенца в приют. Дома встречают меня мои друзья-уполномоченные.

– Что так поздно? Мы вас заждались... Где вы были?

– Ребенка в приют отвозила. – Хохочут...

– Чей? Какого ребенка? Откуда?

– Из Пинских болот.

Настроение, вижу, у них веселое, что-то они придумали, а мне не до смеха. Жалко было ребенка отдавать, да и устала я, хотелось отдохнуть.

Я все еще была под впечатлением Пинских непроходимых болот, ребят, с собачьей преданностью ловящих каждое

слово и движение своей самоотверженной учительницы; ребенка, оставшегося без отца и матери, опасности, в которой ежеминутно находились дети и учительницы. И я не разделяла их легкомысленного веселого настроения, но когда вошла в дом – я ахнула. А моим ответственным серьезным друзьям-уполномоченным во главе с моим другом только этого и надо было... Они, оказывается, провели у меня на квартире весь вечер.

Голых женщин на стенах больше уже не было. Все они были аккуратно и красиво одеты. Тут были дамы в модных платьях, балерины, матрешки... Красные, желтые, синие, зеленые... Бумажные платьица, юбочки, кофточки были аккуратно приклеены к полотну.

– Варвары, – орал художник, на другой день увидев свои картины, – тоже культурными людьми называются. Это профанация искусства, низость, подлость!

И когда я уехала на фронт, художник снова раздел всех своих женщин.

Госпиталь на 400 коек

Закончив организацию школ-столовых, я передала их своей невестке – жене моего брата Ильи – Софье Николаевне Толстой. А мне было приказано немедленно организовать подвижной санитарный отряд Всероссийского Земского Союза с тремя летучками и базой.

Надо было запастись продуктами, организовать санитарный транспорт, пригласить 8 врачей, хозяйственный и административный персонал, около 30 сестер милосердия, и все это, по распоряжению главного уполномоченного, в течение 10 дней.

Я не слезала с автомобиля. К счастью, ко мне перешла часть медицинского персонала, работавшего со мной в Турции и в детских столовых: женщина-врач, с которой я рабо-

тала как сестра в санитарном поезде, и несколько сестер из турецкого отряда. Старшим врачом был назначен мой большой друг – бывший врач моего отца Д. В. Никитин, с которым я работала в Ясной Поляне в организованной мной амбулатории и в начале войны в его Звенигородской больнице.

Команду – около 250 человек – я получила немедленно. Но самое трудное оказалось получить лошадей. Я пошла к начальнику транспорта.

– Мне нужно срочно получить 300 лошадей, – говорю я ему. – По распоряжению главного уполномоченного отряд должен выйти на фронт через неделю.

Довольно неприятное его лицо покраснело, скривился рот от злости: «Лошадей нет! Я вам уже раз сказал...» Неприятный был человек.

– Должны быть!

– Это ваше дело! А лошадей нет! Сколько раз прикажете вам повторять, – он стал что-то писать, не обращая на меня внимания.

– А я вам приказываю на основании распоряжения главного уполномоченного немедленно дать мне лошадей.

Я разозлилась, да так хватила рукой по столу, не видя по близорукости иглу, на которую накалывают бумаги, что проткнула руку насквозь. Я вырвала иглу из руки, кровь залила письменный стол. Он перепугался.

– Что сделать? Как вам помочь? Вызвать доктора?

– Не надо. Дайте лошадей.

Лошадей я получила. Но это были полудикие степные киргизы. Пришлось их вместе с командой объезжать.

И вот я опять верхом на лошади. Подо мной небольшой, горячий пегий киргиз, неплохой, но хуже моего кавказского кабардинца Алагеза. Я еду, как полагается, впереди отряда.

Мне холодно, трясет, хотя воздух теплый – весна. Немного не доезжая Молодечно, останавливаемся в сосновом лесу.

Пока команда разбивала палатки, я была уже почти без сознания. Меня трясло, болела голова, ломило все тело. Наконец, уложили меня на койку. Сестры накрыли меня несколькими одеялами, поставили градусник. Больше 41°. Тропическая малярия. Наутро слабость, но надо идти дальше, и я опять на коне.

Отряд делится на летучки, которые идут в трех разных направлениях, база недалеко от Молодечно.

И началась работа. Привозили раненых и больных с передовых позиций, перевязывали и отправляли в тыл.

Начальникам летучек было приказано устраивать ночные тревоги. Персонал был недоволен, что их иногда будили по ночам, сестры ворчали, но после нескольких тревог мы, наконец, добились, что через 20 минут после приказа отряд был готов к выступлению. Хомуты висели возле каждой пары лошадей. Каждый санитар и каждая сестра знали, как собрать палатки, оборудование, медикаменты.

И было все спокойно, пока снова не получили приказ от командующего дивизией – в три дня развернуть в Залесье под Сморгонью госпиталь на 400 коек.

– Невозможно, – говорю я главному нашему уполномоченному В. В. Вырубову. Как я могу в такое короткое время достать большие палатки для госпиталя, кровати, оборудование, хирургические палатки...

Вырубов засмеялся:

– И вы мне это говорите... Александра Львовна, а если наступление...

– Слушаюсь. Будет сделано.

И опять трое суток я не вылезала из автомобиля. Я загоняла наших двух шоферов, Черенкова – молодого славного русского парня, и старшего шофера, поляка – пана Ковальского, которые ездили со мной по очереди.

Молодечно, Минск… С трудом выпрашиваю оборудование, опять неприятные разговоры с начальником транспорта – я требую добавочных лошадей.

Но на четвертый день я доложила Вырубову, что госпиталь на 400 коек развернут, и мы готовы принимать больных и раненых.

На фронте было тихо. Шла обычная работа, привозили больных, раненых. Немецкие аэропланы пролетали над нами и изредка бросали бомбы недалеко от нашего отряда. Помню одну ночь. Я собиралась идти спать. И вдруг знакомый шум аэропланов ближе, ближе. Где-то разорвалась одна бомба, другая. В одном белье, разутые, взлохмаченные санитары, побросав больных, бежали в блиндаж. Впереди всех летел наш пес Рябчик. Он панически боялся обстрелов и при первом звуке летящего аэроплана первый мчался в блиндаж.

– Куда?! – заорала я не своим голосом. – Больных бросать? Обратно! Под ружье, мерзавцы!.. – Не помню, что я еще кричала.

Санитары послушались. Аэропланы – один, другой, третий – летели над отрядом. Все попрятались в блиндажи, в палатки. Светлая лунная ночь. Ни облачка. С высоких, стройных старых сосен ложатся тени на покрытую иглами землю. Я брожу одна между палатками. Мне так страшно, что я готова бежать сломя голову от этого звука аэропланного полета над самой головой, от разрывающихся где-то здесь, совсем рядом, бомб, от этих безмолвных равнодушных сосен. Я не могу победить этот животный дикий страх…

– Какая вы храбрая… Я пришла к вам, чтобы вам не было так страшно одной. – И маленькая, худенькая, с вьющимися волосами, некрасивая женщина-врач стала рядом со мной…

– Я не храбрая, доктор, я боюсь быть под землей… я трусиха… А что, если бомба попадет в блиндаж и засыпет землей… Я боюсь…

Но убедить людей, если они во что-то поверили, – нельзя. Создается незаслуженная репутация.

Трудно мне было, особенно вначале, справляться с санитарами.

Мне помогли три обстоятельства. Мое знание и умение обращаться с людьми. Ничем, казалось бы, я не могла бы больше заслужить уважение команды, чем когда я, подняв ногу захромавшей лошади и зажав ее между колен, показывала кузнецу, как надо подковать лошадь на полоски, чтобы она не засекала задними ногами передних. Команде нравилось, что большей частью я не ела персональную пищу, а мне ежедневно приносил кашевар пробу из солдатского котла. Но я заслужила полное доверие команды после того, как откомандировала фельдфебеля, ударившего по щеке одного из солдат. Дисциплина была необходима. Чтобы ее поддержать, мне пришлось уволить одну из сестер, которая позволила себе с ухаживавшим за ней артиллерийским офицером стрелять из пушки по немцам. Не сестринское это дело убивать людей – даже врагов.

Я никогда не поверю, что люди не боятся обстрелов, бомб, ружейных атак. Все боятся. Весь вопрос в выдержке, в умении владеть собой и не показать свой страх.

Станция Залесье, где мы стояли, в шести верстах от Сморгони, в прифронтовой полосе.

Я спала, когда немцы нас обстреляли. Мне казалось, что снаряды рвутся рядом. Бах! Бах! От страха я свалилась с кровати.

– Вы живы? – кричу женщине-врачу через стенку. – Где вы?

– Под кроватью, – отвечает.

– И я тоже!

Бах, бах! Я вскочила, оделась. Но при каждом взрыве снаряда голова уходила в плечи, склонялась вперед. Что делать?

Не могу же я показать санитарам свою трусость. Выхожу. Вижу – санитары сломя голову бегут в блиндаж.

– Куда? Назад! – И когда, водворив санитаров по местам, я пошла по отряду, я заметила, что иду прямо, не кланяясь, не дергаю шею. Куда же девался страх?

– Где начальник транспорта? – спрашиваю.

– Уехал! – кричит мне д-р Никитин. – Орал во все горло санитарам: спасайтесь, кто может! Сел верхом на свою лошадь и ускакал.

– Еще одного придется откомандировать, – думаю. Через час обстрел кончился. Станция Залесье разрушена. Стали привозить раненых.

* * *

В Минск я ездила редко. Раза два приезжала моя племянница Анночка, дочь моего брата Ильи и Софьи Николаевны, которая приняла от меня детские столовые.

Некоторые уполномоченные жили в Минске, некоторые, как я, работали на фронте и приезжали в город по делам, а вечером собирались в квартире уполномоченных на Захарьевской улице.

Многих из них я знала еще с ранней юности. У Анночки был чудный голос низкое контральто, у меня довольно слабое, но верное меццо-сопрано. Мы пели цыганские песни, дуэты, я аккомпанировала на гитаре. Иногда танцевали. Веселились до рассвета, а рано утром, не ложась спать, ехали на работу.

Один раз Вырубов меня задержал, и я возвращалась в отряд под вечер. Когда подъезжала к Залесью, черная кошка перебежала дорогу. Было неспокойно на душе, тоскливо. «Почему? – думаю. – Не кошка же тому причиной!»

Но, подъехав к палаткам, я сразу поняла, что что-то случилось. Поняла по лицам персонала, по всей мрачной, беспокойной атмосфере.

Семь человек санитаров были убиты бомбой с аэроплана, два врача ранены, белокурая, с вьющимися волосами женщина-врач тяжело ранена в бедро.

Мой крошечный фанерный домик был насквозь прострелен. Осколком бомбы пробило эмалированный кувшин, который так и остался стоять на окне, и портфель. Эти последние немецкие бомбы разрывались со страшной силой не вверх, а горизонтально над землей.

Если бы главный уполномоченный не задержал меня, я была бы убита!

Судьба!

Газы

Мне надо было посещать все три летучки, но вторая и третья были далеко от передовых позиций. Там было меньше работы и меньше опасности, и я большую часть времени проводила в первой летучке.

Шли слухи, в связи с приказом развернуть госпиталь на 400 человек, что наши готовятся к наступлению.

Получаю приказ: сейчас же, не теряя времени, выдвинуть отряд с врачом, сестрами и санитарами в Сморгонь и разместиться в блиндаже около ходов сообщения. Отдаю приказ по отряду, и минут через двадцать выступили.

Старый сосновый лес, за ним лощина, гора. По этой стороне горы – наши позиции, по другую – немецкие. У подножия горы – наш блиндаж. Разместились. Ждем. Наступления нет. Висят две немецкие «колбасы». Изредка вокруг нас разрываются немецкие шестидюймовые снаряды. Когда снаряды попадают в реку Вилию и брызги летят во все стороны – солдаты довольны:

– Ишь, немчура фонталы пускает!

А когда снаряды не разрываются: «Клевок! – радостно гогочут солдаты. Видно, у немчуры снаряды подмокли!»

– Ваше сиятельство! – обратился ко мне молоденький офицер. – Его превосходительство требует вас к себе, я провожу вас.

По узким ходам сообщения мы дошли до глубокого низкого блиндажа. Войти в него можно было только согнувшись. За столом, покрытым бумагами, сидел генерал.

Он доверительно сообщил мне, что наша армия готовится перед рассветом к наступлению. Расспросил меня о медицинском персонале, о числе санитарных повозок, госпитале.

– А между прочим, – улыбаясь, сказал генерал, – вы знаете, где мы сейчас находимся? Мы под немецкими позициями...

Меня это поразило: «Как, над нами немцы? Мы так глубоко под землей?»

– Ну да, мы под немцами.

Мы напряженно ждали. В два часа утра мы заметили, что, разрываясь, немецкие снаряды выпускали желтый дымок. Он расстилался по лощине, и от него шел запах хлора.

– Маски! Маски надевайте!

Прошло с полчаса. Снаряды, начиненные газом, продолжали разрываться в лощине, которая постепенно покрылась густым желтоватым туманом.

– Чтой-то вишней запахло, братцы!

Цианистый калий! Опять этот ужасный, животный страх! Дрожали челюсти, стучали зубы.

И вдруг я вспомнила, что три санитара остались на дворе с лошадьми и у них нет масок. Я схватила три маски, но не успела выйти, как сестра их выхватила.

– Брось, сестрица! Это не сестринское дело! – Два санитара отняли у нее маски и побежали к лошадям. И снова, как при

обстреле тяжелыми снарядами, совершенно неожиданно страх пропал.

Стали подносить раненых. Артиллерийский бой разгорался. Били тяжелыми снарядами с обеих сторон. Отдавать распоряжения в маске Зелинского, только что заменившей упрощенные маски-намордники, как их называли наши солдаты, – было невозможно.

Я сорвала маску, чтобы отдавать необходимые приказания. Сквозь шум и треск тяжелой артиллерии ничего не было слышно. Надо было кричать во все горло.

– Кривая Машка ушла! – кричал мне на ухо один из санитаров. – Прикажете пойти посмотреть, где она?

Кривая Машка, лопоухая кобыла, возила нашу аптеку. Она как-то отвязалась и ушла домой и, как мы потом узнали, каким-то чудом осталась жива, благополучно доставив пустую повозку в Залесье.

– Ты что? С ума сошел, тебя убьют, как куропатку! Аптека выгружена?

– Так точно.

– Ну и не ходи никуда...

«Наверное, так в аду», – думала я.

Уже не слышно было раздельных разрывов снарядов, все смешалось в сплошной гул. Дрожала земля, дрожало все кругом.

Весь блиндаж заполнили ранеными. Стоны, крики! Врач и сестры лихорадочно работали, перевязывая раненых. С одним из братьев милосердия от страха сделалась медвежья болезнь. Он не мог работать, ежеминутно бегал в ходы сообщения.

Бой длился несколько часов. Санитары на носилках подносили раненых. Командир полка сорвал маску, чтобы отда-

вать приказания, и умер от отравления газами. Некоторые из нас тоже пострадали.

Рассветало. Вдруг видим, по дороге несется одинокий всадник. Вокруг него рвутся снаряды. Он скачет во весь опор. Что это он держит в правой руке?

– Это мой вестовой, – говорит нам молоденький офицерик. – Вот идиот, ведь его могут каждую минуту убить!..

– Ваше благородие! – подскакав к блиндажу, кричит солдатик, ласково улыбаясь. – Не сердитесь, ваше благородие. Я знаю, вы три дня не емши, я вам горяченьких щец привез!

– Ну и дурак же ты... – и голос молоденького офицерика задрожал. Зачем... ведь жизнью рисковал... дурной...

Немецкая «колбаса» еще висела, но стало тише.

Надо было возвращаться в отряд. Старший шофер пан Ковальский повез меня в Залесье.

Лощина, по которой мы ехали, еще обстреливалась. Но когда мы выехали, огонь усилился. Очевидно, немцы думали, что в автомобиле едет важный генерал.

И вдруг, совершенно для меня неожиданно, машина свернула в сторону, забуксовала и остановилась.

Пан Ковальский лежал ничком на руле. Я видела, как побледнела и его шея, уши, как рука безжизненно опустилась.

– Пан Ковальский! – заорала я не своим голосом. – Опомнитесь!

Но пан Ковальский не слышал. Он был в глубоком обмороке.

Мне никогда не приходилось бить мужчину. Но положение было опасное. Я тогда еще не умела править машиной, нас могло убить снарядом каждую минуту. Я трясла, била изо всех сил пана Ковальского по шее, по щекам, пока он не опомнился. Мы благополучно доехали до отряда.

В отряде шла напряженная работа. Палаты заполнялись ранеными и, главным образом, отравленными газами. Персонал и санитары не пострадали, масок хватило на весь отряд. Но деревья и трава от Сморгони до Молодечно, около 35 верст, пожелтели, как от пожара. Ночью, во время газовой атаки, начальник транспорта угнал лошадей в тыл, и они не пострадали.

Санитарные повозки работали с утра до ночи. Подвозили отравленных газами и раненых.

На второй день меня вызвал командир корпуса:

– Пошлите транспорт в Залесье за отравленными газами.

– Но, ваше превосходительство, у меня нет больше санитарных повозок – все работают.

– Что у вас есть?

– Грузовые повозки, несколько экипажей для персонала.

– Посылайте все, что есть!

– Но, ваше превосходительство, никого нет, весь мужской персонал с повозками уехал...

– Но неужели вы не можете...

– Слушаюсь, ваше превосходительство, сейчас транспорт выйдет.

И вот я верхом на своем пегаше веду этот странный сборный транспорт.

– Пропуск! – кричит офицер у заставы. «Какой пропуск! Боже мой! Я забыла спросить у генерала...»

– Звоните начальнику дивизии, – говорю. – Я еду за отравленными газами по приказу его превосходительства!

Пропустили.

Забыть то, что я видела и испытала в эти жуткие дни, – невозможно.

Поля ржи. Смотришь, местами рожь примята. Подъезжаешь. Лежит человек. Лицо буро-красное, дышит тяжело. Поднимаем, кладем в повозку. Он еще разговаривает. При-

везли в лагерь – мертвый. Привезли первую партию, едем снова... Отряд работает день и ночь. Госпиталь переполнен. Отравленные лежат на полу, на дворе...

– Сестра! Надевайте халат! – вдруг по-начальнически крикнул на меня доктор Никитин. – Нам нужна помощь!

И вот я по-старому в белом халате. Даю сердечные капли, кислород.

1 200 человек похоронили в братской могиле. Многих эвакуировали.

На пятый день горячая работа затихла. Я падала от усталости. Пришла в свой домик, разделась, ноги распухли, башмаки не слезают, пришлось подрезать.

А через несколько дней, когда все утихло, ко мне, в мою хибарку, влетел начальник транспорта:

– Госпожа уполномоченная! Какой-то важный генерал приехал... Со свитой... Все военные. Просят вас.

Я выскочила и побежала к небольшой группе людей, окружавших приехавших, по-видимому, важных военных. Это были генерал-адъютант государя князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. Я остановилась перед этой важной группой в полном смущении. Зачем приехали эти люди? Что им нужно? И что мне делать? Если бы мы находились в тылу, в светской гостиной, я бы не растерялась, подошла бы к генералу и попросту поздоровалась бы с ним. А здесь, на фронте, все делалось по-военному. Но генерал вывел меня из трудного положения, сразу же похвалил наш отряд и его работу по спасению отравленных газом и спросил меня, кто отличился из отряда в этой страшной атаке. Он тут же наградил, «именем Его Величества Государя Императора», Георгиевскими медалями разных степеней доктора, одну сестру, двух солдат и меня (медалью 2-й степени) и сразу же после этого уехал.

Много лет прошло, а я помню, как будто это было вчера. Вначале, когда разрываются снаряды, из них идет какой-то

грязный серо-коричневый дымок, и ничего не понимаешь. И вдруг ползет что-то похожее на густой туман.

– Вишней запахло! Вишней запахло! – кричат солдаты. «Маски! Маски!» кто-то вопит из блиндажа.

Мы старались уберечь масками не только себя, но и лошадей.

Подруга нашего верного Рябчика, такая же большая и красивая, как он, только что ощенившаяся, во время газовой атаки спасла своих многочисленных щенят. Она, ухватив их зубами по одному за шиворот, всю свою семью перетаскала на один из маленьких островков, образовавшихся в болоте около реки Вилии. Там стояла постоянная влага от воды. Влага эта не пропускала газов. Поняв это каким-то инстинктом, собака-мать спасла всех своих щенят.

Я ничего не испытала более страшного, бесчеловечного в своей жизни, как отравление этим смертельным ядом сотен, тысяч людей. Бежать некуда. Он проникает всюду, убивает не только все живое, но и каждую травинку. Зачем?

Как часто тогда и теперь я вспоминаю своего отца.

В 1910 году отец собирался ехать на мирную конференцию в Стокгольм, но в последнюю минуту – раздумал и был рад, что не поехал.

Одна бессмысленная болтовня. Какой смысл во всех этих конференциях, бесконечных рассуждениях о мире, если не принять учения Христа и заповеди «не убий» как основной закон. Или необходимо добиваться полного разоружения всех стран, или продолжать то, что сейчас происходит: допущение орудий разрушения для защиты. Но где граница? У одной страны 50 000 войска, другая мобилизует армию в 100 000 для защиты страны, и так до бесконечности. И пока люди не поймут греха убийства одним другого – войны будут продолжаться.

А результаты войны? Падение нравов, революции.

Начало конца

Уже в 1916 году в воздухе чувствовалась большая напряженность. В больших городах начались забастовки.

Пропало обычное русское добродушие, в воздухе висела скверная брань, люди толкались, отвечали неохотно и грубо на вопросы.

Пропало уважение к царской семье, пели частушки про Сашку и Николашку. Грязные и глупые, ни на чем не основанные сплетни об императрице Александре Федоровне росли. Рабочие распустились. То и дело в газетах писали о крушениях поездов; где-то что-то назревало большое, неизвестное, страшное, страшнее войны...

А люди в тылу жили по-прежнему: наживались, с жадностью гоняясь за лишним рублем, беспечно веселились, читали газеты...

Победы, поражения, «На Западном фронте без перемен». Военного министра Сухомлинова отдали под суд.

А в тылу события принимались легко, поверхностно... Точно люди были под гипнозом – не слышали, не видели, не понимали того, что происходит. Не видели темных грозовых туч, медленно ползущих и застилающих поверхность земного шара.

В отряде мы тоже жили своими маленькими интересами.

Было тихо. Изредка над нами пролетали аэропланы; раза два немцы обстреляли нас шрапнелью. Но никого не ранило. Шрапнель, разрываясь, противно визжала, и осколки ее, как на пружинах, подскакивали на крышах палаток. Как сейчас помню, поляк портной шил на машине около палатки. Когда осколки шрапнели стали падать около него, он спокойно и деловито перенес свою машину в другое место и продолжал работать.

Во всех трех летучках люди делали свое дело. Лечили больных, перевязывали раненых.

Но во второй летучке было неблагополучно. Врач издевался над царской семьей, критиковал режим и всегда косо и недружелюбно смотрел на меня, когда я к ним приезжала. Он был дружен с одной из сестер, и они постоянно о чем-то таинственно беседовали.

Впоследствии, после переворота, этот врач устроил целую большевистскую революцию во второй летучке, и мне пришлось ее расформировать.

Вероятно, везде, во всех частях и отрядах были скрытые советские агенты, о существовании которых никто и не подозревал. Одним из таких крупных агентов, спрятавшимся под видом помощника уполномоченного, в нашем Всероссийском Земском Союзе был товарищ Михаил Фрунзе.

Много позже, после опалы Троцкого, Фрунзе был назначен главенствующей тройкой – Сталиным, Зиновьевым и Каменевым – военным комиссаром и до конца своей жизни был одним из виднейших членов коммунистической партии.

Никто никогда не узнает, отчего погиб Михаил Фрунзе. Умер ли он естественной смертью или, как говорили в Москве, был убит по приказу Сталина.

В Земском Союзе он вел себя скромно. В обществе уполномоченных в Минске, на Захарьевской, 63, его не принимали. Был он не свой, хотя и держал себя преувеличенно почтительно со всеми нами.

Молча, склонив голову, выслушивал распоряжения. «Слушаюсь, так точно...» И действительно, точно и аккуратно выполнял порученное ему дело. Его считали ничтожеством. Я не помню его лица. Такие лица ничтожных, бледных людей не запоминаются. В его лице не было ни характера, ни силы.

* * *

Во второй части эпилога «Войны и мира» Толстой задает вопрос: «Какая сила движет народом?» И отвечает: «Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов».

«Если источник власти лежит не в физических и не в нравственных свойствах лица, ею обладающего, то очевидно, что источник этой власти должен находиться вне лица – в тех отношениях к массам, в которых находится лицо, обладающее властью.

Власть есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей».

Власть? Но почему же народ избрал коммунистическую власть? Думаю, что ответ один и Толстой так же на него ответил – отсутствие веры.

Перестала гореть ярким огнем вера в русском народе, и угасла духовная сила, которая одна могла бы противоборствовать грубой, жестокой и беспринципной силе 3-го Интернационала.

Как талантливый поэт Волошин сказал о России:

И пошла оборванной и нищей
И рабой последнего раба.[15]

---

[15] Из стихотворения «Святая Русь», написанного 19 ноября 1917 года.

Часть II. Проблески во тьме

Революция

Надо мной склонилось толстое красное лицо со вздернутым носом. Лицо улыбалось, и это раздражало меня.

Болела рана. Я лежала в минском госпитале, мне только что делали операцию. К пиэмии прибавилась тропическая лихорадка, которую я подхватила, работая на Турецком фронте. В голове было мутно от очень высокой температуры.

Но болезнь не волновала меня. Революция? Что-то будет?

Чему сестра радуется? Сверкают белые ровные зубы, смеются маленькие серенькие глазки, утопающие в складках полного лица. Почему ей так весело?

Мой любимый доктор, пожилой благообразный еврей, вошел в комнату, сел у кровати и взял мой пульс.

– Скажите, доктор, как дела?

– Хорошо, рана скоро заживет. Высокая температура от малярии.

– Я не об этом… Я о революции, что происходит? Есть ли какие-нибудь перемены?

– Да, Великий Князь Михаил Александрович отрекся от престола.

– Боже мой!.. Значит… Пропала Россия…

– Да. Пропала Россия! – печально повторил доктор и вышел из комнаты.

Сестра продолжала глупо улыбаться.

* * *

Первое время ничего не изменилось на фронте. Солдаты продолжали сидеть в окопах, вяло перестреливаясь с немцами. В ближайшем тылу топили землянки, варили пищу, резали дрова, несли дежурство. Правда, вместо «благородия» появилось совершенно бессмысленное и не менее буржуаз-

ное обращение солдат к офицерству: «господин подпоручик», «господин полковник»; кое-где само офицерство догадывалось снимать погоны, кое-где посрывали их солдаты. Так же скучали в бездействии санитарные отряды, офицерство ухаживало за сестрами.

Но все, и офицерство, и сестры, и врачи, и земгусары, – все делали вид, что не только изменилось правительство, и вместо Николая II стала у власти группа интеллигентов, а что изменились они все. В течение нескольких дней не только солдаты, но и весь командный состав изменил государю. Монархистов не осталось среди офицерства. Легко и просто вдруг стали вежливы с солдатами, перешли на «вы», прибавляли к приказу «пожалуйста».

Я выписалась из госпиталя, когда рана не вполне еще зажила. Доктор назвал меня безумной, но отпустил. В самую распутицу, в марте, я приехала в отряд.

– Вас ждут санитары, – сказал начальник летучки, – когда вы можете пойти к ним?

Этого никогда не было. Но теперь все было по-иному, я вступила в исполнение своей роли.

– Хорошо, соберите команду! – сказала я.

– Здравствуйте, санитары! – поздоровалась я, входя.

– Здравия желаем, – ответили они, – господин... госпожа уполномоченный.

– Граждане! – сказала я. – За это короткое время Россия пережила великие события. Русский народ отряхнул с себя старое царское правительство...

Слова были как будто «самые настоящие», но было мучительно стыдно. Я продолжала и, когда не хватило слов, крикнула:

– Урра! Да здравствует свободная Россия!

– Урраaa! – подхватили солдаты. Меня окружили, хотели качать. Я в ужасе схватилась за больной бок. Начальник летучки спас, качали его.

* * *

– Дозвольте спросить, госпожа уполномоченный, по какому случаю летучка перемещается?

– Приказ начальника дивизии.

– Почему же именно на это место в лощину?

– Мы с начальником летучки лучшего места не нашли.

– Дозвольте сказать. Не мешало бы отрядному комитету осмотреть местность, обсудить...

Коллективное начало вступало в свои права, надо было с ним считаться. Осматривали местность пять человек. Обсуждали, спорили. Лучшего места не нашли и, потеряв три дня, остановились, наконец, на той же лощине, которую мы выбрали с начальником летучки. Не успели расположиться, как немцы нас обстреляли.

Было еще темно. Я проснулась от знакомого звука. Забухали тяжелые орудия, один за другим просвистели тяжелые снаряды.

Встрепенулись люди, заговорили, загремели цепями лошади на коновязи, как всегда завыл отрядный большой пес Рябчик.

Несколько снарядов шлепнулось в противоположный берег, взрывая фонтаном землю.

Как безумные, из палаток, где лежали больные и раненые, побежали санитары к блиндажу.

– Куда? Мерзавцы! Раненых бросать! – забыв о новой, принятой на себя роли вежливости, орал начальник летучки.

Но людей точно подменили, не помогали ни окрики, ни увещания. С горы, из соседних воинских частей в одном белье бежали в нашу лощину солдаты.

– Братцы! – орал во все горло солдат. – Братцы! Спасайся, кто может!

Рассветало. В желто-красном зареве над мутным туманом леса показалось темное пятно, окруженное мелкими точками. Постепенно увеличиваясь, оно плыло ближе и ближе. С шумом пролетел над нами Илья Муромец, окруженный свитой фарманов.

Разинув рты, солдаты медленно поворачивали головы, следя за уплывающими аэропланами. Орудия смолкли. Стали расходиться. Было что-то бесконечно слабое и жалкое в белых, в одном белье, босых, согнутых фигурах, ползущих в гору.

* * *

–...Вашу мать!

Персонал повскакивал с мест, одна из сестер пронзительно взвизгнула.

– Сволочи!! Мать вашу!..

Тяжелый кулак с силой ударился о стол. Задребезжала посуда, стоявшая с краю чашка женщины-врача подскочила и со звоном упала на пол. И снова дернулся в разные стороны испуганный медицинский персонал.

Заведующий хозяйством подскочил с заискивающей улыбкой:

– Что с вами, товарищ? Успокойтесь!

– Сволочь! Посылаете в такую погоду! А сами в тепле чаёк попиваете!

Лицо серое, забрызганное глиной, такое же серое, как залепленная грязью шинель. Дрожат губы, дергается круглый подбородок, убегают глаза.

– Не надо так... Поговорим завтра!

Я положила руку на его корявый рукав, на минуту поймала голубые глаза. И вдруг он весь осел, сжался...

– Двуколка перевернулась. Замучился... Никак не вылезешь, лошади потащили, ногу прихватило. Разве так можно? – рассердился он опять. – Засветло надо больных отправлять!

Вышел, хлопнув дверью и оставив за собой лепешки грязи. Аккуратненькая сестра-хозяйка встала и собрала с полу осколки чашки.

– Мозговой аффект, – сказал врач, – он был контужен. Санитары говорили, что у него бывают иногда припадки. Один раз чуть товарища топором не зарубил.

– То ли еще будет, – сквозь зубы процедил заведующий, – если бы это животное знало, что его могут расстрелять за оскорбление начальства, поверьте мне, никаких бы аффектов не было! Дисциплины нет...

– Что бы там ни было, избавиться надо от этого человека, – сказала женщина-врач, – он опасен для больных, он опасен для нас...

– Ах, как я испугалась! Я думала, он нас всех перебьет! – И хорошенькая сестра с каштановыми волосами, спускавшимися колечками на лоб, покосилась на старшего врача, который за ней ухаживал. – Почему вы не остановили его, Николай Петрович?

– Человека, действующего под влиянием аффекта, ни в коем случае не следует раздражать... Давайте лучше сыграем в шахматы.

Было душно в комнате, душно от разговоров. Бушевал ветер, дождь порывами бил в окно. А где-то там, в темноте, в тесных солдатских бараках назревало большое, жуткое. Его глушили годами, и вот теперь оно вырывалось безобразными неумелыми порывами, вырывалось с невероятной, стихийной силой.

Савельев мог ударить, убить. Было страшно от этой мысли, но злобы, возмущения не было. Убил бы и не был бы виноват, а только жалок.

Я говорила с ним на другой день.

– На кой нам черт эта революция! Вместо царя Львовы там или Керенские. Все равно сидеть в окопах, во вшах, в грязи! – говорил он, захлебываясь, спеша, точно боялся, что не успеет высказать всё. – Вон, ваш поляк распоряжается, в тепле чай и вино попивает... А чем мы хуже его? Я жену больше года не видал...

Условности, искусственность отношений между начальством и подчиненными исчезли. Он плакал, грязным кулаком размазывая слезы по лицу, как ребенок.

– Где же она, правда? Фельдшер в перевязочном говорит: «Довольно с немцами воевали, вали, ребята, в тыл воевать с буржуями, у помещиков землю, у фабрикантов фабрики отбирать». А взводный наш: «Сволочь, – говорит, – вы все, трусы, родину немцу продаете. Долг солдата за Расею до победного конца стоять». Где же она, правда?

Речи

Все говорили речи. Везде, как грибы, вырастали трибуны. Куда ни приедешь, везде собрания. Стали появляться странные люди. Они говорили больше всех, призывали бросать фронт, не подчиняться офицерам.

Говорили офицеры, сестры – все. Помню, приехала в отряд. На трибуне большевик. Не успел кончить, вскочил на трибуну шофер, поляк, с которым я только что приехала.

– Товарищи, – начал шофер, как будто он только и делал всю жизнь, что говорил речи, – товарищи, я поляк, но я русский патриот, я за войну до победного конца! Без аннексий и контрибуций!

Он выкрикивал короткие фразы, бил себя по кожаной куртке в грудь, когда кончил...

– Урраaa! – крикнули солдаты и хотели его качать, но вдруг на трибуну не взошел, а взлетел первый оратор.

– Долой наймитов капитала! – заорал он во все горло. – Долой пиявок, сосущих кровь из трудового народа! В то время как вы, голодные, холодные, во вшах, сидите в окопах, царские шпионы уклоняются от военной службы, ради своих интересов... Да здравствуют советы солдатских и рабочих депутатов! – закончил оратор.

– Урраа! – заревели солдаты, неловко хватая оратора за ноги и за руки и взмахивая его кверху.

Заклокотало у меня в груди, вскочила я на трибуну и произнесла патриотическую речь.

Это было сумасшествие. Запомнился один начальник дивизии. Старик-болгарин, стамбуловец. Говорили, что тело его покрыто рубцами, секли за революционную деятельность в родной стране.

Он говорил без выкриков, просто, душевно. Говорил о необходимости держать фронт, о верности Временному правительству. Когда кончил, расплакался, и солдаты были растроганы, долго кричали ему «ура».

Но при первых же звуках крикливого голоса нового оратора улетучилось впечатление спокойных, разумных слов. Едкая злоба, месть, ненависть били по издерганным нервам, ударяли в голову, будили подавленные веками могучие волны независимости, гнева.

– Долой царских генералов! Сплотившись в единый мирный фронт, пролетариат всего мира даст отпор капиталистам, палачам! Товарищи! Долой братоубийственную империалистическую войну! Стройте мирную социалистическую жизнь! Мир хижинам, война дворцам!

Слова были новые, непонятные. Но они жгли огнем, они звали к чему-то неизведанному и лучшему, чем было до сих пор.

Генерал низко склонил седую голову и, точно сразу постарев и ослабев, сгорбился и, сопя носом, отошел в сторону.

* * *

За Молодечно, под Крево, был сосредоточен кулак против немцев. Яблоку негде было упасть. В каждом перелеске – батареи, войска. С трудом нашли место для второй летучки, но опасное, неприкрытое.

Я никогда не видала такого артиллерийского боя. Разговаривать нельзя было, в ушах стоял гул. Подвозили все новые и новые снаряды, лопались орудия.

Раненых было немного. Большинство инвалиды, офицеры, солдат было мало, с пустяшными ранениями.

– Ну перевязывай, тебе говорят, – и солдат тыкал сестру в нос обрубком пальца.

– Подождите, товарищ, есть раненые в живот...

– А я тебе говорю, перевязывай.

– Не могу, распоряжение...

– Ах ты, сволочь этакая! Б...ь офицерская! Перевязывай, тебе говорят!

– Что за шум? В чем дело? – с поднятыми кверху чистыми руками спрашивал врач, выходя из перевязочной. – Раненых в голову и живот в первую очередь, – и он снова скрывался за дверью.

А солдат с пальцем долго и нехорошо ругался.

Говорили, что семь рядов проволочных заграждений, окопы, – все было сметено артиллерийским огнем. Немцы бежали. Но и там шла неперестающая агитация.

– Немцы, товарищи! Немецкая кавалерия! – кричал кто-то, завидя удирающего с передками немца. И солдаты бежали.

Вечером, после боев, когда русские продвинулись и снова заняли прежние позиции, в персональной столовой сидел мальчик-прапорщик и, закрыв лицо руками, плакал.

– Солдаты! Какие мерзавцы! Я никогда не думал, что они такие мерзавцы, бормотал он сквозь слезы, – вы знаете? Мой лучший друг убит... Да в общем, все офицеры перебиты,

кажется, я один остался. И как убит! Мерзавцы! Бросили пулемет, бежали. Он был ранен в ногу, подполз, нажал кнопку, продолжал стрелять. Вторым снарядом его убило. Какова смерть? А? А вы знаете, что они говорят? Я слышал: «Вот, говорят, как офицерству война выгодна. Раненый и то полез опять стрелять, наемник буржуазии». О, мерзавцы!

И мальчик-прапорщик снова горько заплакал.

Один раз, когда я подъехала к первой летучке, персонал и начальник летучки выбежали из палатки ко мне навстречу.

– Пожалуйста, разрешите нам поехать на собрание. Керенский выступает. Это совсем близко, только три версты отсюда, он будет говорить!

Мне тоже хотелось его послушать, и мы все вскочили в машину и поехали. Опоздали. Керенский уже говорил. Собралась громадная толпа солдат.

На высокой трибуне худой человек среднего роста в солдатской шинели охрипшим голосом выкрикивал какие-то слова, которые трудно было разобрать. Мне показалось, что не было простоты, убежденности в речах оратора, в его призывах объединиться для спасения России.

Когда мы возвращались в свой отряд и доктора восторженно переговаривались и восхищались речью Керенского, я молчала, мне было не по себе.

«Неужели они верят, – думала я, – что этот человек может спасти Россию?»

* * *

В первую летучку приехала ревизия осматривать лошадей. Дивизионный врач, представитель от Всероссийского Земского Союза и еще кто-то. В ту пору благодаря упадку дисциплины везде, почти во всех конных частях, как в военных, так и в общественных организациях, появилась чесотка. У нас в отряде ее не было.

Вызываю начальника летучки, тот вызывает фельдфебеля, передается приказ привести лошадей. У каждого санитара по две лошади на руках, всего с верховыми в отряде около ста тридцати.

Комиссия ждет. Проходит минут двадцать, а лошадей нет. Вдруг меня вызывают. Прибежал фельдфебель, взволнованный.

– Госпожа уполномоченный! Что делать? Санитары отказываются вести лошадей.

– Что?!

– Так что санитары говорят: ежели начальство интересуется, могут сами прийти к коновязям лошадей смотреть...

Делая вид, что я не расслышала или не поняла, я строго сказала:

– Я очень недовольна, что вы так долго заставляете ждать начальство. Вы знаете, что наши лошади в порядке и беспокоиться нам нечего. Скажите команде, что я уверена, что все сойдет хорошо, потому что везде лошади в чесотке, а у нас нет. И тогда ведро вина команде!

– Но, госпожа уполномоченный...

– Вы слышали, что я сказала? А теперь живо! Чтобы через пять минут лошади были здесь. И не забудьте сказать каптенармусу насчет вина.

– Слушаюсь.

Через пять минут показалась стройная колонна, каждый солдат вел свою пару лошадей. Лошади сытые, вычищенные, совершенно здоровые.

Начальство осталось довольно:

– Молодцы, санитары!

– Рады стараться, господин генерал!

Все развеселились, солдаты заулыбались.

Но положение делалось серьезнее с каждым днем. Дисциплина падала. Особенно плохо было во второй летучке.

Начальник ничего не мог сделать с командой. Отказывались работать, грубили. Был даже случай отказа передвинуться на новое место по приказу начальника дивизии.

Разложение шло быстро. Когда при осмотре войск командир корпуса зашел в перевязочный отряд, старика никто не встретил. Он стал обходить землянки. Солдаты валялись на койках и на приветствие генерала – «здорово, санитары», не поднимаясь, лениво тянули – «здравствуйте». А то и вовсе не отвечали. Большевистская пропаганда, как яд, разлагала вторую летучку, и она быстро приходила в упадок; солдаты перестали работать, не чистили лошадей, завели грязь, беспорядок. Пришлось в спешном порядке ликвидировать летучку. Да и вообще чувствовалось, что делать на фронте больше нечего. Фактически война кончилась. По всему фронту шло братание, солдаты покидали позиции.

Я решила сдать отряд, благо находился наивный человек, который охотно принимал его на себя, и уехать в Москву.

Отрядный комитет устроил в мою честь прощальное заседание. Председатель комитета открыл собрание витиеватой речью.

– Товарищи! – начал он. – Сегодня мы провожаем нашего уважаемого уполномоченного, который, которая так жертвенно работал, то есть работала, для нашей родины, то есть для нашей революционной страны! Товарищи! Что я хочу сказать? Наш третий отряд Земского Союза – самый отменнейший из всех отрядов! Почему же это так, товарищи? Я объясню вам почему, товарищи! В других отрядах нет уже ни продуктов для людей, ни фуража для лошадей! А у нас – всего достаточно. Сыты и люди, и животные. А почему же это так, товарищи? А потому, товарищи, что наш, то есть наша... уполномоченный...

Он говорил долго...

– Товарищи, – закончил он, наконец, свою длинную речь, – я желаю нашему уполномоченному, то есть нашей уполномоченной, счастья и благополучно доехать и прошу всех вас, товарищи, почтить ее память вставанием.

И все молча встали.

А позднее я узнала, что после моего отъезда тот же самый комитет постановил меня арестовать как буржуйку и контрреволюционерку, но я уже была в Москве.

* * *

– Васька, черт, вали сюда!

Солдат изогнулся и преувеличенно резким движением сбросил сумку на бархатный диван. Робкое веснушчатое лицо показалось из-за двери купе.

– Да ведь это, братцы, первый. Как бы нас того... не попросили бы о выходе?

– Вали, говорю, дура. Может, раньше и попросили бы, а теперь-то мы и сами попросим, – и солдат злобно покосился на меня.

– Важно, – сказал Васька, – здорово буржуи ездят.

– Отъездились. Ну, барыня, двигайся.

Но двигаться было некуда. Я сидела, прижавшись в угол, и его сапоги скоро оказались у меня на коленях. Я хотела уже встать с дивана, но солдат вдруг вскочил и бросился в коридор. Послышались крики, брань, задребезжали стекла. Поезд уже шел на всех парах.

– Вот это ловко, – орал мой сосед, – самого туда! Довольно покуражились, сволочи.

Я выглянула в коридор. Он был полон солдат. Все кричали, шумели, нельзя было ничего разобрать. Васька стоял, раскрыв рот, и напряженно смотрел.

– Что случилось?

– Да офицерские вещи в окно пошвыряли. Как бы самого не выкинули, осерчали дюже ребята.

Я села на прежнее место у окна и стала ждать. Страха не было, но сердце билось болезненными, неровными толчками, в груди закипали возмущение и гнев, хотелось кричать, топать ногами, вышвырнуть из вагона этих солдат с грязными мешками и махоркой. Я старалась не слушать грубого злорадного гоготания, доносившегося из коридора. «Сейчас придет тот грубый, нахальный... Двое суток до Москвы...»

Тарахтели колеса. Забрав в кулак гимнастерку, Васька, почесывая грудь, вошел в купе.

– Отбился офицерик, – сказал он, – а я так и думал, его в окно вышвырнут.

– Чего стоишь? Садись, – сказала я, – курить хочешь?

Васька грязными, корявыми пальцами достал из моего портсигара папиросу и сел. Он видимо робел.

Васька ехал к себе домой. Он был счастлив, ему хотелось говорить про себя, про жену и семью. Через четверть часа я уже знала всю его жизнь. Я и не заметила, как вошел тот, другой.

– Васька, табак есть?

Я протянула ему портсигар. Он молча взял, но не поблагодарил.

– Вот что, ребята, – сказала я, – ехать нам долго, у меня чайник, харчей немного есть. Кто-нибудь сходите за кипятком, и давайте не ругаться, чтоб все по-хорошему было...

Сердитый промолчал. Но, когда поезд остановился, взял чайник и принес кипятку. На следующей остановке к нам набилось еще несколько человек солдат. В коридоре стояли и сидели сплошной массой, пройти нельзя было. За кипятком лазили в окно. Солдаты достали жестяные кружки, все пили чай, усиленно дуя и обжигая пальцы. Некоторые сидели на полу.

Меня не трогали. По молчаливому соглашению признали в своей компании. Старались не ругаться, но курили махорку и плевали на пол. Болела голова. Душевное напряжение сменилось усталостью...

Перед ночью я выходила на станцию. Солдаты высадили меня в окно.

– У, черт! Ну и гладкая же, – орал сердитый солдат, склонившись из окна вагона и таща меня за руки, – ну, ну, лезь что ли.

– Погоди! Погоди! Я ее сзаду подпихну, – пищал ласковым тенорком Васька, пихая меня снизу.

– А ты полегче! А то она тебе хребет сломит.

В Москве солдаты вытащили мои вещи и снесли их на извозчика.

– Будь здорова, сестрица! – кричали они на прощанье.

«Сестра Толстого»

Я получила письмо от тетеньки Татьяны Андреевны Кузминской. Она ездила в Петербург повидаться с сыновьями и теперь возвращалась в Ясную Поляну. В Москве я должна была ее встретить и посадить на поезд, который шел в Ясную Поляну.

Задача была нелегкая. Транспорт был совершенно разрушен. Поезда шли с большим опозданием, вагоны были переполнены людьми, едущими на юг, обменивая у крестьян в деревнях одежду, материю, башмаки, мыло, папиросы на муку и хлеб. Все железные дороги были реквизированы, но можно было доставать особые квитанции на проезд в комиссариате путей сообщения. Железнодорожные станции были забиты народом. Люди лежали на полу, сидели на мешках и чемоданах, охраняя свой багаж от жуликов и беспризорных, которые так и шныряли по вокзалу, ища добычи... Иногда люди ожидали поезда несколько дней, а когда поезд приходил,

многие не могли на него попасть. На ходу вскакивали на подножки, занимали все места в вагонах, забивали тамбуры, крыши, висели на подножках. В воздухе висела площадная ругань; трещали разбитые коробки и чемоданы; разлетались, рассыпались вещи. Иногда ранили, до смерти раздавливали людей.

Я не раз попадала в такую давку, когда путешествовала из Москвы в Ясную Поляну. Один раз кто-то в суматохе схватил мой чемодан и старался вырвать его из моих рук, но я его крепко держала. Меня повалили, я упала навзничь, но чемодана не выпускала; в нем были важные бумаги. По мне ходили люди, кто-то проехался каблуком по моему лицу, я закричала, и меня подняли.

Милиционеры старались прикладами винтовок отогнать людей, но озверелая толпа все лезла и лезла. Ничего не помогало, женщины визжали, окна разбивались, мужчины ругались скверными словами. С ужасом я думала о старенькой, хрупкой тетеньке в этой ужасающей обстановке. Что делать? спрашивала я себя и не находила ответа. Мы доехали до Курского вокзала на извозчике.

Здоровый, широкоплечий, бородатый носильщик понес вещи на вокзал, который, как я и предполагала, был забит народом. Единственный отправляющийся на юг поезд «Максим Горький» действительно оказался настоящим «пролетарским» поездом с вагонами исключительно четвертого класса.

Мы усадили тетеньку около стены на одном из ее чемоданов, носильщик стал возле нее, заслоняя ее от толпы, а я помчалась к начальнику станции.

– Помогите, товарищ, я должна посадить на этот поезд старушку, сестру Льва Толстого. Она больная, хрупкая.

Начальник станции смотрел на меня тупыми бараньими глазами и молча пускал клубы дыма.

– Товарищ, пожалуйста! Ведь это же историческая личность. С нее, с моей тетушки, Толстой писал Наташу Ростову, вы, наверно, читали его знаменитый роман «Война и мир». – Но, продолжая болтать и упрашивать «товарища», я уже поняла, что он вообще ничего не читал, не хотел слушать, и уговаривать его было совершенно бесполезно. Он молчал, курил и хлопал бесцветными глазами. А люди лезли к нему со всех сторон.

– Вот мое удостоверение. Я должен ехать в Курск, – басом рычал толстый человек в синих очках.

Начальник станции быстро взглянул на удостоверение и сделал какую-то пометку.

– Вы не можете мне отказать, вы обязаны, – визжала маленькая женщина в кожаной куртке, с коротко остриженными волосами, похожая на мужчину, – вы должны меня посадить, я командирована партией, я буду жаловаться...

– Подождите! – начальник быстро встал, схватил телефонную трубку, тотчас же положил ее на место и, не оборачиваясь, втянув голову в плечи, быстро вышел из комнаты.

– Не ждите, – сказал один из чиновников, – если он вышел на платформу, значит, теперь уже больше не вернется.

Делать было нечего. Мы двинулись к выходу вместе со всей толпой. Нас остановили.

– Это ваш багаж? Откройте!

– Ой, Саша, какой ужас, они рукописи мои все перемешают.

– Эй вы, буржуи, – кричали на нас позади, – двигайтесь, что ли, весь проход загородили!

– Аль не видишь, бабка-то эта, видно, с того света свалилась, знать, не всех еще буржуев поизничтожили! Черт бы их...

У тетеньки руки так тряслись, что она никак не могла достать ключи из сумки.

– Хлеб везете, муку? Признавайтесь, что ли! – кричал чиновник.

– Ничего у меня нет, – умоляюще шептала тетенька, – ничего, платья, белье...

– Драгоценности есть? Золото, драгоценные камни?

– Нет, нет, ничего такого нет, пустите, пожалуйста... товарищ...

– Какой ужас, Саша, ведь это же настоящие разбойники, – шептала тетенька.

– Шшшш, тише, тише, ради Бога...

Пошарив рукой по дну чемодана и встряхнув несколько тетенькиных поношенных платьев и шалей, «Ладно! – поначальнически крикнул товарищ. – Можете закрывать!»

Облегченно вздохнув, мы вышли на платформу. Поезд еще не приходил, но народ уже стоял сплошной стеной, напирая друг на друга и стараясь продвинуться вперед. В конце платформы, где толпа была реже, я опять усадила тетеньку и побежала на разведку. Оглянувшись, я прокричала ей несколько ободряющих слов, хотя в душе у меня было очень неспокойно. Такая она была жалкая, напуганная, так резко выделялась из этой серой, грубой толпы в своей старомодной мантилье и фетровой маленькой шляпке с каким-то перышком на голове. А могучий старорежимный носильщик стоял перед ней, как изваяние, защищая ее от напора толпы.

Когда, наконец, поезд медленно подходил к вокзалу, люди точно взбесились, они били, толкали, топтали друг друга, на ходу взбирались на подножки поезда, падали и в несколько минут заполнили весь поезд, взбирались на крыши, повисали гроздьями на подножках. Несколько человек метались по платформе, тщетно стараясь где-то приткнуться, и я металась вместе с ними, как вдруг увидела знакомого кондуктора.

– Ох, как я рада, что увидела вас... Пожалуйста, приткните куда-нибудь мою старенькую тетеньку, помогите, она старенькая, едет в Ясную Поляну.

Кондуктор покачал головой.

– Я бы с моим удовольствием. Сколько раз графа покойного возил, теперь, сами посудите, яблоку упасть негде. Не могу... Рад бы...

– Может быть, в служебное отделение?

– Забито все, – он в отчаянии махнул рукой. По платформе еще бегали люди, надеясь каким-то чудом попасть на поезд. И я носилась вместе с ними, почти потеряв надежду посадить тетеньку. И вдруг я увидала пульмановский вагон.

– Кто в этом вагоне? – спрашиваю.

– Комиссары.

– Впустите меня, я должна поговорить с ними.

– Невозможно.

Я подошла к окну:

– Товарищи, товарищи!

Ответа не последовало.

– Товарищи, кто-нибудь подойдите к окну, срочное дело.

В окне появилась лохматая голова.

– Что такое, товарищ?

– Сестра писателя Льва Толстого, семидесятилетняя старушка, должна сегодня уехать в Ясную Поляну. Толпа ее чуть не задавила, пожалуйста, она немощная, хрупкая, возьмите ее в свой вагон.

Что я болтала, я и сама не знаю, в голове была только одна мысль тетеньку надо посадить и отправить.

– Пожалуйста, товарищи!

– А вы кто такая будете?

– Я дочь Толстого, Александра Львовна.

– Подождите минутку, – лохматая голова скрылась и через минуту снова появилась в окне.

– Ну, так и быть, возьмем вашу старуху, давайте-ка ее сюда!..

Я помчалась на другой конец платформы, где меня ждала тетенька.

– Скорей, скорей, тетенька, идем!

Добежали до пульмана. Тетенька задыхалась, я боялась, как бы у нее не сделался разрыв сердца. Носильщик втянул ее в вагон, я подпихивала ее сзади, едва успели втащить вещи. Третий звонок. Свисток. Тетенька, стоя на платформе, что-то говорила, но что – не было слышно.

А через несколько дней я получила от нее письмо. Она прекрасно доехала. Вагон был хорошо натоплен, чистый, и товарищи оказались приветливыми. «Они даже угощали меня жареным цыпленком, – писала она, – но были несколько разочарованы, что я оказалась не сестрой Толстого, а только его «бэль сёр». Но теперь, – заканчивала она письмо, – я уже никуда не поеду, только на тот свет».

«Судьбе вопреки»

– Почему бы нам не начать издавать Толстого? – спросил меня приехавший из Петербурга писатель. – Неужели вы никогда об этом не думали?

– Ну конечно, думала, – отвечала я, – но нельзя же издавать сейчас, когда все разрушается...

– Именно сейчас, в 1918 году, – сказал он со спокойной уверенностью, судьбе вопреки. Разве нельзя начать хотя бы редакционную работу?

– Из этого ничего не выйдет.

Но мысль запала. И чем больше я думала, тем возможнее и заманчивее казалось это дело.

Полные собрания сочинений, печатавшиеся до сего времени матерью, Сытиным и другими, были далеко не полны-

ми. Некоторые произведения, как, например, «Воскресение», были искажены цензурой, религиозно-философские статьи запрещены совсем, дневники и письма напечатаны лишь частично.

Друзья, с которыми я советовалась об организации этого дела, отнеслись к нему сочувственно. Мысль о созидательной, творческой работе во время всеобщего разрушения их увлекала. Особенно горячее сочувствие я встретила в Петербурге. Анатолий Федорович Кони, академики Алексей Александрович Шахматов, Всеволод Измаилович Срезневский, писатель Александр Модестович Хирьяков, толстовец-финн и другие, – все приняли горячее участие в организации, которой мы дали название: «Общество изучения и распространения творений Л. Н. Толстого» (позднее оно было перерегистрировано в кооперативное товарищество).

В Петербурге мы собирались большей частью на квартире у моряка-толстовца. Несмотря на скромное положение редактора какого-то морского журнала, у него на Васильевском острове была прекрасная квартира, похожая на кают-компанию, со множеством картин с морскими видами по стенам. В царские времена этот толстовец-финн издавал отцовские запрещенные статьи, сидел за них в тюрьме, ввозил их контрабандой на своей яхте из Финляндии.

Для начала работ надо было достать денег. От сумм, вырученных от издания посмертных произведений отца и истраченных согласно его воле на покупку яснополянской земли для крестьян, осталось около 20 000. С помощью книгоиздательства «Задруга»[16] нам удалось выцарапать из банка эти деньги.

---

[16] «Задруга» – кооперативное товарищество издательского и печатного дела, основанное в Москве в декабре 1911 г. группой филологов, педагогов, ученых на паевых началах. Выпускало книге по истории, педагогике. Изда-

Позднее книгоиздательство «Задруга» согласилось взять на себя издание первого Полного собрания сочинений Толстого и оплачивать нашу редакционную работу. К «Задруге» присоединились московская «Кооперация» и некоторые другие центральные кооперативные организации.

Первым нашим руководителем по работам в Румянцевском музее, где хранились все рукописи отца до 1880 года, был Тихон Иванович Полнер, позднее его заменил проф. Ал. Евг. Грузинский. В. И. Срезневский приезжал в Москву периодически. В одной из больших зал музея, где мы меньше всего мешали стуком машинок, нам поставили несколько столов. Музей не отапливался. Трубы лопались, как и везде. Мы работали в шубах, валенках, вязаных перчатках, изредка согреваясь гимнастическими упражнениями.

Стужа в нетопленом каменном здании с насквозь промерзшими стенами, куда не проникает солнце, где приходилось часами сидеть неподвижно, – хуже, чем на дворе. Согреться невозможно. Сначала остывали ноги, постепенно леденящий холод проникал глубже, казалось, насквозь промерзало все нутро, начиналась дрожь. Мы запахивали шубы, старались не двигаться, но дрожь усиливалась, стучали зубы.

Неизданная комедия «Зараженное семейство», начало повести «Как гибнет любовь», дневники, письма, варианты «Детства», бесконечные варианты «Войны и мира» были уложены в двенадцати желтеньких ящиках, набитых так, что, когда вынималась рукопись, запихнуть ее обратно было почти невозможно. Мать любила рассказывать, как один из братьев убирал кладовую и выбросил в канаву вместе со всяким хламом груду бумаг. «Хорошо, что я заметила, – заклю-

---

ло сочинения Л. Н. Толстого, К. Бальмонта, Г. Чулкова, мемуары В. Н. Фигнер, шлиссельбуржца Н. А. Морозова. Имело две собственные типографии. В 1922 г. из-за невозможности продолжать работу в России перебралось за границу.

чала она свой рассказ, – я глазам своим не поверила, когда увидала, что это рукописи «Войны и мира». Кабы не я, все рукописи погибли бы».

Забывая холод и голод, мы читали новые сцены, характеристики героев «Войны и мира», и бывало иногда непонятно и обидно, зачем отец выбросил те или иные страницы.

Мы радовались, как дети, когда удавалось разобрать трудные слова, хвастались друг перед другом. Машинистки состязались в количестве напечатанных листов.

Брат Сергей и я проверяли дневники. Сначала он следил по тексту, затем я. Мы привыкли к почерку отца, но все же нам приходилось прочитывать одно и то же бесконечное число раз, находя все новые и новые ошибки. Мы особенно торжествовали, когда находили такие ошибки, как, например, Банкет Платона, как было напечатано в дневниках издания Черткова, который оказался Биномом Ньютона.

Работа увлекла решительно всех. Среди нас были знатоки иностранных языков. Они выправляли французский текст переписки отца с тетенькой Татьяной Андреевной. Это были дамы, гладко причесанные, в стареньких, когда-то очень дорогих шубах.

Моряк-толстовец, хороший фотограф, работал в другом помещении, снимал неизданные произведения отца. В то время нам мерещились новые бои с большевиками на улицах Москвы, разрушение, гибель рукописей. Мы переписывали, фотографировали и держали копии в разных местах. Одна из копий неизданных произведений была даже послана в Стэнфордский университет, в Кали-форнию.

К двенадцати часам, когда дрожь во всем теле делалась совершенно невыносимой, звали пить чай. Каждый из нас брал с собой свою посуду, принесенную из дома, завтрак, и мы все шли вниз в подвальный этаж. Откуда-то приносились громадные чайники с кипятком.

Профессора, ученые, исхудавшие музейные работницы, сняв перчатки, грели руки о дымящиеся кружки. Бережно, стараясь не расплескать, они несли драгоценную мутную жидкость, напиток из сухой моркови и земляничного листа, который мы называли чаем, каждый разворачивал свой пакетик с завтраком: кусочек пайкового хлеба, две картошки, сухую воблу.

– Морковь чрезвычайно питательна,– говорил один из ученых, разворачивая газетную бумагу, из которой показывались две темные вареные «каротели», – она вполне может заменить хлеб...

– Да, но ее тоже не всегда можно достать. Вы знаете, моя жена делает замечательные лепешки, она в ржаную муку прибавляет картофельные очистки и, когда может, – яблоко.

Я старалась не замечать этих голодных глаз, дрожащих, жадных рук...

Чай горячий, обжигает горло, но стараешься поглотить его как можно больше. Две, три большие кружки. С завистью мы косились на одного из профессоров, у него черный хлеб переложен тоненькими кусочками прозрачного копченого сала. Сахара почти ни у кого нет. Охотно предлагают друг другу сахарин.

Я приношу себе большей частью тоненький кусочек хлеба и воблу. Она твердая, ее надо долго жевать, и потому на время исчезает чувство голода, а главное, после соленого можно влить в себя большее количество чая.

Но вот мы, разогретые, веселые, снова садимся за рукописи. В глазах рябит от косого, неразборчивого почерка. В самых ранних рукописях он мельче и буквы круглее. Мы погружаемся в рукописи. Еще три с половиной часа холода, а остывание наступает скорее, чем утром.

Эти несколько лет, которые мы проработали в Румянцевском музее, были для меня самыми яркими и, пожалуй,

счастливыми в мрачные, безотрадные дни революции. Проделанная нами работа давала большое внутреннее удовлетворение. За эти годы были разобраны, каталогизированы, переписаны, сверены с текстом и частью сфотографированы рукописи, хранящиеся в Румянцевском музее. Многие произведения были проредактированы и подготовлены к печати.

В 1923 году книгоиздательство «Задруга», преследовавшееся много лет, было окончательно разгромлено большевиками. Это было началом уничтожения всех кооперативных писательских организаций. Денег на редакционные работы взять было неоткуда. После долгих колебаний мы, наконец, согласились соединиться с В. Г. Чертковым и нашу совместную работу предложить для напечатания Госиздату.

В. Г. Чертков в то время сорганизовал вокруг себя редакционную группу, состоящую большей частью из толстовцев, работавших над редактированием произведений, написанных отцом после 1880 года.

К 1928 году – столетию со дня рождения отца – должно было выйти первое Полное собрание сочинений[17] Толстого в 90 томах. Но с момента перехода нашего дела к государству я перестала им интересоваться. Издание Толстого было одним из тех многочисленных дел, которые громко рекламируются, но, в сущности, не делаются большевиками. С одной стороны, большевики запрещали народным библиотекам и школам держать книги Толстого; религиозно-философские статьи и «Круг чтения» сделались библиографической редкостью, с другой – большевики взялись издавать 90-томное

---

[17] Это нашей многолетней работой воспользовался Госиздат, чтобы напечатать первое и единственное Полное собрание сочинений моего отца в 92 томах. – Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, начатое в 1928 и законченное в 1958 г., было выпущено в девяноста томах и с дополнительными ненумерованными объемными томами указателей. Большинство томов вышло тиражом 5000 экземпляров, но некоторые и большим: «Война и мир» – 10000 экз., «Анна Каренина», Дневни (т. 50) – 20000.

собрание сочинений Толстого, которое, в конце концов, за шесть лет свелось к выпуску в количестве 1 000 экземпляров нескольких томов.

И кто же может купить это Полное собрание, стоящее около 300 рублей? Иностранцы? Сами большевики? Разумеется, ни рабочий, ни крестьянин, ни голодающий интеллигент. Поэтому с точки зрения распространения идей Толстого издание это не имело бы никакого значения.

Но приведение в порядок рукописей отца, редакционная работа, проделанная небольшой кучкой людей в столь тяжких условиях, является одним из тех подвигов русской интеллигенции, которые «судьбе вопреки» совершались и совершаются в настоящее время в России оставшимися в живых русскими людьми.

«Батюшка-благодетель»

Мужики разгромили Малое Пирогово, где жил князь Оболенский, и он с женой и детьми приехал в Ясную Поляну.

Сестра Таня уступила ему низ своего дома-флигеля, а сама переехала наверх. В большом доме жили две старушки: мамá и тетенька Татьяна Андреевна. Тихо было здесь и мертво. Иногда только, когда из флигеля прибегала маленькая Танечка, оживал старый дом, просыпалась бабушка, часто дремавшая теперь в кресле-качалке. Куда девалась ее прежняя энергия, работоспособность? Ее мало что интересовало. Читать, писать ей было трудно, глаза плохи стали. Тетенька писала мемуары, иногда пела, и от ее дребезжавшего и пресекающегося, но все еще прекрасного и звонкого голоса делалось еще тоскливее.

Приблизительно в это время появился и «благодетель»[18]. Он был писатель, приезжал к отцу и раньше и всегда приво-

---

[18] «Благодетель» – имеется в виду П. А. Сергеенко, близкий знакомый Толстого, нередко выполнявший обязанности его секретаря, автор книг

зил с собой новые изобретения. В Крыму в 1901 году, когда только что появились автомобили, он приехал к нам в Гаспру, к ужасу матери усадил отца в автомобиль и укатил с ним куда-то. Позднее он привез в Ясную Поляну граммофон и, несмотря на протесты отца, оставил его в подарок семье. Ходил он согнувшись, точно стеснялся своего роста, и казалось, что его худое тело вот-вот сложится пополам. Должно быть, лицо у него было правильное, может быть, красивое, смуглое, с правильными чертами; но поражало не это, а выражение слащавости.

В 1918 году в Туле создалось общество «Ясная Поляна». Писатель был избран председателем этого общества, поселился в Ясной Поляне в бывшем кабинете отца в большом доме и стал хозяйничать.

Основание общества «Ясная Поляна» в момент общей разрухи, когда еще не вполне прошла волна усадебных погромов, несомненно, имело большое значение. Местные большевики, не освоившиеся с властью, может быть, даже и не поверившие еще в свое могущество, действовали осмотрительно и осторожно, а то, что какое-то официальное объединение заботилось о Ясной Поляне, было очень важно. В 1919 году, когда Деникин был уже недалеко от Тулы, общество «Ясная Поляна» совершенно серьезно обсуждало вопрос

«Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», «Толстой и его современники». После революции создал и возглавил общество «Ясная Поляна», в ведение которого 2 февраля 1919 г. перешло имение Толстых Ясная Поляна. Проявлял самоуправство, дерзко и неуважительно вел себя в отношении членов семьи писателя. Правление общества на своих заседаниях рассматривало вопрос о конфликте между Толстыми и Сергеенко.

...общество «Ясная Поляна»... обсуждало вопрос о том, что красная и белая армии должны сговориться, чтобы бои проходили вне зоны Ясной Поляны. – В связи с победой, одержанной Красной армией над Деникиным, опасность, нависшая над Ясной Поляной, отпала.

о том, что красная и белая армии должны сговориться, чтобы бои происходили вне зоны Ясной Поляны.

Общество «Ясная Поляна» состояло из чрезвычайно порядочных людей, но вскоре оказалось, что под прикрытием общества председатель действовал самостоятельно. Члены общества пробовали протестовать, но напрасно. Он говорил так ласково и сладко, таким таинственным туманом окутывал свои начинания, что члены правления молчали в бессильном недоумении. Мысль построить в Ясной Поляне школу – памятник Толстому – впервые зародилась в обществе. Таинственно появился откуда-то лес для школы и лежал несколько месяцев под дождем. Председатель выбрал место для постройки, произошла торжественная закладка фундамента, но прекрасный сосновый лес исчез куда-то так же таинственно, как и появился, и писатель теперь все внимание устремил на постройку шоссе. Работали землекопы, подвозили шлак с завода Косой горы. Он отдавал приказания служащим, приказывал запрягать и отпрягать лошадей.

В те редкие приезды, когда мне удавалось навестить Ясную Поляну, я бывала не раз поражена странностью той роли не то спасителя Ясной Поляны и ее обитателей, не то управляющего, которую взял на себя председатель общества. Он вечно что-то раздавал полуголодному и раздетому населению: кусочки мыла, шоколада, – и вид у него был такой, точно он благодетельствовал их по гроб жизни. Со свойственной ему ловкостью, именем Толстого он выпрашивал у правительства всевозможные продукты и вместо того, чтобы передавать их на склад Ясной Поляны для правильного распределения, разыгрывал из себя благодетеля и распоряжался ими сам, пользуясь этим для того, чтобы постоянно захватывать все большую и большую власть над жителями Ясной Поляны, не могущими достать ни предметов первой необходимости, ни питания.

Тетенька шутя прозвала писателя «батюшкой-благодетелем». Это прозвище так и осталось за ним навсегда.

Не знаю кому: обществу «Ясная Поляна», писателю или сестре Тане – пришла в голову мысль об организации в Ясной Поляне советского хозяйства, но когда я была в Москве, ко мне приехал Коля Оболенский и спросил, не имею ли я чего-либо против его назначения заведующим.

Я откровенно сказала ему, что считаю его непригодным для этого дела. Он возразил мне, что все остальные члены его семьи, даже мамá, не возражают. Я поняла, что мой протест не имел никакого значения, и действительно, комиссариат земледелия вскоре назначил его заведующим имением.

Оболенский пропал бы без писателя, и, хотя писатель его в грош не ставил, они поладили.

Власть писателя особенно возросла после того, как, заручившись мандатами, он съездил на Украину за хлебом.

В 1918–1919 годах хлеб в наших местах не родился и крестьяне голодали. Пекли хлеб с зелеными яблоками, с желудями. Желудей в те годы родилось видимо-невидимо. Крестьяне мешками таскали их домой, мололи на муку, пекли хлеб. Хлеб выходил невкусный, и у всего населения зубы от желудевой муки были черные, точно выкрашенные. Улыбнется красивая девушка, а зубы черные, смоляные, даже жутко.

Вернулся писатель с вагонами белой муки, крупами, сахаром не только для обитателей усадьбы Ясной Поляны, но и для всей яснополянской деревни.

– Батюшка, благодетель ты наш, – вздыхали бабы, – дай Бог здоровья ему, деткам его, внукам. Спас от голодной смерти.

Все обитатели Ясной Поляны его приветствовали.

– Пропал бы без него, – говорил Оболенский, – удивительный человек! Все раздобудет.

Служащие в яснополянском доме не знали, как и чем угодить благодетелю, а он покрикивал на них, да и на всех обитателей Ясной Поляны. Кричал на мать и на сестру, когда она хотела внести порядок в распределение продуктов.

– И чего вы вмешиваетесь, – грубо резал он, – ведь вы решительно ничего в делах не понимаете, весь ваш удельный вес равняется нулю.

Сестре было больно. Я выходила из себя:

– Выгони ты его, – горячилась я, – как он смеет говорить грубости.

Но сестра терпела. У нее был более кроткий характер, чем у меня.

Я не могла не видеть, как в Ясной Поляне распоряжаются чуждые и отцу, и нам люди. Отцовским именем выпрашивали подачки у правительства, неправильно распределяли, окружали себя родственниками и фаворитами, а усадьба постепенно приходила все в больший и больший упадок. Зарастал старый парк, погибали плодовые деревья, в Чепыже срезали старые березы, разрушались постройки. В доме все изменилось, только две отцовские комнаты оставались в том же виде, что и при нем, но почему-то в кабинете грудой были навалены посмертные венки, что придавало совершенно иной характер всей обстановке.

У Оболенского было четыре помощника: три мальчика по 17 лет и бывший кучер Адриан Павлович, который тянулся изо всех сил, чтобы поддержать хозяйство. Один из помощников был сын писателя. И смешно, и противно было смотреть, как этот молокосос, заложив ногу за ногу, развалясь в мягком кресле, заставлял пожилого Адриана Павловича стоять перед ним, пока он отдавал распоряжения.

Более 1150 человек были на государственном снабжении, получали пайки, хотя земля, всего 30 десятин, обрабатывалась крестьянами исполу.

Старушки держались в загоне. Помню, мама́ никак не могла добиться, чтобы в большом доме вымыли и вставили вторые рамы. А была уже поздняя осень, холодно, во флигеле, где жил Оболенский, дом был уже давно утеплен. Наконец, мама́, стоя на сквозняке, сама стала мыть стекла.

Таня не могла добиться лошадей, когда надо было ехать в город.

* * *

Это продолжалось около года. Все чувствовали, что в Ясной Поляне неблагополучно. У Тани во флигеле устроили совещание. Благодетель долго и туманно говорил о творческой созидательной работе в Ясной Поляне, где стройный оркестр под управлением вдохновенного дирижера будет играть прекраснейшую симфонию.

– Я желал бы играть одну из скрипок, – сказал брат Сергей, принимая всерьез речь благодетеля.

Таня, на минуту оторвавшись от вязанья (она всегда что-нибудь делала), иронически улыбнулась.

– Пф! – фыркнул благодетель. – А не думаете ли вы, Сергей Львович, что вы нарушите стройность оркестра? – И, помолчав, добавил снисходительно: – Ну, мы вам дадим последнюю скрипку...

Закипело у меня внутри. И, несмотря на уговоры сестры и брата, налетела я на благодетеля, накричала, уехала в Москву и записалась на прием к Луначарскому.

Это было мое первое знакомство с наркомом по просвещению. Поразила несерьезность обстановки: письменные столы, конторки, заваленные бумагами, пишущие машинки, машинистка, стенографистка, тощий молодой человек, мольберты, два художника, скульптор... Луначарский позировал, художники лихорадочно работали. Нарком встал мне

навстречу, приветливо поздоровался и опять сел в том же положении, как и раньше.

– Что я могу для вас сделать? – спросил он, не поворачивая головы.

Меня смутила обстановка, говорить было трудно, но я сделала усилие и коротко, обстоятельно изложила ему дело о Ясной Поляне.

– Мне кажется, – сказала я в заключение, – что Ясная Поляна должна быть не советским хозяйством, а музеем, как дом Гёте в Германии...

Луначарский слушал молча, не перебивая, и вдруг неожиданно вскочил и стал бегать по комнате, диктуя стенографистке. Я смотрела на него со все возрастающим изумлением. Актер, играющий роль министра. Его стремительность, звучный, сдобный голос, золотое пенсне на носу – все было «нарочно». И, играя, Луначарский упивался своим положением, властью, любовался собой и жадно следил за впечатлением, которое производил на окружающих.

Не успела я опомниться, как уже держала в руках бумагу с назначением меня полномочным комиссаром Ясной Поляны. Внизу красовалась подпись красными чернилами: «А. Луначарский», стояла печать народного комиссариата по просвещению.

Очень довольный впечатлением, произведенным на меня, нарком продолжал позировать, а я вышла из комнаты, ошеломленная его поступком. Победа была слишком легкая, сегодня я – комиссар, а завтра могут и в тюрьму засадить.

Я выселила писателя против желания всех служащих. Тетенька уверяла, что он никогда не уедет.

Я сказала ему, что я назначена комиссаром Ясной Поляны и считаю его пребывание в Ясной Поляне бесполезным. Он по обыкновению начал говорить мне грубости. Я стояла на своем. Через полчаса я получила от него длинное письмо с

точным, прекрасным изложением взглядов моего отца. «Ваш отец не поступил бы так», – писал благодетель и, разумеется, был прав.

Через два часа сторожа выносили вещи писателя. Он уехал, провожаемый любовью и уважением всей усадьбы.

В Ясной Поляне читали вслух «Село Степанчиково» и ждали возвращения Фомы Опискина. Действительно, писатель не исчез. Несколько лет спустя мне еще раз пришлось столкнуться с ним.

Расставшись с Ясной Поляной, ему не хотелось расставаться с именем Толстого, давшим ему такое блестящее положение. Заручившись мандатом от какой-то организации или общества, писатель отправился на Украину и получил несколько вагонов с продовольствием и всяким добром, на этот раз для организации дома отдыха для украинских ученых в Крыму, в Гаспре, в бывшем имении графини Паниной, где в 1901 году тяжело болел отец.

Получив все это богатство, писатель почему-то передумал и вместо устройства дома отдыха ликвидировал имущество Украинского наркомпрода и уплыл в Константинополь закупать английские костюмы.

Украинские ученые, приехав в Гаспру, были поражены, найдя там пустой, необорудованный дом, разобиженные вернулись обратно и сообщили властям о том, что случилось...

В. Ф. Булгаков, бывший секретарь отца, рассказывал мне, что, приехав в Севастополь к писателю, он застал там следующую картину.

Несколько недель в Севастополе жил советский чиновник, командированный наркомпродом для расследования дела о Гаспринском доме отдыха. Писатель только что вернулся из Турции, распорядился английскими костюмами и теперь

осуществлял новый проект: создание в Севастополе музея Льва Толстого.

Советского чиновника писатель просвещал, толково и ясно излагая ему учение Толстого о непротивлении злу насилием, рассказывая ему о близости к Толстому, ловко и осторожно выставляя свое значение в жизни Толстого и свою дружбу с великим писателем. Чиновник трепетал. Но один раз разговорился с Булгаковым, и, видя, что Булгаков не защищает писателя, он стал с жаром говорить ему о том, что писатель не имел права ликвидировать продовольствие, ехать в Турцию, покупать английские костюмы, он должен ответить перед властями за свои незаконные действия.

– Под суд, в тюрьму его!

И, набравшись храбрости, ревизор заводил речь об отчетах.

Писатель слушал, а затем кротко начинал говорить о христианской любви. Долго ли, коротко ли продолжалась эта комедия – не знаю. Писатель не пострадал, но в крымских газетах появилась заметка, подписанная семьей Толстых и всеми толстовскими организаторами, о том, что мы ничего общего с деятельностью писателя не имеем и за действия его не отвечаем.

Смерть матери 24 ноября 1919 года

Я пробыла несколько дней в Ясной Поляне. Собиралась ночью уезжать. Уложила чемоданы и пошла в залу пить чай. За круглым столом сидела тетенька Татьяна Андреевна и раскладывала пасьянс.

– Тетенька, душенька, погадай!

Она кончила пасьянс, велела мне снять колоду левой рукой к сердцу и разложила карты.

– Плохо, – сказала она, – очень плохо, – и быстрым движением все смешала.

– Все равно скажи, что вышло?

– Отстань, не скажу, очень плохо...

Я пристала:

– Скажи, умоляю, ради Бога скажи.

– Изволь. Болезнь вышла и смерть близкого человека. Не уедешь ты никуда сегодня...

Я не засмеялась, не стала ее слова обращать в шутку. Было тяжело на сердце. Выл ветер, и чувствовалось, как там, за окнами, холодно и темно.

– Тетенька, – сказала я, – если я сниму колоду и выйдет семерка пик, то ты сказала правду.

Шумели деревья в саду, на столе кипел самовар.

– Семерка пик! – крикнула я, открывая колоду. Мы не удивились, когда увидели ее, эту семерку пик, но было жутко. Я смешала карты.

– Туз пик!!! – крикнула я опять, дрожа всем телом. И опять не удивилась, когда увидела туза пик.

– Глупости какие выдумываешь, – неожиданно рассердилась тетенька, – сейчас же брось! Чай будем пить, пойди, мама́ позови.

Она быстрыми шагами подбежала к столу и стала заваривать чай, а я пошла в спальню матери. В комнате ее был полумрак. Горела на письменном столе маленькая керосиновая лампочка. Мама́ лежала на кровати, уткнувшись в подушку, лицом к стене. Она казалась маленькой и худенькой и дрожала с ног до головы.

– Мама́, что с тобой?!

– Холодно, укрой меня.

Я пощупала голову, шею. Она вся горела. Я поставила градусник. Он показывал 39,3°. Я раздела ее, напоила чаем с вином. Озноб продолжался. Прибежали тетенька, Таня.

Врачи на другой день определили воспаление легких.

Таня, дочь Ильи Васильевича Верочка, тетенька и я ухаживали за нею. Она очень страдала. Мучил кашель, одышка. От стены кровать отодвинули и поставили посередине комнаты, чтобы легче было менять компрессы, ставить мушки и банки. Трудно отделялась мокрота.

Она не жаловалась, мало стонала, ни на кого не раздражалась. Была кротка и спокойна. Должно быть, чувствовала, что умирает, и не боялась смерти.

За два дня до смерти она позвала Таню и меня.

– Мне хотелось бы сказать вам, прежде чем я умру, – сказала она, – что я очень виновата перед вашим отцом. Может быть, он и умер бы не так быстро, если бы я его не мучила. Я горько в этом раскаиваюсь. И еще хотелось вам сказать, что я никогда не переставала любить его и всегда была ему верной женой.

Она смотрела на нас своими большими, близорукими, невидящими глазами. Она мне казалась такой прекрасной, неземной...

Она умерла от отека легких. Она говорить не могла, но прекрасные черные глаза смотрели, как будто все еще понимали. Я не могла видеть ее страданий и вышла из комнаты, в которой до последнего вздоха оставались Верочка и тетенька.

Похоронили ее на кладбище по-православному, рядом с Машей.

Тайная типография

Я жила в доме и в квартире графа Дм. Адам. Олсуфьева, который был объявлен врагом народа и приговорен к смертной казни, но успел уехать за границу.

В самой большой комнате была редакция Общества изучения творений Л. Н. Толстого. Я жила в маленькой комнате рядом с ванной. Дом был национализирован большевиками, и управляющий графа – Михаил, которого мы считали предан-

ным графу, оказался большевиком и доносил на людей, которым он еще так недавно подобострастно, с поклонами открывал двери в графскую квартиру.

Теперь он с таким же подобострастием кланялся чекистам, которые пришли делать у меня обыск. Они обыскивали квартиру больше часа. Открывали все шкапы, комоды, выкинули из корзины грязное белье, перевернули постельное белье на кровати, осматривали и стучали по стенкам, ища потайных шкапов.

– Что вы ищете? – спросила я с раздражением. – Оружие, прокламации, драгоценности? Скажите, мне скрывать нечего.

Но чекисты молчали и продолжали обыск. У меня не было ни золота, ни драгоценностей, но на столе лежала литографированная поэма моего друга Игоря Ильинского «Воскресший Карл Маркс», поэма, за которую он впоследствии попал на Соловки. Я стояла, облокотившись на письменный стол, и незаметно сдвигала левым локтем поэму со стола. Моя секретарша, живущая в том же доме внизу и присутствовавшая при обыске, ловко подхватила поэму и спрятала ее за пазуху. Кроме того, меня очень беспокоил револьвер, который был мной спущен в трубу соседнего дома на веревочке. Но чекисты не догадались вылезти на крышу через окно и искать запрещенных предметов в трубе. «Слава Богу, пронесло», – думала я.

Трудно описать чувство гадливости, омерзения, бессильной злобы, которое испытываешь при попрании человеческого достоинства, прав, отсутствии уважения к человеку.

– Подойдите сюда, – грубо крикнул мне чекист. И, косо поглядывая на своих товарищей, он вытащил из-под пачки бумаг ордер и молча протянул мне. «Искать тайную типографию!» – прочла я с изумлением.

– Я вижу всю неосновательность этого приказа, – сказал чекист, – вы не могли бы спрятать здесь типографские машины.

– Откуда же вы это взяли? Кто вам сказал такую ерунду?

– Нам донесли, что вы печатаете здесь контрреволюционные листовки... Управдом, – добавил он шепотом.

– Вы знаете, чей это портрет? – спросила я, указывая на портрет моего отца, висевший на стене.

– Маркс?

– Нет, это Лев Толстой, мой отец, он был знаменитым писателем. К сожалению, не все его работы еще напечатаны, вот мы и подготавливаем его рукописи для нового издания.

– Вот оно что... – задумчиво сказал чекист, – а правительству это известно?

– Ну, конечно, наше общество формально зарегистрировано.

– Эй, товарищи! – крикнул он повелительно громко. – Идем, что ли... нам, видно, делать здесь нечего... Зря только гражданку побеспокоили.

И он пошел к двери.

Управдом, подобострастно изогнувшись и глупо ухмыляясь, открыл товарищам парадную дверь.

Мена

Я роюсь в старинных кованых сундуках. Широкая, старомодная канаусовая юбка! Нет, не годится. Белая мантилья, обшитая мехом, на белой шелковой подкладке. Моя мать была такая красивая в этой мантилье! Встает образ: прическа старинная на рядок, розовое нежное лицо, чепчик, громадные, наивные, близорукие глаза. Ни за что! Старомодное драповое пальто. Пригодится самой. Теперь такого не достанешь. Можно сделать куртку, драп мягкий, теплый. Бумазейный халат! Годится. Кусок шевиота, жалко немножко, но

делать нечего. Его можно выменять на пуд, а то и полтора муки. Может быть, в придачу фунтов пять соленого сала?

И вот мы едем – племянник Илья и я. В ногах узел с барахлом. Племяннику 17 лет. Он в отцовской белой меховой поддевке, подпоясанной ремнем, в серой папáхе, гибкий, ловкий. Гнедой большеголовый жеребец Осман с длинным пышным хвостом играючи бежит в легких санках. Племянник сидит немного сбоку, выставив ногу в белом валенке, как делают хорошие кучера, чтобы в случае чего на раскате удержать легкие санки.

До Коровьих Хвостов верст 18. Въезжаем во двор того самого семейства однодворцев, где, бывало, отец останавливался по дороге в Пирогово. Заводим жеребца в широкий двор. Хозяин бросает ему охапку сена. Большой дом, две комнаты. В первой – большая печка, нары, здесь спят. Вторая – чистая. На окне герани, подвешен горшок с вьющимся растением, на стенах иллюстрации из «Нивы» – какие-то генералы, модные картинки.

Ставят самовар, на столе ветчина, ситник, мед. Живут хорошо, харчей много, продналог не так велик. Здесь на черноземе родится хлеба много, греча, пшеница. Развязываю узел. Бабы рассматривают как следует, не пропустят ни одного пятнышка, ни одной дырки на старой юбке. Смотрят на свет, растирают между пальцев, иногда крепость пробуют зубом.

– Больше пяти функтов черной за юбку дать нельзя.

Мне стыдно, но я торгуюсь, прошу 10 фунтов. Сходимся на шести с половиной.

– Вот хочу я спросить тебя, – говорит старуха, не принимавшая никакого участия в торговле и сидевшая молча, подперев щеку морщинистым кулачком, – как это от таких богатств, от такого имения ты старые юбки на муку меняешь? Куды ж это все девалось, что при графу было? Ты бы приказала, чего тебе нужно, тебе б из анбара и насыпали!

– Нельзя, бабушка, теперь все правительству принадлежит, не нам, все на счету. Коли прикажешь насыпать чего или сама возьмешь, как бы в тюрьму не угодить!

– Не пойму я. Ну как же так? Какую же они имеют праву вашим добром распоряжаться? Ну, как же жить-то теперича, коли все отняли? А ты не торгуйся больно-то, – обратилась она к невестке, – прибавь фунтик, кабы господам не крайность, неужели ж они стали бы старым барахлом торговать!

Мы ехали домой сытые и довольные. В ногах стояли мешки, наполненные мукой, картошкой и гречневой крупой, и я то и дело ногой ощупывала большой кусок соленого сала, плотно лежавшего под ногами.

«Только бы до Москвы довезти, – думала я, – почти на всю зиму хватит».

Транспорт

– Чего толкаетесь, барыня?

– Я не толкаюсь, ноги устали стоять...

– Топочет ногами, как кобыла. Аль тебе не нравится в товарном ездить? Тебе бы, барыня, в комиссарском вагоне ездить, коли этот не нравится!

– Голубушка моя бедная, – прошептала мне молодая женщина, – уморилась ты, видно, не привышная. Слушай, я тебя научу. Ты не стой на ногах-то все время, дай им отдохнуть, подожми их. Не бойся, не упадешь...

Я послушалась, поджала ноги и повисла на плечах соседей. За несколько минут ноги отдохнули. Таким образом я могла простоять двадцать и больше часов, когда приходилось ездить из Ясной Поляны в Москву.

Товарные вагоны не чистились. В них возили и людей, и скотину. Ноги утопали в жидком навозе. Поезд часто останавливался даже на самых маленьких станциях, иногда останав-

ливался в лесу – не хватало топлива. В таких случаях выгоняли пассажиров из вагонов и заставляли собирать дрова.

Один раз, когда я ехала из Ясной Поляны в Москву, я влезла в товарный вагон. К моему удивлению, в вагоне было просторно. Можно было сидеть на полу и даже вытянуть ноги. Пассажиры мне показались какими-то странными. Некоторые лежали на полу и стонали, другие что-то быстро и бессмысленно бормотали, как в бреду.

И я поняла. Это были тифозные больные. Их отправили откуда-то с юга в Москву. Но они были одни, с ними не было ни доктора, ни сестры, ни даже санитара.

Я хотела вылезти на следующей станции, но подумала о том, как ужасно было бы снова ломиться с толпой в грязные, тесные вагоны, и раздумала. Авось, Господь поможет...

Иногда, особенно летом, в товарных вагонах было легче путешествовать.

Лето, ночь. Каким-то образом я залезла в открытый вагон, нагруженный каменным углем.

Тепло и сидеть на угле удобно. А что грязно – не беда. Приеду домой отмоюсь.

Я везла муку, и только это меня волновало. На станции Лаптево всегда свирепствовал реквизиционный отряд, отнимал продовольствие. А если отнимут муку, придется в Москве на полфунте хлеба в день сидеть, да и тот пополам с мякиной.

Мои товарищи пассажиры также волновались. Некоторые из них разрывали ямы в угле и прятали туда мешки с мукой.

Я чувствовала страшную усталость, да и противно было прятать, скрывать: что будет, то будет. Тяжелые вагоны катились, погромыхивая колесами, но вдруг поезд замедлил ход, застучали друг о друга буфера, заскрипели колеса, и поезд остановился.

– Вон они, дьяволы, у третьего вагона... так и есть, отряд, – шептали кругом.

Не успели мы оглянуться, как солдаты в остроконечных шапках, волоча по земле винтовки, подходили к нашему вагону.

Молча, с нескрываемой злобой они принялись штыками раскапывать уголь и вытаскивать мешки с крупой и мукой.

Кричали мужчины, женщины плакали, ничего не помогало: солдаты безжалостно кидали мешки на платформу. Люди бежали за солдатами, все еще надеясь получить свое добро обратно.

– Христа ради, товарищи, отдайте мне мой хлеб! Больная жена, дети у меня в Серпухове, две недели за хлебом проездил. Погляди на меня – замучился, обносился, отощал, обовшивел весь. Думал – приеду, хоть семью от голодной смерти спасу... Сжальтесь, товарищи!..

– Свиньи, собаки проклятые! Сатанинское отродье! – кричал другой. Разорили, сволочи!

– Но помните, не пройдет вам это даром! Не избежать вам суда Господня! Скоты бездушные!..

– Аль в тюрьму захотел?! – гаркнул на него солдат. – Сейчас арестую.

Я сидела на своем мешке с мукой и наблюдала. Чемодан и другой мешок лежали возле меня. Солдат штыком стал разрывать уголь вокруг меня.

– Не трудитесь, товарищ, – говорю, – я ничего не прятала, здесь все.

– Что везете, гражданка?

– Муку, крупу, картошку и сало.

– На продажу?

– Нет, для себя.

– А ну ее к черту! – обругал солдат неизвестно кого и отвернулся. Я была спасена. Правда, были еще реквизиционные отряды в Москве, в центральном багажном отделении, но

пассажиры надеялись, что поезд остановится, не доезжая до Москвы.

Я безумно устала, клонило ко сну. Я достала из чемодана несколько копий «Известий», которыми были переложены мои вещи, расстелила их на уголь, подложила мешок с мукой под голову и крепко заснула. Когда я проснулась, было уже утро. Я вынула из сумки маленькое зеркало, чтобы пригладить волосы. О, ужас, руки, лицо были черные, как у трубочиста. Но это было не важно, важно было то, что мы подъезжали к Москве.

Бриллианты

Ночь. В квартире холод. Надымила проклятая «лилипутка». Немалым усилием заставила себя умыться на ночь: в ванной комнате не больше двух градусов тепла, может быть, и мороз...

Я в постели. Тяжело от одеял: шерстяных, ватных, байковых – всяких. Сверх всего наваливаю еще завезенную из деревни чуйку. По телу начинает разливаться благодатное тепло, только ноги холодные, как лед.

Я вытягиваю руки из-под тяжести своих покрывал, тушу свет и почти в ту же секунду засыпаю.

Бум! Бум! Бац. Я в ужасе просыпаюсь. Что это? – Дверь парадного сотрясается от ударов. Звонка, разумеется, у меня нет, их сейчас нет ни в одной порядочной квартире.

– Отоприте! Эй! Отоприте, вам говорят! – слышатся возбужденные голоса.

Блаженное тепло нарушено. Внутри опять задрожало, не то от холода, не то еще от чего-то.

– Отпирайте же скорей! Это я – председатель домкома!

– Сейчас!

Привычным движением ноги сразу попадаю в валенки, на ходу натягиваю на себя халат, второй рукав вывернулся и никак не хочет надеваться.

– Черт! Черт! Черт возьми!

Я не знаю, кого я ругаю – рукав, холод, тех, кто в такой поздний час ломится в дверь.

– Кто это? Что вам от меня надо? Ведь уже двенадцать!

– Обыск! – И председатель домкома с поднятым воротником пальто, ежась и часто мигая, втискивается в переднюю.

– Ордер есть? – спрашиваю у кожаных курток, сразу заполнивших маленькую переднюю.

– Есть!.. – Председатель старается не смотреть на меня.

Ордер не только на обыск, но и на арест. И вот я стою в темном переулке с наскоро собранным чемоданом. Тихо, кругом ни души. Молча суетятся вокруг автомобиля кожаные куртки, резко и гулко рычит машина.

– Ну, полезайте, что ли!

Я невольно дергаюсь в сторону, оглядываюсь. Знакомое чувство ужаса охватывает меня. Дрожь передается в колени, в нижнюю челюсть, стучат зубы... Вспоминается обстрел на фронте. Тоже бежать было некуда; спасение одно: скорее вызвать в душе то, что помогало тогда. Только оно одно может унять толчки сердца, ломающую все тело дрожь! И пока машина мчится по пустым улицам к Лубянке, мысли со страшной быстротой проносятся в голове, и не знаю, от быстрого ли движения или оттого, что удалось вызвать то самое чувство, которое, как броня, защищает от страха тюрьмы, смерти, я успокаиваюсь. Меня впихивают в камеру, щелкает за мной затвор, я нащупываю в полутемноте жесткие нары, ложусь и засыпаю как убитая.

– Гражданка, вставайте умываться! Кипяток принесли!

Открываю глаза. В камере с окном, загороженным соседней стеной, почти так же темно, как ночью. Рядом со мной,

сидя с ногами на койке, тяжело дыша и охая, что-то искала в корзине полная пожилая женщина; в другом углу весело щебетали три очень похожие друг на друга молодые, со светлыми волосами девушки.

– Латышки, – шепнула мне полная женщина, – за спекуляцию попали.

– А вы за что?

Она подозрительно посмотрела на меня.

– Да сама не знаю... такое дело вышло, ну да это долго рассказывать...

Но она была болтлива, и желание поделиться с кем-нибудь своим горем распирало ее.

Сначала она косилась на латышек, старалась говорить шепотом, но они не обращали на нас внимания и болтали по-своему, должно быть, о драгоценностях, которыми спекулировали, так как беспрестанно слышалось слово «карат».

– Чекистки, – снова шепнула мне соседка, – они скоро выпорхнут отсюда.

К вечеру я знала всю ее историю. Ее муж полковник. Он ушел с белыми на юг. Она жила в Москве с падчерицей и сыном 15-ти лет. Жила плохо, кое-как перебиваясь, продавая последние вещи. Долгое время не знала, жив ли муж, но вдруг, месяц тому назад, приехал военный с фронта и привез ей письмо: полковник жив, здоров, радуется, что может прислать о себе весть, надеется на лучшее будущее.

– Знаете ли, я чуть с ума не сошла от радости, и не знаю, куда мне этого вестника посадить, чем угостить. Развела самовар, печку разожгла, немного было у меня крупчатки, маслица топленого; я, знаете ли, лепешек пресных напекла, сахара головного, это еще у меня старый запас, из сундучка достала, вареньица – напоила, накормила его, а он так хорошо про мужа рассказывает: как это муж выглядит, да как нас вспоминает. Я, знаете ли, совсем расстроилась и говорю ему:

– Господи, и когда мы вместе будем, когда это мучение-то кончится?

– Скоро, – говорит, – скоро, вот белые подойдут.

– А я, знаете ли, вздохнула так это тяжело и говорю: уж послал бы Господь скорее! Вот, верите ли, только это и сказала! Коля и Женичка тут же сидят слушают. Коля, знаете ли, у меня чувствительный, даже заплакал!

Ну, часов этак около шести проводили мы военного, ужинать не стали, только Коля кашки немного поел, очень взволновал он нас, приезжий этот. Коля даже уроки не мог учить, все папочку вспоминал. Часов в одиннадцать уложила я детей, сама легла, только, знаете ли, никак не могу заснуть – такая радость и вместе с тем тоска меня охватили, ворочаюсь с боку на бок, а спать не могу. Вдруг слышу, громко автомобиль зашумел, а я, знаете ли, живу за рекой, в тихом переулке рядом с Ордынкой, автомобили редко к нам заезжают. А тут, как остановился у нашего домика, меня, знаете ли, так в сердце и толкнуло...

Ну, ввалились в дом... Обыск только так, для проформы сделали, ничего, конечно, не нашли, взяли нас с Колей, посадили в автомобиль и привезли сюда. Коля бледный такой, а сам, знаете ли, все меня успокаивает: «Не бойся, мамочка, это недоразумение, нас выпустят». Он сейчас над нами в камере сидит! – И, закрыв лицо платком, полковница горько заплакала.

– Я не за себя боюсь, за него, за Колю, ведь ребенок еще, совсем ребенок, – и снова заколыхалась от рыданий, – и за что же? За что? Ведь я же ничего не сказала, ничего! Знаете ли, – она перегнулась своим тучным телом в мою сторону и зашептала мне в самое ухо, – меня расстреляют! Я чувствую, я знаю, что расстреляют! Коля, мальчик! Что он без меня? Пропадет! – И она опять залилась слезами. Я утешала ее, как умела.

Утром надзиратель принес в бумажке немножко мелкого сахара.

– Из верхней камеры молодой гражданин прислал...

– Коленька! Мальчик мой! – шептала мать. – Не надо, не надо! – вдруг стоном вырвалось у нее. – Как же это так, он без сахара, весь свой паек прислал. Возьмите, ради Бога, отдайте ему назад. Скажите, что не надо, у меня много. – Она торопилась спустить толстые ноги с кровати, но в ту минуту, как она подходила к двери, надзиратель быстро повернулся, вышел и запер за собою дверь, а она, жалкая, растерянная, стояла с протянутой рукой и все причитала: – Мальчик мой! Коля! А? Прислал, себя лишил! Ах, какой он у меня добрый, какой добрый!..

Днем выпустили латышек. Вечером меня вызвали на допрос.

– Ну что? Как? Скоро вас выпустят? – спрашивала полковница.

Мне не хотелось отвечать, а ей хотелось говорить о себе. И снова она повторяла то, что ее непременно расстреляют, говорила о Коле, о его большом, добром сердце.

А на другой день надзиратель, улыбаясь, опять принес от Коли дневную порцию сахара и кусочек селедки в просаленной бумажке, выданные накануне к ужину.

– Ах, какой он у меня, я, знаете ли, и не видывала таких, – говорила она. – Господи, и вдруг расстреляют?! Ну скажите, ведь не могут же расстрелять ребенка? Ведь он еще совсем мальчик, совсем мальчик...

Ее отчаяние было так велико, она так бурно выражала его, что мне и в голову не приходило думать о себе, я изо всех сил старалась успокоить несчастную женщину. А она весь день охала, плакала, по ночам не спала, ворочалась, вздыхала, молилась. Я измучилась с нею.

На пятый день в камеру вошел надзиратель.

– Гражданка Толстая! Собирайте вещи!

– Куда?

– На волю!

Я торопливо стала укладываться, одеваться. Полковница суетилась и волновалась не меньше меня. Когда я уже была готова, и надзиратель пошел к дверям, она вдруг сунула мне в руку что-то твердое.

– Передайте Коле, детям, когда меня расстреляют. Все, что у меня осталось... – шептала она. – Адрес, – и она сунула мне в карман записку.

– Эй, гражданка, поторапливайтесь, что ли! – крикнул мне надзиратель.

Схватив вещи, я пошла за ним.

– Оставьте здесь, – сказал он, ткнув пальцем в чемодан, когда мы подошли к комендатуре.

– А куда же вы меня?

– На допрос.

Вынув из кармана носовой платок, я незаметно завернула в него твердые предметы, которые мне дала полковница, и крепко зажала их в руке.

«Если найдут – расстреляют», – мелькнуло у меня в голове.

Допрос был ненужной формальностью. Никаких данных о моей контрреволюционной деятельности у следователя не было, и меня снова повели в комендатуру. Чемодан мой был раскрыт, в нем рылись чекисты.

– Пройдите сюда, гражданка, – я попала в маленькую комнатку, где меня встретила латышка.

– Раздевайтесь!

– Зачем?

– Раздевайтесь, вам говорят! Обыскать надо.

Я сняла платье.

– Что вы, не понимаете? Раздевайтесь совсем.

На мне остались рубашка, чулки и башмаки.

– Все, все снимайте!

Стиснув зубы, покрытая липким потом, стояла я перед латышкой совершенно голая, в то время как она трясла мою одежду, выворачивала чулки. Невольно сжимались кулаки. Платком, в котором было завернуло что-то, принадлежавшее полковнице, я вытирала пот, струившийся по лицу.

– Это что? – вдруг взвизгнула латышка. Из кармана пиджака вывалилась записка с адресом полковницы.

– И вам не стыдно? – не сдержалась я.

Как ошпаренная, крепко зажав носовой платок, вылетела я из ЧК и, не останавливаясь, несмотря на тяжелый чемодан, почти бежала до Кузнецкого моста. Здесь я зашла в какую-то подворотню, развернула платок: сверкнули драгоценности – кольцо, серьги...

«Что же теперь делать?» – думала я, придя домой. Адрес у меня отняли, хранить драгоценности у себя дома опасно, за нахождение их в то время расстреливали. В кольце было девять и в каждой серьге по семь довольно крупных бриллиантов, пересыпанных рубинами, изумрудами, – вещи были аляповатые, безвкусные, но ценные.

На окне чахло растение. Я вытряхнула землю из горшка, завернула драгоценности в желтую компрессную клеенку, положила их на дно и снова посадила цветок. «Когда полковницу выпустят, она найдет меня», – думала я.

Прошло два года. Глиняный горшок с засохшим растением стоял уже теперь в кухне на полке. Каждый раз, взглядывая на него, я вспоминала круглое наивное лицо полковницы, ее грузную фигуру, сотрясающуюся от рыданий. «Где она? Почему не идет за своими драгоценностями?»

Мысли о ней были неприятны, и я старалась их отогнать. Да и не до того было. Приходилось с бешеным отчаянием бороться за существование: добывать дрова, пищу, чтобы не погибнуть с голоду. Против самого страшного врага мы были бессильны. Каждую минуту мы могли попасть в тюрьму по

малейшему поводу или совсем без повода. Слухи, один страшнее другого, ползли по Москве.

– Отбирают оружие!

И все силы московских обитателей сосредоточивались на том, чтобы половчее избавиться от старого зазубренного кинжала, охотничьего ружья, финского ножа.

Мои знакомые ездили удить рыбу. Среди удилищ и сачков была ловко спрятана немецкая винтовка. Ночью они закопали ее в лесу где-то около Малаховки.

Сдавать оружие, как предлагали большевики, боялись. «Пойдут расспросы, откуда да как оно к вам попало, – еще расстреляют!»

– Ищут золото, драгоценности, камни!

И снова тревога. Своих драгоценностей у меня не было. Несколько золотых, оставшихся от матери, я давно проела. Но за бриллианты полковницы я беспокоилась. Что я ей скажу, если чекисты отберут у меня ее сокровища?

«Распишемся!»

Говорят, что самый лучший способ научить человека плавать, это бросить его на глубоком месте в воду, а не умеющего кататься на коньках – вывести на середину катка и оставить. Нечто подобное случилось со всеми нами после революции. Одни выплыли, другие утонули.

Люди, никогда в жизни не работавшие, научились готовить, стирать, мести улицы, торговать, ездить на буферах, на крышах вагонов. Даже воровать!

Транспорт был разрушен. Частная торговля запрещена. Правительство не снабжало население питанием, одеждой, топливом. Того, что давали по карточкам, было недостаточно.

– Кабы не мешочники, давно бы все с голоду померли! – говорили москвичи.

Но и мешочникам становилось все труднее и труднее провозить хлеб. Реквизиционные отряды отбирали, а люди, как звери, голодны; все мысли, все силы сосредоточили на добыче топлива и пищи.

Обед у меня был каждый день, большей частью суп и пшенная каша, но трудно было доставать дрова. Иногда за миллионы, за миллиарды можно было купить охапку на базаре. Приходилось экономить каждую щепку. Кто-то советовал варить пищу в подушках. Я попробовала, у меня ничего не вышло. Затем в продаже появились ящики с двойными стенками, засыпанные стружками и обшитые внутри войлоком. Я купила себе такой ящик. Как закипит суп и каша, я ставила их в ящик, и они на пару доходили.

– Ну как же могут суп и каша без огня вариться? – говорила помогавшая мне одно время молоденькая девушка. – Враки это.

Я ей объясняла, вскипятила суп, кашу и поставила в ящик. Когда пришла домой, обед был сырой.

– Ведь я же вам говорила, Александра Львовна, что все это пустяки. Как может без огня вариться?

– Но ведь я каждый день обед варю в этом ящике.

– Ни за что не поверю! Я несколько раз глядела, щи и не думали кипеть.

Оказывается – она то и дело открывала ящик, смотрела и выпустила весь пар.

Надо было добывать дрова, чтобы топить «лилипутку», или «буржуйку», крошечную железную печку. Я варила на ней обед, и она немного согревала комнату.

Кругом дров было много. Ломали деревянные дома, заборы; жители растаскивали доски, бревна. В нашем переулке ломали два дома, на Большой Никитской разбирали деревянный забор. Тащили и набивали дровами квартиры, ванные комнаты, кухни.

Ночь. Красноармеец похаживает взад и вперед около разрушенного дома, греясь у небольшого костра.

– Товарищ! Разрешите взять одно дерево?

– Проходите, проходите, гражданки!

– Нам немного, хоть одно бревно, топиться нечем, замерзли.

– Проходите, говорят вам, а то в милицию сведу.

– Ну, а меняться не хотите? Мы вам горячих картошек и табаку, а вы нам топлива. Целая кастрюля картошек горячих.

– Ну ладно. Только живо. Скоро смена.

Мы бежим в дом и возвращаемся с картошкой и табаком. Со мной барышня, работающая в музее, она живет в первом этаже этого же дома.

Мы выбираем самое большое бревно. Гнутся плечи под страшной тяжестью. Бревно нельзя повернуть в лестничной клетке. Мы выставляем вторую раму в первом этаже квартиры и впихиваем его внутрь. Опять не влезает, торчит. Но нам думать об этом некогда.

Мы снова бежим к развалинам. Красноармеец поужинал и с наслаждением раскуривает козью ножку.

– Товарищ! Можно взять еще полено?

Товарищ сыт и доволен.

– Ладно, берите, я не вижу.

И вот второе, такое же большое бревно торчит из окна. Мы перепиливаем их пополам и втаскиваем в дом. Недели на две хватит.

Иногда в темноте не поймешь, кто ходит около полуразрушенного забора. Может быть, красноармейцы, а может быть, и нет. Люди эти за мной следят, и я прячу топор под кожаную куртку. Я наблюдаю за ними, они за мной. Проходит некоторое время. Наконец мне это надоедает, и я прячусь за соседний дом.

Крак! Крак! Ломают забор.

– Верблюды! – восклицаю я радостно и спешу рушить забор с другого конца. Они смеются, смеюсь и я. Сколько времени потеряли напрасно.

Силуэты людей, нагруженных дровами, действительно похожи на верблюдов.

Как быстро все пришло к разрушению. Телефоны, отопление, трамваи, даже электрические звонки в квартирах – ничего не действовало. Каким-то чудом у меня сохранился дамский велосипед. Не знаю, что бы я без него делала. Я ездила на нем по всей Москве, иногда я уезжала на целый день за город. Я возила на велосипеде продукты, дрова. И вдруг распространилось страшное известие: частные велосипеды реквизируются. А у барышни в нижнем этаже тоже велосипед, она получила его за швейную машинку. Что было делать? Спрятать велосипеды на квартире? Невозможно. Отправить куда-нибудь – реквизируют.

И вот в субботу, в теплый день, взяв за спины рюкзаки с несколькими жестянками консервов и зубными щетками, мы пустились в путь. Белой лентой вилось перед нами Киевское шоссе. Ветер дул в спину. Велосипеды летели, как птицы. В двое суток мы сделали 200 верст до Ясной Поляны, оставили там велосипеды и поездом вернулись обратно в Москву.

Никелированный чайник, будильник, кусок кружев, старые башмаки, бусы, платья. Я сижу на краю тротуара, а товар мой лежит прямо на мостовой. Смоленский рынок теперь место сборища старой аристократии. Слышится французская речь. Пыль, толкотня, как бы кто не утащил вещей.

– Сколько, гражданка, за бусы? Что? Пять лимонов? А один желаете?

– Кабы сменять на сало или на муку, – говорю я робко, – я бы дешевле...

– Мамочка, за чайник сколько просите?

Я спускаю цену наполовину и продаю. Жара. Пыль забила все поры. Невольно слежу за проходящими, авось остановится кто-нибудь и купит! Наконец продаю старое шелковое платье. Я связываю узел, покупаю тут же на рынке продовольствие и иду домой.

Толстовец-финн часто приезжал из Петербурга и останавливался в правлении нашего товарищества.

Один раз, когда мы с ним обедали в столовой для образованных женщин на Никитском бульваре, он совершенно неожиданно спросил:

– Вы свободны после обеда?

– Да. А что?

– Пойдемте в комиссариат!

– В какой комиссариат?

– Ну, я не знаю, как он называется... Закс, кажется?

– Ничего не понимаю? Почему Закс?

– Да пойдемте, распишемся! Я не могу видеть, как вы мучаетесь.

– Что вы хотите сказать?

– Ах, Боже мой! Ну, поженимся, что ли? Вы будете финской гражданкой, вас в любое время должны пустить за границу. Финляндское консульство будет вас защищать, ну, а если вы хотите, в личной жизни нашей ничего не изменится.

Я колебалась. Соблазн был велик.

– Нет, спасибо вам, я думаю, этого не надо делать. Представьте себе, что вы в кого-нибудь влюбитесь и захотите по-настоящему жениться?

Он старался меня уговорить, но я стояла на своем.

Странное было время!

Весна[19]

Зимой и ранней весной никто не ходил по тротуарам – было слишком скользко. Под водосточными трубами, когда на солнце оттаивали ледяные сосульки, и под вечер вода замерзала, – был сплошной лед. В башмаках ноги разъезжались во все стороны. Было бы лучше в галошах с резиновыми подошвами, но они исчезли на рынке, как многое другое, и купить их было невозможно.

Люди шли по мостовой, таща за собой санки, или несли мешки, сумки, прозванные «авоськами» – авось что-нибудь раздобудут – кусочек масла, конины, сухую воблу или селедку.

Особенно жалко было стариков. Почему-то я запомнила одну старушку. На ней было старое, протертое, черное барашковое пальто и такая же муфта – остатки прежнего величия. Она тащила маленькие санки, не замечая, как они раскатывались по льду, мотались во все стороны, подшибая прохожих.

Был март месяц. Я чувствовала себя так, как, вероятно, чувствует себя скотина, когда после долгой холодной зимы истощился корм. Лохматые коровы исхудали, ослабели и с нетерпением ждут весны. Было ощущение противной пустоты в голове и желудке, внутри все дрожало от голода и слабости.

Небольшую краюшку хлеба, которая у меня оставалась до получки, надо было распределить на несколько дней.

– Как жалко, что мы не обрастаем шерстью, как животные. Я все время зябну, – говорила мне моя знакомая, княжна Мышецкая, – по крайней мере, тепло было бы.

Их было две сестры, и они жили вдвоем в одной комнате у моих друзей. «Осколки старого режима», как говорил один

---

[19] Эта глава была написана в тюрьме – Лубянка.

мой приятель. Высокие, прямые, прекрасно говорящие по-французски, которым они пересыпали русскую речь. Последние, как они уверяли, в роду Мышецких. Эти старушки вызывали жалость своей полной беспомощностью. Чтобы как-то согреться, они днем и ночью жгли керосиновую печку. Печка коптила. Седые волосы старушек почернели, почернели лица, руки, покрытые копотью.

Всюду, куда ни пойдешь, темы разговоров были об арестах, о продовольствии, где что можно достать, о дровах, которые были так необходимы, чтобы не замерзнуть в нетопленых домах.

Тяжело было слушать разговоры об арестах, когда я как-то ранней весной в марте зашла в книгоиздательство «Задруга». Обыски, аресты, каждую почти ночь. Сегодня арестовали одного, завтра другого, возможно, что послезавтра арестуют меня... Гораздо интереснее было то, что в «Задруге» выдавались членам правления дрова.

Сухие березовые дрова были аккуратно сложены во дворе! Какая красота! Какое богатство! У меня глаза разгорелись.

Писатели, профессора, ученые, сотрудники «Задруги» уже разбирали дрова, укладывали их на санки. Спешили увозить, пока еще оставался снег на мостовой.

Со мной были только маленькие санки. Восьмушку дров, которые мне полагались, я не могла поднять.

– Пожалуйста, – попросила я сторожа, – отложите мои дрова в сторону, я за ними приду.

– Куда я их сложу? Видите, весь двор завален?..

Делать было нечего. Я попросила нашу молодую машинистку из Толстовского товарищества помочь. Мы взяли двое саней, погрузили дрова, увязали их и повезли. Мягкий, смешанный с навозом снег месился под полозьями. Местами полозья скрипели по оголенным булыжникам. Я тащила свои сани с трудом. Усиленно билось сердце, подкашивались ноги.

Тошнило. Когда я вспоминала о нескольких лепешках на какаовом масле, которые надо было растянуть на несколько дней, – тошнота усиливалась.

Мы двигались медленно, то и дело останавливались, чтобы передохнуть. Так было жарко, что я расстегнула свою кожаную куртку. Пот валил с меня градом, застилая глаза.

– Будь она проклята, эта жизнь!

Сил не было. Хотелось сесть прямо в этот грязный снег и горько заплакать, как в детстве.

На Никитской улице, по которой мы поднимались, играли дети. Им было весело. Они кричали, смеялись, перебрасывались снежками. Маленький, толстенький, краснощекий мальчуган ручонками в зеленых варежках ухватился за мои санки.

– Пусти! – закричала я сердито. – Тяжело и без тебя!

Но он не отпускал веревку и, крепко ухватившись за нее, пошел рядом со мной. Остальные дети побежали за ним.

Маленькая девочка в грязном белом капоре подбежала к нам.

– Мы вам поможем! – и, повернувшись к другим детям, возмущенно закричала: – Ну, чего же вы стоите?

Дети с минуту колебались, а затем всей гурьбой бросились к санкам.

– Ну, давайте все вместе!

И вдруг санки покатились: дети толкали сзади, с боков, тянули за веревку. Веревка, несколько секунд назад резавшая мне плечи, ослабела. Пришлось ускорить шаг, я уже почти бежала.

– Стойте, стойте! – кричу.

На перекрестке санки подкатились к большой луже,

– Остоложней, остоложней! – кричала девочка в белом капоре. Щечки у нее разгорелись. Глаза сверкали из-под белого капора. Она чувствовала себя во главе всей этой

детворы. Но дети ее уже не слышали. Они были слишком увлечены.

– Мы не лазбилаем, – кричали зеленые рукавички, – тяни!.. Раз!..

Веревка на моих плечах совсем ослабела, санки дернулись и ударились о край водомоины. Плеск – и весь наш драгоценный груз оказался в воде.

Дети окружили санки. На несколько минут наступило молчание.

– Вот тебе и лаз! – воскликнула, разводя руками, совсем как взрослая, девочка в белом капоре.

– Чего стоите, только время тратите! – крикнул мальчик, который казался старше других. – Раз, два, три!

– Мишка! Черт! Ногу мне отдавил!

– Не беда! До свадьбы заживет!

Не успела я ухватиться за край санок, как послышался второй всплеск – и санки стали на место. Еще общее усилие, и мы вытащили санки из воды. Вторые санки перевезли через лужу с большой осторожностью.

– Дети! – сказала я. – Спасибо вам, идите теперь домой, а то заблудитесь.

– Вот еще что выдумали, – презрительно фыркнула белый капор, ухватив крошечными ручонками грубую веревку и зашагав рядом со мной, – что выдумали! Я одна каждой день в детский сад хожу!

– А я один в лавку хожу!

– А я к тетке, я знаю, где она живет!

– Мы вам дрова до места довезем, – сказал старший мальчик.

– И лазглузим, – добавил мальчик в зеленых рукавичках.

– Конечно, лазглузим, – поспешно подтвердил белый капор.

И они, играя, вывезли санки в гору до самых Никитских ворот и не хотели уходить домой, пока дрова не были разгружены и убраны в сарай. А кончив, они, сидя на дровах, с громадным аппетитом поедали мои лепешки на какаовом масле. Я смотрела на них, и давно не испытанное чувство радости наполняло мою душу. Я была счастлива, я чувствовала весну.

Тюрьма

В конце марта 1920 года я возвращалась в Москву из Ясной Поляны в скотском вагоне. Я простояла около суток в страшной давке. Ноги болели, плечи резало от тяжелого мешка с мукой, белье липло к грязному телу, и по мне ползали вши, горели глаза, и хотелось спать. Я предвкушала ванну, сон, и казалось, сил хватит ровно настолько, чтобы втащить вещи на второй этаж.

Теперь часто приходилось испытывать это чувство. Думаешь: вот-вот упадешь, силы иссякли, но напрягаешь волю, еще немного, и оказывалось, что силы есть. Нет предела терпению – все можно вынести, ко всему привыкнуть!

На дверях квартиры была печать ВЧК.

Что это могло значить?

Я свалила вещи и пошла к соседям звонить по телефону... «Кремль! Секретаря ВЦИКа! Говорит комиссар Ясной Поляны!»

Я знала секретаря ВЦИКа Енукидзе лично и начала с возмущением говорить ему, что я только что приехала из Ясной Поляны, устала и прошу его распорядиться, чтобы ВЧК немедленно сделало у меня обыск и распечатало бы квартиру.

Политикой я не занималась, ничего запрещенного у меня не было, и я была уверена, что это ошибка.

– Подождите, сейчас наведу справки и позвоню!

Он вызвал меня минут через пятнадцать:

– Сотрудники ВЧК сейчас у вас будут.

– Да? Но почему же все-таки запечатана квартира? В чем дело?

– Не знаю. Говорят, что имеют на это серьезные основания.

Меня поразила сухость в тоне любезного грузина. Я села на чемодан у дверей квартиры и стала ждать.

Чекисты приехали минут через двадцать: двое в военной форме, а третий тщедушный молодой человек в бархатной куртке, с бледным лицом, томными глазами и каштановыми, вьющимися по плечам длинными волосами. Было что-то нездоровое, ненормальное в облике этого человека...

– Вы...

– С ними, – кивнул он головой на военных, – художник-футурист.

– И... чекист?

– Да, и сотрудник ЧК.

– Пожалуйста, делайте поскорей обыск, – сказала я, отпирая все шифоньерки, письменный стол, комоды, шкафы, – ищите!

Они искали долго, но ничего не нашли.

– Собирайте вещи!

– Зачем?

– Вы арестованы.

– Арестована?! За что? Ведь вы же ничего не нашли!

– Есть ордер на ваш арест.

– Не может быть! – воскликнула я. – За что меня арестовывать! Я комиссар Ясной Поляны! Я не принимала участия в политике! Это недоразумение!

– Потрудитесь собирать вещи!

– Ни за что! Это нелепость какая-то. Никуда я не поеду. Справьтесь! Это ошибка!

Чекисты заколебались и, оставив меня под присмотром художника-футуриста, пошли говорить с начальством по телефону.

– Вас приказано немедленно арестовать, – сказали они, вернувшись.

– Но у меня на руках казенные деньги, отчеты, документы. Я же должна их сдать, привести все в порядок. Дайте мне три часа, раньше я не поеду.

Снова чекисты ушли разговаривать с начальством.

– Делайте, что вам нужно, только скорее!

Мои друзья и племянница, пришедшие меня встретить, развели самовар. Художник-футурист с наслаждением уплетал мои яснополянские припасы: мед, белый хлеб, масло, варенье.

Прошло около двух часов. Я приняла ванну, надела чистое белье, собрала вещи, сдала бумаги и деньги племяннице, напилась чаю.

Было уже десять, когда меня привезли на Лубянку, 2 и ввели в комендатуру. Мелькала передо мной громадная фигура рыжего коменданта Попова. Я сидела на стуле и клевала носом. В первом часу ночи допросили, и я узнала, за что арестована.

Больше года тому назад друзья просили меня предоставить им квартиру Толстовского товарищества для совещаний, что я охотно сделала. Я знала, что совещания эти были политического характера, но не знала, что у меня на квартире собиралась головка Тактического центра.

Я не принимала участия в совещаниях. Раза два ставила самовар и поила их чаем. Иногда меня вызывали по телефону, и, когда я входила в комнату, все замолкали. Об этих собраниях я давно забыла, но теперь, узнав, за что арестована, поняла, что мое дело серьезно.

Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

– Товарищ! Дайте воды, пожалуйста, – попросила я надзирателя.

– Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений наступала реакция, и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила: в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось, вся камера была полна крысами.

«Только бы на койку не влезли», – подумала я и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу.

Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

– Что за шум, гражданка? В карцер захотели? – крикнул в волчок надзиратель.

– Зажгите огонь, пожалуйста! Камера полна крыс!

– Не полагается! – Он захлопнул волчок. Я слышала, как шаги его удалялись по коридору.

Опять на секунду все затихло. Мучительно хотелось спать. Но не успела я сомкнуть глаз, как снова ожила камера. Кры-

сы лезли со всех сторон, не стесняясь моим присутствием, наглея все больше и больше. Они были здесь хозяевами.

В ужасе, не помня себя, я бросилась к двери, сотрясая ее в припадке безумия, и вдруг ясно представила себе, что заперта, заперта одна, в темноте с этими чудовищами. Волосы зашевелились на голове. Я вскочила на койку, встала на колени и стала биться головой об стену.

Удары были бесшумные, глухие. Но в самом движении было что-то успокоительное, и крысы не лезли на койку. И вдруг, может быть потому, что я стояла на коленях, на кровати, как в далеком детстве, помимо воли стали выговариваться знакомые, чудесные слова. «Отче наш», и я стукнулась головой об стену, «иже еси на небесех», опять удар, «да святится...» и когда кончила, начала снова.

Крысы дрались, бесчинствовали, нахальничали... Я не обращала на них внимания: «И остави нам долги наши...» Вероятно, я как-то заснула.

Просыпаясь, я с силой отшвырнула с груди что-то мягкое. Крыса ударилась об пол и побежала. Сквозь решетки матового окна чуть пробивался голубовато-серый свет наступающего утра.

* * *

Утром повели в уборную. Только начала мыться – стучат.

– Гражданка! Кончайте! Уступайте место другим!

Делать нечего. У меня был с собой эмалированный тазик. Наполнила его водой и решила окончить умывание в камере.

Полутьма, ни книг, ни бумаги, ни карандаша нет. Отняли. Делать нечего. За стеной скребутся крысы. Днем я их не боюсь, но с ужасом думаю о ночи.

– Собирайте вещи, – и на мой вопросительный взгляд: – переводят в общую.

В одной руке понесла вещи, в другой таз с водой, боясь расплескать.

Надзиратель отпер угловую камеру, в конце коридора. За столом сидела компания женщин. Увидели меня с тазом – и рассмеялись.

– Вы – Толстая? – спросила меня одна из них, постарше, с маленькими острыми глазками и нервным, чуть дергающимся лицом.

– Да.

Странно, почему она знает?

– А мы вот карты делаем из папиросных коробок, – сказала она мне, – вот тут устраивайтесь, – и указала мне пустую койку у дверей.

Комната была длинная и неправильная, суживающаяся в конце. С двух сторон по окну с решетками и матовыми стеклами. Койки стояли почти вплотную по стенам. Слева у окна тяжелый ломберный стол, два стула, вот и все.

– Я доктор медицины, Петровская, – сказала мне пожилая женщина. – По Петербургскому делу, – сейчас же добавила она, – Юденича ждали...

– Madame parle français, n'est ce pas?[20] – обратилась ко мне соседка по койке. И по великолепному произношению, по тонкому гриму на лице и особому шику в одежде, свойственному только парижанкам и не утерянному даже здесь, я сразу определила ее национальность.

– Oh! Mademoiselle la princesse parle aussi [21], – кивнула она на высокую девушку лет восемнадцати с тонким аристократическим лицом.

---

[20] Parle français, n'est ce pas? (*франц.*) – Говорит по-французски, не так ли?

[21] Oh! Mademoiselle la princesse parle aussi (*франц.*) – О! Мисс принцесса говорит также.

– Ее арестовали в связи с делом брата, – кивнула на княжну белокурая красивая женщина лет под тридцать.

– А зачем вам таз с водой? – спросила девица с большими томными глазами. Очень это смешно!

– Мыться. А крысы у вас есть?

– Есть, но немного.

Мне хотелось спать. И я стала стелить постель. Койка – три сбитые неотесанные доски. Между каждой тесиной три-четыре пальца. Жидко набитый стружками тюфяк провалился в щели, и тесины краями врезывались в тело. Я подложила под бок сумочку, под голову пальто, закрылась пледом и заснула как убитая.

Проснулась я только на следующее утро.

– Будет вам курить, доктор! Всю камеру прокурили, дышать нечем! – ворчала белокурая флегматичная девица, по профессии машинистка, лениво ворочаясь на кровати. – И что вы ходите взад и вперед, как маятник!

– Не сердитесь, голубушка! Сил нет! Места себе не найду!

– Господи! И чего волноваться. Этим не поможешь. Ведь вот не волнуюсь же я.

– Вам-то чего волноваться? Ведь в деле же не участвовали?

Машинистка промолчала.

– Ах, да разве я за себя! У меня сын, дочь, муж! Моя жизнь кончена. Вы представьте себе только, можно ли быть спокойной, когда их всех могут расстрелять из-за меня, всех, всех!

– Да ведь вы говорите, что сына вашего помиловали...

– Боже мой! Да разве можно кому-нибудь верить! Сегодня помиловали, а завтра расстреляют, – и докторша хваталась дрожащими руками за книжечку, отрывала листочек папиросной бумаги, крутила папиросы и снова нервно закуривала.

– Знаете, – вступила француженка, – вы, когда следователь говорит, немножко с ним coqquette, немножко руж, немножко blanc, я смеюсь, он смеюсь...

– А вы смеялись, помните, когда вас ночью с вещами потребовали?

– Oh! Mon Dieu[22] – ниет, не смеял, а плакайть, плакайть. Я думал, меня стрелять!

– Да, жуткое было время, – начала Петровская, – то и дело на расстрел выводили. Пришли за ней ночью, велят собирать вещи. С ней истерика – плачет, хохочет. Вдруг упала на колени: «Доктор, – кричит, – молитесь на моя грешная душа». Я с ней с ума было сошла. А утром привели.

– Куда же водили?

– На допрос.

– Нарочно пугают, – сказала девица с томными глазами, – своего рода пытка. Запугивают, думают, что человек больше расскажет.

– Oh! Ma pauvre mere, mon pauvre Henri. Ils ne sauront jamais ce que j'ai souffert[23].

– Жених у нее во Франции, – продолжала докторша, – а обвиняют ее в шпионстве. Сошлась с каким-то негодяем...

– Mais non, docteur! Меня принимайт за шпион, се monsieur меня спасайт. Я его не любил, се monsieur, oh, non. Henri comprendra ça![24]. Я пошел с ним только по благодарству.

– Не поймешь их. Слушаю их разговоры целый месяц. А кто за что арестован, ничего не могу понять, – и машинистка поправила на своей кровати подушки, укладываясь поудобнее.

– Ах, я вам все расскажу, – нервно подергиваясь и покашливая, таинственно зашептала докторша, нагибаясь и обдавая меня табачным перегаром, – подходил Юденич. В Петербур-

---

[22] О Боже мой!

[23] О! Моя несчастная мать, мой несчастный Генрих! Они никогда не узнают, что я страдаю.

[24] Но нет, доктор!.. Этого господина, о нет! Генрих поймет это!

ге во главе организации стоял англичанин, красавец собой, смелый... Я была готова пожертвовать жизнью...

Докторша говорила быстро, почти не останавливаясь, говорила как заученный урок, как будто она много раз повторяла свою историю.

Хотелось, чтобы она замолчала, было чувство брезгливости, почти физического отвращения к женщине, к ее любви к англичанину.

– Пасынка приговорили к расстрелу, сына, может быть, помилуют. Дочь в тюрьме.

– И они участвовали в заговоре?

– Да, да, и я, я одна виновата... Боже мой, Боже мой... – докторша истерически рыдала.

Я не находила слов утешения, и мне было с ней неловко. А она все говорила, говорила...

По утрам я ввела гимнастику по Мюллеру. Открыв форточку, поскольку позволяли железные решетки, мы раздевались почти донага, становились в ряд и делали всевозможные движения руками, ногами и туловищем.

Я сказала, что гимнастика помогает сохранять молодость и красоту. Француженка, раскрашенная, в папильотках, старалась больше всех. «Un, deux, troix! Un, deux, troix»[25], – приговаривала она, махая руками. Слабые мускулы ее не привыкли к усилию. Каждый раз, когда надо было медленно опускаться на корточки, она падала навзничь и не могла встать. Поднимался такой смех, что вмешивался надзиратель:

– Тише, дьяволы, что у вас тут такое?!

Доктор Петровская в одной денной рубашке, с замотанной вокруг головы фальшивой косой, желтая, тощая, вызывала чувство брезгливой жалости. И никто не смеялся, когда

[25] «Раз, два, три! Раз, два, три!»

она, как и француженка, садилась на пол, вместо того чтобы подниматься с корточек...

Один раз кто-то обратил внимание на отопительные трубы, проходящие в соседнюю камеру. Я села на пол и стала расковыривать известку железной шпилькой. Щель была замазана плохо, и известка легко осыпалась.

– Станьте у двери, караульте надзирателя, – шепнула я товаркам.

Доктор Петровская быстро вскочила и заняла наблюдательный пост.

– Щепочкой, щепочкой, – шептала она, – от коробки отломайте.

И вдруг я услыхала с той стороны шорох, точно мыши скреблись. Я попробовала пропихнуть щепочку, почувствовала, что ее вытягивают. Она вся ушла и через минуту снова показалась с привязанной к ней записочкой: «Кто у вас в камере? У нас сидят такие-то и такие-то». Записка была подписана пятью, один из них был знакомый, заседавший у меня в квартире.

Мы ответили. Завязалась переписка. Мне было важно узнать, как вести себя на допросах. «Скрывать что-либо бесполезно, ВЧК все известно», – был ответ.

Наивно просовывая щепочку в соседнюю камеру, мы и не подозревали, что вся эта переписка была спровоцирована, что доктор Петровская – наседка, передающая из камеры следователям ЧК все наши разговоры. Недаром ее так часто вызывали на допросы. Говорили, что своей шпионской деятельностью она купила жизнь своего сына. В соседней же камере сидел другой предатель – Виноградский, предавший друзей детства. Я также была арестована благодаря Виноградскому; из разговора моих друзей он узнал, что заседания Тактического центра происходили у меня на квартире, и тотчас же донес об этом следователю.

Латышка

Каждое утро около восьми часов быстро открывалась дверь, на секунду показывалась высокая костлявая фигура с красным лицом, кудельками на лбу и около двери стукалось ведро с такой силой, что вода, налитая до половины, расплескивалась вокруг. Дверь с силой захлопывалась, а мы спорили о том, кому достанется мыть пол. Это было одно из самых больших развлечений.

Через полчаса дверь снова раскрывалась, опять показывалась молчаливая фигура, красная большая рука хватала ведро и снова исчезала.

Таким же резким движением она швыряла молча нам в камеру чайник с кипятком, обед, ужин. Если она и говорила с нами, то всегда отрывисто, грубо, не глядя на нас, точно считала для себя унизительным обращаться к нам.

Придет за ведром, а мы еще не кончили мыть полы.

– Ну! Скорее! – крикнет и сильно стукнет дверью.

Казалось, в ней ничего не было человеческого – деревянное лицо, деревянный голос, деревянные движения.

«Неужели эта машина может плакать, любить?» – думала я. И я смотрела на нее с ужасом, она возбуждала во мне страх, больший страх, чем самоё заключение, тюремные решетки. Каждый раз, как она входила в камеру, я вздрагивала и сжималась. А у нее на лице самодовольство, сознание исполненного долга; она со всей тупостью своей натуры поняла, что здесь, в ЧК, от нее требуют одного – потери человеческого образа, превращения в машину, и она в совершенстве этого достигла.

Мы пробовали с ней заговорить, она не только не отвечала нам, но и бровью не вела, точно наши слова были обращены не к ней.

«Неужели можно так дрессировать людей? – думала я. – А может быть, она сама по себе такая...»

Правда, что все служащие ЧК были замечательно выдрессированы. Но они иногда разговаривали с нами, отвечали на вопросы, пересмеивались между собой, ругались, наконец. И, хоть и чувствовалась в них резкость и жестокость, но не было той холодности машины, которая была в латышке. Она казалась мне страшнее надзирателей, начальника тюрьмы, следователя...

Невольно мои мысли тянулись к ней; когда она входила, я не отрывала глаз, внимательно разглядывала ее плоское грубое лицо с белыми бровями и ресницами, бесцветными невидящими глазами.

– Здравствуйте, товарищ! – вдруг, неожиданно для самой себя, сказала я ей, когда она швырнула в камеру ведро.

Она удивленно вскинула на меня свои безжизненные белесые глаза и ничего не ответила.

С тех пор я упорно каждое утро с ней здоровалась, а она делала вид, что не слышит, и не отвечала. Один раз днем, когда она принесла обед, я предложила ей конфет, которые были в передаче.

– Нельзя! – отрезала она и резко захлопнула за собой дверь.

На следующий день, когда я, как всегда, поздоровалась с ней, она едва заметно кивнула мне головой.

– А все-таки не приучите! – дразнили меня мои товарки по камере. – Эти латышки ужасно бесчувственные!

Но я думала иначе. Я радовалась. Желание вызвать в латышке проявление человеческого приобрело для меня огромное значение. Казалось, все мои чувства, мысли, воля сосредоточились в этом желании. И чем труднее казалась задача, чем больше я затрачивала на нее сил, тем сильнее делалось желание.

– Здравствуйте! Ну, как погода сегодня? – обратилась я к ней, как к старой знакомой, с обычным приветом.

– Здравствуйте!

Это была уже настоящая победа, и я ликовала. Когда в следующую передачу я получила яблоки, я выбрала одно получше и протянула ей.

– Возьмите, товарищ, я ведь просто...

Она поколебалась, взяла и сунула под фартук. Но лицо продолжало быть деревянным; она так же, как машина, входила, приносила, уносила, не глядя, не отвечая на вопросы. Иногда я отчаивалась. Казалось, что она вся насквозь деревянная и душа у нее деревянная.

23 апреля были мои именины. Двое надзирателей, улыбаясь, притащили в камеру огромную передачу от друзей. Было много, много цветов, так много, что мы обвили решетку цветами, и у нас был праздник в камере.

Когда вошла латышка, я протянула ей букет цветов.

Она удивленно пожала плечами.

– Возьмите, сегодня мой праздник!

Она молча взяла, а когда принесла обед, на груди у нее был заткнут мой букетик подснежников.

Это случилось совершенно неожиданно. Утром, проснувшись, я по обыкновению взглянула через щелку форточки на небо. И, увидав голубой клочок неба, вдруг почувствовала солнце, тепло, весну... и стало грустно. Когда вошла латышка, я, забыв про все свои опыты, спросила ее, как спросила бы всякого человека, который свободно может смотреть на солнце и небо:

– Хорошо сегодня на улице?

– Тепло, весна! – ответила она мягко.

В одиннадцать часов, в самое неурочное время, неожиданно раскрылась дверь и, широко улыбаясь своим плоским лицом, в камере появилась латышка.

– Гражданка Толстая, это вам! – сказала она, конфузясь.

Ко мне на колени упала большая ветка цветущей черемухи.

Скрипач

Пасха – и мне особенно грустно. Все в камере получили передачи, кроме меня. Почему никто обо мне не вспомнил? Может быть, арестованы? Больны? Или просто забыли?

Я даже не знаю, почему мне так грустно. Пасха для меня обычай, связанный с далеким прошлым. И вот сейчас, здесь в тюрьме, хочется той, другой, далекой Пасхи. Чтобы был накрыт стол в столовой хамовнического дома, накрахмаленная скатерть, такая белоснежная, что страшно к ней притронуться; чтобы на столе стояли высокие бабы, куличи, и пасхи, и огромный окорок, украшенный надрезанной бумагой. Шурша шелками, из спальни выходит мать, нарядная в светло-сером или белом шелковом платье. В настежь раскрытые окна из сада врывается чистый весенний воздух, пропитанный запахом земли, слышится непрерывный звон переливчатых колоколов. Грустно. Звона уже нет. Москва в ужасе замерла. Все запуганные, голодные, несчастные, а я сижу в тюрьме. Камера похожа на длинный мрачный гроб. На столе на газете лежат три красных, с растекшейся краской яйца и темный маленький кулич с бумажным пунцовым цветком. Лучше бы их не было, они еще больше напоминают о нищете...

Я бросилась на кровать, лицом к стене. Хотелось плакать. Было тихо. Должно быть, моим товаркам тоже было тоскливо. Они не болтали, как всегда.

И вдруг могучие звуки прорезали тишину. Все шесть женщин бросились к дверям и, приложив уши к щелке, стали слушать. Некоторые из нас упали на колени. Мы слушали молча, боясь пошевельнуться, боясь громким дыханием нарушить очарование.

Глубокие, неземные звуки прорезали тишину. Они проникали всюду, сквозь каменные толстые стены, сквозь потолок, они прорывались наружу через крышу тюрьмы, тянулись к небу, утопали в бесконечном пространстве. Они были свободны, могучи, они одни царствовали надо всем.

Кто-то играл на скрипке траурный марш Шопена. Один раз, другой. Затем звуки замерли, снова наступила тишина.

Слезы были у нас на глазах. Мы не смотрели друг на друга, не говорили.

По-видимому, большой мастер играл траурный марш Шопена. Да. Но почему меня это так потрясло? Как будто звуки эти вырывались за пределы тюрьмы, за железные решетки и стены; ничто не могло удержать их полета в бесконечность... Бесконечность... Вот оно что... Вот о чем пела скрипка. Она пела о свободе, о могуществе, о красоте бессмертной души, не знающей преград, заключения, конца. Я плакала теперь от радости. Я была счастлива. Я знала, что я свободна...

Много позже я встречалась на свободе с машинисткой. Мы разговаривали о тюрьме.

– А помните Пасху? – спросила она. – Скрипача?

– Еще бы. Я не могла этого забыть.

– Он большой артист, мне говорили о нем. И, знаете, ему позволили играть только один раз, это именно было тогда, когда мы его слышали. На следующий день его расстреляли.

Лубянка

Надзирательница-латышка сказала, что нас поведут в баню на Цветной бульвар. Я сообщила это на волю друзьям.

Нас повели четверо вооруженных красноармейцев и надзиратель. Важные преступники! Гнали по мостовой вниз по Кузнецкому, извозчики давали дорогу. Прохожие из

интеллигентов смотрели с сочувствием, иные попроще – со злобой.

– Спекулянты! Сволочь! – Некоторые, взглянув на раскрашенное лицо француженки и приняв нас за проституток, роняли еще более скверные слова.

Я не чувствовала стыда, унижения. Наоборот – нечто похожее на гордость. Разве сейчас тюрьма – удел преступников?

Несмотря на городскую пыль – хорошо дышалось. Мы не подозревали, что такая ранняя весна. На Цветном бульваре трава высокая и густая, листья на деревьях большие и темные, как бывает в начале лета. Жарко, но в тени хорошо, и приятно идти по земле.

– Стойте, стойте! – вдруг услыхали мы бодрый голос. – Политические? Низенький приземистый человек на ходу соскочил с извозчика и бросился через улицу к нам. – Я сам только что из тюрьмы, тоже политический. Не унывайте, товарищи! Вот огурчиков вам свеженьких! – он протягивал нам пакет.

– Отойдите, товарищ! Нельзя разговаривать с арестантами.

– А огурчики, огурчики передать можно?

– Нельзя, проходите.

– А все-таки не унывайте, товарищи, – еще раз с силой крикнул маленький человек, – я сам только что из тюрьмы, знаю все...

– Спасибо на добром слове, спасибо! – кричали мы ему вслед.

Стало совсем весело, когда я увидела своих друзей; они сидели в самых естественных позах под деревом на траве и шили, точно они вышли подышать свежим воздухом из одного из домов на бульваре. Увидев нас, встали и пошли по боковой дорожке. Может быть, я не сумела скрыть радость и волнение, а может быть, Петровская передала следователю

об этом свидании, но только надзиратель сейчас же их заметил и стал отгонять.

– Отходите дальше, гражданки, – кричал он, – а то арестую...

Одна из женщин была Прасковья Евгеньевна Мельгунова, она надеялась увидать своего мужа.

Баня была похожа на военный лагерь. Кругом все оцеплено красноармейцами. Сновали взад и вперед мотоциклетки. Около входа распоряжался прямой и высокий, как жердь, наш рыжий комендант.

В бане было невыносимо душно, густой пеленой стоял пар, но горячей воды было вволю. Красные, распаренные, мы бодро шагали по бульвару обратно в тюрьму. По боковой дорожке сопровождали нас две женщины и приветливо мне улыбались.

* * *

Вздрогнула тюрьма. Задрожали окна. Что это?

– Обстрел из тяжелых орудий... Боже мой, неужели бои, переворот?

Страшные удары не прекращались, сотрясались дома, звенели стекла, вылетая и разбиваясь о мостовую.

Мы бросились к щелке в трубе:

– Что это? Бой?

Ответили неопределенно: может быть, бои, а может быть, взрывы. Удары были равномерные и частые, один за другим. Хотелось верить, что они несут избавление. «Тра, та, та. Тра, та, та!» Дрожало здание, звенели разбитые стекла. «Освободят, откроют все тюрьмы. А вдруг не успеют освободить? Убьют чекисты?»

Уложили вещи и ждали.

Казалось, прошло много часов, взрывы стали тише, реже.

– Что это было? – спросили мы вечером у надзирателя.

– На Ходынке пороховые склады горели...

* * *

А через несколько дней – новая тревога.

– Как будто гарью пахнет? – доктор Петровская оторвалась от пасьянса и выглянула в окно. – Ничего не видно.

Княжна вскочила на подоконник, на решетки. Окно было чуть-чуть приоткрыто – настолько, насколько допускали решетки. Пригнувшись к правой стороне, можно было видеть часть двора и левое крыло тюрьмы.

– Я вижу дым! Пожар, может быть!

Одна за другой мы лазили на решетки, стараясь понять, что происходит. С каждой минутой дым становился гуще и чернее. Горел третий этаж левого крыла. До нас доносились крики, топот бегущих по коридору ног.

– О, Боже мой! – простонала докторша. – Надо собирать вещи! Нас, наверное, возьмут, если загорится тюрьма, – и она стала нервно сдергивать с койки постель и запихивать ее в корзину. – Скорей! Скорей! За нами сейчас придут!

Дым становился гуще. В камере стало серо и душно.

– Я не хочу сгореть живой! Ma foi, non![26] – кричала француженка, вытаскивая из-под койки чемодан и швыряя в него в полном беспорядке пудру, платья, косметику, грязное белье.

– Зачем торопиться? Все равно они забудут про нас, – и красивая машинистка спокойно соскочила с решетки и не спеша стала укладываться.

– Нет, что вы говорите! Не могут они нас забыть!

---

[26] Ma foi, non! (*франц.*) – Ма веры, нет!

– Где товарищи! Les camarads! – кричала француженка, бросаясь к дверям. Sapristi. Allons donc![27] – она стала с силой трясти дверь. – Oh, Mon Dieu! Товарищ, товарищ! Послушай!

Никого не было. Из камер стучали.

– Закройте окно! Мы задохнемся! – крикнула докторша.

Слышны были сигналы пожарных команд, рев автомобилей, крики. Весь этот шум, суета росли, преувеличивались в глазах заключенных, принимая ужасающие размеры. Естественная потребность действия в минуту опасности была пресечена. Мы были заперты. То и дело вскакивали на решетки, сообщая друг другу то, что было видно: бегущие пожарные в золотых касках, красноармейцы, работа пожарных машин.

По-видимому, работали три команды. Дым стал реже. Часть пожарных уехала. Я заняла наблюдательный пост на окне и не слыхала, как красноармеец мне что-то кричал со двора. Он снова закричал. Очнувшись, я увидела направленное на меня дуло винтовки.

– Слезь с окна, сволочь! – орал он во все горло. – Застрелю!

Я соскочила и захлопнула окно.

* * *

Проснулась ночью. Загремело в соседней камере, точно тело упало. Прибежал надзиратель, засуетились, забегали, подымали тяжелое, выносили. Мы вскочили и, прислушиваясь, старались понять, что делается за дверью.

Я не знала тогда, что в соседней камере умер от разрыва сердца Герасимов, когда-то давно живший у нас в доме в качестве репетитора моих братьев, товарищ министра народного просвещения при Временном правительстве.

---

[27] Sapristi. Allons donc! (*франц.*) – Черт. Ерунда!

* * *

Принесли хлеб, а кипятка не было.

– Что же кипяток? – спросила докторша.

– Водопровод испорчен.

В камерах заволновались, застучали в двери, заговорили более громкими, чем обыкновенно, голосами. Но протестовать не смели.

В уборную свели, а умыться не дали.

– Ну как это хлеб всухомятку жевать, – волновалась машинистка, тыкая пальцем в сложенные двумя небольшими столбиками шесть порций сероватого с мякиной и овсом хлеба.

– Дадут еще, водопровод починят и кипятку принесут, – успокоительно заметила докторша. Она почему-то всегда все знала.

Но воды не дали, и в обед не было супа, а вместо него принесли шесть порций селедки.

– Вы бы хоть ведрами немного воды разнесли заключенным, – сказала я надзирателю. Надзиратель фыркнул:

– Натаскаешься тут на вас...

– Ну и дьяволы, – возмущалась машинистка, – что делают. Все время не давали селедок, а сегодня, как нарочно, воды нет, так нате же вам...

– Я так любить селедка, – сказала француженка, – что буду кушайть.

Соблазн был велик. Мы все в ожидании кипятка наелись селедки. А воды все не было. Невыносимо мучила жажда, во рту пересохло.

Часа в три, в обычное время, пришел надзиратель.

– В уборную!

Кто не знает тюремной жизни, и представить себе не может, какое громадное значение имеют эти слова для заключенных.

Надзиратели водили в уборную три раза в день. Это надо было сделать так, чтобы заключенные из разных камер не встречались. Уборных было мало, а камеры переполнены, поэтому водили редко и на очень короткое время. Утром на нас шестерых полагалось пять минут. Уборная была маленькая, с одной ванной, душем и краном. Днем же водили в уборную, где не было ни крана, ни ванны и нельзя было даже помыть рук. Поэтому я всегда утром наполняла свой таз водой и в этой воде мыла руки, а на другое утро выносила таз в уборную. У нас выработалась привычка, при которой можно было использовать каждую минуту нашего пребывания в ванной. В пять минут мы ухитрялись не только вымыться, но иногда даже кое-что выстирать. Я делала так: намыливалась и тотчас же пускала на себя душ, пока душ поливал меня, я стирала. Все это занимало около двух минут времени. Трое мылись под душем, трое под краном. Вода была ледяная.

В уборную водили в семь или восемь часов утра. Пили чай в девять. К сожалению, желудок не подчинялся тюремным правилам. Начинался стук в дверь.

– Товарищ, пустите в уборную!

– Нельзя, у вас есть параша.

– Неудобно, параша без крышки, пустите, пожалуйста.

– А в карцер хотите? Говорят, нельзя.

И надзиратель уходил в другой конец коридора. Бывали случаи, что люди корчились по три-четыре часа, оставались без обеда. Но я не помню, чтобы кто-либо из нашей камеры хоть раз воспользовался парашей.

Сушили белье в камере на веревочке, а разглаживали руками. Я никогда не думала, что можно так хорошо расправлять белье. Хитрость состояла в том, чтобы расправить его перед самым моментом высыхания.

Когда в этот день раздался крик надзирателя: «В уборную!» – мы обрадовались, мелькнула надежда, что достанем где-нибудь воды.

– Чайник надо захватить, – сказала докторша.

Надзиратель выпустил нас из камеры. У дверей стояли два красноармейца с ружьями.

– Кто это? Куда вы нас ведете?

Но надзиратель молча шел впереди, красноармейцы по обеим сторонам, и никто не ответил.

«На допрос? На расстрел? Почему со стражей?» – мелькали в голове нелепые мысли.

Спустились до второй площадки. Тихо, едва передвигая ноги, по лестнице навстречу нам поднимался белый как лунь священник в серой поношенной рясе, подпоясанной ремнем. Впереди и сзади шли два красноармейца с винтовками. Мы столкнулись на тесной площадке и поневоле остановились, давая друг другу дорогу.

Страдание, смирение, глубокое понимание было в голубых старческих, устремленных на нас глазах. Он хотел сказать что-то, губы зашевелились, но слова замерли на устах, и он низко нам поклонился. И мы все шестеро низко в пояс поклонились ему. Сгорбившись, охраняемый винтовками, старец побрел наверх.

Нас привели на грязный двор внутренней тюрьмы Лубянки, 2. Я ждала очереди около дощатой уборной и, подняв голову, смотрела на небо, его не видно было из нашей камеры.

– Аээх! – вздохнул охранявший нас молоденький красноармеец. – Живо жалко!

– Кого?

– Старый поп-то, чего он им сделал?

Часа в четыре меня позвали на допрос. Мучила жажда. В мягком кожаном кресле сидел самодовольный, упитанный следователь Агранов.

Это был уже мой второй допрос. В первый раз Агранов достал папку бумаг и, указывая мне на нее, сказал:

– Я должен вас предупредить, гражданка Толстая, что ваши товарищи по процессу гораздо разумнее вас, они давно уже сообщили мне о вашем участии в деле. Видите, это показания Мельгунова, он подробно описывает все дело, не щадя, разумеется, и вас...

– А ведь это старые приемы, – перебила я его, – эти самые приемы употреблялись охранным отделением при допросе революционеров...

Агранов передернулся.

– Ваше дело, я хотел облегчить участь вашу и ваших друзей.

– Вы давно в партии, товарищ Агранов? – спросила я.

– Это не относится к делу, а что?

– Вас преследовало царское правительство?

– Разумеется, но я не понимаю...

– А вы тогда выдавали своих близких для облегчения своей участи?

Он позвонил.

– Отвести гражданку в камеру. Увидим, что вы скажете через полгодика...

В этот раз я также отказалась ему отвечать. Нахмурилась и молчала.

– Что это, гражданка Толстая, вы как будто утеряли свою прежнюю бодрость?

Меня взорвало.

– А вам известно, что в тюрьме нет ни капли воды, что заключенных кормили селедкой?

– Вот как? Неужели?

Но я поняла, что он об этом знает.

– Ведь это же пытка, ведь это...

– Стакан чаю, – крикнул Агранов, – не угодно ли курить? – любезно придвинул он мне прекрасные египетские папиросы.

– Я не стану отвечать. Неужели нельзя послать воды хоть в ведрах заключенным? – стоявший передо мной стакан чаю еще больше разжигал бессильную злобу.

– Не хотите отвечать? – любезная улыбка превратилась в насмешливую злую гримасу. – Я думаю, что если вы посидите у нас еще немного, то сделаетесь сговорчивее. Отвести гражданку в камеру, – крикнул он надзирателю.

Нам принесли кипяток только к вечеру. Я просидела два месяца на Лубянке, 2. После угрозы Агранова я не ждала скорого освобождения и удивилась, когда надзиратель пришел за мной.

– Гражданка Толстая! На свободу!

Перед тем как выйти из камеры, я по всей стене громадными буквами написала: «Дух человеческий свободен! Его нельзя ограничить ничем: ни стенами, ни решеткой!»

Прокурор

Меня выпустили до суда с другими второстепенными преступниками.

Странное было ощущение. Точно я долго плавала на корабле и вот, наконец, попала на сушу: поступь нетвердая, во всем существе нерешительность, трудно попасть в прежнюю колею повседневной жизни.

Предстоял суд, и на нем сосредоточилось все внимание. Все остальное: работа над рукописями, Ясная Поляна – отошло на задний план.

Далеко от центра, в Георгиевском переулке, помещалась канцелярия Верховного трибунала. Должно быть, она была здесь потому, что напротив был особняк комиссара юстиции Крыленко.

Здесь подсудимым разрешалось ознакомиться с делом, и мы узнали о доносах из камеры жалкой, изолгавшейся истерички Петровской, Виноградского, предавшего друзей детства, узнали о пространных, в подробности излагающих все дело «с исторической точки зрения» показаниях профессора Котляревского и других.

У меня не было желания разбираться во всей этой литературе. Быть может, придет время, когда русские историки разработают события того времени не для ЧК, как это сделал проф. Котляревский, а для широкой русской общественности.

В центре внимания были пятеро наиболее серьезно замешанных в деле. Им грозил расстрел. И это было то, чем интересовалось теперь уцелевшее московское общество: расстреляют или нет? Ужас заключался не только в том, что убивались друзья, знакомые, уважаемые, любимые многими, молодые, полные жизни и энергии люди. Ужас был еще и в том, что постепенно уничтожался целый класс, уничтожалась передовая русская интеллигенция. И эта угроза расстрела была угрозой по отношению ко всем нам.

Невольно вставал образ всеми любимого и уважаемого Николая Николаевича Щепкина, незадолго перед тем расстрелянного. Я знала его по Земскому Союзу и относилась к нему с глубоким уважением и симпатией. Когда распространилось известие, что его расстреляют, оно не дошло до сознания, я не поняла и долго не могла понять, поверить. И когда, наконец, дошло до сознания, померкло все вокруг, показалось, что нет больше радости на земле и духа Божия в человечестве и что жить дальше невозможно. Но острота первого впечатления прошла. Я стала думать о том, как спасти Николая Николаевича. Хлопотать было бесполезно. Выкрасть? Это было безумием, но и время было безумное. Разве

в России разум человеческий не тащился теперь бессильно в хвосте?

Было неприятно и немного жутко, когда пришел ко мне на квартиру подозрительный человек в ярко-синей поддевке и картузе, с лихо закрученными кверху светлыми усами, умными, хитрыми глазами, тяжелым золотым перстнем на указательном пальце левой руки и серьгой в левом ухе. Сначала осторожно, затем смелее, увлекаясь своим планом, я заговариваю с ним о возможности похищения Николая Николаевича из тюрьмы.

Человек в синей поддевке обнадеживал, у него большие «связи». Надо много для подкупа. Я не возражаю. Разве мы не найдем денег в Москве для спасения Николая Николаевича!

Но через несколько дней подозрительный тип пришел сказать, что он отказывается; по наведенным справкам, ничего сделать нельзя.

Николая Николаевича казнили. Первые дни я ждала ареста. Думала, что меня выдаст синяя поддевка, но он оказался честнее, чем я предполагала.

И вот теперь опять угроза смерти повисла над пятью всеми уважаемыми и любимыми людьми. Встречаясь, мы говорили только об этом. Было страшно глядеть в вопрошающие глаза близких: «Ну что? Как вы думаете? Помилуют или...»

Под усиленной охраной этих пятерых приводили знакомиться с делом в Георгиевском переулке. Никого не подпускали к ним близко, и, когда уводили, жены долго смотрели им вслед.

А через улицу, в большом великолепном барском особняке, жил прокурор республики Крыленко. Мы видели, как небольшой коренастый человек с хищной челюстью похаживал по двору, хлопая себя хлыстиком по сапогам. Слышно было, как властным, резким голосом он отдавал приказания слу-

жащим и сзывал многочисленных охотничьих собак. Крыленко был страстным охотником.

Суд[28]

Среди публики много знакомых лиц. На передних скамьях подсудимые. Их много, человек тридцать. Они всем известны: профессора, ученые, врачи, литераторы.

Кроваво-красное сукно на столе, за которым заседают судьи. С левой стороны – защитники, казенные и частные. Частные – адвокаты с крупными общественными именами, некоторые – бывшие революционеры, теперь враги народа. Они производят жалкое впечатление. Особенно один из них. Когда говорит, жестикулирует, подносит руки к лицу, точно умоляет. Судьи грубо его обрывают. Ораторские способности, знание, логика – здесь не нужны.

Казенные защитники – мелкие, бездарные людишки, в силе сейчас. Они знают необходимые приемы, держатся запанибрата с судьями, играют первостепенную роль.

За отдельным столиком сидит справа прокурор Крыленко с большим, почти голым черепом и с сильно развитой хищной челюстью. Он напоминает злобную собаку, из тех, что по улицам водят в намордниках. Чувствуется, что жажду крови в этом человеке утолить невозможно, он жаждет еще и еще, требует новых жертв, новых расстрелов. Стеклянный голос его проникает в самые отдаленные уголки залы, и от этого резкого, крикливого голоса мороз дерет по коже.

---

[28] Суд происходил в одной из аудиторий Политехнического музея под председательством И. К. Ксенофонта. С обвинительным заключением выступил Н. В. Крыленко. По мнению жены одного из главных обвиняемых С. П. Мельгунова, суровость наказания объяснялась тем, что «очень смело держалась Александра Львовна и погубила себя тем, что, будучи наследницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевистский суд».

Такой суд – не просто суд, а испытание. Смерть витала над головами людей. Положение было жуткое. Не было смысла отрицать виновность. Кое-кто из участников, профессора Сергиевский, Котляревский, Устинов, подробно рассказали обо всем в своих показаниях. Прямое отрицание виновности было бы глупо, но и страшно было попасть в другую крайность: начать каяться и просить прощения.

Временами даже Крыленко не мог скрыть своего презрения, когда некоторые отвечали на его вопросы заискивающе-робко, с явным подлаживанием, или предавали своих друзей.

Было очевидно, что этих не только оправдают, но, пожалуй, еще и повысят по службе.

Внимание мое было до такой степени сосредоточено на группе людей, которым грозил расстрел, что я совершенно забыла о том, что в числе других судили и меня. Я все еще была на свободе. Приходила в суд из дому, расхаживала среди публики, обменивалась впечатлениями со своими друзьями. Меня удивило, когда один из чекистов вдруг подошел ко мне и потребовал, чтобы я села на одну из первых скамей, вместе с подсудимыми, охраняемыми стражей. А вечером после заседания суда всех нас, преступников второго разряда, отправили в тюрьму на Лубянку, 2.

Так как мы не знали, в какой именно день нас заключат под стражу, вещей ни у кого не было, только у Николая Михайловича Кишкина оказался мешок за спиной.

Нас поместили в большую грязную камеру со множеством деревянных, без матрасов, нар. Все были взволнованы, возбуждены и, разбившись на небольшие группы, оживленно разговаривали.

Николай Михайлович, раскрыв свой мешок, достал чай, сахар, черные сухари, заварил чай и стал всех угощать.

– Что это значит, Николай Михайлович? – спросила я его. – Почему вы знали, что нас сегодня арестуют?

– Эх, Александра Львовна, ну что же тут удивительного. Вы сколько раз были арестованы?

– Три.

– Ну вот, видите. А я и счет потерял. Я уж который день этот мешок в суд за собой таскаю.

Стали пить чай. Принесли хлеба. В углу обрисовывалась скрючившаяся фигура представительного Виноградского. Никто не позвал его пить чай, никто не говорил с ним.

– Неудобно ведь это, – сказал Котляревский, – надо все-таки чаю предложить...

Все промолчали.

– Я предложу ему чаю.

Опять все промолчали. Профессор встал и пошел к Виноградскому.

Свет потух. Я вытянулась на голых досках, подложив под голову кулак, и не успела закрыть глаза, как почувствовала жгучие укусы в тело. Доски кишели клопами. Справа и слева ворочались профессора.

– Черт знает, что такое! И думать нечего спать, – кряхтели ученые, ворочаясь с боку на бок, скрипя плохо сколоченными нарами.

Один только Николай Михайлович, постелив простыню, подушку с белоснежной наволочкой, посыпавшись персидским порошком, заснул, как ни в чем не бывало.

В конце концов заснула и я, под оханье и аханье профессоров.

Проснулись утром помятые, измученные, с зелеными лицами. Я с ужасом осмотрела свое белое платье; оно превратилось в грязную тряпку. Помывшись кое-как без мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились в Политехнический музей.

Теперь уже мы были арестантами, ходить по зале свободно нельзя было, и я только издали переглядывалась со своими друзьями.

Помилование или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все внимание, вытеснив остальные интересы. Суд казался нелепым представлением, вопросы защиты – бессмысленной, отжившей формальностью. Председатель суда грубо обрывает бывших знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робеют. К чему все это? Решение несомненно продиктовано сверху.

Вдруг все заволновались в зале, засуетились, задвигались, даже среди судей произошло какое-то едва заметное движение. Незаметно по зале рассыпалась толпа подозрительных штатских, в дверях и проходах показались остроконечные шапки чекистов. И не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенсне с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор. Говорил он о молодом ученом, о том, что такие люди, как этот ученый, нужны республике, что он столкнулся с его работой и был поражен ее ценностью. Говорил недолго и, когда смолк, так же спокойно вышел, а в зале, как после всякого выдающегося из обычных рамок события, – на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся в залу охрана, рассеялись подозрительного вида штатские, и суд пошел своим чередом.

Мне было непонятно, как непонятно сейчас, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, под руководством которого были расстреляны тысячи, почему ему пришла фантазия заступиться за молодого ученого? Но после выступления военкома Льва Троцкого стало ясно, что надежда на спасение четырех увеличилась.

Мне суждено было вызвать смех в публике и разозлить прокурора.

– Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического центра?

– Мое участие, – ответила я умышленно громко, – заключалось в том, что я ставила участникам Тактического центра самовар...

–...и поила их чаем? – закончил Крыленко.

– Да, поила их чаем.

– Только в этом и выражалось ваше участие?

– Да, только в этом.

Этот диалог послужил поводом для упоминания меня в сочиненной Хирьяковым шутливой поэме о Тактическом центре:

Смиряйте свой гражданский жар
В стране, где смелую девицу
Сажают в тесную темницу
За то, что ставит самовар.
Пускай грозит мне сотня кар,
Не убоюсь я злой напасти,
Наперекор советской власти
Я свой поставлю самовар.

Приговорили четверых к высшей мере наказания. Остальных приговорили на разные сроки. Виноградского и красноречивых профессоров скоро выпустили. Мне дали три года заключения в концентрационном лагере. Я не думала о наказании и была счастлива, что не попала в компанию людей, получивших свободу.

В концентрационном лагере

Нас вывели во двор тюрьмы. Меня и красивую, с голубыми глазами и толстой косой, машинистку. Было душно, парило. Чего-то ждали. Несколько групп, окруженных конвойными, выходили во двор. Это были заключенные, приговоренные в другие лагеря по одному с нами делу. Перебросились словами, простились.

Нас погнали двое конвойных, вооруженных с головы до ног, – меня и машинистку.

Тяжелый мешок давил плечи. Идти по мостовой больно, до кровавых мозолей сбили себе ноги. Духота становилась все более и более нестерпимой. А надо было идти на другой конец города, к Крутицким казармам.

– Товарищи, – обратилась к красноармейцам красивая машинистка, – разрешите идти по тротуару, ногам больно!

– Не полагается!

Тучи сгущались, темнело небо. Мы шли медленно, хотя «товарищи» и подгоняли нас. Дышать становилось все труднее и труднее. Закапал дождь, сначала нерешительно, редкими крупными каплями; небо разрезала молния, загрохотал, отдаваясь эхом, гром, и вдруг полился частый крупный дождь, разрежая воздух, омывая пыль с мостовых. По улице текли ручьи, бежали прохожие, торопясь уйти от дождя, стало оживленно и почти весело.

– Эй, постойте-ка вы! – обратился к нам красноармеец. – Вот здесь маленько обождем, – и он указал под ворота большого каменного дома.

Я достала портсигар, протянула его конвойным.

– Покурим!

Улыбнулись, и показалось, что сбежала с лица искусственная, злобная, точно по распоряжению начальства присвоенная маска.

Я разулась, под водосточной трубой обмыла вспухшие ноги, и стало еще веселее. Дождь прошел. Несмело, сквозь уходящую иссиня-черную тучу проглядывало солнце, блестели мостовые, тротуары, крыши домов.

– Эй, гражданки! Идите по плитувару, что ли! – крикнул красноармеец. Ишь, ноги-то как нажгли!

Теперь уже легче было идти босиком по гладким, непросохшим еще тротуарам.

– Надолго это вас? – спросил красноармеец.

– На три года.

– Э-э-э-эх! – вздохнул он сочувственно. – Пропала ваша молодость.

Я взглянула на машинистку. Она еще молодая, лет двадцати пяти. Мне тридцать восемь, три года просижу – сорок один, – много...

Заныло в груди. Лучше не думать...

Подошли, наконец, к высоким старинным стенам Новоспасского монастыря, превращенного теперь в тюрьму. У тяжелых деревянных ворот дежурили двое часовых.

– Получайте! – крикнули конвойные. – Привели двух.

Часовой лениво поднялся со скамеечки, загремел ключами, зарычал запор в громадном, как бывают на амбарах, замке; нас впустили, и снова медленно и плавно закрылись за нами ворота. Мы в заключении.

Кладбище. Старые, облезлые памятники, белые уютные стены низких монастырских домов, тенистые деревья с обмытыми блестящими листьями, горьковато-сладкий запах тополя. Странно. Как будто я здесь была когда-то? Нет, место незнакомое, но ощущение торжественного покоя, уюта то же, как бывает только в монастырях. Вспомнилось, как в далеком детстве я ездила с матерью к Троице-Сергию.

– Шкура подзаборная, мать твою...

Из-за угла растрепанные, потные, с перекошенными злобой лицами выскочили две женщины. Более пожилая, вцепившись в волосы молодой, сзади старалась прижать ее руки. Молодая, не переставая изрыгать отвратительные ругательства, мотая головой, точно огрызаясь, изо всех сил и руками, и зубами старалась отбиться.

С крыльца, чуть не сбив нас с ног, выскочил надзиратель.

– Разойдитесь, сволочь! – крикнул он, подбегая к женщинам и хватая старшую за ворот.

Поправляя косынки и переругиваясь, женщины пошли прочь.

Мы вошли в контору. Дрожали колени, не то от усталости, не то под впечатлением только что виденного.

С ними, вот с «такими», придется сидеть мне три года! Стриженая, с курчавыми черными волосами, красивая девушка, еврейка, что-то писала за столом. Женщина средних лет, в холщовой рубахе навыпуск, в посконной синей юбке и самодельных туфлях на босу ногу, встала из-за другого стола и с приветливой улыбкой подошла к нам.

– Пожалуйста, сюда, – сказала она, – мне нужно вас зарегистрировать. Ваша фамилия, возраст, прежнее звание? – задавала она обычные вопросы. – Ваша фамилия Толстая? – переспросила она. – Имя, отчество?

– Александра Львовна.

Что-то промелькнуло у нее в лице, не то удивление, не то радость.

Закурив папиросу и небрежно раскачиваясь, еврейка вышла на крыльцо, и сейчас же лицо пожилой женщины преобразилось. Она схватила мою руку и крепко сжала ее.

– Дочь Льва Николаевича Толстого? Да? – поспешно спросила она меня.

– Да.

Мне было не до нее. Только что виденная мною сцена не выходила из головы.

– Большая часть арестованных уголовные? – спросила я ее. – Какой ужас!

– Голубушка, Александра Львовна, ничего, ничего, право ничего! Везде жить можно, и здесь хорошо, не так ужасно, как кажется сперва. Пойдемте, я помогу вам отнести вещи в камеру.

Голос низкий, задушевный.

– Как ваша фамилия?

– Моя фамилия Каулбарс.

– Дочь бывшего губернатора?

– Да.

Я снова, совсем уже по-другому, взглянула на нее. А она, поймав мой удивленный взгляд, грустно и ласково улыбнулась.

Навстречу нам, неся перекинутое на левую руку белье, озабоченной, деловой походкой шла маленькая стриженая женщина.

– Александра Федоровна! – обратилась к ней дочь губернатора. – У нас найдется местечко в камере? – И, оглянувшись по сторонам, она наклонилась и быстро прошептала: – Дочь Толстого, возьмите в нашу камеру, непременно!

Та улыбнулась и кивнула головой:

– Пойдемте!

Мы прошли по асфальтовой дорожке. С правой стороны тянулось каменное двухэтажное здание, с левой – кладбище.

– Сюда, наверх по лестнице, направо в дверь.

Я толкнула дверь и очутилась в низкой светлой квартирке. И опять пахнуло спокойствием монастыря от этих чистых крошечных комнат, печей из старинного, с синими ободками кафеля, белых стен, некрашеных, как у нас в деревне, полов. Высокая, со смуглым лицом старушка, в ситцевом, подвязанном под подбородком сереньком платочке и ситцевом же

черном с белыми крапинками платье, встала с койки и поклонилась.

– Тетя Лиза! – сказала ей Александра Федоровна. – Это дочь Толстого, вы про него слыхали?

– Слыхала, – ответила она просто, – наши единоверцы очень даже уважают его. Вот где с дочкой его привел Господь увидеться! – и она снова поклонилась и села.

Лицо спокойное, благородное, светлая и радостная улыбка, во всем облике что-то важное, значительное.

«Это лицо не преступницы, а святой, – подумала я, – за что она может сидеть?»

– Вот сюда кладите вещи, – сказала мне Александра Федоровна, староста лагеря, указывая на пустую койку рядом с тетей Лизой.

Вдруг дверь из соседней комнаты распахнулась и быстрыми, легкими шагами ко мне подошла прямая, старая дама, с гладкой прической, в старомодном затянутом платье, с признаками былой классической красоты.

– Позвольте с вами познакомиться. Я Елизавета Владимировна Корф.

– Баронесса Корф?

– Chut, plus de baronesses. C'est a cause de la que je souffre![29] – прошептала она. – Но вы, за что же вас могли посадить? – уже громко спросила она. – Ваш отец был известен всему миру своими крайними убеждениями.

– Обвинение в контрреволюции, а впрочем, я и сама не знаю, за что...

– Abominable![30] – воскликнула она.

Вечером мы сидели вокруг стола в комнате старосты – семь женщин, не имеющих между собой ничего общего – разных сословий, разных интересов, вкусов, развития. Пили

---

[29] Шшш! Без баронесс! От этого-то я страдаю!

[30] Как отвратительно!

чай из большого жестяного чайника. Тетя Лиза пила с блюдечка медленно и деловито; баронесса принесла из своей комнатки маленькую изящную чашечку и пила, отставив мизинчик; дочь губернатора налила кипятку в громадную эмалированную кружку и пила его без сахара, с корочкой отвратительного тюремного хлеба.

– Почему вы чай не пьете? – спросила я.

Староста только рукой махнула.

– Уж от голода распухать стала, а все другим раздает, – сказала она, и в глазах ее засветилась ласка, – и масло, и сахар – все.

– Голубушка, Александра Федоровна, не надо, – поморщилась дочь губернатора, – вы не обращайте на меня внимания, пожалуйста.

В душе росло недоумение. Где я? Что это? Скит, обитель? Кто эти удивительные, кроткие и ласковые женщины?

Я легла спать. Толстая нервная дама, другая моя соседка по камере, задавала мне бесконечные глупые вопросы. Наконец, мне это надоело, я отвернулась к стене и притворилась спящей. Но спать не могла.

По привычке, как это было все эти последние дни, я подумала о том, что приговорена в лагерь на три года. Но, к удивлению моему, мысль эта не дала мне того тоскливого ощущения почти физической боли, как прежде. Передо мной, заслоняя все остальное, стояло бледное, немного опухшее лицо, обрамленное светлыми, почти рыжими волосами, ласково улыбались серые добрые глаза. «Везде жить можно, и здесь хорошо...» «Да, может быть, это и правда», – подумала я. В моей душе не было ни страха, ни чувства одиночества...

Среди ночи я проснулась. Где-то, казалось, под самыми нашими окнами, стучали железом по камню, точно ломом пробивали каменную стену. Гулко раздавались удары среди тишины ночи, мешая спать.

В смежной комнате кто-то заворочался.

– Что? Что? – спросила я.

Никто не ответил, все спали. А стук продолжался. Стучали ломами, слышно было, как визжали железные лопаты о камни. Мне чудилось, что происходит что-то жуткое, нехорошее, оно лезло в душу, томило...

Наутро я спросила старосту, что это был за стук, точно ломали что-то и копали.

– И ломали, и копали – все было, – ответила она, – девчонки тут, все больше из проституток, могилы разрывают, ищут драгоценностей. Надзиратели обязаны гонять, днем неудобно, ну, так они по ночам. Должно быть, надзиратели тоже какой-нибудь интерес имеют, вот и смотрят на это сквозь пальцы...

Говорит спокойно, не волнуясь, как о чем-то привычном.

– Но надо это как-нибудь прекратить, сказать коменданту...

Она насмешливо улыбнулась.

– Да, надо бы... А впрочем, не стоит, обозлятся уголовные...

– Разве находят что-нибудь?

– Как же, находят. Золотые кольца, браслеты, кресты. Богатое ведь кладбище, старинное.

Я вышла во двор. Почти все свободное от построек место занимало кладбище. Должно быть, прежде оно действительно было очень богатое, теперь оно представляло из себя страшный вид разрушения и грязи. Недалеко от входа в монастырь, слева – могила княжны Таракановой, дальше – простой, каменный склеп первых Романовых. На мраморной черной плите, разложив деньги, две женщины играли в карты, тут же рядом развороченная могила – куски дерева, человеческие кости, перемешанные со свежей землей и камнями.

– Девчонки ночью разворочали, – просто сказала мне одна из женщин на мой вопросительный взгляд. Здесь ко всему привыкли, ничем не удивишь.

– А грех? – сказала я, чтобы что-нибудь сказать.

– Какой грех? Им теперь этого ничего не нужно, – и она ткнула пальцем в кости, – а девчонки погуляют. Да сегодня, кажись, ничего и не нашли, добавила она с деловитым сожалением.

Никто не возмущался, все были спокойны, безучастны.

Почему же меня это так волнует? Расстроенное воображение, нервы?

На следующую ночь я опять не могла спать, снова, когда весь лагерь погрузился в сон, – стуки, удары лома и лопаты о камень. И так продолжалось несколько дней. Наконец стуки прекратились. Но началось другое, не менее жуткое.

Вечером, когда наступали сумерки, раздавались страшные, нечеловеческие крики. Казалось, это были вопли припадочных, безумных, потерявших всякую власть над собой женщин. В исступлении они бились головами о стены, не слушая криков надзирателей, уговоров своих товарок.

Кокаинистки, с отравленными табаком и алкоголем организмами, почти все крайние истерички, «девчонки» не выдержали этого ежедневного ворошения человеческих скелетов и черепов, срывания колец с кистей рук с присохшими на них остатками кожи. Мертвецы преследовали их, они видели их тени, слышали их упреки, их мучили галлюцинации. Ежедневно, как только смеркалось, они видели, как мутной тенью под окнами проплывала человеческая фигура. Она останавливалась у окна, принимала определенные формы монаха в серой рясе и медленно сквозь железные решетки вплывала в камеру.

Женщины бросались в разные стороны, падали на пол, закрывая лицо руками. Наступала общая истерика, острое

помешательство, пронзительные визги перемешивались со стоном и жутким хохотом, от ужаса у меня шевелились волосы на голове, немели ноги.

Нигде нервы не расшатываются так, как в заключении. Сумасшествие молниеносной заразой перекинулось в другие камеры.

Таинственного монаха видели то тут, то там, во всех камерах. В существование его поверили не только уголовные, но и политические.

Монах этот посетил и нашу камеру.

Вечером мы все ушли в наш лагерный театр, где заключенные ставили какую-то пьесу. Дома остались только толстая барыня и баронесса Корф.

Вернувшись, мы застали толстую даму в большом волнении.

– Знаете, знаете, – говорила она, захлебываясь, – что у нас было, вы и представить себе не можете. Когда вы ушли, я вошла в камеру старосты, и вдруг на постели у нее сидит...

– Монах?

– Вы почем знаете? Да, да, монах. Я решила, что он пришел к старосте по делу, и спросила его: «Что вам угодно?» И вдруг он поднял на меня свои голубые глаза и насмешливо улыбнулся. Мне стало очень неприятно, я ушла и захлопнула дверь, но не могла успокоиться, снова вошла. Он сидел в той же позе, и вдруг я поняла, что он не настоящий монах, что это привидение... Я опять захлопнула дверь и пошла за баронессой. Когда мы отворили дверь, его уже не было...

Прошло несколько дней. Было поздно, и мы собирались ложиться спать. Вдруг кто-то сильно хлопнул дверью.

– Кто это? Кто? – нервно вскрикнула толстая дама.

– Не знаю, – ответила староста, – наши, кажется, все дома, никто не выходил.

Действительно, все были налицо. Я выскочила на лестницу, вниз, во двор, никого не было.

– Монах, честное слово, монах, – испуганно шептала толстая дама.

– Нервы у вас шалят, сударыня, вот что, – заметила невозмутимая староста. Тетя Лиза вздохнула и перекрестилась.

Жоржик

– Что за странный тип? – спросила я старосту, указывая на человека в солдатской шинели, высоких сапогах с мужским, точно выбритым лицом. – Кто это, мужчина или женщина?

– А! Это Жоржик. Ее многие за мужчину принимают. Любопытный тип! Постойте, я позову ее. Жоржик!

– Что прикажете, Александра Федоровна? – бойко отозвалась женщина.

– Ты бы зашла!

– Есть, – ответила та по-солдатски, – вечерком обязательно зайду.

– Любопытный тип, – еще раз повторила староста, – закоренелая, шестнадцать судимостей имеет уже за кражу, но, как видите, жизнерадостности своей не утеряла. Очень способная. Голос громадный и музыкальный. Вот сегодня вечером попросим ее спеть – услышите. И чем только она не была, и певицей на открытой сцене, и борцом – силища у нее непомерная.

– Александра Федоровна, – перебила я старосту, смеясь, – вы как будто с симпатией говорите об этой воровке.

– Да, представьте себе. Из всех уголовных только ей одной я доверяю. На воровство она смотрит как на промысел, а в обыденной жизни это честнейший человек. Не то что вся эта шпана. Я ее еще с Бутырок знаю, вместе сидели. Она там целый скандал устроила из-за барышни одной. Барышня такая слабенькая, худенькая была. Жоржик все за ней ухаживала и

привязалась к ней. Как собака преданная ходила за ней, в глаза смотрела, все для нее делала. И вот кто-то обидел барышню эту, что-то оскорбительное, кажется, на политической почве, ей сказал. Барышня заплакала. Что тут с Жоржиком сделалось, рассвирепела она, себя не помнит, полезла с оскорбителем драться. Была она и сиделкой в больнице тюремной, больные любили ее. Только опять какой-то скандал у нее там с начальством вышел. Убрали ее оттуда. А ловкая какая. Я лично была свидетельницей, как она двумя чайными ложками замок отпирала.

Признаюсь, Жоржик заинтересовала меня.

– А давно она здесь сидит?

– Да около года. Но ведь она на особом положении, добытчицей у коменданта состоит, он на работу ее отпускает...

– На какую работу?

– Как на какую? По ее специальности, конечно, воровать.

– Вы шутите, Александра Федоровна.

– И не думаю. Они и условие между собой заключили. Что Жоржик принесет пополам делят. Иногда он заказы ей делает. На днях заказал ей для жены боа соболье, так что же вы думаете? Принесла, только не соболье, а скунсовое, собольего, говорит, не нашла. Но Жоржик свою часть всю раздает, ничего себе не оставляет. Подруга у нее тут есть, с ней поделится, а то накупит угощения и несколько дней пир горой идет... Один раз комендант послал ее на добычу. Так что же вы думаете? Попалась ей где-то за городом пара лошадей. Возвращается она с ними в лагерь, вдруг останавливает ее на дороге милиционер. «Откуда коней ведешь?» – «Из Новоспасского лагеря, ковать водила». – «Врешь. Какая может быть ковка в такой ранний час. Идем со мной в лагерь». Пришли они, вызывают коменданта. Комендант сейчас же смекнул, в чем дело. «Ваши это кони, товарищ комендант?» – спрашивает милиционер. «Мои», – отвечает. Милиционер

ушел, а коней поделили, как полагалось по условию. Одного получила Жоржик и подарила заключенным, съели его, а другой...

– Ну, уж извините меня! – воскликнула я. – Этому я не поверю, сказки все это.

– Какие же сказки? – обиделась Александра Федоровна. – Весь лагерь об этом знает, да и сами убедиться можете. Вон, посмотрите, комендантская лошадь пасется... – и она указала мне на серую в яблоках худую лошадь, старательно выщипывающую траву между могильными плитами.

Вечером Жоржик была у нас в гостях.

– Ну, пришла, – сказала она таким тоном, точно знала наперед, что все будут ей очень рады.

Сели пить чай. В центре внимания – гостья, воровка, шестнадцать раз побывавшая в тюрьмах – царских, советских – безразлично, изведавшая все пороки, вся сотканная из сложнейших противоречий: жестокая и вместе с тем сердечная, добрая к окружающим; завистливая до чужого добра и совершенная бессребреница; грабительница, воровка, сохраняющая свою честь и воровскую этику, а главное, и прежде всего, – спортсменка. Вся жизнь для нее – опасная игра, в ежеминутном риске свободой, даже жизнью – цель, наслаждение, смысл ее существования.

Тихая, робкая, набожная, ничего не видавшая, кроме своей украинской деревни, девушка Дуня со страхом смотрит на Жоржика. Дуня живет в одной комнате с дочерью губернатора и бессознательно старается в ней найти защиту от всех «городских», «гулящих», которые часто задевают Дуню, называя ее тихоней, подхалимкой, прислугой в «господской» камере. Жоржик не интересует Дуню, и она удивляется, как мы могли эту «бесстыжую, пропащую» пригласить к себе в гости.

Баронесса тоже шокирована: ей неловко, но она скучает одна в своей крошечной темной камере. Она пришла смотреть на Жоржика как на любопытное зрелище.

Дочь губернатора то уходит, то возвращается, Жоржик не вызывает в ней ни отвращения, ни особого интереса. Она смотрит на воровку с глубоким состраданием.

Но больше всех взволнована тетя Лиза. Она не может вынести присутствия этой грубой, погрязшей в тяжких грехах женщины. Каждое слово, движение Жоржика нарушает ее покой, потрясает ее до глубины души. Старушка наливает себе чашку чаю и уходит в соседнюю комнату.

Жоржик скоро перестает стесняться. Один за другим она демонстрирует свои таланты. Став в позу, она вдруг громадным, слегка охрипшим голосом затягивает какую-то арию, но, не выдержав, перешла на шансонетку и, высоко задирая ноги, стала изображать кафешантанную певицу.

– Abominable! – простонала баронесса.

– Господи, помилуй нас, грешных, – раздался голос тети Лизы из-за перегородки.

Вдруг фигура Жоржика преобразилась. Она вся напружилась, шея ее вздулась, лицо налилось кровью, и, подрагивая всем телом, как бы от страшного напряжения, она стала изображать, будто бы поднимает с пола пятипудовую гирю. Громадными шарами на руках выступили мускулы. Жоржик тужилась и вдруг, как будто с невероятным усилием, выкинула руку кверху и, широко расставляя ноги, балансируя, пошла по комнате.

– Прекрасно, браво, браво! – кричали мы. – Очень похоже.

– Еще бы не похоже, – с гордостью возразила она, – как может быть не похоже, когда я на открытой сцене четыре месяца силачкой работала.

– Жоржик, расскажи про свои похождения, – попросила староста.

– Можно. Только вот выпить у вас нечего...

– А чай?

– Чай это чай. Вода и вода, кабы поднесли, совсем другой табак был бы. Ну да ладно.

Жоржик уселась, заложив ногу на ногу и утирая вспотевшее, красное, с широкими скулами и мясистым носом лицо:

– Дело еще при старом режиме было. Работали нас две партии «домушников»*. Конкуренция между нами была большая. Рады были друг друга на смех поднять. Вот собрались мы один раз в трактире и давай друг перед другом бахвалиться. Мы вот что добыли, а мы вот что. «Погодите, – говорят конкуренты наши, – мы вам одну штучку покажем». И приносят самовар – серебряный, изящный такой. «Хорошо, говорю, – самовар, а где же камфорка-то с него?» – «Нету», – отвечают. «Как нету?» – «Да так нету. Тревога случилась, камфорку в суматохе-то забыли». «Фю, фю, – просвистала я эдак насмешливо, – самоварчик-то хорош, слов нет, да чего он стоит без шапочки-то...» Рассердилась другая партия: «Чего насмешничаешь, ты вот лучше достань, попробуй». – «Ну что ж, достану!» – «Не достанешь!» – «Достану!» Ударили мы по рукам и условие такое сделали, если я камфорку достану, самовар мой, их угощение, а коли я проиграю, что хотят они могут с меня потребовать, да вдобавок и угощение мое.

Вышли мы из дома. А моя партия, я у них за старшего была, давай меня ругать: чего ты, дура, ну как можно камфорку достать. В квартире все напуганы, во второй раз туда не полезешь. «Молчать! – прикрикнула я на них. – Слушаться моих приказаньёв! Айда к барышнику!» Ладно. Приходим мы к барышнику, барышник – это вроде как костюмер наш, всякие у него костюмы достать можно. «Давай! говорю ему, – два костюма: околоточного надзирателя и городового!» На следующее утро оделись мы. Я – в мундире околоточного

надзирателя, а приятель мой – городовым. А меня, когда я в мущинское оденусь, никак нельзя узнать, что женщина. Приходим прямо на квартиру – звоним. А в квартире этой генерал жил…

– Ох, Жоржик, заливаешь, – перебила ее староста.

– Ей-богу, Александра Федоровна, хотите, перекрещусь…

– О, Господи, – опять послышались тяжелые вздохи тети Лизы из соседней комнаты, – уж не крестись ты, не греши еще больше.

– Ну, ладно, тетя Лиза, не нойте! Только все это правда, что я вам говорю. Приходим – звоним, открывает горничная в беленьком фартучке. «Как об вас доложить?» – «Скажите его высокопревосходительству, околоточный надзиратель пришел по ихнему делу». Смотрим, выходит генерал, толстый, представительный такой, голос как из бочки. «Что нужно?» Вытянулись мы во фронт, как полагается. «Так что по вашему делу, ваше высокопревосходительство!» – «По какому делу?» – «Насчет самоварчика вашего, похищенного ворами». – «Ну и что же! Находится?» – «Неизвестно еще, ваше высокопревосходительство! Тот самовар, который у нас на примете, без камфорки, ваше высокопревосходительство!» – «Да, да, – оживился генерал, – камфорку жулики действительно не успели взять…» «Ваше высокопревосходительство, – говорю я, – разрешите нам эту камфорочку, мы примерим ее. Если камфорочка придется, уж тут явный факт, что самовар, о котором мы подозреваем, действительно вашего высокопревосходительства, и через два часа мы его вам представим!» Обрадовался генерал: «Марфуша! – кричит. Принесите камфорку от серебряного самовара». Взяли мы камфорку и пошли. Пришли к своим. «Что, – говорю, – бараньи головы, выпить вам хочется? Да и самоварчик опять за хорошие деньги продать можно, с шапочкой-то…»

– Mais c'est du talent! – воскликнула баронесса, и, грешным делом, мне показалось, что симпатии ее в эту минуту были не на стороне генерала!

И еще одно свое приключение рассказала нам Жоржик в этот вечер.

– А это дело было уже после революции, – начала она, залпом выпив кружку чая и закуривая, – как раз шла тогда эта национализация самая. И в Москве среди торговцев горячка была ужасная, товары за полцены распродавались, лишь бы только не отобрало правительство все задаром. Слонялась я по Москве без денег и без дела, а одёжу жалко было продавать, хорошая была одёжа, да и ржавья на мне порядком было понацеплено: браслет, брошь с рубинами и кольцо с бриллиантом небольшим, – барыня, да и только! Зашла я на Садовой в дровяной двор, узнаю, что дрова там очень дешево распродаются. Выходит ко мне хозяйка. «Здравствуйте!» – говорю. «Здравствуйте, – отвечает мне, – мадам! Чем могу вам заслужить?» – «Дрова мне нужны». – «С моим удовольствием, – говорит, – сколько прикажете?» – «Да саженей десять, только вот дрова у вас дороговаты». Она даже обиделась: «Помилуйте, мадам, дрова очень дешевые, только нужда крайняя заставляет за такую цену товар распродавать». – «Какая же такая у вас нужда?» – спрашиваю. «А такая нужда. Одна я сейчас. Муж мой с фронта так и не ворочался, может, в плену, а может, убит, жила я с дров, а теперь, говорят, все склады национализируются, вот и продаю...» – «А все-таки я за такую цену не возьму, дорого, дрова нынче по этой цене с доставкой везде достать можно». – «Да я с моим удовольствием доставлю вам». Ну, сторговались мы с ней.

Записала я телефон дровяного склада и обещалась ей сообщить, куда и когда дрова доставить. «Начало, – думаю я себе, – хорошее, какой-то конец будет?» Иду на Трубную площадь, трактир там имеется «Париж». Прихожу, расселась

барыней. «Подайте, – говорю, – мне бифштекс кровавый, – очень я кровавый бифштекс обожаю, – и чашечку горячего кофе». Подали. Сижу, не спеша, маленькими кусочками бифштекс кушаю, с хозяином разговор завожу, а сама думаю: «Чем же я платить буду, в кармане – полушки нету!» «Плохие, мол, дела сейчас. Все отбирают, порядочных людей по миру пускают». – «А вы разве чем торгуете?» – спрашивает хозяин. – «Торгую, склад у меня дровяной». Дальше – больше. Разговорились мы, хозяину, оказывается, как раз дрова нужны. Назначила я цену, еще много дешевле, чем сама с дровяным складом сторговалась, смотрю – глазки у него заблестели. «Сухие дрова-то?» – «Дрова, мол, не сомневайтесь, прошлогодней еще заготовки». – «Ну, ладно, – говорит, – по рукам».

Подхожу я не спеша к телефону, вызываю номер дровяного склада. «Алло, алло!» – «Откуда говорят?» – спрашивает хозяйка склада. «Из трактира «Париж», – отвечаю. «Кто говорит?» – «Хозяйка!» Хозяин трактира думает, что хозяйка дровяного склада говорит, а хозяйка дровяного склада думает, что хозяйка трактира «Париж» говорит. «Сию же минуту, – приказываю я грозным голосом, доставить в трактир «Париж» по такому-то адресу десять саженей дров!» Хозяйка дровяного склада узнала мой голос и говорит: «Но, мадам, могу сегодня доставить вам только пять саженей, остальные завтра. У меня возчиков нет!» «Ну хорошо, только везите скорее!» Спросила я еще осетринку с хреном, сижу, не спеша кушаю.

Ждала я с лишним два часа. Наконец привезли дрова – первый сорт! Вышел хозяин на двор показать возчикам, куда их складывать. А у меня душа в пятки: пан или пропал?! Вернулся хозяин, руки потирает: «Хороши дрова ваши, очень хороши». – «Как же, – говорю, – насчет расчета, а то мне и домой пора». «Что ж, – отвечает, – теперь можно и расчетец

учинить». – «Ну, угодила я вам, говорю, – теперь и вы меня уважьте! Платеж у меня срочный, будьте любезны уплатить сегодня за все десять саженей, остальные пять я завтра вам пораньше утречком доставлю!» – «Извольте», – говорит. Ну, сосчитала я деньги не спеша, выдала ему расписку, за закуски расплатилась, все честь по чести. Вышла во двор и говорю возчикам: «Получше складывайте, ребята!» – «На чай дадите, постараемся, мол». Думают, я хозяйка трактира. А я тихонько да и марш на улицу, да стрекача...

Верите, не утерпела, на другой день мальчишку посылала разузнать, как они там между собой распутались. Только мальчишка дурак. Разузнать ничего не разузнал, да чуть не всыпался! Так-то вот!

– Жоржик, – спросила я ее, – а вы пробовали когда-нибудь жить по-честному, не воровать?

Лицо ее сделалось мрачным, почти злым.

– Пробовала. Не могу. Один раз шесть месяцев не воровала. Так такая тоска меня взяла, думала, с ума сойду от этой честной-то жизни вашей... Встретила товарищей, опять ушла, не вытерпела.

– А страшно было, как на первое дело пошла?

– Не помню. Давно дело это было. Про Сашку Семинариста слыхали?

– Слыхали!

– То-то и оно, про него даже в газетах писали, – и в голосе Жоржика послышалась некоторая гордость, – вот он меня и учил, с ним вместе работали. Я сама петроградская. Родители мои жили очень бедно. Сначала решили мне хорошее образование дать. В гимназии я училась, только не осилила, взяли меня из пятого класса и замуж отдали за старика богатого. Гадкий был старикашка, семьдесят лет, а такой пакостник, что и не выговоришь. Не вытерпела я, стащила у него «катеньку» и драла. Куда идти? Мне тогда семнадцать минуло.

Остановилась я в номерах, страшно было одной-то. Ну вот тут-то Сашка Семинарист и встретился со мной, сошлась с ним... Э, да чего старое поминать?! Дайте-ка мне лучше папироску, – она закурила и с силой несколько раз затянулась. – Четвертый десяток пошел! Не к чему меняться-то уж. Пристрелят где-нибудь, как собаку под забором, или в тюрьме издохну – все едино.

И опять хмурое, почти злобное лицо.

* * *

– Орлова, Манька! На свидание!

Маня, торопливо сложив работу, поправив перед кусочком зеркала кудельки на лбу и привычным движением проведя красным карандашом по губам, рысью сбежала с лестницы.

– Гражданку Корф на свидание!

Мы всегда чего-то ждем, и эти надежды, малые и большие, как звезды сияют, освещая жизнь. В тюрьме мы ждали воскресений. Дни свиданий были малыми звездами в тюремной жизни. Большой, ярко сиявшей перед нами звездой была надежда на освобождение.

Пока меня не вызывали, я томилась, не сиделось в камере. Я вышла во двор, прошла к воротам. Здесь толпились уже люди: проститутка Зинка нацепила на голову могильный венок и выплясывала около ворот, напевая похабную песню, кое-где около памятников и на плитах сидели по двое, разговаривали. В дальнем уголке на выступе памятника сидела баронесса Корф с другой старушкой, приятельницей, которая каждое воскресенье приходила к ней, принося скромную передачу, главное – немножко кофе, без которого баронесса не могла существовать. Обе они сидели прямые, высохшие, подобранные, точно боясь запачкаться окружающей их физи-

ческой и моральной грязью. До меня долетали обрывки французских фраз.

Навстречу мне, чуть не сбив какую-то заключенную с чайником, пронеслась Зинка-проститутка.

– Черт, полоумная, – бросила ей та.

– Мать на свидание пришла! – и Зинка понеслась дальше.

Под окнами слонялась Пончик, обрывая большие кленовые листья, прикладывала их к губам, щелкала.

– Мать ждешь?

– Не придет. Все болеет...

– Гражданка Толстая, к вам.

Знакомые, друзья, в руках корзины с передачей.

Иногда приходила сестра Таня, она так же, как баронесса, входила, точно платье подбирала, боясь запачкаться... Лицо ее выражало брезгливость, отвращение. Она старалась не замечать грубо намалеванных лиц, не слышать грязных слов.

Кривая Дунька, подражая Зинке, плясала и кривлялась, напевая гадкую песню.

Сестра казалась мне существом другого мира, и я мучилась вдвойне. Когда она уходила и захлопывались за ней тяжелые ворота, я чувствовала облегчение.

Но приходило воскресенье, и мы снова ждали, ждали всю неделю и волновались. В ночь с субботы на воскресенье не могли спать от волнения.

Дочь губернатора, Александра Федоровна и Дуня были лишены и этой радости, у них не было в Москве ни родных, ни знакомых.

Разгрузка бревен

– Уголовные! На работу! – кричали под окнами надзиратели.

Некоторые политические, в том числе и я, пошли помогать.

Трамвайные платформы подвозили пятивершковые сосновые бревна и сгружали их недалеко от ворот. Строительный материал этот шел на отопление лагеря. Саженях в десяти от трамвайной линии редкой цепью рассыпалась охрана. Взад и вперед сновали женщины, кряхтя под страшной тяжестью. Почти все таскали по двое, только Жоржик работала одна. Играючи она подшвыривала бревно на могучие плечи и, перебраниваясь с заключенными, рысцой бегала взад и вперед. Я ухватила бревно поменьше, но зашаталась и остановилась. В это время кто-то ударил меня концом бревна в спину.

– Эй, осторожнее там!

– А ты не путайся под ногами, сволочь...

Я свалила свое бревно с плеч и оглянулась. Высокая худая женщина, низко на лоб повязанная белым платком, согнувшись под тяжестью, едва передвигала ноги.

– Постой! Давай вместе! Ну, перехватывай!

Она как-то странно, точно прищурившись, насмешливо смотрела на меня.

Мы свалили бревно и стали таскать вдвоем.

– А что, стукнула я вас? – вдруг спросила она меня, когда мы остановились передохнуть.

– Ничего, только вот зачем ругаешься?

– А вы политическая?

– Да.

– Так зачем работаете? Чудные!

Уже высоко поднялась луна. Свет упал на лицо женщины, и я увидела, что правый глаз затянут бельмом.

– Как тебя зовут?

– Дунькой, меня здесь «кривой Дунькой» прозвали.

Резко вырисовывались белые монастырские стены, купола церквей. Фигуры женщины и красноармейцев в остроконечных шапках бросали причудливые тени на землю. Хорошо

пахло смолой. Быстро плыла луна, то освещая землю зеленовато-синим прекрасным светом, скрашивая нищету, убожество, грязь окружающего, то прячась за тучи. Мы сели отдохнуть.

«А все-таки жизнь прекрасна», – подумала я.

– Сволочь гладкая! Я вам посижу! Мать вашу!..

Я и не заметила, как подошел надзиратель.

* * *

Я занималась в лагере просветительной работой, решила устроить школу для неграмотных уголовных. Комендант поощрил мое начинание, и даже отпустил в народный комиссариат просвещения в город за пособиями и волшебным фонарем для лекций.

Но первые мои шаги на пути к просвещению начались неудачей.

Надо было переписать всех неграмотных, и я сговорилась с комендантом, чтобы сделать это при вечерней поверке. Поверка происходила на дворе. Женщины выстраивались шеренгой, и помощник коменданта, или сам комендант, с надзирателем ходил по рядам с карандашом и списками в руках и выкликал заключенных.

– Степанова!

– Здесь!

– Ильвовская!

– Я.

Одна из женщин, увлекшись разговором с соседкой, ответила не сразу.

– В карцер!

– За что же это? Что ж я такое сделала?

– Молчать! В карцер!

– Не можете за это человека в карцер сажать. Что ж я такое сделала? Таких правов даже нет!

– Я те покажу права. Возьмите ее! – крикнул он надзирателю. – В Романовский!

Женщину схватили и поволокли, она изо всех сил отбивалась, визжа и ругаясь.

Поверка кончилась, разошлись, но через несколько минут на дворе послышались взволнованные голоса и две женщины ворвались в камеру.

– Александра Федоровна, скорей! Самсонова бьется!

Мы вскочили и со всех ног бросились за ними, вниз по лестнице, на кладбище, мимо памятников, могильных плит к Романовскому склепу.

Он был заперт большим висячим замком. В мрачных стенах не было ни малейшего просвета. Где-то, казалось, очень глубоко, глухо слышно было, как билось тело.

Стоило величайших усилий добиться от коменданта освобождения Самсоновой из карцера. Когда, наконец, отперли склеп и вынесли женщину из подвала, она была без сознания. Тело ее сокращалось в судорогах, пена застряла в углах рта, текла по подбородку, из горла вырывался хрип.

Я видела Самсонову на другой день вечером, когда она вместе с другими возвращалась с работы. Она шла с трудом, едва передвигая ноги.

– Как вы себя чувствуете, Самсонова? – спросила я.

Она подошла ко мне вплотную и просто, без слов, подняла оборчатую юбку. Я невольно отшатнулась. Нога выше колена страшно распухла и вся была покрыта ссадинами и иссиня-багровыми кровоподтеками.

Особенно тяжелое впечатление на меня всегда производила молоденькая девушка Надя. Тюрьма сломала ее, опустошив ее детскую душу, беспощадно бросив ее на путь разврата, преступления.

Я никогда не видала на этом лице улыбки, радости.

– Надя...

Она подымает большие черные глаза и смотрит испуганно, как побитая собака.

– Надя, опять? – спрашивает ее дочь губернатора.

Надя низко опускает голову и молчит. Я часто вижу, как она сидит на каменной плите, устремив глаза в одну точку.

– Вот поругайте ее, Александра Львовна, кокаин нюхает. Сахар продает, хлеб пайковый, зарабатывает что – все на кокаин тратит.

– Все равно...

– Как это все равно. Ты молодая, тебе жить надо, а ты губишь себя.

– Мне легче так, не думается.

Дочь губернатора наклоняется к ней и что-то шепчет. Резким движением девушка вдруг отстраняется от нее и вскакивает.

– Неправда, неправда все это! Если Бог существует, разве Он допустил бы!.. Ха, ха, ха! Сказали тоже, Бог... ха, ха, ха!

Надя истерически хохочет, черные глаза ее сверкают, на щеках выступают красные пятна.

– Надя, Надя, успокойся, пойдем к нам...

– К вам? К порядочным? К честным? А вы знаете, кто я? Знаете?

– Перестань, Надя!

– А, боитесь, чтобы я сказала, а я вот нарочно скажу: я, я...

– Замолчи, Надя! – властно крикнула дочь губернатора – Молчи, слышишь?! Пойдемте, ей лучше одной...

– А-а-а-а! Не хотите слушать. Не нравится. Святые тоже... ха, ха ха!

И долго в ушах звенел безумный, истерический хохот отравленной кокаином девушки, потрясая душу беспросветным ужасом.

Вечером дочь губернатора рассказала мне Надину историю. Она жила с семьей в пограничной полосе, в Западном

крае. Почему-то она оказалась оторванной от семьи, и, когда пробиралась домой, ее схватили красные и обвинили в шпионаже. Ей было шестнадцать лет, она училась в пятом классе гимназии.

Несколько дней ее держали под арестом в маленьком пограничном городке. Случайно она попалась на глаза коменданту. Он стал заговаривать с ней и, наконец, обещал ей свободу, если она исполнит его требования. Почувствовав скорее, чем поняв, правду, она отказалась. Он силой овладел ею и, обозлившись за сопротивление, снова бросил ее в тюрьму. Здесь ее поочередно насиловали надзиратели. Когда ее отправили по этапу в Москву, она была полупомешанная. По дороге она заболела, попала в больницу, где чуть не умерла.

С первых же дней я обратила внимание на низенькую, толстенькую, с крепкими румяными щечками девушку. На вид ей было лет пятнадцать, лицо ее сохранило какую-то детскую наивность, чистоту. В лагере ее называли Пончиком, и это название очень подходило к ней – она была похожа на сдобную румяную булочку

Заключенные очень хорошо относились к ней, но часто ласково и добродушно над ней посмеивались.

– Пончик, а Пончик, за что в тюрьму попала?

Девочка улыбалась и молчала.

– Пончик, скажи мне, я не знаю.

– За пончики, – отвечала девочка, потупив свои голубенькие глазки.

– Как же так, за пончики?

Девочка пыжилась, краснела, но потом рассказывала свою историю. Они жили вдвоем с матерью. Мать пекла пироги, а девочка носила их продавать. Права на торговлю они не имели, торговали так, на шаромыжку.

– Сидишь, торгуешь, а сама так во все стороны и глядишь, чтобы милиционер не поймал. А увидим милиционера, все лотошники бежать, кто куда, в переулок ли какой, в подворотню...

Один раз я попалась. Милиционеры облаву сделали. Схватили, требуют штраф. А сами, собаки, похватали мои пончики, только что мать из печки вытащила, горячие, да и давай лопать. Не успела оглянуться – лоток пустой.

Пончик вздохнула и проглотила слюну.

– Ну, денег у нас с матерью не было, меня посадили... Вот и все.

– Пончик! – крикнула кривая Дунька, – это ты в первый раз за пончики сидела... А теперь за что? Ты вот им, – она ткнула грязным пальцем в мою сторону, – расскажи, как ты с кавалерами гуляла да как...

– Не хочу, не хочу...

– Расскажи мне, Пончик, я смеяться не буду.

Вдруг все лицо ее сморщилось, опустились книзу полные губы, задрожала нижняя челюсть, и она громко, по-детски заплакала.

* * *

– Мадамочка, угостите папиросочкой.

– Пожалуйста. Ваша фамилия Ильвовская?

– Нет, то есть да, сейчас моя фамилия Ильвовская, но я, видите ли, столько фамилий переменила, что иногда забываю.

– Зачем же?

– Наше ремесло такое. Попалась Васильевой, отсидела, вышла на волю Владимировой, а там...

– У, паскуда, – буркнула уголовная воровка-профессионалка, – какое же у тебя ремесло?

– А вы, мадам, меня не задевайте! – огрызнулась Ильвовская. – Если мы по ширме* работаем, то это нам гораздо способнее. Два дела зараз делаем... Посмотрели бы вы, с какими кавалерами гуляю. На отдельной квартире жила... Как вы думаете, мадам, – обратилась она ко мне, – фамилия Ильвовская приличнее, чем Васильева?

– Не знаю. А за что сейчас сидите?

– Пустяк. Золотые часы с цепочкой! Ах, мадамочка. Вот я такая глупая... Не поверите. Влюбилась. Армяшечка. Такой душка-брюнет, глаза как огонь, одет прилично, запонки золотые, костюм английский, модный. Шик! Влюбилась, влюбилась... А он, верите ли, ничего не жалел для меня. Только ремесло проклятое сгубило. В номерах было дело. Заснул он. А я не сплю, золотые часы с цепочкой не дают мне покоя. Не вытерпела я, встала, оделась, ухватила часы да бежать. Только из дверей, а он меня – цап. Засыпалась. Мадамочка, подарите еще папиросочку.

Ильвовская закурила и лихо, тряхнув кудельками, во все горло заорала:

Я на бочке сижу,
А под бочкой мышка,
Пускай белые придут,
Коммунистам крышка!

– Ну и отчаянная же, – промолвила староста, – ничего не боится.

– Шпана... – с величайшим презрением прошипела одна из уголовных.

* * *

– За что вас посадили, тетя Лиза?

– За самогон.

Я с удивлением посмотрела на нее. Неужели я ошиблась? Тетя Лиза производила впечатление человека верующего, сильного духом, одна из тех крестьян самородков-сектантов, которых так высоко ценил отец.

– Вы гнали самогон, тетя Лиза?

– Господь с вами! Наша вера этого никак не дозволяет, не курим, не пьем и во всякой чистоте должны соблюдать себя.

– Как же так?

– Соседка у нас самогоном занималась. Ну, нагрянула милиция, перепугалась она да из своего погреба взяла котел к нам в сарай перенесла. Обвинили меня, да вот без суда и следствия шестой месяц держат здесь. Ну, да везде Бог, Его святая воля.

Каждое воскресенье утром в камеру к нам приходила девочка лет тринадцати с узелком – белым хлебом, яйцами, бутылочкой молока. Девочка называла старушку «тетя Лиза», тетя же Лиза ее называла «дочкой».

– Воспитанница наша. Все равно что дочка мне, – говорила она, ласково гладя девочку по гладкой белокурой головке, – это одиннадцатая. Одиннадцать воспитали, некоторые в люди вышли, работают, четверых замуж отдала.

– Тетя Лиза, голубушка, объясните мне, как вы живете. Как это вы сирот держите?

– Ну что вам сказать? Дело это издалека ведется. Скопцы мы. Скопчество еще с юности приняли. Ну, болесть принимать мы с сестрой не стали, а так обещались, чтобы в чистоте жизнь свою прожить. Помиловал меня Бог, спас, прожила я век свой, не согрешила.

– Трудно было, тетя Лиза?

– Нет. Один раз только соблазн пришел великий. Полюбился мне парень один, уж как он меня уговаривал, улещал. Заболела я даже, думали, чахотка у меня. Ну ничего, перешло все это, да ведь и то сказать, глупость это одна, слабость.

Сестра вот не выдержала, согрешила. Много слез мы тогда с ней пролили. Ну, пришла она домой, плачет, разливается. Соблазнитель ее бросил, а она в положении... Родила она, только ребенок с недельку пожил, да и отдал душеньку Богу. И решили мы тогда с ней грех сестрин замаливать – сироток на воспитание брать.

– Как же вы жили, тетя Лиза?

– Очень просто. Вязальная машина у нас есть, трех коз держим, с десяток кур, – вот и живем. А много ли нам надо?

Я смотрю на ее сухое скуластое лицо с повязанным на голове ситцевым, всегда чистым сереньким платочком, на ее черную с белыми крапинками ситцевую кофту навыпуск, такую же юбку в сборках, смотрю в ее умные черные глаза, такие спокойные и чистые, и мне делается неловко и стыдно за себя, за свою жизнь...

Да, ей немного надо, а если надо, то не для себя, для других.

Говорит тетя Лиза мало, по утрам читает Евангелие, отчего глаза ее краснеют и слезятся; отмечает страницу насиженной мухами закладочкой с ангелочками.

Тетю Лизу выпустили через месяц после того, как меня посадили.

– Тетю Лизу на свободу! – во все горло орала Жоржик.

Все сбежались провожать.

– Давайте вещи свяжу.

– Я донесу вам вещи до ворот, – пищала Пончик.

– Тетя Лиза, хлебца на дорожку.

– Голубушка, тетя Лиза, осиротеем мы без вас, – ласково говорила дочь губернатора, – но я так рада, так рада за вас.

Тетя Лиза сияет. Она суетится, спешит, но всем успевает сказать ласковое слово

Мы идем толпой к воротам, неся узелки тети Лизы, она сконфуженно и ласково улыбается.

– Тетя Лиза, как же вы донесете все?

– Ничего, тут в Крутицах знакомые есть, кое-что у них оставлю, а потом за остальным приду. В воскресенье наведаюсь, – говорит она и низко в пояс кланяется, – Господь с вами!

Открываются тяжелые ворота, тетя Лиза взваливает один узел на плечо, забирает остальные в обе руки.

– До свидания! Прощайте, тетя Лиза, счастливый путь! – слышатся голоса.

Снова со скрипом закрываются ворота. Некоторые плачут. Не то о тете Лизе, не то о себе... На душе у меня светло.

Кузя. Комендант и принудительные работы

У меня разболелся зуб. Я сходила в амбулаторию при лагере, помазали йодом десну, но зуб продолжал болеть. Пришлось просить коменданта отпустить к врачу.

– Да идите, пожалуй, только – охрана есть ли, не знаю.

– Кузя дома, – сказал помощник коменданта.

– Ну, нарядите Кузю.

Нас собралось человека четыре с больными зубами. Надо было идти довольно далеко – в Ивановский монастырь, также превращенный в лагерь, где имелся зубной врач для заключенных.

Ждали охрану.

– Ну идемте, что ли! – крикнула нам, выходя из конторы, красноармейка. Да идите тише, – крикнула она, когда мы, выйдя за ворота и обрадовавшись простору, быстро зашагали по улице.

– И так тихо идем, – огрызнулась женщина в красном платочке из уголовных, – аль не поспеешь?

– Где ей поспеть, она в своей шинели запуталась, – заметила другая. Кузя, смотри сапоги не потеряй!

Я оглянулась на Кузю. Какое это было несчастное создание! Маленькое худенькое личико утопало в громадной фуражке, хлястик шинели, тащившейся по земле, спускался вершка на два ниже, сапоги были настолько велики, что Кузя

волоком тащила их за собой, тяжелая винтовка давила худенькие плечи, громадный наган, висевший у пояса, завершал обмундирование этой девочки, которой на вид было не больше 16 лет.

– Кузя, а что, коли мы бежать вздумаем? – сказала я.

– Поймаю!

– Как же ты поймаешь? Нас четверо, бросимся в разные стороны, кого же ты ловить будешь?

– Одну поймаю, а за всех отвечать не буду, коли убегут. Да вы этого со мной не сделаете, зачем подводить меня будете...

– Эх ты, вояка! – засмеялась женщина в красном платочке. – Зачем тебе отвечать. Револьвер-то на что? Раз, раз, перестреляла всех, и дело с концом!

– Да револьвер-то не заряжен! – жалобно пропищала Кузя и вдруг, точно спохватившись, грозно закричала:

– Тише идите, говорят вам, сволочь!

* * *

Кормили нас плохо. По утрам Александра Федоровна получала продукты на руки: полфунта полусырого тяжелого, с мякиной хлеба на человека в день, сахар и масло. Чистыми маленькими ручками она аккуратно раскладывала кусочки газетной бумаги на столе и разрезала соленое, желтое, захватанное грязными пальцами масло на маленькие кусочки и чайной ложечкой рассыпала на равные кучки сахар, полторы ложки на человека.

К обеду давали суп, чаще всего из очистков мороженой картошки. И так как промыть мокрую, мягкую, иногда полугнилую картошку было трудно, суп был с землей, приходилось ждать, пока грязь осядет на дно чашки. На второе давали пшенную кашу без масла. К ужину ту же пшенную кашу или по одной вобле. Воблу мы предварительно долго и сильно били о могильные плиты, пока из нее не вывалива-

лась оранжевая икра или темные молоки и она не делалась мягкой.

Между заключенными шла постоянная мена. Меняли хлеб на папиросы, на сахар, на старую одежду.

– Эй, Пончик! Жоржик хлеб на папиросы меняет.

И вечно голодная девочка, откуда-то раздобывшая пачку папирос, мчалась стрелой в камеру к Жоржику за хлебом.

В нашей камере только армянка, арестованная за спекуляцию бриллиантами, и я получали передачу. Но иногда, может быть, раз в месяц, политические получали сахар, постное масло и папиросы из Красного Креста.

Согласно тюремной этике, установившейся среди политических, продукты, получаемые из дома, передавались в общий котел, только на табак и папиросы признавалось право личной собственности.

Когда приходила передача из Красного Креста, устраивался пир. Затапливали камин, пропитывали хлеб подсолнечным маслом и жарили на углях. Запивали сладким, внакладку, чаем. Было уютно в маленькой келье около старого камина из белого с синими ободочками кафеля. Не похоже, что в тюрьме.

Одна только дочь губернатора не принимала участия в нашем пиршестве.

– Пожалуйста, идите к нам жареное есть! – кричали ей.

– Благодарю вас, я сыта, – отвечала она.

А наутро Надя или еще кто-нибудь из уголовных выходила из ее комнаты с пакетом и бутылкой постного масла.

Кусочки пайкового масла она отдавала Дуне или баронессе.

– Изведете вы себя, – упрекала ее староста, – нельзя так.

– Не ем я его, Александра Федоровна. Обхожусь, – отвечала она, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

Должно быть, я никогда не узнаю, как трудно было моим друзьям доставать все то, что они приносили мне в заключение. Передачи были громадные, я никогда не могла бы одна поглотить всего, что приносилось, но нас было 8–9 человек, и иногда на два последних дня еды не хватало.

Среди заключенных давно уже были разговоры о том, что львиная доля продуктов шла на администрацию лагеря. Все возмущались втихомолку, но говорить громко об этом боялись.

– А что полагается коменданту и его помощникам? – спросила я как-то у старосты.

– Да ничего не полагается, у них свои пайки...

– Так почему же никто не протестует?

Староста только махнула рукой. А на обед опять принесли суп из очистков и кашу без масла.

– Я пойду к коменданту, – сказала я, – это черт знает что такое. Нельзя же молча смотреть, как заключенные голодают.

– Напрасно вы это, Александра Львовна, ей-богу, напрасно.

Но остановить меня было трудно... Схватив котелок, я пошла в контору. Комендант в фуражке сидел за письменным столом и с видимым напряжением рассматривал какую-то бумагу.

– Товарищ комендант! Смотрите, чем нас кормят.

– Что-о-о-о?

– Неужели нам полагается вместо картошки картофельные очистки в суп? и каша без масла?

– Вы что, гражданка Толстая, бунтовать вздумали?

– Я хочу, чтобы заключенные получали то, что им положено. Больше ничего.

Широкое веснушчатое лицо вдруг побагровело, громадный кулак поднялся в воздух и с силой ударился о стол.

– Молчать! Эй, кто там? Назначить гражданку Толстую дежурить в кухню на двадцать пятое и двадцать шестое декабря.

Я повернулась и вышла.

В день Рождества я встала в шесть часов и пошла в кухню. Было еще темно.

Дядя Миша – единственный монах, каким-то чудом удержавшийся в Новоспасском, – гремя ключами, пошел выдавать продукты. На кухне одна из кухарок стала делить на две половины масло, сахар и мясо.

– Что это вы делаете? Куда это?

– Коменданту и служащим.

– Не надо! – сказала я.

– То есть как это не надо?

– Не надо резать. Все это пойдет на заключенных. Администрации ничего не полагается.

Кухарки ворчали, бранились, но я, как цербер, следила за продуктами, поступавшими в кухню, и настояла на своем. В первый день Рождества заключенные получили хороший обед.

Но комендант смотрел на меня волком. Заключенные качали головами.

– Не простит он вам этого. Не сможет теперь отомстить, потом сорвет.

Да я и сама чувствовала, что положение мое в лагере должно было измениться. Прежде мне разрешали иногда ходить в город: в наркомпрос за волшебным фонарем для лекций, к зубному врачу. Комендант ценил мою работу по организации тюремной школы и устройству лекций. В его отчетах, вероятно, немало писалось о культурно-просветительной работе Новоспасского лагеря.

Теперь я была на подозрении. Я боялась писать дневник, боялась, как делала это раньше, отправлять написанное в

пустой посуде из-под передачи домой. Я стала искать место, где бы я могла хранить дневник в камере.

Один из кафелей с синими изразцами в лежанке расшатался. Я вынула его, положила листки и опять заделала.

– Что это вы все пишете? – спрашивала меня портниха Маня, сидевшая за воровство и недавно переведенная в нашу камеру.

– Вас описываю, – ответила я, смеясь.

Она ничего не сказала, но я чувствовала, что она заинтересовалась моим писанием. Мы боялись этой Мани, она была дружна с женой коменданта.

– Маня, что это? Какая красота! – воскликнула однажды армянка, когда Маня развернула узел с только что принесенной работой.

– Комендантской жене платье шью, – ответила Маня.

– Тоже сказала – жене!.. – возмутилась одна из женщин. – Таких-то жен у него... счет потеряешь, – и она с жадным любопытством потянулась к кровати, на которой Маня раскладывала великолепный тяжелый бархат густо-лилового цвета.

Через несколько дней Маня сдала лиловое платье и принесла другую материю, еще лучше: превосходный плотный, белый с золотыми разводами шелк.

Вечером в комнату старосты вошла армянка с кусочком материи в руках.

– Смотрите. Из архиерейских саккосов шьет. Ей-богу, – взволнованно прошептала она.

Среди лоскутков, валявшихся на полу, она нашла золотой крест.

– Александра Федоровна, – спросила я старосту, когда мы остались с ней вдвоем, – вы знали, что комендант грабит монастырскую ризницу?

– Знала, – сказала она, – давно знала. Но что поделаешь? Все равно нынче-завтра разграбят. Да уж теперь и нет ничего.

Знаете, какой крест спустил? Золотой, пять фунтов весу. А это уж так, остатки – архиерейская одежда осталась... Я, знаете, стараюсь об этих вещах не думать. Вот уже скоро два года, как я по тюрьмам мотаюсь. Сколько раз, бывало, люди волнуются, так же, как вы, вступаются за заключенных, думают, можно войну с администрацией вести. Напрасно это. Какой он ни есть зверь, но мы уже знаем, как с ним ладить. Ну, а начнешь с ним войну, либо его уберут, либо нет. А что, если не уберут? Он озвереет так, что житья с ним не будет. Ну, а если сменят, может, еще худшего пришлют. И верьте мне, какой бы он ни был вор, мерзавец, коли он член партии, не простят они вам этого... Никогда.

В комнату вошел странный, очень маленький человечек. Мальчишка? Нет! Женщина! Стриженые черные вьющиеся волосы, блестящие, как маслины, глаза, мелкие черты лица, красная сатиновая навыпуск рубаха, кожаная распахнутая куртка, короткая черная юбка, высокие сапоги.

Русский костюм не гармонировал с типичным еврейским лицом. Она вошла в сопровождении коменданта, его помощника и девицы в европейском платье.

– Рабоче-крестьянская инспекция, – шепнула мне Александра Федоровна.

– Белье казенное? – спросила еврейка, по-видимому, главное лицо в комиссии.

– Свое, – ответила староста.

– Часто меняете? – обратилась она ко мне.

Я рассмеялась.

– И почему вы смеетесь? – спросила она сурово, сморщив маленькую мордочку. – Покажите-ка, – и она отвернула край одеяла на моей постели.

Я стояла не двигаясь и продолжала улыбаться... Решительным движением она стала подходить ко всем кроватям, откидывать одеяла и смотреть постельное белье.

– Чисто у вас, – сказала она.

– Политические, – пояснил комендант.

– Что же вы раньше не сказали? Ваша фамилия? – обратилась она ко мне.

– Толстая.

– А! Я потом зайду к вам.

Инспекция ушла в сопровождении следовавшей по пятам свиты, а я пошла в контору, где мне было поручено организовать перепись заключенных.

Мы еще не успели наладить работу, как в контору вошла комиссия. С тем же деловым, важным видом маленькое существо продолжало расспрашивать о порядках в лагере – и вдруг величественно, отчего я опять чуть не расхохоталась, махнула крошечной ручкой по направлению к своей свите.

– Прошу вас, товарищи, выйти, – сказала она, – я желаю наедине побеседовать с заключенными.

Почтительно склонившись, комендант, а за ним помощники вышли из комнаты.

– Ну-с, товарищи, – сказала она, когда в конторе остались одни заключенные, – я, – и она ткнула себя в красную сатиновую грудь указательным пальцем, – представитель рабоче-крестьянской инспекции, с одной стороны, с другой – я – член женотдела. Товарищи! Наше рабоче-крестьянское правительство очень озабочено тем, чтобы граждане рабочие, крестьяне, вообще, так сказать, трудящиеся, заблудившиеся еще, вероятно, под гнетом буржуазного правительства, просвещались бы в духе социализма. Товарищи! Вы все должны идти с нами в ногу. Все должны помогать делу советского строительства. Каждый из вас должен, выйдя на свободу, постараться стать в ряды пролетариата, борющегося за свободу трудящихся. Кто здесь в лагере занимается просвещением?

Молчание.

– Кто работает с неграмотными?

– Я.

– Товарищ Толстая?

– Да.

– А как вы ведете партийную работу?

– Никак.

– Почему?

– Не сочувствую.

– Вот как. Это интересно. Но мы с вами побеседуем после. А теперь, товарищи, я прошу вас просто рассказать, как вы здесь живете. Хорошо ли вас питают? Получаете ли вы казенную одежду, достаточно ли дров?

Заключенные молчали.

– Товарищи, я вас спрашиваю: никто не жалуется на питание? на плохое обращение начальства?

Зло меня взяло.

– К чему эти вопросы? – не выдержала я. – Неужели вы не понимаете, что заключенные молчат совсем не потому, что жаловаться не на что, а потому, что скажи кто-нибудь слово: или в карцере заморозят, на работах замучают, или подведут под такую статью, что и в живых не останешься.

– Товарищи! – воскликнула она снова. – Товарищ Толстая ошибается. Я отвечаю за вас, я, – и маленький указательный палец опять воткнулся в сатиновую рубаху, – говорите. Не бойтесь.

Заключенные молчали.

– Ну!..

– Как мы будем говорить, когда мы не знаем, что нам полагается, – сказала я, – дают нам суп из мороженых картофельных очисток, хлеба не хватает, одежду предлагают старую, грязную... А разве мы знаем, что нам полагается?

– Это правда? – обратилась инспекторша к заключенным.

– Чего там... конечно, правильно, – послышались голоса, – масла сполна не получаем, в карцер за каждый пустяк сажают... сахара тоже недовес.

– Так. Так. Что же вы молчали, товарищи? А? Несознательность. Да.

Ревизия кончилась, инспекторша уехала. Заключенные трепетали.

Несколько дней подряд приезжали какие-то люди, ходили на кухню, расспрашивали, что-то писали. Раза два появилась маленькая коммунистка в той же кожаной куртке, с кожаной фуражкой на голове. И каждый раз неизменно она заходила в нашу камеру.

– Товарищ Толстая! – сказала она мне однажды. – Хотите пойти в театр? Я скажу коменданту, чтобы он вас отпустил.

– Нет.

– Почему?

– Не пойду, и только.

Иногда она пробовала говорить со мной на политические темы. Говорила она заученные фразы о советском рае, о развивающемся сознании пролетариата, о грядущей мировой революции. Мне было скучно, большей частью я молчала. Она радовалась, когда я не сдерживалась и отвечала.

Я посоветовала Дуне подать коммунистке прошение об освобождении. Жалко было глядеть на это несчастное, безобидное, кроткое создание, томящееся неизвестно за что. Прошение написали, переписали, Дуня поставила крестик вместо подписи, кто-то за нее расписался, и стали ждать коммунистку.

Через несколько дней она пришла.

– За что арестована? – спросила она, пробежав прошение глазами.

– Да хиба ж я знаю? Арестовали за что-то.

– Ну, ладно, давай, товарищ Дуня, твое прошение. Посмотрим, что можно будет сделать.

– Спасибо, милая барышня.

– Я не барышня, а товарищ. Вы, товарищ Дуня, в школу ходите?

– Хожу.

– Ну и прекрасно. Выйдете из школы грамотной сознательной гражданкой. Может быть, еще будете вместе с нами бороться за рабоче-крестьянскую власть, комиссаром будете...

Дуня смотрела на нее непонимающими наивными серыми глазами, но улыбалась, она была рада, что коммунистка взяла прошение.

– Такие у власти не бывают, – сказала я.

– Почему же это? – обратилась ко мне коммунистка, как всегда жадная до споров.

– Честна слишком.

– То есть что вы хотите этим сказать?

– Ничего. Таким, как Дуня, место теперь в тюрьмах, в лагерях. У власти товарищи, гвардейские солдаты, с отстреленными указательными пальцами, грабители...

– Продолжайте, пожалуйста.

–...грабители русской исконной старины.

Я вышла в соседнюю комнату, прикрыла дверь и быстро из-под изразца вытащила крест.

– Вот они, ваши честные работники из рядов пролетариата! – сказала я, бросая на стол лоскутик с крестом. – Вы когда-нибудь видели архиерейские одежды? Вот из этого комендант шьет платья своим женам, ограбляя монастырскую ризницу... Грабит заключенных, морит голодом, истязает...

Она слушала меня, широко раскрыв глаза, и вдруг вскочила:

– Дайте сюда.

Схватив лоскуток, она выбежала из комнаты.

Через некоторое время коменданта уволили. Я была спасена. Но староста была права: положение заключенных не улучшилось.

* * *

– Вставайте, Александра Львовна!

– А? Куда? Зачем?

Я открыла глаза, в комнате толпились кожаные куртки.

– Без разговоров! В театр.

– Почему так поздно? Я не хочу в театр, – пробормотала я.

– А вас и не спрашивают, гражданка, хотите вы или нет. Приказано.

– Обыск, – шепнула мне Александра Федоровна.

– Обыск? Опять? Почему же в театр?

– Ничего не знаю! Велено всем заключенным идти в театр. Лагерь оцеплен стражей.

– Что с собой брать? Деньги как?

– С собой берите, здесь все равно пропадут.

– А разве и здесь будут обыскивать?

– А как же? Затем и в театр всех загоняют, чтобы здесь дочиста перерыть...

«Как быть с дневником? – думала я, торопливо одеваясь. – Сжечь? Нет, жалко. Авось пронесет».

Выходим во двор, ярко освещенный факелами. Под деревьями между могильными памятниками вырисовываются кучки чекистов в остроконечных шапках. Они рассыпаны по всему лагерю. Шумят мотоциклетки, автомобили. Со всех сторон небольшими группами спешат заключенные в театр. В странном оцепенении, в полусне, я иду по двору. Мне кажется, что я никогда прежде не видела этого места, этих высоких деревьев, бросающих причудливые, нереальные тени, каменных глыб. «Должно быть, так в аду», – думала я.

Театр был также оцеплен стражей. Нас впустили внутрь. Нереальность исчезла. Здание было набито битком, арестованные всё прибывали.

На эстраде новый комендант и двое чекистов – женщина и мужчина. Женщина улыбалась. «Как она может?» – подумала я. Со сна ли, с перепугу или просто от холода многие заключенные дрожали.

Люди на эстраде сидели за столом, пересмеивались, что-то писали. А заключенные ждали два, может быть, три часа. Наконец, стали вызывать. До меня очередь дошла только к утру.

– Толстая.

Сквозь толпу я протискалась на эстраду. Несколько вопросов – за что осуждены? чем занимаетесь, что у вас с собой? деньги? дайте сюда

Женщина быстрыми ловкими пальцами шарила по телу, щупала волосы, чулки, выворачивала карманы. Каждое ее движение вызывало дрожь отвращения, и надо было напрячь все члены, чтобы не отшвырнуть гадину.

У выхода из театра меня ждали товарищи по камере. Нас вывели во двор и повели в околоток, но не направо, где была больничка, а налево, в изоляционную для сифилитиков. Грязь, вместо постелей голые нары. Комната была полна. Женщины сидели. Уголовные ругались и сквернословили.

Только к девяти часам привели обратно в камеру. Вещи наши были разбросаны по полу, постели перевернуты. Я бросилась к печке, подняла изразец, дневник лежал на месте.

Днем я зашла в театр. Весь пол был усеян мелко изорванной бумагой. А деньги наши пропали.

– Дали бы мне. Я бы спрятала, – хвасталась Жоржик, – у меня все до копеечки целы.

– А как же это ты?

– А очень просто. На то, мадам, и профессия.

Несколько человек приехали из автотранспорта комиссариата народного продовольствия. Политических вызвали в контору и записывали их профессии: делопроизводитель, счетовод, чертежник.

– Ваша профессия? – спросили у меня.

Вот тебе и раз. Мне никогда и в голову не приходило, что у меня нет профессии. Чем я в жизни занималась? Редактирование, сельское хозяйство, организационная работа, кооперативы... Все не годится.

– Говорите что-нибудь, – шепнула мне армянка, – на свободу ведь отпустят.

– Машинистка, – крикнула я.

Записали и уехали, а мы забыли о них, как забывали многие другие посещения. Но вдруг, дней через десять, нас снова вызвали в контору.

– Собирайте вещи!

Я опрометью бросилась в камеру. Собрала вещи, простилась с товарками. У них были смущенные лица. Они были рады за меня, но я знала, что именно в эту минуту им было особенно грустно.

У ворот Новоспасского лагеря стоял большой зеленый грузовик. Симпатичный человек, усиленно старавшийся скрыть свое сочувствие к нам, приглашал садиться. Затарахтела машина. Нас подшвыривало, трясло, а мы глупо и радостно улыбались.

Нас привезли во двор, на углу Тверской и Газетного переулка, ввели в накуренную канцелярию. Мне дали истрепанную грязную машинку «ундервуд». Не успела я ее вычистить, как уже стали приносить бумаги: отношения, доклады, отчеты... Прежде я никогда ничего не переписывала, кроме сочинений отца. Канцелярские формы были мне незнакомы, учиться было не у кого. Одна из заключенных, назвавшаяся машинисткой, в ужасе прибежала ко мне, не зная, что делать.

Ей также подвалили целую кучу бумаг, а она едва тюкала по клавишам одним пальцем. Пришлось помогать ей.

– Что вы делаете? – кричал на меня симпатичный человек, который оказался беспартийным инженером. – Ведь вы же даете на подпись безграмотное отношение.

– Да я же исправила орфографические ошибки.

– Но ведь по содержанию это никуда не годится. Вы старайтесь уловить смысл и пишите по-своему, а он подмахнет. Ведь он же двух слов связать не может.

Со временем я научилась это делать и, получив бумагу от директора-коммуниста, составляла ее по-своему. С отчетами было хуже, я изнемогала от бесконечных цифр, никак не могла печатать столбиками, как полагалось, путала итоги. Бумаги приносили и из других отделов. Чем быстрее я выполняла работу, тем больше мне подваливали бумаг. Теперь уже не трудились писать содержание, а просто кричали через комнату:

– Товарищ Толстая! В отдел снабжения выговор за задержку.

– Сейчас.

Я не могла понять, в чем дело. Другие машинистки работали до четырех часов, потом спокойно складывали работу и уходили. А я возвращалась домой каждый день около семи с мучительным сознанием, что не все пере-писала.

– Вы никогда не служили?

– Никогда.

– Оно и видно! Разве так можно. Дают бумагу, а вы отругивайтесь: и так много, вчерашняя работа осталась, подождите до завтра. А то им только повадку дай. Иной раз и бумажки-то не нужно, а он лезет.

В соседнем доме была огромная столовая наркомпрода, где обедали служащие автотранспорта. Кормили нас по

тогдашним временам хорошо. Денег за работу не платили, но давали паек: сахар, пшено, иногда мясо.

Отработав 8–9 часов в конторе, я шла домой, иногда совсем измученная работой, но счастливая сознанием, что иду «домой». Я видела друзей, родных. Один раз, забыв, что я на положении заключенной, пошла на Толстовский вечер.

Выступал В. Ф. Булгаков. Как всегда, горячо и смело он говорил о моем отце, о насилиях большевиков, о смертных казнях и вдруг, совершенно неожиданно, упомянул, что здесь, в зале, присутствует арестованная и находящаяся сейчас на принудительных работах дочь Толстого.

Через несколько дней зеленый грузовик снова отвез меня в Новоспасский лагерь. Прокурор республики Крыленко, узнав, что меня командировали на принудительные работы, и что я присутствовала на Толстовском вечере, рассердился, велел меня немедленно водворить обратно в лагерь и держать там под «строжайшим надзором».

Я надеялась, что в лагерь мне возвращаться не придется, и новое заключение показалось мне особенно тяжким.

Многих в лагере уже не было, появились новые лица. Общее внимание теперь привлекала знаменитая мошенница, баронесса фон Штейн, по прозвищу Сонька золотая ручка. В лагере она тотчас же прославилась как замечательная гадальщица.

Только Жоржик отнеслась к ней с полным презрением:

– Сволочь лягавая! У Ильменевой браслет слизнула. Последнее дело у своих воровать.

Даже политические ходили гадать.

– Не может быть, чтобы она была воровка, – говорили они, – такая важная дама, прекрасно одета, говорит на всех языках. А как гадает! Пойдите, Александра Львовна! Советуем вам...

Как-то вечером к нам в камеру вошла высокая дама в лиловом шелковом платье с пышными седыми волосами.

– Mademoiselle la contesse, charmee de vous voir![31]

Я молчала угрюмо.

– I am so happy to meet you...[32] Ich habe Ihren Vaters Bücher gelesen...[33]3

Она выпаливала фразу за фразой, переходя с одного языка на другой, любезно улыбаясь. Но я продолжала молчать.

– Может быть, вы разрешите вам погадать?

– Нет, спасибо. Простите меня, но я избегаю знакомиться в тюрьме.

Она пробормотала что-то по-французски и обратилась к моим товарищам по камере.

А между тем обо мне хлопотали. Маленькой коммунистке из рабоче-крестьянской инспекции непременно хотелось мне помочь, она говорила обо мне в ЦКП с Коллонтай.

– Вы же можете работать для нас, – говорила она мне, – и на свободе вы будете приносить гораздо больше пользы трудящимся.

Коллонтай вызвала меня к себе. Маленькая коммунистка сопровождала меня. Она суетилась, доставала пропуск в ЦКП. Она с беспокойством следила за впечатлением, которое я произвожу на Коллонтай.

А дней через десять после этого свидания она как ураган ворвалась к нам в камеру.

– Товарищ Толстая! Товарищ Толстая! У меня для вас что-то есть!

Черные глазки блестели больше обыкновенного, она прыгала по камере, смеялась, и видно было, что ее распирало от желания сообщить важную новость.

---

[31] Графиня, рада вас видеть! (*франц.*)

[32] Рада с вами познакомиться... (*англ.*)

[33] Я читала книги вашего отца... (*нем.*)

– Громадным большинством против одного голоса в ЦКП решено ходатайствовать перед ВЦИКом о вашем освобождении.

С другой стороны, обо мне хлопотали крестьяне. Трое ходоков из Ясной Поляны и двух соседних деревень приехали в Москву к Калинину хлопотать за меня.

Сестра тоже была в Москве. И я просила отпустить меня на два часа в город.

Но сколько я ни просила, комендант не соглашался. Он был не злой человек, недаром носил очки и старался походить на интеллигента, но он получил распоряжение держать меня под строжайшим надзором и боялся.

– Товарищ комендант! Пожалуйста, пустите. Я сегодня же вернусь.

Он пристально взглянул на меня.

– Нет, нельзя. Лицо у вас такое приметное... Очки. Из тысячи узнаешь. Нельзя.

Ни слова не сказав, я вышла из конторы. Через полчаса я пришла снова. На мне была Дунина сборчатая юбка, кофта, полушалок. Очки я сняла, брови собрала, подчернила, нарумянила губы и щеки.

– Куда лезешь? – крикнул комендант, когда я подошла к столу.

– К вашей милости, батюшка. Дозвольте слово молвить.

– Откуда ты?

– Не узнаёте, товарищ комендант? – сказала я уже своим голосом. Отпустите домой на часок, пожалуйста.

– Тьфу, черт. Это вы, товарищ Толстая? Ну, видно, делать нечего. В таком виде и сам прокурор республики вас не узнает. Но помните: в одиннадцать быть здесь и очков не надевать. Удивительное дело, как у вас лицо без очков меняется.

– Спасибо!

Было уже совсем темно. Идти надо было по набережной Москвы-реки. Кругом ни души. Вдруг быстрые шаги сзади.

– Эй, постой! Ай к милому бежишь?

За мной, запыхавшись, шел солдат.

– Давай знакомиться, что ли?

Я остановилась как вкопанная и, надев на нос очки, грозно посмотрела на красноармейца.

– Вы не знаете, с кем имеете дело, товарищ. В милицию хотите?

– Виноват, товарищ, – пробормотал солдат и взял под козырек.

– Что за маскарад? – спросила сестра, когда я наконец добралась до дому.

– Погоди, дай краску смыть, тогда расскажу.

Крестьяне привезли прошение, подписанное Яснополянским, Телятинским и Грумонтским обществами.

В моей квартире пили чай с деревенским ситником и разговаривали. Мужики говорили деловито, спокойно, без тени сентиментального сочувствия. И только когда кончили пить чай, самый молодой, Ваня, заметив, как я была голодна, завернул оставшийся ситник в бумагу.

– Возьмите с собой, Александра Львовна.

– Спасибо, Ваня!

И опять раскрашенная, без очков, я бежала по набережной к себе в лагерь, сжимая под мышкой половину ситника. И радость от свидания с сестрой и мужиками, радость от Ваниной ласковой улыбки была больше, чем от надежды на освобождение.

Через месяц меня выпустили.

Коля и Женя

Однажды в лагере я простудилась и пошла в околоток за аспирином. В коридоре меня остановила сиделка.

– Вы гражданка Толстая?

– Я.

– Вы в ЧК сидели?

– Сидела, а вам какое дело?

Я не любила расспросов. Мы знали, что за политическими следят и что можно нарваться на «наседку», поэтому избегали разговаривать с незнакомыми.

– А Ш. помните?

– Ш., вы знаете Ш.! – воскликнула я, невольно меняя тон. – Где она? Как мне найти ее?

– Она расстреляна, – строго проговорила молодая девушка.

– Расстреляна?!!

– Да. Я сидела с ней вместе после вас, она рассказывала мне.

– А Коля, Коля где? Жив?

– Жив. Его выпустили.

– А где он сейчас? Адрес его есть у вас? Ради Бога, скажите мне.

– Они там же, на старой квартире за рекой.

Сиделка оторвала кусочек бумаги и написала мне адрес, такой простой, несложный. И как это я тогда не посмотрела, не запомнила.

Ночью у меня был жар. Я лежала на жесткой койке, и мне казалось, что в камере душно, нечем дышать. Минутами я забывалась, но спать не могла.

Кошмары мучили меня.

Расстреляна. Тучное тело застыло бесформенной массой. Чекисты в остроконечных шапках ворочают ее с боку на бок, ища бриллианты. Мелькнуло лицо. Пухлые щеки закоченели, маленький, с правильно очерченными губами рот безобразно широко разинут, в диком ужасе застыли серые стеклянные глаза. Мертвая белая рука беспомощно размахнулась и звонко стукнулась о каменный пол...

Невыносимо!

Я вскакиваю. Сбрасываю с себя одеяло. Все тело в испарине. Достаю из-под койки чемодан с бельем, надеваю чистую рубашку и снова ложусь.

«И за что же? – звучит у меня в ушах. – За что? Я ведь ничего не сказала»...

Стараюсь не думать, но ослабленная жаром воля не подчиняется. Мысли снова и снова возвращаются к ней.

«Кто мог это сделать? Кто? Человек? Такой же, как я, как она? Нет. Неправда. Человек не мог этого сделать. Дряблую, старую, седую... в спину, в пухлую, со складками спину???»

– Не... воз... мож... но!!! – громко вскрикнула я.

Соседка моя встрепенулась, проснулась.

– Что вы сказали? Плохо вам? Не спится?

– Да, если можно, дайте мне воды, пожалуйста.

Она встала, налила в большую эмалированную кружку воды и подала мне.

– Спасибо.

«Господи, она ляжет, заснет сейчас», – с ужасом думала я.

Я не спала до утра. Когда рассвело, мне стало легче. Но я знала, что теперь уж не забуду их. Полковница и Коля вошли в меня навсегда, были связаны со мной страданиями этой ночи.

И вот я теперь снова на свободе. Я в своей квартире. Глиняный горшок все так же стоит в кухне на полке. Я написала Коле и Жене. Я их жду. И вот стучат, входит девушка лет двадцати и высокий костлявый малый лет семнадцати, плохо вымытый, растрепанный, бледный. Это он – Коля. Я смотрю на них так, как будто я их давно знаю. Женя одета бедно, но чисто, а Коля не умеет или не хочет прикрыть нищеты. В глаза бросаются штаны, бахромами болтающиеся по порыжевшим стоптанным башмакам, короткие рукава куртки, которые Коля тщетно старается натянуть.

– Вы Коля? – спрашиваю.

– Да.

– У вас документы есть?

Я задаю глупые, формальные вопросы, чтобы скрыть волнение, мне хочется схватить Колину громадную грязную лапу и крепко-крепко пожать ее, но я боюсь своего волнения.

– Покажите мне свои документы, – продолжаю я.

Женя торопливо достает их из потертой сумочки. Я не смотрю на них, они мне не нужны. Я иду на кухню. На горшке с засохшим растением – пыль. Я смахиваю ее и бережно вношу горшок в комнату. Они с недоумением смотрят на меня. Я вываливаю засохшую землю на стол, вынимаю и разворачиваю слипшуюся, потрескавшуюся клеенку...

– Вот, – говорю, – Коля, ваша мамá дала, это для вас...

– Мамочка!

– Да! Я не могла раньше... у меня отняли ваш адрес.

– Мамочка! Это ее вещи... ее. Вы?!

– Да, да. Мы с мамой внизу, а вы наверху, помните, в ЧК, на Лубянке, вы еще сахар и селедку...

Я не могу больше говорить.

– Мамочка, мамочка... Вы знаете, она... ее... – и он закрыл лицо руками.

Через несколько дней они снова зашли ко мне, беспомощные, жалкие.

– Видите ли, – говорила Женя, – наше положение сейчас такое незавидное, Коле надо одеться, он учится, мы решили продать...

Они точно извинялись передо мной.

– Да? Ну так что же? Конечно, продайте!

– Да, но мы очень боимся... Не знаем, к кому обратиться. Это так опасно, говорят, за это расстреливают.

Я дала им адрес «надежного» спекулянта. Они, повеселевшие, ободренные, ушли. Больше я их не видала.

Калинин

– Выпустили? Опять теперь начнете контрреволюцией заниматься?

– Не занималась и не буду, Михаил Иванович!

Калинин посмотрел на меня испытующе.

– Ну, расскажите, как наши места заключения? Хороши дома отдыха, правда?

– Нет...

– Ну, вы избалованы очень! Привыкли жить в роскоши, по-барски... А представьте себе, как себя чувствует рабочий, пролетарий в такой обстановке с театром, библиотекой...

– Плохо, Михаил Иванович! Кормят впроголодь, камеры не отапливаются, обращаются жестоко... Да позвольте, я вам расскажу...

– Но вы же сами, кажется, занимались просвещением в лагере, устраивали школу, лекции. Ничего подобного ведь не было в старых тюрьмах! Мы заботимся о том, чтобы из наших мест заключения выходили сознательные, грамотные люди...

Я пыталась возражать, рассказать всероссийскому старосте о тюремных порядках, но это было совершенно бесполезно. Ему были неприятны мои возражения и не хотелось менять созданное им раз навсегда представление о лагерях и тюрьмах.

«Совсем как старое правительство, – подумала я, – обманывают и себя, и других! И как скоро этот полуграмотный человек, недавно вышедший из рабочей среды, усвоил психологию власть имущих».

– Ну конечно, если и есть некоторые недочеты, то все же, в общем и целом, наши места заключения нельзя сравнить ни с какими другими в мире.

«Ни с какими другими в мире по жестокости, бесчеловечности», – думала я, но молчала. Мне часто приходилось обращаться к Калинину с просьбами, вытаскивать из тюрем ни в чем не повинных людей.

– Вот, говорят, люди голодают, продовольствия нет, – продолжал староста, на днях я решил сам проверить, пошел в столовую, тут же, на Моховой, инкогнито, конечно. Так знаете ли, что мне подали? Расстегаи, осетрину под белым соусом, и недорого...

Я засмеялась.

Опять неуверенный взгляд.

– Чему же вы смеетесь?

– Неужели вы серьезно думаете, Михаил Иванович, что вас не узнали? Ведь портреты ваши висят решительно всюду.

– Не думаю, – пробормотал он недовольно, – ну вот скажите, чем вы сами питаетесь? Что у вас на обед сегодня?

– Жареная картошка на рыбьем жире.

– А еще?

– Сегодня больше ничего, а иногда бывают щи, пшенная каша.

Я видела, что Калинину было неловко, что я вру.

– Гм... плоховато. Ну, чем могу служить?

Помню, раз Калинин был особенно приветлив и весел.

– Заходите, заходите! – сказал он, увидев меня в приемной, где я разговаривала с его секретаршей, прекрасно одетой смуглой красавицей с пышной прической, отполированными ногтями и изысканными манерами. – У меня сегодня ходоки из Сибири, славный народ!

Ему, видно, хотелось, чтобы я присутствовала при его разговоре с крестьянами. А крестьяне действительно были славные, спокойные, большие, бородатые, в нагольных полушубках и валенках.

Обстоятельно, не торопясь, мужики рассказали, как соседний совхоз оттягал у них луга, принадлежавшие обществу.

– И отцы, и деды владели этими лугами, – говорил пожилой мужик, – а теперь, что свобода открылась, отняли.

– Да, ну теперь перераспределение. Вы вот что скажите: покосы есть? У вас как там надел, по душам или по дворам?

Калинин суетился. Вскакивал, присаживался на широкие ручки кресел, курил, перебивал крестьян, рисуясь, как мне показалась, знанием деревни, знанием мужицкой речи.

А я думала: «Вот и у яснополянских тоже отняли». После смерти отца около 800 десятин было передано крестьянам по его завещанию; пахотная земля осталась за крестьянскими обществами, а луга и леса отошли правительству, к тульскому лесничеству.

История, рассказанная сибиряками, была обычная: невежественные, опьяненные властью коммунисты иногда по-своему толковали декреты, а иногда слишком точно их исполняли и творили беззакония на местах, – по выражению центра, «искажали линию».

На этот раз «линия была выпрямлена», и просьба сибиряков о возвращении им лугов уважена. Калинин был доволен. Ему приятна была благодарность сибиряков, сознание, что он сделал доброе, справедливое дело. Он был уверен или, может быть, старался уверить себя, что исправленная им несправедливость была лишь случайностью, одним из тех недостатков механизма, которые так легко было изжить. И если бы кто-нибудь сказал, показал или доказал ему, как дважды два четыре, что вся созданная советская машина основана на несправедливости и жестокости и что изжить воровство, террор, разврат, творящиеся по всей России, особенно в глухой провинции, невозможно, он поверить этому не мог бы, не посмел.

В этот день Калинин удовлетворил и мое ходатайство об облегчении участи политической заключенной и, отдавши распоряжение красавице секретарше, отправился в общую приемную. Здесь люди стояли сплошной стеной. Калинин

смешивался с толпой, подходил то к одному, то к другому, быстро, на ходу выслушивал просьбы, торопливо говорил что-то следовавшей за ним девице и, опросив таким образом несколько человек, так же быстро уходил обратно в свой кабинет с тяжелыми кожаными креслами и громадным письменным столом, а посетители продолжали часами ждать следующего выхода.

– Если бы ваш отец был жив, как бы он радовался всему тому, что мы сделали для «рабочих масс»! – сказал мне как-то раз Калинин.

– Не думаю.

– То есть, как это так не думаете?

Калинин так и привскочил на кресле.

– Не думаю, – повторила я, почувствовав, что мне удалось взять именно тот тон, в котором только и было возможно разговаривать с большевиками, – тон преувеличенной искренности, резкости. Калинина как будто и удивляло, и забавляло то, что я смела ему возражать, он не привык к этому.

– Но разве ваш отец сам не боролся за рабочих и крестьян?

– Боролся. Но методы ваши: ссылки, отсутствие всякой свободы, преследование религии, смертные казни – все это было бы для него совершенно неприемлемо.

– Так ведь это же всё временные меры... Ну, а земля трудящимся, а восьмичасовой рабочий день, а...

– Хотите, я вам правду скажу, Михаил Иванович, – перебила я его, чувствуя, что я почти перешла границу того, что можно было говорить, и что Калинин вот-вот выйдет из себя, – если бы отец был жив, он снова написал бы: «Не могу молчать», а вы, наверное, посадили бы его в тюрьму за контрреволюцию!

Секретарша входила и выходила, напоминая старосте о делах, посетители ждали в приемной, а Калинин все бегал по

комнате, курил, присаживался на угол письменного стола, опять вскакивал и никак не мог успокоиться. Мы проспорили полтора часа.

Калинин приезжал в Ясную Поляну, когда я сидела в тюрьме. Сестра показывала ему музей, отцовские комнаты, говорила о взглядах отца.

– Татьяна Львовна! – сказал он ей, выходя из кабинета. – Вы знаете, мне приходится подписывать смертные приговоры!

В 1922 году я пришла к Калинину хлопотать о семи священниках, приговоренных к расстрелу. Это было во время изъятия ценностей из церквей, когда в некоторых местах выведенные из терпения прихожане встретили комсомольцев и красноармейцев камнями и не дали грабить церкви. На это советская власть ответила страшным террором. Особенно пострадали священники. Самые стойкие и мужественные из них были расстреляны

Профессор, сидевший в одной камере с приговоренными к расстрелу священниками, рассказывал мне об их последних днях.

Зная, что после того, как их расстреляют, некому будет похоронить их по православному обряду, священники соборовали друг друга, затем каждый из них ложился на койку и его отпевали, как покойника. Профессор не мог рассказывать этой сцены без слез. Вышел из тюрьмы другим человеком: старым, разбитым, почти душевнобольным. Его спасла вера. Он сделался глубоко религиозным.

Не помню, что я говорила Калинину. Помню, что говорила много, спазмы давили горло. Стояли мы друг против друга в приемной.

Калинин хмурился и молчал.

– Вы не можете подписать смертного приговора! Не можете вы убить семь старых, совершенно не опасных вам, беззащитных людей!

– Что вы меня мучаете?! – вдруг воскликнул Калинин. – Бесполезно! Я ничего не могу сделать. Почем вы знаете, может быть, я только один и был против их расстрела! Я ничего не могу сделать!

Декрет

Судьба Ясной Поляны мучила меня непрестанно и в лагере. Усадьба постепенно разрушалась, хозяйство приходило в полный упадок. Широкий размах Оболенского, не желавшего считаться ни с какими советскими законами, неизбежно привел бы к катастрофе. Первая же ревизия обнаружила бы целый ряд злоупотреблений – с точки зрения советского правительства, и кто знает, чем все это кончилось бы? Нас всех разогнали бы, и что сталось бы тогда с усадьбой и старым домом?

В то время я еще наивно верила в возможность созидательной работы. Если бы Ясную Поляну удалось сделать культурным уголком, необходимым для населения и показательным для посетителей и иностранцев, то большевики сохранили бы ее? Нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы дом был освобожден от обитателей, восстановлен в том виде, как он был в момент ухода отца из Ясной Поляны, леса же с могилой, парк – должны быть объявлены заповедником.

С этими, не вполне еще продуманными планами я отправилась к Калинину во ВЦИК, надо было заручиться его принципиальным согласием. Ответ был благоприятный: «Подавайте проект, я поддержу».

Помощником моим в то время был пасынок сестры Сергей Сухотин. Его, так же как и меня, только что выпустили из тюрьмы. После полного бездействия предстоящая нам творческая работа, возможность созидания среди царящего кругом хаоса и разрушения – казалась почти чудом. И мы дали волю воображению: говорили часами, строили больницы,

школы, народные дома, устраивали кооперативные организации, пускали из Москвы специальные поезда с экскурсиями, проводили дороги, заводили автомобили и тракторы. Казалось, что, если наш проект декрета будет утвержден ВЦИКом, дело почти уже сделано. Трудность составления проекта заключалась в том, что надо было сделать его приемлемым для большевиков и не отступить от основных толстовских идей.

Наконец 10 июня 1921 года меня вызвали на заседание Президиума ВЦИК. В то время транспорт у меня был прекрасно налажен. Трамваи не ходили, извозчики были слишком дороги, а я разъезжала по Москве на велосипеде. Я свела велосипед с третьего этажа, прицепила к рулю портфель, туго набитый бумагами, и поехала в Кремль. В воротах остановили:

– Пропуск!

– Мне на заседание ВЦИК.

– Подождите, я позвоню. Ваши документы.

Я веду велосипед в гору. Под воротами опять пропуск. Мимо Царь-пушки, Царь-колокола, направо через площадь. Пусто, кое-где шагает красноармеец. Заседание в бывшем здании суда. В небольшой комнате, за длинным, покрытым красным сукном столом сидят человек пятнадцать. На председательском месте Калинин. Накурено. Пустые стаканы с окурками и табачной золой на блюдцах.

Дело о Ясной Поляне, насколько помню, шло четырнадцатым. Сажусь у стены и жду. Дела решаются с молниеносной быстротой, на каждое тратится не больше трех-четырех минут.

«Наверное, дело о Ясной Поляне так быстро не решится», – думаю я, волнуясь и готовясь к бою. Но напрасно.

Проект декрета излагается сжато и толково. Задаются два-три вопроса. Один из членов Президиума предлагает в пункте

третьем, где говорится о назначении комиссара Ясной Поляны, заменить слово комиссар – хранителем.

– Это больше подходит к Ясной Поляне, – соглашается Калинин.

Привожу основные пункты Декрета Центрального Исполнительного Комитета:

Усадьба Ясная Поляна Крапивинского уезда Тульской губернии, с домами, мебелью, парком, лугами, полями, лесами, садами, объявляется собственностью РСФСР.

Музей-усадьба передается в ведение охраны памятников страны и искусства народного комиссариата по просвещению.

Хранителю Музея-усадьбы Ясная Поляна вменяется в обязанность сохранение дома и усадьбы в ее прежнем виде, восстанавливая все то, что пришло в упадок или изменено со смерти Л. Н. Толстого.

Хранителю вменяется в обязанность организовать культурно-просветительный центр в Ясной Поляне со школами, библиотекой, проводить лекции, беседы, спектакли, выставки, экскурсии и т. п.

Поля, огороды, луга, яблочные сады Ясной Поляны обрабатываются последователями Толстого под наблюдением народного комиссариата земледелия по усовершенствованным методам с тем, чтобы хозяйство являлось опытно-показательным для посетителей Ясной Поляны и крестьян.

Хранитель Ясной Поляны имеет право «вето» на всякое решение коммуны, если оно нарушит характер исторической или культурно-просветительной работы.

Меня назначили хранителем Музея Ясная Поляна. Наступила новая эра.

Толстовская коммуна

– Эй, Володя! – кричали деревенские ребята длинному рыжебородому толстовцу. – Колесо потерял.

Володя натягивал веревочные вожжи и останавливался среди горы.

Пегий мерин, расставив задние ноги, с трудом сдерживал тяжелую бочку с водой.

– Вы что-то хотите мне сказать?

– Колесо потерял! – уже менее уверенно повторялась избитая острота.

Володя растерянно оглядывался, а ребятам этого-то и надо было, они фыркали и радостно гоготали.

– Как есть ничего не умеют, – жаловался произведенный в вахтеры по штатам Главмузея бывший кучер Адриан Павлович, – едет Володя, дуга на сторону, того и гляди, оглобля вывернется. Я говорю ему: «Володя, хоть бы гужи выровнял, разве можно, ведь этак ты лошадь изуродуешь!» А он мне: «А я и не знаю, Адриан Павлович, как их выравнивают, вы мне растолкуйте». Ну работники! Этот хошь безответный, а то есть такие дерзкие, слова не скажи!

Коммуна выбрала своим уполномоченным бывшего студента Вениамина Булгакова[34], приглашенного в музей в качестве научного сотрудника. Булгаков решительно ничего не понимал в сельском хозяйстве, но я вынуждена была согласиться на его кандидатуру, потому что среди собравшихся толстовцев он был самый приличный и образо-ванный.

Не было человека, который относился бы сочувственно к коммунарам. В глубине души скоро и я с ужасом убедилась в своей ошибке. Даже тетенька, и та не упускала случая, чтобы не задеть толстовцев.

[34] Брат бывшего секретаря отца, Валентина Федоровича Булгакова.

– Вот, Саша, все ты хорошо сделала, – говорила она, – а босяков этих напрасно пустила в Ясную Поляну, сама видишь, что напрасно. Все говорят, что они лодыри! И невоспитанные! Знаешь, вчера, когда вы все сидели в зале, прохожу я мимо «ремингтонной», вижу, кто-то лежит на кушетке. Я прошла к себе в комнату, вернулась, смотрю... ну, как его? Ты знаешь, мы еще с ним о Бетховене разговаривали...

– Не знаю, тетенька, кто же это?

– Ну как же так? Ты знаешь! Большой такой, красивый малый. Он еще просил Леночку[35] с ним по-французски заниматься.

– Валериан?

– Ну да, да, Валериан! Я говорю: «Валериан, что с вами? Вы нездоровы?» А сама так пристально на него смотрю, думала, он сконфузится. А он продолжает преспокойно лежать, закинув руки за голову. «Нет, – говорит, – Татьяна Андреевна, благодарю вас, я совершенно здоров. Я... ме-ди-ти-рую». Ну, тут я ужасно рассердилась и сказала ему, что если он хочет приходить в приличный дом, то не смеет валяться на диванах, да еще в присутствии старой почтенной дамы!

Толстовцам жилось плохо. Чтобы поддержать их, некоторые из них были проведены по штатам наркомпроса, Володя был зачислен учителем. Поэт Василий Андреевич, писавший бесконечные стихи в память моего отца, – сторожем музея. Он ходил около дома в тяжелом нагольном тулупе, любовался на созвездия и сочинял:

Во Поляне ты родился
Милый, маленький такой.

---

[35] Елена Сергеевна Денисенко, дочь сестры отца Марии Николаевны Толстой.

Но несмотря на то, что многие из них считались работниками по просвещению и уполномоченный коммуной был научным сотрудником музея, культурно-просветительная работа их нисколько не интересовала. Помню, как я огорчилась и рассердилась, когда на мою просьбу дать лошадей для перевозки библиотеки, пожертвованной Сережей Булыгиным[36] для Ясной Поляны, – последовал отказ.

– Если бы заплатили нам, – говорил Гущин, – тогда другое дело.

Толстовцы заявили, что они, так же как «сам Толстой», презирают образование.

Между собой они тоже не ладили. Лучшие из них не преследовали никаких практических целей, отказывались и от пайка, и от службы, жили впроголодь, но таких крайних было мало – два-три, – и они не уживались с основным ядром. Самым крайним был Виктор. Он пришел в Ясную Поляну пешком откуда-то с юга, свалился, точно ангел с неба. Весь в белом, в белой широкой рубахе и белых штанах, босиком, густые, длинные, тщательно расчесанные волосы по плечам, глаза синие, как южное небо. Сначала все ему обрадовались. Этот был самый настоящий, и толстовцы немедленно приняли его в свою коммуну.

Виктор не проповедовал, не навязывал никому своих мыслей, но, встречая его горящий взгляд, делалось неловко за свою грубость, практичность, невоздержанность, за всю жизнь... Достаточно было взглянуть на этого 19-летнего юношу, чтобы понять, что он отказался от всего мирского.

Он напоминал мне Сережу Попова[37], который верил в братство не только всех людей, но и всего живого, не признавал

---

[36] Сергей Михайлович Булыгин – один из самых искренних последователей отца. Позднее углубился в изучение православия.

[37] Один из самых ярких, крайних последователей отца, сидевший в тюрьмах за свои убеждения как при старом, так при советском правительствах.

государства, денег, документов, ходил по свету, искал добрых дел, полуголодный, полуодетый, но весь горел внутренним огнем. Может быть, это был один из тех толстовцев, которые, не успев еще испытать на себе всех соблазнов, страданий жизни, с юношеским пылом решили сразу достигнуть Царства Божия на земле. Сколько я перевидала таких! И сколько таких юношей бросалось позднее в другие крайности, точно наверстывая потерянное время, предаваясь всевозможным соблазнам.

Что сталось позднее с Виктором, удержался ли он на той высоте, куда взметнула его пылкая, чистая душа, – не знаю. Я потеряла его из виду. Но тогда он не то что нравился мне, нет. Много было в нем излишней резкости, прямолинейности, угловатости какой-то. Меня резала иногда трафаретность его слов, но я чувствовала искренний порыв его вверх, к добру и не могла не уважать его.

Как сейчас его вижу. Мелькает среди густой заросли сада его белая фигура. Он идет быстро-быстро, острым углом плеча пробиваясь сквозь кустарники. Внезапно он видит людей и резко останавливается, точно осаживается назад. Он неподвижен, вдохновенные глаза смотрят вверх, яркие блики солнца играют в золотых волосах. Что – молится? Или просто – сторонится людей? Боится греха?

Практичные толстовцы, желающие получше устроиться, получить паек, жалованье, извлечь пользу из хозяйства, скоро невзлюбили Виктора за то, что он не хотел исполнять некоторых работ. Когда толстовцы шли на огород обирать червей с капусты, Виктор не шел.

– Я не могу убивать ничего живого, – говорил он.

Часто вместо работы он уходил в лес.

– Куда же ты, Виктор? – спрашивали толстовцы.

– Я должен остаться один с природой, – отвечал он и быстрыми шагами уходил.

– Виктор, жалуются на тебя, плохо работаешь.

Он серьезно, с упреком смотрел на меня.

– Сестра Александра, – говорил он мне, – я согласен работать для братьев, но я не могу приносить в жертву свою духовную сущность грубым интересам плоти. Есть минуты, когда я должен быть в природе с Богом.

– Ну, знаешь, – возражал ему практичный тульский малый Никита Гущин, – ты в природе с Богом, а мы за тебя работай, это уж не по-братски, а по-свински выходит.

И Виктор ушел.

Гущина особенно не любили. Он был груб, с преувеличенной мужицкой простотой всем говорил «ты», ходил грязный, нечесаный, работать не любил, но зато любил хвастать знанием деревенской жизни и хозяйства, всем всегда давал советы и больше всего любил кататься на гнедом, выездном жеребце Османе. Сердце мое обливалось кровью, когда Гущин пригонял Османа в мыле, тяжело носящего боками.

– Зачем ты так скоро ездишь? – говорила я с упреком.

– Ну, знаешь, – отвечал он тоном, не допускающим возражения, – лошадь прогреть надо, ей это пользительно.

Но больше всего презирали толстовцев старые служащие.

– Ну и напустили обормотов! Прости, Господи! – ворчала кривая кухарка Николаевна. – Ведь надо ж было этакой дряни полон двор набрать! И где их только взяли? Вот хушь Гущин...

– Ну что Гущин, – обрывала я обычно такие разговоры, – что Гущин? Хороший малый, идейный...

– Гущин-то хороший? О Господи! Гущин?! Гущин-то он Гущин, да не туда пущен! Идет, не стучась, прямо к Татьяне Львовне в комнату, разваливается в кресле! Мужик! Хам! «Хороший»... О Господи!

Кривая Николаевна была права.

Я с ужасом вспоминаю сейчас эти несколько месяцев совместной с толстовцами жизни. Работать они или не умели,

или не хотели, указаний моих не слушались. Дело у них не спорилось, все плыло из рук. Поедут за водой – бочку опрокинут, начнут навоз возить – лошадей в снегу утопят, в коровнике, конюшне – везде грязь, беспорядок.

Но самое тяжелое было чувство не простоты, неловкости, которую я неизменно испытывала с так называемыми толстовцами. Исчезали простые естественные слова, и чем большее усилие я делала, чтобы найти эти искренние слова, тем фальшивее они становились.

Где-то таилась ложь. В ком? Во мне? В них?

Но я верила им тогда. Мне и в голову не пришло бы усомниться в искренности Володи Ловягина, застрявшего в Ясной Поляне на долгие годы. Я осудила Володю за трусость, но не за предательство, когда вдруг, будучи назначен сельским библиотекарем, он сжег все книги Сережи Булыгина: жития святых, отцовские религиозные философские книги и многое другое. Я не представляла себе, что эти книги менее дороги Володе, чем мне. Я считала Володю неумным, слабым человеком, но не могла предположить, что он вступит в партию и будет на нас доносить властям, как это случилось позднее

Я знала, что Никитка Гущин – практичный, пронырливый малый, но чтобы Гущин тотчас же после ухода из Ясной Поляны заделался ярым коммунистом – я не ожидала. Я была поражена, когда встретила Гущина в Тульском губисполкоме, причесанного, припомаженного, в новеньком, с иголочки костюмчике, в лаковых сапогах.

– Гущин?!

– Не узнали? Я, знаешь, теперь в губисполкоме работаю.

– Да? В качестве кого же?

– Рабкор. Статейки пишу для «Тульского коммунара». Загляну как-нибудь и к вам.

Тон его был снисходительно-покровительственный.

К счастью, я быстро поняла тогда всю глупость организации этой псевдотолстовской коммуны. Я посоветовалась со

служащими, и так как надо было все-таки создавать какую-то коллективную организацию и на жалованьях наркомпроса прожить было невозможно, мы решили организовать сельскохозяйственную артель служащих.

«Братья» уехали. Только несколько человек застряли. В общежитии остались пустые грязные койки, разорванные бумажки да на стене моя карикатура: я пускаю мыльные пузыри, пузыри – школа, музей, больница, народная библиотека разлетаются во все стороны и лопаются.

Осетры

Теперь мне кажется непонятным, зачем нам в Ясной Поляне понадобилась толстовская коммуна. Должно быть, надо было противопоставить управлению Оболенского коллективную организацию. Возможно, что именно толстовская коммуна в то время послужила некоторым буфером против марксистского влияния на Ясную Поляну, и это было необходимым этапом для перехода к более осмысленной организации.

Конечно, можно было не спеша подобрать дельных толстовцев и наладить работу, но беда заключалась в том, что надо было спешить, так как совхоз уничтожался и некому было передать хозяйство.

Вот в это время и появился Митрофан. Никто не знал его фамилии, отчества, и все так просто и звали его Митрофаном. Откуда он взялся, кто порекомендовал его – не помню. Говорили, что он сильный, но своевольный человек, прекрасный организатор, что он раньше устраивал, и очень удачно, толстовские коммуны. Такого-то нам и надо было. Митрофан обещал набрать «хороших ребят» в коммуну, и по молчаливому согласию решено было сделать его уполномоченным коммуны.

Митрофан был мне антипатичен, но я сама себя убеждала, что была несправедлива. «Глупо, – думала я, – ведь мне не

нравится в нем чисто внешнее: не нравится, что такой здоровый, большой мужик говорит тонким, сдобным, с мягким украинским акцентом голосом, не нравится отлив маслянистых глаз, не смешное, по привычке, похохатывание».

С первых же шагов Митрофан разочаровал нас. В то время как мы с Сухотиным разрывались на части, Митрофан был безучастен к нашим делам, только жаловался на трудности создавшегося положения.

А трудностей действительно было много. Население Ясной Поляны встретило новые порядки враждебно. Оболенский с семьей, часть его помощников должны были потерять должности и уехать. Яснополянские крестьяне лишились обрабатываемой ими исполу земли.

23 апреля того же года вышел ленинский декрет о новой экономической политике. Выдача пайков от государства должна была прекратиться. А между тем деньги были обесценены, жалованья до смешного маленькие. Яснополянцы волновались и во всем, разумеется, обвиняли меня: не успела, мол, Александра Львовна взять хозяйство в свои руки, как нас всех лишили пайка. Вспоминали батюшку-благодетеля, при котором даже конфеты монпансье, шоколад и туалетное мыло было. Многие жалели Оболенского.

Встречая злобные взгляды, насмешки, угрозы, Митрофан струсил, даже уверял меня, что преданные Оболенскому молодые люди хотят его убить. Он сидел на запоре в павильоне в саду, прозванном Булгаковым виллой Торо, и никуда не ходил.

То и дело приходилось ездить в Москву. Надо было закончить все формальности в наркомпросе и наркомземе, найти новых сотрудников, достать денег на организацию школы. А тут случилась еще неожиданная беда. Вернувшись из Москвы как-то в начале августа, я узнала, что весь урожай: сено, рожь, овес – проданы старым управлением. Не только в

амбаре, но и в полях – все было чисто. И я осталась с полной усадьбой людей и животных без какой-либо возможности их прокормить.

Обострять отношения с прежней администрацией не хотелось, и так преданная Оболенскому молодежь держалась вызывающе. Митрофан даже уверял, что, когда он пошел вечером за яблоками, – в него стреляли. Что было делать? Я чувствовала, что надо было как можно скорее налаживать хозяйство, но, с другой стороны, нельзя было и откладывать вопроса о продовольствии.

* * *

Верхние торговые ряды. Полупустые холодные, грязные магазины, конторы. Кое-где копошатся люди, точно мародеры, хозяйничающие в захваченном городе. Тыкаюсь в двери, на дверях наставлены бесконечные номера.

– Нет, нет, не туда попали, товарищ, третий ряд налево. Номер... Там и спросите товарища Халатова.

Наконец, нашла.

Армянское серовато-матовое лицо, громадные, с поволокой, черные бараньи глаза, правильно очерченный рот, длинные черные волосы, выбивающиеся из-под расшитой фески и кудрями рассыпающиеся по плечам, черная бархатная блуза (почему-то подумалось: наверное, такая была у Оскара Уайльда). Дети обычно спрашивают про таких: «Мамá, это что – человек или нарочно?»

Но это было совсем не нарочно, а человек, кормивший или долженствующий кормить всю Россию: народный комиссар по продовольствию товарищ Халатов.

– Вы ведь знаете, – сказал он мягко, – что все государственные учреждения переходят теперь на самоокупаемость, пайки выдаваться больше не будут и народный комиссариат по

продовольствию будет ликвидирован. Но у нас есть небольшие остатки, и мы можем вам кое-что выдать.

Он взял карандаш.

– Ну, что вам нужно? Муки, сахара, круп? Фасоли американской хотите?

– Спасибо. А еще соль нам очень нужна, капусты много, а квасить нечем.

– Соли? Нет, соли дать не могу, нету ее у нас. А вот что: осетров хотите?

– Осетров?! – я посмотрела на него с изумлением. Если бы он предложил мне горсть золотых, я, вероятно, удивилась бы не меньше.

Он усмехнулся.

– Ну да, осетров, свежих осетров хотите?

Сухотин меня ждал.

– Ну что? Получила что-нибудь?

– Два вагона разного продовольствия, – ответила я с гордостью, – и с десяток осетров с меня ростом в придачу!

Теперь надо было хлопотать о получении вагонов для перевозки, и я опять пошла к Калинину. Слова «пошла к Калинину», «пошла к Халатову» звучат легко и просто. На самом же деле проникнуть к комиссарам было трудно. Приходилось несколько раз звонить секретарям, получать пропуска, иногда ждать днями, неделями. Советские сановники часто уезжали в командировки, заседания сменялись заседаниями. Иногда просто не хотели принимать. В этот приезд мне все удавалось легко: Калинин меня принял.

– Ну, как дела в Ясной Поляне?

Я рассказала ему про затруднение с продовольствием и как Халатов нас выручил.

– Вот только соли не дал...

– Ну, этой беде я, кажется, смогу помочь, – сказал староста, – недавно ездил на юг, прихватил с собой на всякий случай вагон соли. Погодите-ка.

Он взял клочок бумаги, подумал и написал: «Выдать А. Л. Толстой для Ясной Поляны 20 пудов соли».

– Хватит?

– Хватит, спасибо!

Так и велась у нас эта соль года три – чистая, белая, нигде нельзя было такой достать, и называлась она калининской.

– Ну, как коммуна ваша? Работают?

– Да нет еще, уполномоченный наш как будто немного растерялся...

– Простите меня, – вдруг неожиданно буркнул председатель ВЦИКа, связались вы с ними, а ведь сволочь эти толстовцы, мягкотелые.

Я молчала. Ни поддерживать, ни спорить с ним мне не хотелось.

От Калинина я поехала в наркомпуть к Рязанскому вокзалу хлопотать о вагонах. Все было так сложно и трудно. Наконец все было устроено, и мы погрузились на Москве-Товарной. В то время воровство на железных дорогах было отчаянное. Ухитрялись разворовывать даже запломбированные вагоны. И мы с Сухотиным решили сами провожать свой драгоценный груз до Ясной Поляны. С нами поехала подруга моей племянницы, 15-летняя дочь профессора Грузинского.

Тронулись мы из Москвы, доехали до Люблина и стали. Заснули на мешках с фасолью, проснулись утром – стоим. Пошли к начальнику станции. К вечеру обещал отправить. Распороли мешок с фасолью, на станции сварили, пообедали, пошли гулять, выкупались. Легли спать, наутро проснулись, опять стоим в Люблине, уже на запасном пути. Делать нечего. С первым встречным поездом я поехала обратно в Москву в наркомпуть. С трудом добилась начальства. И каких

только доводов я не приводила, прося отправить нас как можно скорее: поминала и Калинина, и Халатова, и осетров. Отсюда меня направили в управление Московско-Курской железной дороги, потом еще куда-то... Мы двинулись только на третий день к вечеру. Доехали до Серпухова, опять остановка. Какие-то коммунисты пробовали аэродрезину между Серпуховым и Тулой, разбились, и путь оказался загроможденным. В вагоне духота. Подумали мы с Сережей, засучили рукава и начали осетров изнутри натирать калининской солью. Полдня работали, руки разъело в кровь. Осетров то и дело нюхали, ничего, не пахнут.

Должна сознаться, что в этой фантастической обстановке, когда армянин в расшитой феске распоряжался судьбами русского народа, глава правительства прихватывал с собой на всякий случай вагон соли, а люди ездили в товарных вагонах медленнее, чем в старину на долгих, меня увлекало спортивное чувство желание во что бы то ни стало достать, добиться...

Мы приехали в Ясную Поляну на восьмой день, измученные, но торжествующие. Никакой подвиг не поднял бы моего авторитета в глазах служащих так, как эти два вагона с продовольствием! Особенно, разумеется, поразили всех громадные, чуть ли не в сажень длиной, осетры. Никто и не подозревал, что осетры еще существуют, что простые смертные могут их есть.

– Вот вам! – говорила моя постоянная заступница тетенька Татьяна Андреевна. – Разве я была не права? Ведь привезла? А осетрина-то? Осетрины-то вы и при батюшке-благодетеле во сне не видели!

Теперь, когда вопрос с продовольствием был улажен, надо было срочно заняться организацией коммуны.

Но тут случилась новая беда. Слабые нервы толстовца не выдержали. Не дождавшись начала деятельности, уполномо-

ченный коммуны исчез. Когда? Куда ушел Митрофан? Никто не заметил. Он исчез, пропал, точно в воду канул.

Скотный

За несколько лет до революции я писала предводителю Крапивинского уезда о том, что необходимо в Ясной Поляне открыть земскую школу. Он ответил мне любезно, но решительно, что не видит необходимости в другой школе. В Ясной Поляне имеется двухклассное церковное училище, которое и останется там на вечные времена.

Революция застала в этом убогом учреждении двух сестер-учительниц, Таичку и Шурочку. Школа автоматически переименовалась в школу УОНО[38], а несколько позднее перешла в мое ведение вместе с сестрами.

В то время новых учебников еще не было, и Таички, как их называли, выпустив из своей программы Закон Божий, продолжали учить по-старому и плохо.

Я долго ломала голову, придумывала, где бы устроить школу, и наконец, решила приспособить в усадьбе часть здания, которое прежде называлось «скотным», а потом было переименовано в дом Волконского.

С тех пор как я себя помню, в средней части этого здания стояли коровы, в грязных темных закутах ютились телята, свиньи, овцы. В левом крыле, на юго-восточную сторону, жили рабочие, а напротив, через земляные сени, была прачечная. Здесь, бывало, с утра до вечера стирала курчавая веснушчатая прачка Варя, жена Адриана Павловича. Машин она не признавала, портила их и уверяла, что руками работать лучше. Действительно, каким-то чудом она справлялась с грудами белья, которое пудами подвозилось из большого

[38] Уездный отдел народного образования.

дома. И белье всегда было чистое, громадные белые скатерти и салфетки накрахмалены.

Помещение было ужасное: не было ни стоков для воды, ни вентиляторов. Вода выхлестывалась прямо на пол: сырость, слякоть, густой синий пар стоял, как в бане.

В правом крыле была квартира приказчика, а напротив – молочная, до сих пор сохранившая название «мастерская». Здесь в былые годы сестра Татьяна вместе с Репиным, Ге, Пастернаком, Касаткиным и другими художниками занималась живописью. Здесь же в мастерской долгое время стояла картина дедушки Ге: «Христос и разбойники».

В мезонине, над коровником, в который можно было попасть только по наружной лестнице и где не переводилось множество отъевшихся жирных крыс, был амбар. Это здание было построено дедом отца, Николаем Сергеевичем Волконским. Говорили, что у него здесь была ткацкая и прядильная фабрика и работали в ней крепостные. Это здание, выстроенное якобы знаменитым итальянским архитектором, считалось самым старым в Ясной Поляне.

Я с детства любила скотный. Он был необыкновенный. От его толстых каменных стен, широкого фундамента белого камня, на два аршина вросшего в землю, выступающих крыльев, подвалов с круглыми входами, как в склепах, мезонина с широкими итальянскими окнами веяло давно прошедшими годами, которые по рассказам были так близки нам...

Помню, как мы, бывало, приезжали из Москвы в Ясную Поляну. Скорый поезд пролетал, не останавливаясь, мимо станции Козлова Засека (теперь Ясная Поляна), а мы с Ваничкой прилипали носами к окнам и ждали. Вот кончился лес, перед глазами вырастал крутой зеленый бугор. Задерживалось дыхание: еще одна, две, три секунды... бугор постепенно снижался, и поезд вылетал на простор. Перед нами открывалось широкое поле, а там, вдали, в самом конце – Яс-

ная. Большой дом и флигель прятались в зелени парка, а растянутый облупленный скотный был виден как на ладони.

– Мама́! Няня! Смотрите!

А они заняты пустяками, собирают какие-то вещи и даже и не думают смотреть.

Мы дергаем их за платья:

– Господи! Да смотрите же скорей! Ясная!

Еще секунда, и скрылись зеленые крыши и милый, старый, такой величественный и красивый издали скотный.

Опять насыпь, и ничего не видно.

Сейчас мне кажется непонятным, как могли это великолепное здание довести до такой степени разрушения. Я не помню, чтобы его ремонтировали. Впрочем, один раз, когда ураганом, точно с коробки сардинок, закрутило железо, оборвало и понесло по двору, пришлось перекрывать и перекрашивать крышу.

Штукатурка облупилась, позеленели и замшились обнаженные кирпичи, из потрескавшегося фундамента лезли крапива и бузина. Коровий навоз сваливался перед фасадом в громадную пологую яму. За зиму вырастала гора, в которой рылись разномастные куры, а весной увозили навоз и яма наполнялась вонючей жижей.

В этом здании и зародилась новая Яснополянская школа. Сначала в бывшей рабочей кухне кое-как подправили полы, подперли столбами свисавшие, сгнившие тяжелые балки на потолке, поставили столы и скамейки, и бывший толстовец-коммунар Володя Ловягин стал учить ребят.

Володя учил плохо, и я пригласила двух преподавателей, окончивших Тульское техническое училище. Один из них – специалист-столяр, другой – слесарь. Оба крестьяне, несомненно, социалисты, но называли себя толстовцами. Они явились в Ясной Поляне еще раньше, записались в коммуну, но скоро

разошлись с ней. Они возмущались бесхозяйственностью толстовцев, толстовцы же презирали их за расчетливость.

Тульские приятели оказались ловкими, трудоспособными людьми. Мы сейчас же приняли человек двадцать яснополянских ребят-подростков в школу, и мастера с учениками приступили к ремонту. Часть коров перевели на варок, вычистили навоз, настлали деревянные полы, сделали рамы, двери и стали учить ребят ремеслу и грамоте.

Мастерские сразу пришлись по душе крестьянам. Ребята повалили в усадьбу, отбоя не было. В мастерские просились не только яснополянские, но из дальних деревень, верст за 10–15. Мы не могли расширяться. У нас не было ни учителей, ни оборудования, ни помещений. Несколько раз я обращалась в наркомпрос, и только после многих напоминаний к нам, наконец, командировали известного в Москве старого педагога. Он должен был «обследовать» Ясную Поляну и доложить начальству о наших начинаниях.

Я провела его в мастерскую через скотный двор. Старик неуверенно, в суконных дамских, с пряжками, ботиках шагал по выбитому каменному полу, осторожно ступая через едко пахнущие навозные лужи, мимо спокойно пережевывавших коров. Увидя грузного швицкого быка, свирепо косящегося на нас выпуклым глазом, старик остановился.

– Не бойтесь, он привязан.

– Я думал, что мы идем в школу?

– Да.

– Но это больше похоже на скотный двор?

– Сейчас, налево, пожалуйста.

И мы вошли в светлую, с широкими с обеих сторон окнами, чистыми выбеленными стенами комнату.

Работа кипела. Ребята строгали, стучали молотками, пилили; пол был засыпан пахнущими сосной стружками. Столяр-инструктор, большой человек с рыжеватой бородкой, в сапогах и русской рубахе, сейчас же завладел педагогом и,

захлебываясь, с увлечением стал развивать перед ним план нашей будущей организации.

– Мастерские, – говорил он, – должны научить ребят столярничать и плотничать. При нашем малом наделе крестьянам, у которых несколько сыновей, в хозяйстве нечего делать. Если же ребята, окончившие мастерские, желают остаться дома, то они должны уметь чинить сельскохозяйственные орудия: плуги, сохи, телеги, а кроме того, понемногу улучшить свою крестьянскую обстановку: делать для себя рамы, двери, мебель – комоды, стулья, столы. Кругом Ясной Поляны леса: казенная Засека, дарственный лес, и что же? Весь этот превосходный поделочный материал сжигается на дрова.

Старый педагог сочувственно кивал тяжелой лохматой головой.

Но, странное дело, мастерские, сразу влившиеся в жизнь населения, имевшие такой успех среди ребят и родителей, не встретили сочувствия центра. Ни с одним учреждением мне не пришлось столько хлопотать, как с ними. Почему-то центр их не признал, и мне трудно было получать на них кредиты. Позднее они перешли на самоокупаемость, брали заказы от школ, музея, сотрудников и существовали на основе «хозрасчета».

Артель

Солнце греет, как летом. Деревянные полозья тяжело скребут по последнему снегу, перемешанному с навозом. Вокруг парников уже обтаяло, из-под снега пучками лезет бурая крапива. Вдали, в поле, слышен неумолчный звон жаворонков.

В правой руке у меня вожжи, я заворачиваю, пячу лошадь, а левой, ухватившись за грядку, опрокидываю навоз. Осман непослушен, плохо стоит, капризно бьет тяжелым копытом, разбивая тонкую корочку льда и обдавая меня

фонтаном ледяных брызг. Он оглядывается то вправо, то влево на подъезжающих лошадей, высоко задирает тяжелую, с черной густой гривой голову и, дрожа ноздрями, заливисто ржет. Он не привык ходить с возом и, когда я поворачиваю к конюшне, играет и тянет на вожжах.

Я ужасно боюсь, что работаю хуже других, стараюсь захватить самые большие пласты навоза, скорее наложить. Как председателю артели – надо подавать пример. Мне нетрудно, скорее, весело работать, но с бывшими служащими не просто.

– Да вы не утомляйтесь очень-то, ваше сиятельство, – говорит Адриан Павлович[39], – небось у вас дома дела поважнее найдутся, а мы тут...

– Опять, Адриан Павлович! Ну сколько раз я вам говорила, – перебиваю я его, делая вид, что сержусь, с трудом выжимая из себя «вам» вместо привычного «ты», – сиятельств больше нет. Ну что если большевики услышат? Ведь обоих нас – и вас, и меня в тюрьму упекут!

– Виноват, ваше... Александра Львовна! Никак не могу привыкнуть!

– Эй, Петр Петрович[40], – кричали девки, – смотри, живот не надорви!

Слабые белые руки бухгалтера, всю жизнь выводившие цифры, дрожали от напряжения, но он только посмеивался и храбро тащил тяжелые носилки с навозом.

Приходил помогать и Илья Васильевич[41].

---

[39] Бывший кучер. Он отвозил отца на станцию, когда отец навсегда ушел из Ясной Поляны. После революции Адриан Павлович был мной проведен вахтером по Музею-усадьбе Ясная Поляна.

[40] Все имена новых служащих мною переделаны.

[41] Илья Васильевич Сидорков, служивший моему отцу до момента его ухода. После революции проведен мной смотрителем дома и музея Ясная Поляна.

– Ну, чего пришел? Ступай уж, ступай на печку! – говорили ему артельщики. – Без тебя управимся.

Но хилый худой старик потихоньку копался в земле, застенчиво улыбаясь и никого не слушая. Он и его жена Афанасьевна были тоже членами артели и старались отработать за молоко и паек, которые получали с хозяйства.

Высокий, худощавый, нерусского происхождения садовник не работал, считая работу ниже своего достоинства, а только руководил нами, делая вежливые указания и явно предпочитая иметь дело с некультурными рабочими.

В этот период революции – до 1924 года, пока нэп не вошел в силу, артель была нам совершенно необходима. Все члены артели знали, что, если мы не будем работать, зимой нечего будет есть. Это спаяло артельщиков. Деньги ничего не стоили, на жалованье, которое мы получали как служащие музея, ничего, кроме спичек, купить было нельзя.

Работали охотно и дружно. Все удавалось нам в это лето. Одно дело сменялось другим. С огорода перешли в поле, сажали картошку, сеяли кормовую свеклу, овес, клевер. Мы улучшили уход за скотиной, коровы стали давать больше молока.

В артель вошли все служащие школы и музея и четыре деревенские девушки, много лет работавшие на усадьбе. Когда закрылась на лето школа, дочери нашего приходского священника, учительницы Таичка и Шурочка, перешли на работу в хозяйство. Младшая, Шурочка, здоровая и красивая девушка с тяжелой пепельной косой и ласковыми голубыми глазами, работала по-настоящему; она всегда, бывало, помогала отцу Тихону в хозяйстве, а старшая, Таичка, худенькая, с темными волнистыми волосами, крошечным, пуговкой, носиком, на котором непрочно торчало пенсне, с капризным голоском и кокетливым вздергиванием головки, постоянно делала не то, что надо было: ходила с лопатой и граблями,

как с зонтиком, попадала всем под руку, падала, боялась коров и лошадей, и всегда с ней случались самые необыкновенные вещи.

Метали большой стог клевера. Подъезжаю с возом, слышу страшные истерические взвизги и бешеный хохот артельщиков, а в воздух взлетает что-то легкое, воздушное, голубое.

– Довольно, довольно, я упаду! – кричала Таичка, а ребята то опускали, то подымали ее журавлем. Увидали меня, сконфузились, опустили.

Всем хотелось дразнить Таичку; она обижалась, но всегда лезла всем на глаза. Один раз, когда вязали рожь, вдруг услыхали страшные вопли. Таичка махала руками, кричала, плакала.

– Помогите! Помогите!

Мы бросили работу и побежали к ней. Она каталась по земле, рвала на себе волосы, смешно взмахивала руками. Девки хохотали. Только Адриан Павлович отнесся серьезно.

– Ну чего это вы, Таисия Тихоновна, встаньте, это комари, летучие комари, вы схоронитесь в кустиках, они и отстанут.

Бедная Таичка не скоро пришла в себя. Руки, лицо и носик пуговкой были искусаны летучими муравьями[42], пенсне она потеряла, платьице изорвала. Она шла домой и горько плакала.

– Ну и работница, – смеялись артельщики, – комарей испугалась!

Работали с утра до ночи, часов не считали, а когда убирали сено и клевер, возвращались в темноте.

Рожь у нас родилась 20 копен на десятину – высокая, колос большой, тяжелый. Во время дождей она полегла и, когда скосили жнейкой, перепуталась. Опытным вязальщи-

---

[42] У нас в Тульской губернии мужики говорят «комари» вместо муравьи.

цам – и тем было трудно, а я никогда в жизни не вязала. Затяну, свясло обрывается, слабо стяну – сноп рассыпается; снопы лохматые, неуклюжие. Ничего у меня не выходило, разломило спину так, что казалось, больше не могу, брошу.

А две уборщицы музея, Поля и Маша, вязали быстро, и то одна, то другая мне сноп вяжут.

– Скорей, скорей, а то нас девки засмеют, надо пример подавать.

Так дотянула я до полдня, но когда шла домой, на обед, голова была в тумане, ничего не соображала от усталости. На следующий день я едва-едва встала, спина болела, руки исколоты, портянки сползали, сквозь чулки колола жесткая солома. Я с ужасом смотрела на подымающееся солнце, ощущая уже зной в разбитом теле. «Неужели дотяну до вечера?» Но как начала, стало легче, а после обеда еще легче, а на третий день я вязала наравне с другими.

После вязки подавать снопы было совсем легко. Уцепишь сноп, тяжелый, большой, перевернешь, поддашь его прямо на руки тому, кто на возу, наложишь, увяжешь, а потом сидишь и ждешь, когда загромыхает следующая телега. Мне ужасно нравилась эта работа. А когда перешли вязать и возить овес, то это оказалось совсем легко: снопочки маленькие, аккуратные, как игрушки.

Я очень гордилась, когда пришли к нам на поле трое мужиков. Дела у них не было, а так пришли, полюбопытствовать, как «барские» работают. Постояли, посмотрели.

– У нас рожь не такая...

– Лучше?

– Куда там, много хуже.

Иногда из наших сокровенных запасов выдавались чай и сахар. Приносили два ведра кипятка в поле. Артельщики садились под крестец и пили. Пили долго, много, пот с нас лил ручьями, сахар откусывали по чуточке, чтобы хватило надолго.

– Силы-то, силы сколько прибавилось – радовался Адриан Павлович. – Ну, ребята, валяй до вечера, без отдыху!

Когда пришла осень и стали делить продукты, оказалось всего много. Овощей, картошки, а главное, хлеба было вволю; капусту возили даже продавать.

– Вот большевики все толкуют: восьмичасовой, восьмичасовой, – говорили артельщики, – много бы собрали, коли восьмичасовой день соблюдали, а теперь, слава Богу, всего много, даже люди завидуют...

Этот первый год артели был самый удачный, на следующий такой острой нужды в продуктах уже не было. Некоторые, особенно «интеллигентные», сотрудники стали уклоняться от сельскохозяйственной работы. Я же и до сих пор с радостью вспоминаю о ней. Легко и просто совершилось для меня это «опрощение», которого так мучительно и безрезультатно мы добивались в прежние времена. Совершилось просто, потому что это было действительно необходимо.

Комитет помощи голодающим

В 1920–1922 годах был страшный голод в Крыму и на Волге. Об этом много говорилось в Москве. Но что можно было сделать, когда большинство влачило полуголодное существование, когда не было ни у кого денег, не было одежды, предметов первой необходимости?

Мой племянник Илья, семнадцатилетний юноша, и его друзья были счастливы, что могли работать с американцами у квакеров, помогая голодающим.

Пшеница не родилась, не было хлеба, не было и топлива, так как в степной полосе Поволжья крестьяне обычно отапливали дома соломой. Теперь же, за неимением и этого топлива, они разбирали сараи на дрова и даже сжигали все, что было возможно в домах, чтобы не замерзнуть.

Нам показывали куски хлеба с примесью глины, которым питались там крестьяне.

В это время мне позвонил один из моих друзей:

– Мы организуем Комитет помощи голодающим и просим вас принять в нем участие.

– Да, конечно! Но каким образом вы думаете помочь голодающим?

– Не беспокойтесь, все уже договорено с правительством, – сказал он мне.

– А чем я смогу помочь?

– Мы думали просить вас поехать в Канаду. Может быть, вы смогли бы получить пшеницы от духоборов для их погибающих от голода братьев.

По-видимому, комитет этот был организован с разрешения правительства и возглавлялся товарищем Каменевым – председателем Московского Совета.

В Москве среди интеллигенции только и говорилось о создавшемся комитете. Наконец-то все «эти» бывшие общественные деятели имели возможность себя проявить.

«Мы обязаны употребить свой опыт, свои знания на помощь страдающим массам, – говорили профессора, ученые, меньшевики и социал-революционеры. – Нельзя равнодушно наблюдать, как пухнут люди от голода; рассказывают, что бывают даже случаи людоедства. Давно надо было начать работу с большевиками, а мы сидели и ждали белых генералов – Деникиных, Колчаков и других, – говорили некоторые. Надо стараться влиять на коммунистическое правительство и помогать ему. Мы уверены, что оно постепенно поймет, что мы можем быть полезны. Это единственный путь к истинному прогрессу. Продолжать так, как теперь, нельзя», – говорили они.

И многие образованные, умные люди вдруг почувствовали почву под ногами. Они уже не были ненужным, выброшенным за борт балластом, они были настоящими людьми, призванными помогать другим.

Но не все мои друзья примкнули к комитету. Некоторые из них скептически-насмешливо улыбались и не только отказывались принять участие в нашей работе, но уговаривали нас отказаться от этой бессмысленной авантюры.

Я не обращала внимания на их предостережения. Мне хотелось работать в комитете. Я надеялась, что нам удастся что-то сделать.

Когда я приехала на первое заседание, я застала около 60 или 70 мужчин и женщин. Разбившись на маленькие группы, они взволнованно и горячо разговаривали. Собравшиеся были хорошо известными общественными деятелями доктора, адвокаты, экономисты, профессора, ученые – все лучшие представители науки, проживавшие тогда в Москве. Между ними выделялась небольшая юношеская фигура Веры Николаевны Фигнер – знаменитой революционерки, которая сидела более 20 лет в заключении при царском режиме за свою революционную деятельность.

Она была очень моложава. Несколько седых волос на гладко причесанной голове, молодые живые глаза. На ней было простое черное платье с белоснежными воротничком и рукавчиками.

Ждали товарища Каменева. Ждали четверть, полчаса, ждали час. Должны были ждать: не имели права начать заседание без председателя.

Кое-кто терял терпение.

– Это просто преступление задерживать нас так долго, – шептала женщина-врач в темных очках, бывшая социал-революционерка.

– Пользуется своим положением, – поддержал женщину-врача известный московский адвокат, потирая лысину, – не очень это порядочно заставлять себя ждать так долго.

– Порядочно! – зашипела докторша. – Это просто безобразие...

Эта докторша была несколько раз арестована при царском режиме за свои либеральные идеи, а теперь, во время революции, – как контрреволюционерка.

– Если бы не благая цель, ради которой мы все объединились, я бы давно ушла домой! Издевательство! Бюрократизм!

– Приехал, приехал! – крикнул кто-то. Под окнами старинного двухэтажного особняка, где мы собрались, послышался шум моторов, и в двери ворвалось с дюжину чекистов в остроконечных шапках, вооруженных револьверами и винтовками!

– Граждане! Вы арестованы!

– Что?!. Почему арестованы?! Где товарищ Каменев? – раздались возмущенные крики. – Здесь какое-то недоразумение! Мы ждем товарища Каменева!

– Ха, ха, ха! Они хотят дождаться товарища Каменева! – издевался начальник чекистов. – Вам бы пришлось долго его ждать. Ну, живей! Марш! Нам некогда с вами тут валандаться!

– Но товарищ Каменев знает про комитет, он наш председатель, он должен сюда приехать!

Люди окружили начальника, кричали, возмущались, негодовали.

– Это невозможно! Позвоните товарищу Каменеву, мы же собрались по его предложению.

– Арестовать нас, меня – заслуженного профессора, – за то, что я хотел помочь голодающим! – визжал худой жилистый человек. – Это же, это же...

Даже чекист смутился.

– Поймите же, граждане, я тут ни при чем, получил приказ и должен его исполнять. Если бы товарищ Каменев захотел, я полагаю, он не допустил бы вашего ареста. Он не приедет, это наверно. А теперь марш! Я имею приказ вас всех доставить в ЧК. Понятно?

Мы поняли. Настала полная тишина.

– Товарищ Фигнер! – во все горло заорал чекист.

– Что такое? Зачем я вам? – спросила Вера Николаевна, отделившись от толпы, собравшейся у выхода. – Что вам нужно?

– Вы свободны. Можете отправляться домой!

Бледное худенькое личико старушки побагровело:

– Почему я свободна, почему только я одна могу ехать домой?

– У меня особый приказ вас не арестовывать. Вы свободны!

– Но я не хочу быть свободной! – закричала старая революционерка. – Не хочу, арестуйте меня со всеми. Если они – мои друзья – виновны, то и я с ними! Я член комитета!

– Это меня не касается, гражданка! – И чекист отвернулся и повел нас всех к автомобилям, в которые нас и погрузили.

Некоторые члены комитета просидели несколько дней, другие – несколько месяцев, но мы так и не узнали, почему мы были арестованы.

Должно быть, за то, что хотели помочь голодающим.

Со мной в камере оказалась очень интересная сожительница – Е. Д. Кускова, жена профессора-экономиста Прокоповича, известная в России журналистка.

Мы и не заметили, как прошел день в разговорах о нашем аресте, о прошлом России, о работах по кооперации, которой я в свое время очень интересовалась, организовывая в Ясной Поляне и ее округе кооперативные лавки, кредитные общества, кооперативные молочные, пчеловодные, сельскохозяйственные артели, позднее уничтоженные большевиками.

Вечером, когда принесли ужин, в камеру пришел надзиратель.

– Товарищ Василий! – воскликнула я с радостью.

– Здравствуйте, гражданка Толстая. Рад вас видеть! – И он крепко сжал мою руку. – Опять к нам попали? – И он подал мне маленький пакетик: – Гостинцы вам принес, узнал, что вы здесь.

Кускова смотрела на эту сцену с недоумением и ужасом. Что такое? Почему я радуюсь и трясу руку коммунисту? Мне пришлось ей рассказать, как это случилось.

Во время моего прежнего сидения на Лубянке, 2 товарищ Василий приходил в камеру, и это он предупреждал меня, что доктор Петровская «наседка»[43] и чтобы я была с ней осторожна. Он же рассказал тогда, что рядом с нами в камере сидел Виноградский, который, как мы узнали впоследствии, был советским осведомителем и шпионом.

Когда я покидала тюрьму, я дала товарищу Василию свой адрес, и он пришел ко мне и, пока мы пили чай, рассказал мне всю свою историю: как он попал в надзиратели и как тяжко ему было работать в ЧК.

– А почему не уходите? – спросила я.

– Невозможно, расстреляют! – ответил он печально. – Гадкая, противная работа. В деревне дом есть, старики мои еще живы, может быть, когда-нибудь и вырвусь из ада этого.

И вот он, узнав, что я в заключении, пришел и принес мне конфет. И я была ему рада...

Меня скоро выпустили. Я вернулась в Ясную Поляну к своим обязанностям.

Школа[44]

В 1922 году я поручила знакомому архитектору составить смету на постройку школы-памятника Л. Н. Толстого, который я должна была представить народному комиссариату по просвещению. Но денег комиссариат не отпустил, и

[43] Посаженный в камеру осведомитель или шпион.

[44] Первая школа была построена в 1923 г. вместе с библиотекой и была объединена с музеем-усадьбой и, таким образом, находилась в ведении А. Л. Толстой. Называлась она Яснополянской опытной школьной станцией Главсоцвоса. Школа-памятник открылась в 1928 г. и была приурочена к столетию со дня рождения Л. Н. Толстого.

постройка была отложена. Между тем наплыв детей был так велик, что нам пришлось нанять избу в деревне и вести занятия в две смены.

Надо было что-то делать, я ездила в Москву, стараясь получить ассигновку на школу. Я сомневалась, что специалистка-педагог, заведующая отделом, могла бы мне помочь. В черном, хорошо сшитом английском костюме, простая, но, видимо, умная, она внимательно меня слушала, и по тонким губам ее пробегала чуть заметная насмешливая улыбка.

Я была очень рада, что помощником ее оказался наш старый известный педагог.

– Вы просите денег на школу, – сказала заведующая, – почему? Какова ваша роль в этом деле?

– Я организовываю школу.

– Понимаю, но официально?

– Я хранитель Музея-усадьбы в Ясной Поляне, мне вменено в обязанность создать в Ясной Поляне куль...

– Знаю, но по Главсоцвосу[45] вы не служите?

– Нет.

– Простите, но чем же вы живете, вы же не можете жить на жалованье музейного отдела?

– Нет. Я зарабатываю пчелами.

– Что?! Почему пчелами?

– Продаю мед. Единственная собственность, которую нам, Толстым, оставили это пасека. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я захватываю с собой липовку с медом, а то и две и продаю знакомым!..

– Ха, ха, ха! – вдруг разразился хохотом маститый педагог, сотрясая громадный просторный живот. – Нельзя ли купить у вас меда?

---

[45] Главное управление по социальному воспитанию.

– Можно, но я не понимаю, почему вы смеетесь, вы бы попробовали потаскать на себе этот мед из Ясной Поляны в Москву. В некоторых липовках больше пуда.

– Ну так мы вас назначим заведующей, – сказала тонкогубая, пряча улыбку.

– Но у меня нет ни диплома, ни педагогических знаний...

– Ничего! Фактически вы уже заведуете школой.

И мне назначили жалованье – сорок два с полтиной в месяц. Школа была зачислена в сеть школ Главсоцвоса. Утвердили штаты, дали немного денег на оборудование и постройку новой школы.

Я ушла с головой в это дело, и чем дальше, тем больше оно увлекало меня. Появлялись новые сотрудники; все они, так же как и я, со страстью отдавались новой организации. Мы не считали часов, не жалели сил, с утра до поздней ночи мы вертелись в бешеном водовороте.

Думаю, что ни в одной стране люди не работают с такой безудержной, бескорыстной страстью, как в России. После революции это свойство русской интеллигенции еще усилилось. Только благодаря оставшейся в России интеллигенции не погибла русская культура: уцелели кое-какие традиции, сохранились некоторые памятники искусства и старины, существуют еще научные труды, литературные изыскания.

Чем объяснить эту страсть к работе? Массовым гипнозом? Инстинктивным желанием противопоставить творчество большевистскому разрушению? Или просто чувством самосохранения, боязнью остановиться, подумать, осознать? Может быть, в этом и кроется главная причина этой неустанной деятельности? Можно ли делать, дышать, жить, если вдруг поймешь, что вся твоя работа – только вода на большевистское мельничное колесо, что лишь туже затягивается петля на шее народа и что то, что ты сегодня спас, завтра разрушится?

Для того чтобы так работать – надо или быть героями, или не думать.

И в то время, как мы суетились, вдохновлялись, мечтали, работая «для крестьянских масс», «массы» равнодушно, почти враждебно относились к нашим начинаниям. Школы они не хотели.

– Не нужна она нам, – говорили они, – кабы еще Закону Божию учили, а то на что она нам...

По декрету ВЦИКа мы не могли строить на усадьбе – это изменило бы ее общий вид. Мы выбрали под школьный участок Кабацкую Гору[46], участок, спускающийся к концу деревни, почти против ворот усадьбы. Земля эта принадлежала крестьянскому обществу. Два раза мои сотрудники собирали сход и просили мужиков отрезать десятину земли под школу, но они решительно отказывались. Вернувшись из Москвы, я в третий раз собрала сходку. Землю дали, но совсем не потому, что осознали необходимость иметь школу, а так уж, из уважения к Александре Львовне, неловко было отказать.

Может быть, крестьяне чувствовали то, что мне и в голову тогда не приходило: что школа оторвет от них ребят, воспитает новых, чуждых семье людей.

Они были правы. Действительно, с каждым годом ребята отходили от родителей все дальше и дальше. Но вначале учителям было трудно. Ребята им не подчинялись.

Молодой, черноватый, нервный учитель в волнении шагал по классу, начиная урок политграмоты.

– Вы, конечно, дети, знаете, что прежде в России был царь. Он управлял страной вместе со своими министрами и мало заботился о том...

– Заяц дерется, – пропищал чей-то голос.

– Зябрев, Миша, перестань!.. Ты вот лучше мне скажи, кто теперь заботится о народе?

---

[46] Здесь в старину был кабак.

Заяц молчал.

– Ну, кто такие большевики: Ленин, Троцкий?

– Знаю, знаю! – обрадовался Заяц. – Я сейчас скажу.

Заяц был самый шустрый и самый маленький из всего класса. Его плохо видно было из-за парты. Он вскочил на скамейку и, захлебываясь от нетерпения отличиться, запел прерывающимся тоненьким голоском:

Ехал Ленин на телеге,
А телега-то без колес.
Куда, черт плешивый, едешь?
Ликвизировать овес!

Оглядываясь на дверь, в ужасе махая руками, учитель несколько раз пытался остановить мальчика, но Миша при громком хохоте всего класса допел частушку.

И таких случаев было много.

Пришел раз мальчик в библиотеку за книгами.

– Разве ты сегодня не учишься? – спросил библиотекарь.

– Нет.

– Почему же?

– А ты не знаешь? Праздник сегодня.

– Праздник? Какой?

– А как же... Ленина пралик расшиб!

Постепенно школа сламывала искренность, непосредственную простоту ребят, слабело влияние родителей; дети инстинктивно улавливали двойственную игру, которую приходилось вести в школе. Мы и сами не заметили, как это случилось.

Старый педагог часто приезжал в Ясную Поляну.

В маленьких санках, одной половиной вися в пространстве, правой ногой, чтобы не упасть, упираясь в отводень, он удерживался в них, хотя его обширный живот и требовал больше половины сиденья. Я возила его из школы в школу.

В бывшей церковно-приходской учила теперь ребят опытная, с 26-летним стажем, пожилая учительница Серафима Николаевна.

– Прочтите мне что-нибудь, – сказал педагог.

Ребята прочли.

– Хорошо читаете. А ну-ка, тетради покажите.

Показали тетради.

– И пишете вы, дети, неплохо, красиво. Ну, а спеть можете?

– Можем!

Ребята посмотрели на учительницу, переглянулись между собой и запели «Интернационал».

– Хорошо, хорошо, – сказал старик, – ну, а свои, яснополянские песни знаете? Можете спеть?

Спели «Кирпичики», и я повезла старика дальше.

– Вы знаете, что было после вашего отъезда из школы? – спросила меня вечером Серафима Николаевна. – Не успели вы отъехать, ребята меня спрашивают: «Что, вот энтот, что к нам приходил, коммунист?» – «Нет!» – «Большевик?» «Нет!» – «Ну где ж ты была, Серафима Николаевна?! Почему не сказала? Зачем же мы ему «Интернационал» пели?»

Начало культурной работы

Московские дела – наше кооперативное «Товарищество изучения творений Л. Н. Толстого», занятое разбором и подготовкой к печати рукописей отца, требовали много времени и забот. Разгромили кооперативное издательство «Задруга», давшее нам деньги на редакционные работы. В самом товариществе произошел раскол: одни говорили, что надо обратиться за помощью в Госиздат, другие протестовали. Начались переговоры с Чертковым об объединении двух редакционных групп – товарищества и чертковской – воедино.

Решено было очистить Музей Ясная Поляна от обитателей. Весь дом привести в тот вид, в каком он был в 1910 году, в момент ухода отца. Музейные здания требовали ремонта, не было еще описей имущества, в парке гибли деревья, зарастали дорожки. По праздникам, особенно летом, научные сотрудники музея давали объяснения многочисленным посетителям.

В 1924 году школа Ясной Поляны была переименована уже в опытно-показательную станцию. Это облегчало получение кредитов, но накладывало на нас новые обязательства.

Учреждения росли, как грибы, и я разрывалась между Москвой и Ясной Поляной.

Кто-то мне сказал, что АРА (американская организация)[47] жертвует лекарства. Я обратилась к ним. Мне дали оборудование, хирургические инструменты и лекарства на целую амбулаторию. Надо было хлопотать, чтобы наркомздрав включил нашу амбулаторию в сеть своих учреждений и ассигновал кредиты на врача, фельдшерицу и сторожа.

Позднее удалось организовать при амбулатории помощь матерям и детям, 4 детских сада и к юбилею выстроить прекрасную больницу.

Осенью 1923 года Еврейско-американское общество через своего представителя г-на Розена пожертвовала 10 000 рублей на первые 4 класса нашей будущей девятилетки. Старшие классы продолжали обучаться в деревенской избе. В то же самое время мы получили от советского правительства первое ассигнование на школу-памятник.

Найти учителей было нелегко. Нищенские оклады, примитивные жилые помещения, деревня – все это было малопривлекательно. В продолжение целого года мы не могли найти преподавателя физики.

---

[47] American Relief Administration (*англ.*).

Но мы продолжали работать с увлечением. Наша девятилетка с сельскохозяйственным уклоном, под руководством опытного агронома, постепенно приобретала доверие крестьян.

Наши крестьяне, за немногими исключениями, жили небогато. Крестьяне вели хозяйство по старинке. Трехполье, неправильное кормление скота, вследствие чего коровы худели и давали очень мало молока, урожаи плохие, бедность. Многие уходили в город на заработки, но там платили гроши, семьи голодали.

Наша школа, во главе с ученым агрономом, поставила своей задачей перевести крестьян на многополье, ввести кормление скота по датским нормам. Шесть наиболее культурных крестьян согласились предоставить свои хозяйства для проведения опытов.

Результаты оказались блестящими. У этих семей коровы давали столько молока, что не только хватало на прокормление, но еще часть сдавали на продажу в молочную артель.

Но крестьянам наша работа послужила не на пользу, а во вред.

Я слышала, что после моего отъезда из России пошло гонение на шестерых крестьян, применявших культурные методы ведения сельского хозяйства. Их объявили кулаками. Самого культурного из них, только что построившего дом из кирпичей, которые он бил и обжигал сам со своим сыном, приговорили к ссылке в Сибирь.

Почти все жители деревни приехали на станцию провожать эту семью. Все любили и уважали их. Многие приносили им что могли на дорогу: пяток яиц, кусочек сала, краюху хлеба; женщины плакали.

Хозяйство при Музее-усадьбе Ясная Поляна по распоряжению ВЦИКа должно было обратиться в показательное для крестьян, для туристов и для школы: с девятипольем, огоро-

дами, скотоводством и другими отраслями хозяйства. Весь доход должен был идти на содержание музея-усадьбы.

Работа по всем отраслям постепенно налаживалась. Труднее всего было сохранить производственные мастерские-школы; почему-то правительство не давало на них средств. А между тем они были необходимы. Родители и ребята понимали, что, выучив мастерство, они легко найдут себе работу и хороший заработок. И они любили эту работу, увлекались ею; многие ученики приходили вечером и делали для своих родителей необходимые для них вещи: комоды, стулья, хорошие столы. Крестьяне ценили мастерские и посылали своих сыновей учиться мастерствам. Первые мастерские, устроенные нами в бывшем коровнике, не могли вместить всех желающих поступить в производственную школу, и трудно было отказывать в приеме ребятам, пришедшим издалека, иногда более 15 верст, горящим желанием учиться. Молча стояли они и смотрели, как работают другие ребята; и когда, после долгих просьб, им отказывали – они, понуря голову, иногда со слезами на глазах, уходили.

Во многих избах на деревне жили ребята из дальних деревень. Крестьяне брали с них по два рубля в месяц за постой. В субботу ребята уходили домой и возвращались в воскресенье вечером с харчами на всю неделю – караваем черного хлеба.

В 1925 году мы получили разрешение занять большой дом в Телятеньках (три версты от Ясной Поляны), принадлежавший до революции В. Г. Черткову.

Здесь помещался сиротский дом губоно[48]. Я слышала о нем. Одна из учительниц несколько раз приходила ко мне и умоляла меня взять ее к нам, так как она больше не может работать в учреждении, где заведующий-коммунист растлевал девочек в доме; многие девочки 14–15 лет забеременели.

[48] Губернский отдел народного образования.

– А если бы вы только знали, – говорила она, дергая плечом, – хорошенькие такие девочки, молоденькие, совсем дети, и все, понимаете ли, все... с заведующим... Ах, какой он мерзавец! И никто не донесет. Может быть, вы что-нибудь можете сделать? Только меня не выдавайте, прошу вас...

Но учительница производила странное впечатление. Она вся нервно дергалась, говорила полушепотом и все время оглядывалась по сторонам; вытаращенные глаза ее выражали страх, как бывает у людей с манией преследования. Я тогда не верила ей.

Но через несколько месяцев я встретила новую заведующую сиротским домом, и мы разговорились с ней.

– Не знаю, что делать, – жаловалась она мне, – денег не дают и почему-то не позволяют девицам ходить на заработки. А почему так? Не понимаю. Некоторым уже лет по двадцати... И выписать нельзя... Ну, куда они пойдут? На улицу? На маленьких детей ассигнований совсем нету, а ведь им молоко надо.

– Я думала, у вас ребята старшего возраста?

– Ну да, старшего, но девицы-то мои почти все с приплодом. Хорошо еще, что некоторые алименты получают...

Я пришла в отчаяние, когда осмотрела опустевший телятеньский дом: мебель была поломана, окна разбиты, крыши проржавели и текли, стены покоробились, чердак был весь загажен. Ребятам холодно было зимой ходить на двор в уборную, и они устроили уборную на чердаке. Много надо было исписать бумаг, потратить сил и энергии, чтобы привести Телятеньки в порядок.

Сюда мы перевели первую ступень школы и мастерские.

Школа разрасталась.

Травля

Артель нам теперь была не нужна. Сотрудники школы и музея были загружены работой, получали скромные жалованья, и всем нам некогда было заниматься сельскохозяйственной работой.

Да и желание прошло, центр хорошо относился ко мне и к нашей работе. Они, видимо, хотели создать в Ясной Поляне нечто вроде культурного центра, одного из тех, которые показываются туристам. И я им была нужна.

Местные власти не понимали этого. Для них мы были ненавистными буржуями. Они завидовали нам и жаждали нас уничтожить. Чем лучше шло наше дело, тем больше они злились. Чем меньше я с ними считалась, тем больше разгоралась их жажда меня придавить, унизить.

Как это всегда бывает, дело началось с пустяков.

Один из наших технических работников, безобидный тупой человек, обремененный большим семейством, заведовал складом и молочным хозяйством. Несколько раз, при проверке склада и молока, обнаруживалась недостача. Я сместила Толкача со склада и с тем же окладом назначила его сторожем музея.

Вскоре после этого в «Правде» появилась статья. В ней говорилось о том, что бывшая «графиня», окружив себя буржуазным элементом, окопалась в прекрасном уголке – Ясной Поляне. Буржуи эти, генералы и бывшие царские прислужники, живут по-прежнему, устраивают оргии с вином по ночам, заставляя сторожей музея прислуживать себе, не давая им спать до утра, и за это бросают им подачки с барского стола. Чтобы прикрыть все это безобразие, Толстая организовала артель, причем львиную долю продуктов с хозяйства получает она, бывшая графиня, и ее приспешники, а

служащие держатся впроголодь. В школе ведется религиозная пропаганда, революционные праздники не отмечаются.

Служащие переполошились. Всякая травля начинается именно так. За газетной статьей шли ревизии, придирки, и кончалось разгромом учреждения. И так и шло, все как по писаному. Сейчас же после статьи начались ревизии.

Казалось бы, губернскому отделу народного образования и дела до нас не было, мы были подчинены центру, но ревизии одна за другой шли не только от губернских, но и от районных властей. Созывались бесчисленные учительские собрания. Чтобы уличить нас в неправильном ведении дела, губоно мобилизовал лучших своих инструкторов: проверялись тетради, отчеты, опрашивались ученики, учителя.

– Вы что изучаете, лес? – кричал инструктор на Серафиму Николаевну. – А позвольте спросить, при чем здесь у вас в отчете лягушка? А автомобиль?

– Я сейчас объясню вам, товарищ. Видите ли, мы с ребятами совершали прогулку в лес, – в волнении, вертя карандаш и пришептывая, говорила Коростылева, – видим, на дороге лежит мертвая лягушка. Ребята заинтересовались. Мы и рассмотрели ее. Господи! Неужели мы не имеем права рассматривать лягушку? – чуть не плакала Серафима Николаевна.

– Ну, а при чем тут автомобиль?

– Пошли дальше, видим, на дороге стоит автомобиль, испортился. Ну, как вы удержите ребят? Конечно, они все бросились к автомобилю. Шофер оказался очень любезным, он стал объяснять ребятам устройство автомобиля.

– И зачем она этот автомобиль в отчет поместила? – волновались другие учителя.

Тульские власти ревизовали сельское хозяйство, музей. Незнакомые люди мелькали то в поле, то в лесу, они ходили по всей Ясной Поляне, разговаривали подолгу с рабочими, со сторожами музея, с ребятами в школе. А как только кто-

нибудь из нас подходил, сознавая свою силу, подло ухмылялись и отходили.

Здесь были разные типы: один был с тупым и порочным лицом беглого каторжника, другой – высокий, черный, с лохматыми волосами и претензией на интеллигентность: товарищ Чернявский, заведующий Тульской совпартшколой. Днем и ночью за нами следили, в чем-то нас улавливали. Мы потеряли покой.

– Мария Петровна, Мария Петровна! – кричал какой-то карапуз учительнице физики. – Давеча этот чернявый, какой из Тулы ездит, знаете что меня спрашивал?

– Ну?

– А бьют ли вас, говорит, учителя?

– Что?! Не может быть! Какое безобразие!

– Ну как же не может быть? Бьют ли вас, спрашивает, ребята, учителя?

Мальчик остановился, наслаждаясь растерянностью маленькой нервной учительницы.

– А я ему: «Ну, да, говорю, бьют. Учительница физики у нас злющая».

У рабочих, у ребят появились новые нотки в разговоре. Авторитет сотрудников и мой постепенно подтачивался. При звуке приближающегося автомобиля все нервничали: «Новая ревизия!»

– Мамá, мамá! – кричала моя крошечная внучатая племянница. – Опять мафтабиль лиехал, дади нехолосие!

По установившемуся обычаю каждую весну школа и музей устраивали праздник леса. Учащиеся вместе с учителями шли в лес, выкапывали молодняк и сажали около школы, по дорогам, перед крестьянскими избами, в парке. В 12 часов ребятам раздавались бутерброды, чай, угощение, и после полдня устраивались игры: горелки, лапта, бары. В 1924 году праздник наш прошел так же дружно и весело, как всегда.

В этом же году лесотдел вместе с местным подгородным лесничеством с большим опозданием устроил свой праздник лесонасаждения. Были приглашены крестьяне Ясной Поляны. А так как школа и музей уже отпраздновали этот день, от нас пошли только несколько человек – из любопытства

Митинг открыл заведующий гублесотделом политической речью. С доклада о международном положении он очень скоро перешел на Ясную Поляну. «Граждане и товарищи! – выкрикивал он. – Нам нужно напрячь все силы для строительства нашей страны. Сейчас, когда международные капиталисты точат зубы на пролетариат, нам особенно важно обратить внимание на наших внутренних врагов. Товарищи! Мы не расправились еще с гидрой контрреволюции! Они здесь, среди нас! Незачем нам далеко ходить, товарищи! Уничтожайте эти контрреволюционные элементы у себя под боком! Вот сейчас, перед нами (и он указал на темнеющие липы парка усадьбы Ясная Поляна), в этой самой усадьбе приютилась вся эта сволочь со сволочью, бывшей графиней Толстой во главе. Граждане Ясной Поляны, вы должны помочь нам искоренить...»

И опять эта речь передавалась сотрудниками из уст в уста. Волнение дошло до крайних пределов. Что же дальше? Разгром всего дела. ЧК? Среди технических служащих началось разложение, только старики были с нами. Меня еще слушались, но учителям и сотрудникам музея грубили. Если надо было учителю среди ночи ехать на станцию, чтобы попасть в Москву на конференцию, кучер отказывался запрягать:

– Это тебе не старый режим, людей по ночам будить... коли надо, запрягай сам.

Учитель настаивал, но, кроме гадкой ругани, ничего не мог добиться.

Кучера я уволила, но местные власти, профессиональный союз вступились, требуя, чтобы я взяла его обратно.

Хозяевами, следя грязными сапогами по чистым полам, в шапках, коммунисты входили в дом-музей, в отцовские комнаты.

– А любил старичок водочку, – говорили они, мерзко помаргивая на стоявший на полке среди других лекарств спирт.

Я стискивала зубы.

По ночам по парку ходили взрослые ребята. Они демонстративно проходили под окнами, ругая нас и сквернословя. Тетенька Татьяна Андреевна в ужасе вскакивала:

– Мерзавцы, как они смеют! Я сейчас им скажу...

Но я умоляла ее сдерживаться. Трудно было. У меня самой спирало дыхание, темнело в глазах... Но я знала, что каждое неосторожное слово раздуют, разнесут, донесут куда следует, и тогда все пропало. Откуда взялась у меня такая выдержка, я и сама не знаю.

Оставалось одно средство борьбы – Москва. До сего времени, за исключением статьи в «Правде», вся травля исходила от местных властей. И я опять поехала в ВЦИК.

Калинин и Смидович выслушали меня и обещали прислать ревизию от ВЦИКа. По их тону я прекрасно поняла, что на Ясную Поляну уже сыпались доносы в Москву.

Мы ждали ревизии со дня на день. А между тем нападки на нас не прекращались. Тульский губоно решил дать яснополянской опытной станции генеральный бой на учительской конференции. Мой заместитель, зубастый молодой человек, долгое время работавший в профессиональном союзе, и несколько учителей вызвались ехать на конференцию. Я осталась, потому что нам сообщили, что сейчас же после конференции будет еще одна ревизия, и мне хотелось привести в порядок всю отчетность.

Не было, кажется, ни одной гнусной клеветы, которой бы не возвели на Ясную Поляну на этой конференции. Мой заместитель, хороший оратор, говорил больше часа, опровергая

все возведенные на нас обвинения. Учителя вернулись взволнованные, но торжествующие, – районное учительство было на нашей стороне.

За эти несколько месяцев мы отвыкли спать. Измученные, издерганные учителя бродили по ночам по парку, шептались, обсуждая положение, готовые ко всевозможным ужасам, и только надеялись на ревизию ВЦИКа.

А у меня что-то странное делалось с сердцем: прыгало, билось скачками, приостанавливалось, дышать было трудно. Я ложилась спать, стараясь унять эти жуткие скачки; напрасно. Часами я лежала в той самой комнате, где был кабинет отца в 70-х годах, и смотрела на желтую перегородку, ту самую, куда он хотел захлестнуть петлю, когда безысходная тоска мучила его – арзамасская тоска...

Я пробовала читать философские книги – «Круг чтения», Шопенгауэра напрасно, если и удавалось унять сердце, успокоиться, крики из парка, стук в дверь снова выводили меня из равновесия.

Кто там?..

Несколько сотрудников вваливались в первую комнату за перегородкой.

– Митинг в парке. Чернявский показывал антирелигиозный фильм, а потом говорил речь, призывал молодежь громить буржуев Ясной Поляны. Ребята очень возбуждены. Траву всю вытоптали, дорожки заплевали подсолнухами, все наши посадки поломали, на скамеечки нагадили.

Учителя, сотрудники музея ужасно нервничали. Некоторые собирались уезжать из Ясной Поляны. Дело расползалось. Я старалась изо всех сил сдерживаться, и от этих усилий все чаще и чаще напоминало о себе сердце.

Молодой чернявый учитель ураганом влетел ко мне в кабинет.

– Александра Львовна! Александра Львовна! Скорей! Ревизия ВЦИКа!

– Возьмите вот, покажите им... – задыхалась Серафима Николаевна, школьные журналы, они увидят, что все праздники отмечаются! – и она совала мне под нос какие-то тетради.

Громадный шестиместный автомобиль стоял около старого вяза. Один за другим из него вылезли шесть человек. Среди них я узнала председателя губернского исполнительного комитета, председателя губоно, Чернявского, председателя Тульской контрольной комиссии. Остальные двое были из ВЦИКа.

Это была настоящая ревизия. Сначала в моем присутствии опрашивали свидетелей обвинения, вызывали Толкача, какого-то малого с деревни, допрашивали Чернявского. Бухгалтер Петр Петрович, присутствовавший при допросе, рассказывал мне, что свидетели перепугались, смешались и не могли повторить своих наветов, напрасно Чернявский всячески поощрял их и подзадоривал. Потом вызвали в канцелярию меня.

– Александра Львовна! – обратился ко мне секретарь ВЦИКа Киселев. Скажите нам, какой паек вы получали из артели?

– Мне хотелось бы, – едва сдерживая гнев, – отвечать на все вопросы с документами в руках. Пожалуйста, – обратилась я к Петру Петровичу, который заведовал канцелярией, – дайте мне протокол общего собрания артели прошлого года.

В этом протоколе было записано заявление, что я отказываюсь от артельного пайка, так как все свободное время я должна посвящать работе в музее и школе и не могу больше работать в хозяйстве.

– Следовательно, за последний год существования артели вы пайка не получали?

– Нет.

– Так.

– А позвольте вас спросить, Александра Львовна, – обратился ко мне член ВЦИКа Пахомов, – была у вас вечеринка, когда вы пили вино и веселились до утра?

– Да, была. Это было 23 апреля, в день моих именин.

– Сколько было выпито вина?

– Две бутылки портвейна.

– Сколько было человек?

– Больше тридцати.

Члены ВЦИКа переглянулись.

– Товарищ Толкач, что, товарищ Толстая говорит правду или нет?

– Должно быть, правду.

– Товарищ Толстая, был ли такой случай, чтобы вы заставляли сторожей вам прислуживать и ночью заставляли ставить самовары? Товарищ Толкач ставил вам ночью самовар?

– Ставил. Толкач был дежурным. Я пригласила его выпить с нами чаю, он охотно присоединился к нам, пел с нами песни, пил чай. В два часа ночи мой заместитель, увидев, что самовар опустел, взял его и понес в кухню ставить, но Толкач вскочил, вырвал у него из рук самовар и пошел ставить его сам.

– Товарищ Толкач представил мне этот случай несколько в ином виде...

– Подождите, товарищ Чернявский, мы вас уже выслушали! Товарищ Толкач, так это все было, как рассказывает нам гражданка Толстая?

– Стало быть, так.

– Пожалуйста, продолжайте, Александра Львовна!

– Вскоре после этого, когда мы стали расходиться, я вспомнила про детей Толкача, завернула кусок пирога и конфеты в бумагу и подала ему. Конечно, я далека была от мысли, что могу его обидеть, никому не приходится теперь

часто пироги и конфеты есть. Толкач как будто не обиделся, а скорее обрадовался...

– Какая ложь! – вдруг, побледнев, крикнул Чернявский.

Но Киселев жестом остановил его.

– Говорите, Александра Львовна.

И я стала говорить. И чем больше я говорила, тем мне становилось легче, точно прорвало меня, я дала себе волю, долго сдерживаемый гнев разрешился, облегчил, освободил меня. Я, кажется, никогда в жизни не была так красноречива. Я издевалась над Чернявским, я почти физически наслаждалась его бессильной злобой, его растерянностью. Он был теперь обвиняемым, я была обвинителем.

Беспризорные

Я иду по Моховой, в руках большой портфель. Что такое? Как мухи вьются вокруг меня беспризорные, забегают справа, слева, один с силой толкнул меня под левый локоть.

Сейчас, днем, пожалуй, не решатся портфель вырвать, кругом народ, на углу стоит милиционер. Может быть, ночью бы и отняли, то и дело слышишь, как отняли сумочку у дамы, вырвали из рук портфель у запоздавшего с заседания чиновника.

Молчаливое приставание ребят стало настолько назойливым, что я направилась к милиционеру.

– Беспризорные меня преследуют, – сказала я ему, – может быть, хотят портфель вырвать?

– Нет, не портфель, смотрите, перо у вас сейчас из кармана выскочит!

Действительно, ребята уже выбили из бокового верхнего кармана самопишущее перо. Так вот за чем они охотились!

Самопишущие перья были в Москве большой редкостью. Купить их нельзя было, а это перо подарили мне американцы.

Я вынула его из кармана и положила в портфель. Тотчас же преследование кончилось, только один из мальчишек забежал вперед, вскочил на тумбу и высунул мне язык.

Много их было летом в Москве. Ночевали они в асфальтовых чанах на улицах, согревая друг друга своими телами. С наступлением осени они, как перелетные птицы, тянулись к югу. Нередко мне приходилось с ними путешествовать. Ехали они под лавками, иногда в ящиках под вагонами. Питались они кусками хлеба, которые им из окон кидали пассажиры; иногда им удавалось вытащить кошелек из кармана зазевавшегося пассажира.

Помню, я видела их на Кавказе, куда я ездила отдыхать. Они атаковали пассажиров:

– Копеечку дай!

– Гражданин, дай папироску!

– Молод курить еще... Где твои родители?

Беспризорный хмуро молчал. Сентиментальные разговоры господ интеллигентов им давно надоели.

– Ты бы лицо пошел умыть, нехорошо, когда мальчики ходят грязные, ведь эдак лицо может сыпью покрыться... Посмотри на себя, точно негр...

– Дай гривенник, умоюсь!

– Ах, как нехорошо! Ведь тебе же самому, не мне, надо умыться. Ну так и быть... иди вымойся.

Беспризорный схватил с земли корку арбуза, разломил ее пополам и стал мазать лицо. Сажа смешалась с липким соком, потекла грязными струями по щекам и по шее. Из-под черной маски показалось хорошенькое детское личико.

– Дай гривенник!

Интеллигент вздохнул и полез за кошельком.

– Дай и мне гривенник, – пропищала девочка лет восьми, – я тоже лицо помою.

– Это твоя сестра? – спросил интеллигент мальчика.

– Это моя жена! – буркнул мальчик с вымытым лицом, поднимая с земли окурок и закуривая.

Днем они просили, по ночам выходили на работу. В Туапсе на вокзале всегда была давка. Люди сутками ждали поездов, отходящих на север. В момент посадки, когда кондуктора спрашивали билеты и пассажиры, чтобы освободить руки, ставили чемоданы на землю, из-под вагонов незаметно просовывался крюк, цеплялся за ремень или за ручку чемодана, и он уплывал под вагон.

Один раз, возвращаясь из Сухума, где я провела свой летний месячный отпуск, мы около суток ждали возможности попасть на поезд. На станции было душно, и мы вышли на крыльцо. Почему-то парадные двери были забиты, хода здесь не было, и только зияли темные дыры выбитых окон. Нас было четверо: трое служащих толстовских учреждений и я.

В чайнике принесли воды, и, сидя на приступках крыльца, мы пили чай.

Сначала мы были на крыльце одни, но через несколько минут шестеро ребят восьми-двенадцати лет появились откуда-то из темноты.

– Тим-та-тира-ра! тим-та-ра! Тим-та-тира ра-ра тим-тара! – Мальчик лет двенадцати пел и отбивал чечетку. Лица его не было видно, но движения были необычайно грациозны, поражала ритмичность и музыкальность его пения.

– Эх, сволочь, и ловко это он...

– Мадленки нет, а то двое они... здорово это у них выходит.

– Мадленка его с косым гуляет...

Вдруг плясун круто остановился.

– Ах, ты... – он скверно выругался, – брешешь, сволочь! Да коли она... опять ругательство, – я бы ей все ребра переломал.

И он опять пустился в пляс: «Тим-там тира-ра-ра! Тим-та-ра!»

Видели они нас или нет? Мы сидели тихо, боясь шелохнуться.

Вдруг пение и пляска оборвались. Широкий низкий человек вбежал на крыльцо.

– Живо! – он наклонился к самому маленькому, тоненькому мальчику, что-то шепнул ему на ухо и ловким движением, подхватив его правой рукой под грудь, через выбитое окно спустил в станцию.

Наступила тишина. В темноте вспыхивали огоньки папирос. Вдали, должно быть, из городского сада, слышались звуки оркестра, того самого мотива, который только что напевал мальчик-плясун.

Вдруг что-то глухо хлопнулось из окна. Послышался детский крик:

– Нельзя было, дяденька... милиция, – пищал детский голосок, – насилу убег.

Взрослый скверно выругался.

* * *

Это было в Ясной Поляне. За ночь поседели старые деревья в парке, и седины их легкими ажурными прядями свисали, тысячами огней искрясь на солнце. Воздух был чист и неподвижен. Березы, ели, покрытые инеем, точно выросли, в одну ночь поважнели в своих фантастически чудесных нарядах.

Точно праздник! Я шла в музей и вдруг на ступеньках террасы увидала маленькое, скрюченное, безобразное в своей нищете существо.

– Ты что?

Навстречу мне встал мальчик лет одиннадцати, худой, оборванный, жалкий.

– Мне нужно Толстову видеть, говорят, она сирот собирает...

– А ты сирота?

– Да.

– Откуда?

– Ехал к бабушке, без билета, ссадили с поезда на Засеке, там мне сказали, что Толстова сирот собирает в Ясной Поляне, я и пришел.

– Беспризорный?

– Да.

– Из карманов таскать умеешь?

– Нет. Побираться – побирался, а воровать – не воровал.

– Хорошо, посмотрим.

Я отправила мальчика к рабочим и просила их понаблюдать за ним. Через две недели его перевели в интернат.

Все любили Володю Соколова. Учился он хорошо, особенно хорошо рисовал.

Прожил он в интернате у нас полтора года. Все уже давно забыли, что он когда-то был беспризорным.

И вот как-то утром прибегает ко мне заведующий интернатом.

– У нас несчастье! Володя Соколов сегодня ночью сбежал! Утащил у ребят семь рублей денег и три пары новых сапог.

Дали знать в милицию, сообщили на железнодорожную станцию, но Володя так и исчез, точно в землю провалился.

Сначала воспитанники интерната молчали, а затем постепенно стали рассказывать, как Володя, начитавшись Джека Лондона, мечтал о путешествиях и, когда наступила весна, не выдержал, вспомнилась ему вольная, бродячая жизнь, и он удрал.

Аукцион

Я в Петербурге.

Холодные, пустые, заброшенные храмы, опустошенные дворцы, пустые магазины. Все в прошлом. Я хожу по

Петербургу и вспоминаю: Шпалерная, визиты, первая, неразделенная шестнадцатилетняя любовь, блаженные, полные свежей поэзии воображаемые страдания, белые бессонные ночи, оживление всегда нарядного, корректного, с европейским налетом, населения Петербурга; вечный спор между молодежью, какой город лучше – Москва или Петербург? Красавица Нева, дворец, связанный в воспоминаниях со строгой, привлекательной фрейлиной бабушкой Александрой Андреевной; непривычная роскошь, блеск, придворные лакеи в красивых мундирах, кареты, городовые, отдающие бабушке честь...

Мы приехали сюда, чтобы достать книг для яснополянской библиотеки. В Петербурге оказался самый большой книжный фонд, собранный из реквизированных частных, может быть и царских, библиотек. Здесь громадный склад, куда в беспорядке сваливались тысячи книг. Несколько человек из «бывших» людей от Петроградского комиссариата по просвещению работало в нем. И среди этой груды томов удавалось иногда выкапывать такие перлы, как, например, «Современник» пушкинского времени.

С научной сотрудницей Яснополянского музея мы часами в пыли и в страшном холоде искали книги, подбирая то, что нам нужно было для яснополянской библиотеки.

В свободное время мы бродили по Петербургу. Зашли как-то на Мойку, нашли квартиру Пушкина. Зашли в Толстовский музей, где с той же любовью продолжал работать хранитель Рукописного отдела Академии наук В. И. Срезневский.

Как-то забрели на Дворцовую площадь. Какие-то люди уверенно шли прямо во дворец, и мы пошли за ними. Мы уперлись в темный коридор. Здесь в левом углу тускло горела электрическая лампочка. За стойкой стоял человек и что-то кричал. Мы подошли ближе.

– Пятьдесят копеек!

– Пятьдесят пять!

– Пятьдесят пять! Кто больше?

– Шестьдесят!

– Будьте добры, – обратилась я к стоявшей рядом с нами женщине, – скажите, что это такое?

– Как что?! Разве вы не видите? Остатки царских вещей распродаются.

Ламповые абажуры, веера, чашки, тарелки, полинявшие ленты, половые щетки, соломенная шляпка и пропасть больших и маленьких пустых футляров с круглыми или овальными углублениями. На некоторых мелькали надписи: «Его Императорскому Величеству Императору...» Где же эти золотые и серебряные блюда?

– Футляр шагреневой кожи! Один рубль!

– Рубль десять!

Несколько человек в заношенных пальто охотились за этими футлярами.

– Ювелиры, большие футляры на маленькие переделывают. Они им «нужны».

– Саксонское блюдо с царским гербом, – продолжал выкрикивать человек, три пятьдесят! Кто больше?

– Четыре! – вдруг крикнула я.

– Четыре пять!

– Четыре с полтиной! – опять крикнула я, решив во что бы то ни стало купить это блюдо.

Оно мне досталось за семь рублей. Я взяла его в руки, и мне почему-то сделалось стыдно.

– Полотенца! – кричал человек, поднимая вверх кипу затертых рушников. Десять копеек! Кто больше?

– Пятнадцать! – крикнула какая-то женщина и получила их.

– Шесть здравниц императора Павла Первого! Пятнадцать рублей! – крикнул человек.

– Шестнадцать! – крикнула я. На зеленом хрустале красовались золотые гербы и вензель Павла Первого.

– Семнадцать! – крикнули рядом.

– Семнадцать! Раз, два, три! – быстрой скороговоркой произнес аукционист так быстро, что никто не успел предложить больше.

Молча вышли мы из дворца. Я привезла саксонское блюдо домой. Я любила смотреть на большие, прекрасно сделанные розы, любила его чистый звон, и вместе с тем всегда было неловко... Зачем я купила его? Оно же было краденое...

Руководители

Долгое время в Ясной Поляне ни на деревне, ни в усадьбе не было ни одного члена коммунистической партии.

С точки зрения коммунистов такое положение вещей было недопустимо.

Я рассказала членам ВЦИКа, как Чернявский своей разлагающей деятельностью разрушал то, что с таким трудом создавалось: дисциплину в школе, уважение к труду... Мы все при поддержке центра направляли наши усилия на создание в Ясной Поляне культурного очага, а группа местных коммунистов, руководимая завистью и злобой, старалась погубить наше дело.

Когда я кончила, секретарь ВЦИКа Киселев попросил всех удалиться. Председатели губисполкома и губоно задержались.

– Прошу всех, всех удалиться, – сказал Киселев, – мы желаем наедине поговорить с Александрой Львовной.

– Вы понимаете, товарищи, – сказала я, – какая клевета была возведена на Ясную Поляну и на меня?

Они промолчали.

– Какое вы хотите удовлетворение? – спросил Пахомов.

– Опровержение в газетах и возможность работать, – сказала я.

– Хорошо.

Случайно или нет, но в Туле переменились власти. Был назначен новый председатель губисполкома, председателя губоно – безграмотного парня сместили, исчез и Чернявский из Тулы, мы никогда больше не слыхали о нем.

Ясная Поляна была спасена потому, что она была Ясной Поляной. А сколько учреждений погибло, сколько было загублено учителей, заведующих школами, научных сотрудников!

– Кто же у вас ведет партийную работу? – спрашивали у меня в центре. – Кто преподает политграмоту?

Я старалась, как могла, отвертеться от этих вопросов, пока, наконец, новый заведующий отделом опытно-показательных учреждений самым настойчивым образом не потребовал, чтобы у нас преподавала политграмоту партийная работница.

Делать было нечего.

Но мне было неприятно. Кем окажется эта коммунистка? Мы знали, что целые учреждения разваливались благодаря командированным из центра коммунистам. Они доносили, ссорили персонал, натравливали учеников на учителей. Да и поселить ее было негде. Все помещения в усадьбе были заняты. А кто знает, согласится ли она жить в крестьянской избе в деревне?

Когда она приехала, я пригласила ее пить кофе. Долго и внушительно я говорила ей о том, что Ясная Поляна находится в исключительных условиях, что сам ВЦИК согласился, что ради уважения к памяти Толстого школа не будет вести ни антирелигиозной, ни милитаристической работы, что я надеюсь – она, несмотря на свою партийность, поймет наше особое положение...

Я начала говорить убежденно, с жаром, но чем больше я говорила, тем большая растерянность отражалась на изъеденном оспой лице коммунистки. С гладко причесанными волосами и добрыми неумными глазами, она кротко улыбалась, обнаруживая гнилые зубы, и молчала. Замолчала и я.

В школе выделили специальные часы для политграмоты.

На предстоящем учительском совещании в порядке дня значился доклад учительницы политграмоты о плане ее работы с учениками во второй ступени.

Но на первое совещание учительница доклада своего не подготовила, не подготовила и ко второму совещанию. В мягкой форме пришлось сделать ей выговор и потребовать, чтобы уж на третьем совещании она непременно сделала свой доклад.

Очень скоро и учителя, и ученики привыкли к коммунистке, никто не боялся ее, называли ее товарищем Мальвиной и даже слегка над ней подшучивали.

На третьем педагогическом совещании, когда дошли опять до вопроса о политграмоте, товарищ Мальвина вдруг склонила голову на стол и, простонав: «Оставьте меня в покое!», – зарыдала.

К счастью, политграмота вскоре после этого слилась с обществоведением, и товарищ Мальвина была назначена заведующей народной библиотекой.

Я называла Мальвину «ручной коммунисткой» и пела ей песенку: «Без РКП я не могу, не могу, не могу! Дня не могу прожить! Дня не могу прожить!» Она не обижалась.

Один раз утром она пришла ко мне и, рыдая, сообщила, что больше состоять в партии не может.

– Почему же? – спросила я, и корыстная мысль промелькнула в голове: «Если Мальвина уйдет из партии, нам пришлют другого коммуниста, и Бог знает, каким он окажется».

– Почему же, товарищ Мальвина?

– Александра Львовна, – сказала она прочувствованным голосом, – я верю вам, как вы скажете, так я и поступлю. Я что-то не могу с ними работать… Они требуют на вас доносов, а что я им буду доносить? Вы знаете, как я к вам отношусь… Да и многое другое… Всего вам не расскажешь… Скажите, что мне делать?

– А можете ли вы искренне, как прежде, служить партии?

– Нет.

– Ну так выходите. Мне это очень невыгодно. Я вам прямо скажу: на вас я смотрела как на своего человека, и я не знаю, кого нам пришлют теперь на ваше место. Но я не могу вас просить оставаться в партии, если вы уже не можете искренно в ней работать.

И Мальвина вышла из партии и совсем слиняла. Постепенно она сходила на все более низкие должности и докатилась до делопроизводителя, но и это делала плохо.

Товарища Мальвину заменили товарищем Александровой – комсомолкой. Она была прислана Москвой как руководительница новых пионеров в школе. Жила она в Телятеньках, в бывшей чертковской усадьбе, и преподавала в первой ступени. Через месяц не было ни одного учителя, который бы над ней не смеялся.

Так же как и товарищ Мальвина, она была ничтожная и глупая. И хотя и окончила учительскую семинарию где-то в Сибири, была совершенно безграмотная. Ничем не интересовалась, кроме вопросов пола.

– Кто же вам больше нравится: инструктор столярной мастерской или бухгалтер Петр Петрович? – смеялись учительницы.

Александрова надувала пухлые губки, зеленые глазки ее вдруг делались влажными, точно маслом смазанные.

– Иван Степанович – настоящий мужчина! Я люблю таких! – с жаром говорила она. – Он такой мускулистый, сильный... Бюстхалтер тоже хорош, такой изящный, нежный...

– Кто? – хохотали учительницы. – Бюстхалтер?

– Ну да, тот, что ведет счета.

– Бухгалтер?! Ха, ха, ха! Товарищ Александрова, вы знаете, что такое бюстхалтер?..

До меня стали доходить слухи: сначала осторожные, затем все более и более настойчивые. Говорили о том, что комсомолку за одну ночь посещало несколько мужчин. Заведующая интернатом потребовала удаления Александровой из Телятеньков. Она считала, что Александрова неприлично ведет себя со взрослыми воспитанниками.

Я поехала в Москву, сообщила заведующему отделом о поведении командированной им в Ясную Поляну комсомолки и требовала ее увольнения. Но дело замяли. И только после того, как сместили заведующего, и на его место был назначен другой, мне удалось избавиться от руководительницы юных пионеров.

Скоро создалось другое осложнение.

– Не знаем, что делать с Катей, – говорили учителя. – Она не ходит в школу, а когда приходит, заниматься не хочет, ничего не делает, грубит.

Я вызывала Катю к себе, жаловались родителям – ничего не помогало. А Катя была лучшей нашей ученицей, способной, умницей.

И, наконец, узнали правду. У Кати должен быть ребенок. Это был первый случай в нашей школе. Мы всегда поражались, какие прекрасные, чисто товарищеские отношения создались между ребятами в школе, ни о каких романах не было и речи, и даже противники совместного обучения должны были изменить свое мнение.

Отцом ребенка оказался секретарь комсомольской ячейки, присланный из Тулы губернским комитетом партии для руководства нашей молодежью.

Секретари комсомольских ячеек менялись один за другим.

Привыкшие к разнузданной жизни в городе, секретари эти всегда вносили элемент распущенности в среду наших учащихся. И так как присылались они в Ясную Поляну губернскими властями, то и борьба с ними была непосильна. Губком стоял за них горой.

В сумерки, тайком от комсомольской ячейки, прибежала ко мне хорошенькая девочка лет семнадцати, Марина Ка расева.

Славная она была девочка, и весь облик ее не подходил к комсомолу. Такая она была аккуратная, изящная, тихая. Грубые шутки, необходимость доносить на начальство и учителей, панибратство – казалось, все претило ей в комсомольской ячейке.

– Марина, почему ты пошла в комсомол? – как-то спросила я ее.

– А в университет-то как же иначе, Александра Львовна? Беспартийных-то ведь не принимают!

Марина была расстроена, с трудом сдерживала слезы.

– Пропала я, Александра Львовна!

– Что такое?! Почему?

– Меня исключили из ячейки!

– За что? Что такое?!

– Товарищ Воробьев, секретарь наш, докопался, что мой отец когда-то в полиции служил...

– Ну так ведь раньше же знали, что твой отец был в полиции.

– Знали и глядели сквозь пальцы, а теперь Воробьев очень на меня рассердился...

– За что?

– Да как вам сказать?.. Приставал он ко мне. Ну, я рассердилась и отшила его как следует...

Марина кончила школу и исчезла. Ходили слухи, что она пыталась получить службу, но ввиду того, что отец когда-то служил в полиции, ее не приняли в профсоюз, и служить она не могла.

Года через полтора я встретила Марину в Туле в лавке. Она была все такая же хорошенькая, но меня больно поразило, что лицо ее было накрашено, от всего ее существа пахло дешевыми и сильными духами.

– Марина!

– Здравствуйте, Александра Львовна!

– Ну, как ты? Работаешь?

Она не ответила мне. Отвернувшись, она горько заплакала.

Теории и методы

И все-таки наша школа «осовечивалась» медленнее, чем другие школы. Отчасти это происходило благодаря декрету. ВЦИК разрешил организацию толстовской коммуны и распространение в какой-то форме толстовских идей. И Ленин сказал: «Советская власть может позволить себе роскошь в СССР иметь Толстовский уголок». И каждому местному коммунисту, щерящему зубы на Ясную Поляну, я неизменно приводила эти слова «всемогущего». Они действовали, особенно в первые годы. В школе долгое время не было ни комсомольской, ни пионерской организаций. И хотя религиозно-нравственных вопросов школа не касалась, влияние учителей на ребят сказывалось. Конечно, приходилось и нам идти на компромиссы, но все же мне казалось, что в основном мы не уступим и удержим школу от советского растления. А я принадлежу к тем неисправимым оптимистам, которые из года в год предсказывают падение большевизма.

Помню, Тульский профессиональный союз прислал нам бумагу с предложением добровольно пожертвовать деньги на военный воздушный флот. Сотрудники школы и музея собрались и постановили: ввиду того, что Толстой был против войны, а мы работаем в Ясной Поляне в его память, мы не можем жертвовать на военные цели.

Это постановление произвело бурю среди тульских партийных кругов. Запрашивали Москву: что делать? Присылали к нам представителя из профессионального союза объясняться, но мы настояли на своем, денег не дали.

Но зато в вопросах непринципиальных мы добросовестно исполняли предписания центра. Это было нелегко. Одно нововведение следовало за другим. Не успеем мы применить один метод, одну теорию, как вводились другие.

Одним из трудных нововведений было самоуправление в школах. Вводилось оно во всех группах, начиная с детских садов, и придавалось ему большое значение. Первым вопросом, при каждом обследовании, каждой ревизии, было: «А самоуправление в школе у вас есть?» Отвечали: «Есть!»

– Ребята, кто у вас в самоуправлении? Кто заведует хозяйственной комиссией? Ты? Ну, в чем же заключается твоя деятельность?

Крошечная старательная девочка, с притянутыми розовым гребешком белесыми волосами, захлебываясь и глотая слюну, говорила, как заученный урок:

– Я слежу за порядком, выдаю тетради, карандаши...

– Ну хорошо! А кто заведует санитарной комиссией?

– Я!

– А у самого руки грязные... Ну, в чем заключается твоя работа?

– Когда ребята приходят в школу, я осматриваю руки, шею, лицо, слежу за чистотой класса, чтобы пыли не было.

Кампанию за гигиену и чистоту с большим успехом начал известный педагог Шацкий в своем городке. И наша школа старалась не только у себя проводить «навыки чистоты», как это принято было называть, но старалась вводить гигиенические условия жизни через школу в семьи учащихся. Другие школы были подражателями Шацкого, и, как всякое подражание, это скоро превратилось во что-то обязательное и нудное, как для учителей, так и для учеников. Да и как было вводить все эти правила чистоты и гигиены при ужасающей бедности и нищете крестьянства?

Один раз, осматривая ребят, комиссия чистоты обнаружила, что у одного мальчика, приходившего в школу за три версты из деревни Бабурино, тело покрыто вшами. Недолго думая, комиссия постановила отправить мальчика домой.

Горько заплакал вшивый мальчик. На дворе было холодно, мело. Учительница сжалилась:

– Ну, оставайся, только завтра вымойся хорошенько и перемени рубаху.

Но мальчику не давали покоя:

– Вшивый, вшивый! – дразнили его. – Отодвинься, а то и на нас переползут. Вшивый черт! Вшивый черт!

На большой перемене мальчик не ел, стоял в углу и плакал. Вмешались учителя. Выяснилось, что семья бабуринского мальчика очень бедная, большая, дети – мал мала меньше, этот самый старший. Изба маленькая, с соломенной крышей, тут же и телята, и овцы. Родители решили дать старшему образование, собрали ему лучшую одежду. Ситцевая розовая рубаха, которая была на нем, была единственная.

Позднее, в 1925–1926 годах в школе образовалась комсомольская ячейка, и самоуправление потеряло всякий смысл. Некоторое время обе организации существовали параллельно, и задачи их сталкивались. Постепенно комсомольцы и пионеры вошли в самоуправление. Ячейка запретила выби-

рать беспартийных. Сначала ребята боролись, умышленно проводя беспартийных, но каждый раз комсомольская ячейка объявляла выбор неправильным и заставляла учащихся голосовать снова. В конце концов ребятам это надоело, и самоуправление фактически перешло в руки комсомола.

Не было устойчивости и в методической работе школы: не успевали учителя привыкнуть к одному методу, как его ломали и вводили другой. Немало слез пролили серые провинциальные учительницы, изо всех сил стараясь воспринять премудрость советских методистов. Сплошь да рядом это были несчастные, запуганные, замученные работой люди. Сельская учительница должна была делать все: вести, иногда одновременно, три группы в школе, участвовать в работе сельсовета, ликвидировать неграмотность среди взрослых, принимать участие в учительских, родительских собраниях, организовывать женотделы, проводить различные кампании, ставить спектакли, выступать с антирелигиозными речами, продавать облигации займов, которые крестьяне не покупали и за которые жестоко ругались... И при этом учительница должна была изучать новые методы, которые через год упразднялись.

Безграмотные, жестокие, опьяненные могуществом хамы держали учителей в рабстве.

Помню, у нас в Ясной Поляне была конференция районного учительства. Я открыла собрание, первым попросил слово секретарь райкома Панов.

– Товарищи! – крикливым голосом привычного советского оратора начал он. Здесь наблюдается весьма печальное явление. В то время как советская власть организует собрания, то есть всякие там конференции для помощи и просвещения нашего, так сказать, учительства, учительство не оценивает, товарищи! Я должен констатировать печальное явление. Одна из наших учительниц, – и он назвал фамилию, – так

сказать, отсутствует. Товарищи! Мы должны в корне пресечь...

– Ребенок у нее умирает, – послышался робкий голос из задних рядов.

– Безразлично, товарищи! Дело это касается, так сказать, советского строительства и для всякого сознательного товарища должно стоять на первом месте. Я предлагаю, товарищи, выразить товарищу учительнице порицание и сделать ей, так сказать, первое предупреждение.

Районное учительство, при горячей поддержке всех яснополянцев, отвергло это предложение, но я не сомневаюсь, что наше заступничество не помешало председателю райисполкома сорвать злобу на несчастной женщине.

Так называемый «комплексный метод» особенно замучил учительство. Напрасно районные инспектора созывали одну конференцию за другой, напрасно делали доклады о комплексном методе, проводили показательные уроки – метод не усваивался. Инструкторша нашего района, полуграмотная тупая партийная девица, была в отчаянии. Она приезжала в Ясную Поляну, присутствовала на уроках, изучала, брала с собой тетради из нашей школы, стараясь как-нибудь освоить этот несчастный комплексный метод.

– Нет, уж пусть лучше ваши учителя делают доклад, – неизменно говорила она на учительских собраниях, – все-таки вы там как-то ближе к центру...

Ну как мог старый учитель, застывший в глухой деревушке, отказаться от преподавания грамоты, письма, арифметики и начать изучать месяц октябрь, где центральным местом был праздник Октября и его значение?

Как «привязать» к октябрю арифметику, например? Учебников «комплексных» еще не было, и учителя должны были сами выдумывать задачи. Например: «У кулака до революции было 5 коров, 12 овец, а у бедняка скотины не было. После Октября у кулака отняли 3 коровы, 7 овец и передали

бедняку. Спрашивается: сколько коров и овец осталось у кулака после октябрьской революции?»

Опытные учителя приспосабливались: комплексный метод проводили для отчетов и инспекторов, а читать, писать и считать учили отдельно. У неопытных дети знали про Октябрь, но были неграмотны.

Иногда доходили до нелепостей. На тульской учительской конференции я невольно подслушала горячий разговор двух учительниц. Они делились друг с другом своими «достижениями».

– Мы «разрабатывали кошку», – сказала одна, – ничего, удачно, я увязала с кошкой решительно все навыки.

– Ну, а арифметику? – спросила другая.

– Очень просто, мы измеряли кошачьи хвосты.

Но не успело учительство усвоить комплексный метод, как на сцене появился метод целых слов.

– Хоть убейте меня, – говорила старая учительница Серафима Николаевна, как это можно? Вдруг, букв не знает, а научи его читать. Воля ваша, не могу, не понимаю!

И когда учителя стали его проводить, мы совершенно неожиданно натолкнулись на возмущение крестьян.

– Никуда не годится школа ваша, – говорил мне телятеньский мужик, обманная она, вот что!

– Что вы хотите сказать? Почему обманная?

– Учителя в ней обманщики. Два месяца Васька мой в школу ходит, читать не умеет.

– Как так не умеет? Неспособный, может быть?

– Не неспособный, учительница хвалит даже. А обманная школа, вот и все. Намедни пришел, поужинал. Я взял книжку, говорю: «Васька, читай!» Читает, без складов читает и бойко. Я и смекнул, в чем дело. Читать не умеет, а прикидывается, слова – выдумывает. А ну-ка, говорю, Васька, какая это буква? Так и есть, молчит, не знает. Ах ты, говорю, сукин сын,

это тебя в школе учат отца обманывать! Снял со стены плетку, спускай штаны, да и надрал задницу как следует: учи буквы! Учи буквы! Отца не обманывай! Вот она, школа-то ваша какая!

И сколько я ни объясняла, не понял телятеньский мужик, что такое метод целых слов.

Одно время московские методисты увлеклись планом Дальтона. Опять посыпались предписания, руководства. Я ездила в Москву в опытно-показательные школы «изучать» дальтон-план. Но мы сразу натолкнулись на серьезное препятствие – недостаток книг и пособий в школе. Не могло быть и речи о лабораторных работах при нищете оборудования наших кабинетов второй ступени.

Нам нужны были микроскопы. Я объездила в Москве все магазины, раз десять бегала в наркомпрос, мне выдавали отношения с печатями и штампами, направляли куда-то. Я достала один подержанный микроскоп на всю школу.

И какое это было событие! Я привезла его во вторую ступень в большую перемену. Ребята окружили, сдавили меня. Сначала рассмотрели листик.

– Вшей нет ли? – спросила я, в глубине души надеясь, что санитарные комиссии давно уже управились с ними в школе. Но вшей сейчас же появилось с десяток.

– Мамушка родимая! – пищали девочки. – Ну и страшна же она, вша-то эта! Лап-то, лап-то сколько! Лохматая!

– Вот, дети, – не преминула использовать случай одна из учительниц, теперь вы понимаете, какую гадость вы на себе разводите, если не соблюдаете чистоту. Не только сами, но и родителям должны внушить, чтобы они мылись и держали помещение в чистоте.

Этим и кончилось. Микроскоп был широко использован, но о дальтон-плане не могло быть и речи.

Лес рубят – щепки летят

– Замнарком принимает?

– Сейчас доложу.

Привычным движением секретарь складывает в папку бумаги на подпись, вдвигает поспешно ящики, захлопывает, быстро и беззвучно распахивает дверь кабинета замнаркома по просвещению и исчезает за дверью.

– Примет, только придется подождать.

Юноша вежливо придвигает мне стул и берется за газету. Но ему не хочется читать газету, ему хочется разговаривать.

– Ну, как у вас там в школе?

– Ничего. Только вот вменяют в обязанность приглашение комсомольца, пионервожатого.

– Гм, да. Взвесить надо. Вам надо парня, чтобы на ять, ну, одним словом, чтобы понимал задачи, сознательного, а то всю работу вашу может сорвать...

– Нет ли у вас кого?

– Трудно, прямо скажу, почти невозможно. Есть ребята здесь, в центральном аппарате, но их мало, да и не отпустят, а дряни этой много, только к вам таких не пошлешь, нет, найти почти невозможно...

– А вы бы, товарищ Павел, не пошли бы?

– Да я бы хотел уехать, только партийцы не отпустят. Я ведь крестьянин, родители живут в деревне, я города не люблю.

Казалось, что он был не ко двору, этот спокойный милый юноша, среди этой суетящейся, задерганной толпы пресмыкающихся перед начальством служащих наркомпроса.

Как-то раз я застала его разговаривающим в коридоре с бедно одетой женщиной с двумя детьми.

– Проходите, проходите в приемную, – сказал он мне, – сейчас приду.

– Эх, этот бюрократизм! – начал он, как только вошел. – Тоже коммунистами себя величают. Доклады, приемы, а люди? Какое им до них дело?.. Если бы вы только знали...

Я молчала, мне страшно было за юношу, и мне хотелось, чтобы он замолчал. Но ему хотелось говорить, излить кому-то свою душу, все наболевшее, что переполняло ее.

– Карьеризм, генеральство, формализм, ничего не видят, да и не хотят видеть, что делается вокруг – беднота, недовольство, – презрение к человеку... – пылали щеки, темнели серые глаза, шуршали бумаги на столе, которые юноша в волнении разбрасывал.

– Что они для народа сделали? Одну буржуазию уничтожили, а народили новую бюрократию.

Я ушам своим не верила. Здесь, в центре наркомпроса – главного источника коммунистической пропаганды, – комсомолец проповедовал такую «ересь», разводил контрреволюцию. Каждую минуту юношу могли арестовать, приговорить к расстрелу. Но, казалось, ему было все равно.

– Что им благополучие и счастье народа? – продолжал юноша. – Везде горе. Видели женщину с двумя детьми? Она уже раз десять здесь была. Вдова с шестью детьми. Один из них идиотик. Она не может идти на работу и оставлять детей одних, а их ни в один детдом не принимают... Иногда думаю: плюну на все, уйду, будь что будет! Может быть, вы...

Но в эту минуту дверь из кабинета замнаркома отворилась, и, почтительно изогнувшись, в приемную проскользнул маленький смуглый человечек с длинными волосами и громадным портфелем под мышкой.

Послышался звонок. Юноша выпрямился, замер и, сильно тряхнув головой, словно отгоняя назойливые мысли, вошел в кабинет. Он почти тотчас же вышел и схватил телефонную трубку.

– Гараж? Товарищу Эпштейну машину! Срочно! Пожалуйста! – он указал мне на дверь кабинета. – Не более семи минут! Замнарком спешит на заседание.

Мне больше не пришлось говорить с юношей. Люди входили, выходили, приносили бумаги из других отделов для подписи. Секретарь был всегда занят. Только один раз мне пришлось с ним быть наедине несколько минут.

– Я хотел бы поговорить с вами, – сказал мне юноша.

– Очень рада, только боюсь, не могу сегодня: я уезжаю в деревню, но я опять приеду через неделю.

Я думала о нем по дороге домой, и мне жалко было, что мне не пришлось с ним поговорить. Мне казалось, по выражению его лица, его грустных глаз, дрожащему голосу, что ему было тяжело и что что-то тяжким бременем лежало на его душе. Но мне не суждено было узнать его тайну.

Десять дней спустя, когда я снова пришла в наркомпрос, дверь в комнату комсомольца-секретаря была закрыта. Слышно было, что в комнате шло движение, точно передвигали мебель, несколько человек стояли в коридоре и рассказывали что-то друг другу взволнованным шепотом. Я постояла в нерешительности несколько секунд и постучала в дверь. Никто не ответил. Я спросила чиновника в соседней комнате, что случилось.

– Комнату чистят. Наведайтесь через часок.

Проходя по коридору, я встретила знакомую девушку.

– Вы знаете, что случилось? – спросила она, видимо, горя желанием поделиться со мной сенсационной новостью.

– Нет, не знаю.

– Товарищ Павел, секретарь Эпштейна, застрелился!

– Что?!!

– Да. Пять минут тому назад. В висок. Нашли его сидящим за столом, голова рукой подперта, а бумага вся залита кровью. Сейчас убирают...

Она продолжала болтать... Но я ее больше не слушала...

Я думала о страдающем, задумчивом юноше с грустными, прямо смотрящими глазами. Эти глаза, казалось мне, просили помощи, сочувствия.

«Зачем, зачем ты это сделал?» – мысленно спрашивала я его, вспоминая его крестьянское чистое лицо, непослушный хохол на голове, сильные крестьянские руки.

– Почему он это сделал? – сказала я громко.

– Никто не знает, – ответила девушка, – коммунисты говорят, что работник он был хороший, но партиец был плохой, несознательный.

* * *

Трудно было просить этому гордому юноше, сыну губернатора. Опускались глаза с длинными черными ресницами, низко склонялась смуглая голова с коротко остриженными волосами.

– Они говорят, что меня исключили за то, что я не объявил, что мой отец был губернатором. А почему я должен был «им» об этом говорить? «Они» меня не спрашивали. Если бы спросили – я бы «им» ответил правду. Я не мог бы солгать, я не стыжусь...

Юноша гордо поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.

– Вы думаете, есть надежда? «Они» допустят меня окончить университет?

Он грассировал – университет – и в продолжение всего разговора говорил о коммунистах не иначе, как «они».

– Профессора дали мне блестящий отзыв, говорят, что я могу со временем принести пользу... Надо доучиться, вы понимаете, я говорю вам это не из хвастовства, ведь мне осталось еще один год, только один год, и я...

Он вдруг сразу осекся, замолчал, кровь прилила к тонкой шее, к лицу, он густо покраснел.

– Вы меня понимаете! Неужели я не буду допущен в университет?

Мне было его жалко. Я бегала от одного заведующего втузами, вузами к другому – ничего не помогало.

Иногда в глазах одного из этих власть имущих я улавливала тень сочувствия, человеческую нотку в голосе, подобие ласковой улыбки на жестком лице, и я спешила воспользоваться моментом.

– Товарищ, пожалуйста, сделайте исключение! Этот юноша, по мнению профессоров, обещает сделаться выдающимся ученым по химии. Пожалуйста, сделайте исключение! Он может со временем принести пользу Советскому Союзу.

– Невозможно, товарищ Толстая. Он сын губернатора, наш классовый враг. И он злостно скрыл от нас свое происхождение. Мы не можем таким людям давать привилегии. Это нечестно по отношению к пролетариату!

Везде ответ был один и тот же. Юноша меня провожал и ждал меня в коридорах, пока я говорила с власть имущими. Он выделялся среди ожидающей толпы своим умением носить свой старенький опрятный, ловко сидящий на нем пиджак и своей красивой, высоко поднятой головой. На него оглядывались, девушки смотрели на него с интересом. Но «они» – коммунисты – косились на него.

– Опять отказ? – спрашивал он меня.

– Да.

– Вы думаете, безнадежно?

– Посмотрим, я хочу еще раз пройти к замнаркому.

– Спасибо. Знаете что? Я еще хожу в университет. Если меня примут, то фактически у меня нет пропусков. Как вы думаете, это хорошо? Да, я забыл вам сказать. Мои родители вам так благодарны.

– Как они?

– Плохо. Отец не ходит; нога его не лучше. Мамá ничего, спасибо! Но вчера она была очень расстроена: продуктовые карточки отняли. Не знаю, как теперь мы будем доставать продовольствие. Вы знаете, как дорого все на базаре, да и достать трудно. Теперь они грозят, что выгонят нас из квартиры. Ах, только бы мне университет окончить, тогда все будет хорошо.

Прошло три недели, пока я добилась замнаркома по просвещению. Юноша несколько раз приходил ко мне узнать, что мне удалось сделать. Он сильно похудел, побледнел, пропала его обычная бодрость.

Да и я чувствовала, что положение безнадежное. Мой разговор с замнаркомом был краткий. Когда я стала излагать ему мою просьбу, он резко меня оборвал:

– Зря тратите время, гражданка. Мы не можем его принять. Неужели вы думаете, что одной рукой мы будем уничтожать наших врагов, а другой будем им предоставлять привилегии: возможность учиться и занимать хорошие места в ущерб товарищам из рабочих и крестьян?

– Но это совершенно исключительный случай. Выдающийся талант. Вы же нуждаетесь в научных работниках...

– Простите, товарищ Толстая! Вы знаете поговорку: «Лес рубят – щепки летят». У нас достаточно талантов среди пролетариата...

Вечером Федя пришел ко мне.

– Мой профессор мне сказал, что если бы Горький согласился просить за меня...

– Федя, – сказала я, делая страшное усилие, чтобы решиться сказать ему правду, – я была у замнаркома сегодня, надежды нет.

Сердце разрывалось на части. Я взглянула на юношу. В глазах его было отчаяние.

– Никакой... надежды?..

– Нет, в настоящее время никакой, я думаю...

– Боже мой... что же мы, я...

Слова застряли в горле. Он не то поперхнулся, не то закашлялся и выбежал из комнаты.

Я ходатай по политическим делам. ГПУ

Когда я приезжала в Москву, телефон звонил с утра до вечера. По ошибке арестовали профессора; земский врач находился под угрозой ссылки; схватили заведующего музеем из аристократов; разгоняли бывший монастырь, превратившийся в трудовую коммуну; ссылали кого-то за сатиру против советской власти; священнику грозили расстрелом за слишком сильное воздействие на паству; собирались снести церковь, где венчался Пушкин...

В памяти был длинный лист всех тех дел, о которых надо было хлопотать в промежутках между своими прямыми обязанностями: найти хоть один или два микроскопа для школы, что было нелегкой задачей, и найти их можно было только у старьевщиков, просить наркомпрос об увеличении ссуды на учебные пособия; просить музейный отдел об увеличении сметы на ремонт крыш в усадьбе; отыскать преподавателей, которых всегда не хватало в Яснополянской школе; присутствовать на конференции; посмотреть работу по дальтон-плану в 14-й школе Моно и прочее и т. п.

Заранее надо было обдумать, в каком учреждении и у кого хлопотать по тому или иному делу.

О сохранении церкви, в которой венчался Пушкин, надо было хлопотать у Смидовича, заместителя Калинина. Он интеллигент и скорее поможет в этом деле. И действительно, Смидович помогал. Выслушивал просьбы спокойно, не перебивая, долго и обстоятельно расспрашивал, думал, мечтательно подняв кверху добрые голубые глаза.

А я смотрела на него и думала: «Как он может? Как он может с ними работать, не понимает? Не видит?»

– Ах, как я устал, – говорил он иногда, – как хотел бы я сейчас в деревню, жаворонков послушать! – И страшная тоска слышалась в голосе.

Я бывала у него часто и каждый раз поражалась, как он быстро дряхлел: покрывалась сединами голова и короткая бородка, появлялось все больше и больше морщин на измученном широком лице.

С некоторыми просьбами я обращалась к добродушному и недалекому грузину Енукидзе – секретарю ВЦИКа. Он всегда добродушно улыбался и редко отказывал, и мне удалось, благодаря ему, многих вытащить из тюрьмы.

Но чаще всего я обращалась к Менжинскому и Калинину.

Один раз я ездила к Менжинскому с Верой Николаевной Фигнер.

Насколько я помню, мы хлопотали за арестованных членов кооперативного издательства «Задруга». «Задругу», как и другие культурные начинания частного характера, разгромили, и бывшие члены ее преследовались. Может быть, их арестовывали в связи с отъездом бывшего председателя «Задруги» историка С. П. Мельгунова, написавшего уже за рубежом книги «Красный террор», «Колчак» и другие.

Никогда не забуду лица Веры Николаевны Фигнер, когда мы с ней входили в кабинет Менжинского. Сколько гордости, достоинства было в ее аристократическом, когда-то, должно быть, очень красивом лице, когда мы получали пропуск в комендатуру ГПУ. Годы одиночного заключения не согнули ее гордую голову.

Нам пришлось подняться на третий этаж. Красноармеец почтительно показывал нам дорогу. В конце длинного коридора открылась дверь, раздвинулись тяжелые портьеры. Менжинский стоял на пороге.

– Очень рад, что имею удовольствие видеть вас у себя!

Вера Николаевна не склонила головы, не ответила.

– Ведь было время, когда мы вместе работали с вами, – продолжал Менжинский, – помните...

– Да, вы тогда писали...

– Да, я был писателем тогда...

– А теперь?.. К сожалению, вы переменили свою деятельность, – продолжала Вера Николаевна, не замечая протянутой руки, – и... мы уж больше с вами не товарищи...

На секунду протянутая рука повисла в воздухе, тень пробежала по лицу чекиста, но он не убрал протянутой руки, а сделал вид, что указывал ею в глубь комнаты.

Бесшумно ступая по густым коврам, мы вошли в комнату.

– Пожалуйста, садитесь!

Возможно, что Менжинский обиделся на обращение с ним В. Н. Фигнер; сотрудники «Задруги» были освобождены гораздо позднее.

Следующую мою просьбу Менжинский исполнил.

Ко мне пришел писатель, я знала его по работе на фронте в Земском Союзе. Он только что приехал из Сибири. Работал у Колчака, потом скрывался в Москве.

– Я хочу легализироваться, – сказал он, – не можете ли вы помочь мне?

Я задумалась.

– А вы согласны рисковать?

– Я думаю, что без этого нельзя.

И вот я опять в кабинете заместителя председателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Он всегда был со мною любезен. Почему? До сего времени мне это непонятно. Я не верю, чтобы у него было уважение к Толстому, и что поэтому он относился ко мне снисходительно, желая себя уверить, что и они уважают культурные ценности России – русских писателей, художников. А может быть, этих, у власти

стоящих людей, могущих каждую минуту раздавить меня, забавляла моя откровенность, граничащая с дерзостью, которой я сама себя тешила, разговаривая с ними.

Помню, как однажды, войдя в кабинет к Менжинскому, я начала свою просьбу словами:

– Долго ли вы будете продолжать заниматься этим грязным делом? Казнить ни в чем не повинных людей? Ведь должен же наступить конец этой бессмысленной жестокости?

Любезная улыбка застыла, и взгляд хитрых маленьких глаз из-под пенсне сделался острым, жестким.

– ГПУ перестанет существовать, как только мы уничтожим контрреволюционные элементы в стране!

На этот раз в моих руках прямая ответственность за жизнь хорошего умного человека, известного писателя, и я должна быть очень осторожна.

– Чем могу служить? Говорите, только не задерживайте. Пришлось работать всю ночь – устал, – бросает он вскользь.

Менжинский не похож на чекиста. Интеллигентский клок волос свисает на лоб, лицо подвижное, скорее красивое, но чем-то напоминает лису.

– Вячеслав Рудольфович, – говорю я, – трудно верить заместителю председателя ГПУ, когда вопрос касается политических, но я пришла к вам сегодня с полным доверием, и я верю, что вы мне ответите тем же.

– Гм... Почему же это нам трудно верить?

Глаза мои встретились с маленькими хитрыми глазками поляка.

– А что если бы я просила вас помиловать человека, участвовавшего в белом движении?

– Многое зависит от того, кто он, где он сейчас, чем занимается!

Жесткие глаза кололи, гипнотизировали.

– Представьте себе, что этот человек далеко, скрывается под чужим именем, но хочет легализироваться...

– Весьма возможно, что мы пойдем ему навстречу... если он надежный, если мы узнаем, что он искренне раскаялся в своей контрреволюционной деятельности. Но ведь для этого я должен знать!

И чем сильнее сверлили острые глаза, стараясь внушить, напугать, тем сильнее росло во мне внутреннее противодействие. Напряжение дошло до крайних пределов.

– Я вам ничего не скажу, даже если бы вы арестовали, пытали меня, пока вы не дадите мне честное слово, что вы этого человека не тронете, если я назову его вам.

– А чем он занимается? Где он сейчас?

Я молчала. Допрос продолжался около часа.

Наконец я встала, собираясь уходить.

– Подождите!

Менжинский с минуту колебался.

– Он активно участвовал, сражался против Красной Армии?

– Нет.

– Извольте, я даю вам слово, что я его не трону.

– Не посадите в тюрьму, не сошлете, не казните?

– Нет.

Я назвала фамилию писателя. Менжинский эту фамилию знал.

– Где он?

– В Москве.

– Скажите ему, чтобы он завтра ко мне явился.

– Хорошо.

Он написал пропуск и подал мне.

Менжинский сдержал слово. Писатель получил бумаги, остался жить в Москве и стал заниматься своей литературной деятельностью.

«Религия – опиум для народа»

Мы все – дети, музейные работники, учителя, крестьяне – жили двойной жизнью годами. Одна жизнь – официальная, в угоду правительству, другая – своя, которая попиралась и которую мы скрывали в глубине своего существа. Даже дети научились фальшивить.

Учитель обществоведения, по долгу своей службы, на собраниях в совете, в школе, на митингах, днем громил религию, кощунствовал, а ночью пел молитвы.

Чтобы забыться, заглушить в себе голос, подсознательно поющий молитвы, учитель все с большим и большим жаром отдается работе и в горячке деятельности сам не замечает того, что он все больше и больше подлаживается и теряет то свое настоящее, что было в нем. Он с подобострастной улыбкой встречает ничтожного комсомольца или члена партии, лебезит перед ним, и в своей угодливости, в безумном страхе перед возможностью преследования, потери должности он все больше и больше становится ничтожеством.

В первой ступени ребятам не хочется петь «Интернационал», и они упрекают учительницу за то, что она заставила их это делать. Во второй ступени, на вопрос заместителя наркома по просвещению Эпштейна, ходят ли они в церковь, ребята разражаются бурным смехом, а вместе с тем я почти уверена, что многие из них ходили в церковь и изводили учителей вопросами о вере, Боге и т. п.

В школе были убежденные атеисты, но были и верующие. Каким-то чутьем ребята угадывали, кто из них верит в Бога, и они нередко ставили учителей в трудные положения.

Помню, однажды, во время одного из своих посещений телятеньской школы первой ступени, я услыхала страшный шум в третьей группе. Я вошла. Среди класса стоял совер-

шенно растерянный учитель, Петр Николаевич Галкин. Ученики же кричали, требовали...

– Александра Львовна, как хорошо, что вы пришли! – сказал учитель. Пожалуйста, скажите им, есть ли Бог или нет.

– Ну конечно, есть, ребята! – сказала я.

– Ну, что мы ему говорили! – загалдели вдруг ребята. – А вот он, – и один из мальчиков указал на пионера с красной повязкой вокруг шеи, – говорит, что Бога нет!

И опять поднялся страшный шум.

– Нам товарищ Ковалев все растолковал! – кричал пионер – Только буржуи верят в Бога, а попы нарочно затемняют народ и потом грабят его.

Я вышла из класса через час.

Ребятам все надо было знать: верю ли я по-православному? как верил мой отец? все ли попы жадные? верю ли я в будущую жизнь?

Учитель был смущен. Он проводил меня по коридору.

– Ничего это, Александра Львовна? Вы так смело говорили?!

– Не знаю.

Да по правде сказать, мне было все равно. Ну, закроют школу, выгонят. Может быть, это и лучше. В ушах звенели возбужденные детские голоса, я видела их горящие, любопытные глазенки, я сознавала, что своим трусливым молчанием мы лишали их самого главного.

– Так куда же заезжал Гоголь, ребята? – спросила учительница литературы у старшей выпускной группы. – Ну, путешествовал он по Европе, а затем, куда же он ездил?

Молчание.

– Он заезжал в Палестину. Вы же знаете Палестину? Чем она знаменита?

Опять молчание.

– Ну, кто же жил в Палестине?

– А кто его знает, святой какой-то, как его...

Имени Христа никто «не знал».

Что толку в том, что у нас не велась антирелигиозная пропаганда. Весь программный материал в школах был начинен материалистической психологией. А как только в беспросветной мгле этой неудобоваримой, затемненной путаницы ребята сами пробивались к свету, мы против собственных убеждений толкали их обратно во тьму.

Что толку было в том, что мне удалось не иметь в нашей школе уголка безбожника со всегдашним непременным атрибутом этих уголков – изображением толстопузого краснорожего попа, Христа в кощунственном виде, антирелигиозных, грубых и мерзких стихов Демьяна Бедного и т. п.?

Губернский и районный комитеты партии обращали сугубое внимание, в отношении антирелигиозной пропаганды, на Ясную Поляну. Ставили кощунственные, осмеивающие религию пьесы и кинематографические фильмы в Народном доме, читали лекции на антирелигиозные темы, вели пропаганду через комсомольскую ячейку.

Сначала комсомольской ячейки не было в самой школе, и наши школьные комсомольцы входили в деревенскую ячейку. Но позднее была организована специальная школьная ячейка, и секретарем ячейки был назначен ученик из старшего класса.

Комсомольцы требовали организации уголка безбожника в школе. Комсомольцы-школьники теперь вели уже пропаганду на деревне. Под Пасху, под Рождество, вообще под большие религиозные праздники комсомольцы-школьники устраивали вечера в Народном доме, посвященные антирелигиозной пропаганде. Крестьяне постарше отплевывались, возмущались бессовестным кощунством молодежи, девки же и молодые ребята рады были всякому зрелищу и посещали Народный дом. Иногда в сочельник молодежь гуртом от-

правлялась в церковь, пела кощунственные песни в ограде под окнами церкви, в то время как внутри шла служба...

И все чаще и чаще в голову закрадывалась мысль: «Хорошо ли я сделала, что организовала школы? Не было ли все это страшной, непоправимой ошибкой?»

Я отводила душу в музее.

В праздники мы пропускали несколько сот посетителей через музей: советские служащие, рабочие, красноармейцы, учащиеся.

Пропускались посетители группами не более двадцати человек. Шума не допускалось. Старик Илья Васильевич вел книгу записей.

– Пожалуйста, товарищи, из уважения к памяти Льва Николаевича снимите головные уборы! – говорил он.

Это сразу же создавало какое-то особое настроение торжественности.

Самые серьезные посетители – рабочие и красноармейцы.

Самые пустые – советские служащие, особенно советские барышни.

Рабочие и красноармейцы знали про Толстого, кое-что читали, всегда задавали серьезные, значительные вопросы. Советские служащие большей частью ничего не читали, и трудно было давать им объяснения: приходилось ограничиваться биографическими сведениями.

Для большинства молодых рабочих было совершенно неизвестно отношение Толстого к рабочему народу. Они не имели понятия о его статьях: «Не могу молчать», «Единое на потребу», «Так что же нам делать?», «К рабочему народу» и других. Громадное впечатление производила на этих посетителей стеклянная глыба – подарок рабочих Мальцевского завода – с трогательной надписью: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих вперед своего века. Раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть

отлучают вас, как хотят и от чего хотят фарисеи, первосвященники. Русские люди будут всегда гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым!»

Помню один серьезный разговор, происшедший между мной и группой красноармейцев, желавших во что бы то ни стало понять религиозные убеждения Толстого. Разговор зашел настолько далеко, что мне пришлось напрячь все свои умственные силы, чтобы дать исчерпывающие ответы.

К сожалению, у меня почти что не сохранилось отцовских религиозно-философских брошюр, достать же их было невозможно. Они не только не издавались, но были запрещены во всех народных библиотеках. Но я все же отыскала у себя несколько книг и дала им.

Помню группу учеников Тульской совпартшколы. До этого посещения, может быть потому, что наш враг Чернявский был с ними связан, я боялась этого учреждения.

С некоторым трепетом я стала показывать музей. Начала, как всегда, с залы, рассказывая им про предков отца, перешла на крепостное право, на отношение к нему отца и с первых же слов почувствовала, что ребята заинтересовались. И, как это иногда бывает, неизвестно почему, между нами вдруг установилось какое-то понимание и дружественная связь.

Я задержалась с ними дольше обыкновенного. Когда мы перешли в гостиную, я указала им на книгу «Мысли Мудрых Людей», лежащую на столе, и объяснила, как отец каждое утро читал изречение на данный день.

– Это было его молитвой... – сказала я и вдруг спохватилась, вспомнив, что для совпартшкольцев молитва есть что-то отвратительное, опиум для народа, как они говорят. Я взглянула на ребят. Но они все слушали серьезно и проникновенно.

– Давайте и мы последуем примеру Льва Николаевича, – сказала я, – и прочтем изречение на сегодняшний день.

Изречение оказалось из Евангелия.

– Кто написал эти прекрасные слова? – спросил меня один из учащихся.

– Это слова Христа, – ответила я.

– Не может быть! – воскликнули ребята. – Христос не мог этого сказать! Да и существовал ли он? Нас учили, что его никогда и не было...

Ни один из двадцати юношей никогда не читал Евангелия! Я принесла им Евангелие, переложенное отцом, я принесла им «Христианское учение», «В чем моя вера» и другие брошюры.

Мы распрощались очень сердечно, юноши ушли. Я стала показывать музей следующей группе.

После обеда мне надо было сходить в школу. Проходя мимо парка, я опять увидела совпартшкольцев. Они лежали в кругу на траве, и один из них громко читал Евангелие.

Но вскоре этим свободным разговорам должен был прийти конец. У меня было все меньше и меньше времени для того, чтобы давать объяснение посетителям музея, а сотрудники, боясь коммунистов, ограничивались чисто внешними объяснениями.

В музейном отделе наркомпроса становилось все меньше и меньше беспартийных интеллигентных работников, коммунисты требовали марксистского освещения Толстого при даче объяснений в толстовских музеях.

Эксплуататоры

– Это невозможно, товарищ!

– Не невозможно, а будет именно так, как я говорю! Что же, вы считаете правильным, чтобы вы занимали комнату, сотрудница – другую, а чтобы рабочий с детьми оставался выкинутым на улице?!

– Но вы же понимаете, что если вы займете мою комнату, и в ней поселятся отец, мать и трое детей, то даже если я смогу ночевать в квартире, заниматься уже нельзя будет.

– То есть как это нельзя будет? Почему же?

– Потому что ученые не смогут заниматься, когда рядом в комнате будут кричать трое ребят!

– Знаете что, товарищ Толстая, вы эти буржуазные замашки бросьте, прошло то время, когда эксплуататоры могли привередничать! Рабочий с семьей не может оставаться на улице, у вас места много, и мы его вселим. И кончен разговор!

И председатель домового комитета круто повернулся и вышел, хлопнув дверью.

Он был коммунистом, этот новый председатель домового комитета. Все боялись его, а он делал, что хотел, выселял из квартир, вселял... В некоторых квартирах ютились уже по три-четыре семьи в четырех комнатах.

Что было делать?

Жить и работать над рукописями при условии, что в крошечную квартирку с маленькой кухней вольется семья в пять человек, было немыслимо.

И я снова летела к Калинину во ВЦИК и, только заручившись охранной грамотой, избавилась от опасности вселения.

Но не успела я расхлебать одну беду, как совершенно неожиданно на меня свалилась новая. И предвидеть, с какой стороны надвигалась опасность, было невозможно.

Служила у нас в правлении уборщицей кроткая, тихая и, казалось, очень приличная девушка Дуня. Попутал ее лукавый, и стащила она у меня последние мои золотые вещи, оставшиеся от матери. Я уличила ее.

Она плакала, извинялась, я охотно простила ее, но попросила уйти. На другой день она отправилась в союз и к вечеру заявила мне, что с квартиры не съедет, а на третий день я

узнала, что она подала на меня в суд за то, что я заставляла ее работать больше восьми часов, что, разумеется, было неправдой.

Я умоляла Дуню взять назад ее заявление в суд, так как она вынуждала меня в свою очередь подать на нее жалобу о воровстве, но, по-видимому, Дуня подпала под чье-то сильное влияние. Она стала дерзка, нахальна и не хотела меня слушать.

И вот у меня в квартире оказался человек, меня обворовавший, на меня же подавший в суд, с которым мне приходилось жить в тесной квартире, пользоваться одной с ней кухней, одной ванной. И не было возможности избавиться от этого человека иным путем, как только подать на нее в суд за воровство.

Прошло несколько недель. Наконец назначен был суд; должно слушаться два дела с уборщицей правления: одно – иск уборщицы за переработку и второе – мое обвинение ее в воровстве.

– Граждане судьи! – с пафосом говорил Дунин адвокат, тип старого адвоката, не сделавшего карьеры и старавшегося теперь хоть не умереть с голоду. Граждане судьи! Кто из вас не читал «Воскресения» Толстого? Кто из вас не знает Катюшу Маслову? Граждане судьи! Перед вами сейчас эта Катюша Маслова. Кто она? Что она? (Тут следовала бесконечно длинная характеристика Дуни.) И вот перед вами обвинительница, бывшая буржуйка, графиня, не унаследовавшая, по-видимому, простоты и мудрости своего великого отца! Она, эта недостойная дочь великого отца, хочет засадить эту несчастную, беззащитную представительницу эксплуатируемого класса...

Дуня рыдала. Я была уверена, что мне придется вековать с Дуней на одной квартире!

У меня адвоката не было. Я говорила сама за себя. И защитительная речь моя была очень короткой.

– Граждане судьи! – сказала я. – Товарищ защитник не учел одного обстоятельства! (Я чувствовала свою подлость, но надо было как-то спасать положение.) – Катюшу Маслову судил суд царский. Подавая же жалобу на Евдокию Дутлову, я знала, что суд советский отнесется к ней милостиво. Я не желаю, чтобы ее наказывали за те вещи, которые она взяла у меня. Я желаю только, чтобы ее выселили из моей квартиры, так как мне неприятно стало с ней жить. Что же касается переработки, то ведь прежде гражданка не жаловалась на переработку, а пожаловалась только после того, как украла у меня вещи...

И суд советский, «справедливый и милостивый», дал ордер о выселении гражданки Дутловой и освободил ее от ответственности за кражу.

Да, трудно было не лгать, живя в советской России, но чтобы спасти работу, иногда даже свою и чужую жизнь, – все мы лгали. И совесть растягивалась, как резина...

Товарищ Сталин

Не только опасность превратиться в обыкновенные советские учреждения, но и опасность разгрома постоянно висела над толстовскими учреждениями.

Толстовский музей, директором которого я была назначена после отъезда Тани за границу, был в лучших условиях, так как находился под защитой центра. Ясная же Поляна была под постоянным наблюдением нескольких десятков местных коммунистов. Как мухи, вились они над усадьбой, стараясь найти слабые места в нашей организации, в которые можно было бы нас ужалить. И хотя я и отмахивалась от них постановлением ВЦИКа и каким-то мифическим договором между ВЦИКом и мною, тем не менее я не переставала ни на минуту ощущать грозящую нам опасность.

Мысль о праздновании столетия со дня рождения отца (1828–1928) явилась у нас главным образом как самозащита. Коль скоро Советы согласятся устроить празднование, пригласить иностранных делегатов и удастся даже и за границей нашуметь этим юбилеем, Советам придется некоторое время считаться с именем Толстого, и, таким образом, нам удастся сохранить толстовские учреждения в неприкосновенности.

Мы подали докладные записки и сметы еще в 1926 году. План был разработан грандиозный:

– Издание Госиздатом совместно с редакционной группой Черткова и Товариществом изучения творений Толстого первого Полного собрания сочинений отца, в 90–93 тома. Сюда должно было войти все пропущенное ранее цензурой: его дневники, письма, неизданные произведения, варианты и прочее.

– Реорганизация Толстовского музея, перевод его в каменное здание, пополнение коллекций и прочее.

– Ремонт зданий в Ясной Поляне, дома-музея, флигеля, бывшего скотного двора, построенного Волконским, восстановление всего дома-музея в прежнем его виде (1910 года). Постройка школы-памятника Толстому, больницы, общежития для учителей и многое другое.

Был назначен специальный юбилейный комитет под председательством Луначарского. В него вошли Чертков, Гусев, представитель от яснополянского крестьянства, председатель тульского губисполкома, профессор М. Цявловский и другие. Комитет должен был продвигать все сметы во ВЦИКе и Совнаркоме, быть главным инициатором всего юбилейного дела. Но на самом деле комитет собрался раза два-три и почти ничего не сделал.

Да и трудно было что-либо сделать. Денег не было. Хозяйство Ясной Поляны, в 1925 году перешедшее от артели в ведение музея-усадьбы, едва-едва себя окупало. С самого

начала существования наркомпрос был всегда самым бедным ведомством. Сметы подавались из года в год, но удовлетворялись лишь в малой части.

Первое крупное ассигнование на школу было сделано в 1925/1926 сметном году. Вместо того чтобы строить школу, я закупила рощу в Калужской губернии и поручила агенту по лесным заготовкам заготовку дров. На следующее лето 1926 года мы вызвали юхонцев[49] из Калужской губернии и приступили к выделке и обжиганию кирпича.

Наркомпрос был поставлен в тупик, когда получил отчеты о заготовке нескольких вагонов леса и выработке кирпича. По всей вероятности, ни одна школа не представляла еще подобных отчетов. Я представила доказательства, что на тульских заводах кирпича купить нельзя было, и цена его была, вместо прежних довоенных 7 рублей, 70–80 рублей тысяча; и наркомпрос объяснениями моими удовлетворился.

Сделали миллион кирпича, вывели стены, и опять не хватило денег. Рабочие руки стоили недорого, но заработная плата рабочих увеличивалась чуть ли не на сорок процентов надбавками: на спецодежду, страхование, союз, банные деньги, культурно-просветительские расходы и прочее.

С рабочими были постоянные неприятности. Партийцы из профсоюза строительных рабочих то и дело наведывались и возбуждали рабочих против заведующего работами: то не выдали спецодежду вовремя, то переработали, то жалованье уплатили не по тому разряду.

Я металась со сметами между Ясной Поляной и Москвой. С одного заседания на другое. То по издательству Полного собрания сочинений, то по Толстовскому музею, то по Товариществу изучения творений Толстого, в Ясной Поляне

[49] Специалисты по выделке кирпичей.

школьные совещания сменялись совещаниями по детским садам, по музею, по организации больницы.

А денег все не было.

Наконец, я решила во что бы то ни стало добиться толку. Надо было увидеть Сталина.

Мне пришлось съездить несколько раз в Москву, прежде чем я добилась аудиенции. Любезный секретарь каждый раз находил какую-нибудь причину, чтобы Сталин меня не принял.

Но я настойчиво добивалась своего.

ЦК партии помещался в большом доме в одном из переулков около Никольской. Внизу у входа меня остановили.

– Простите, товарищ, разрешите осмотреть ваш портфель.

– Пожалуйста.

Под щупающими глазами красноармейца я вошла в подъемную машину.

– К товарищу Сталину? Сюда, пожалуйста!

Маленькая приемная. Кругом три кабинета: Сталина, Кагановича и Смирнова.

Очень любезная немолодая секретарша.

– Немного подождите. Товарищ Сталин занят.

Бесшумно отворяющиеся двери. Посетители направляются большей частью ко второму секретарю – Кагановичу. Чувствуется, что он играет крупную роль, гораздо крупнее, чем третий секретарь – Смирнов.

Я не слыхала, как открылась дверь и вошел секретарь Сталина – молодой, необыкновенно приличного вида человек.

– Пожалуйста!

Громадная длинная комната, и в конце ее одинокий письменный стол. Сидевший за столом человек поднялся и, обойдя стол слева, пошел мне навстречу.

– Садытесь, пожалуйста! – сказал он с кавказским акцентом. – Чем могу служить?

Я сказала ему о предполагаемом юбилее, об общем плане и необходимых средствах для осуществления этого плана.

– Для меня важно решение вопроса, – сказала я, – будем ли мы что-либо делать или нет? Если да, то нужно немедленно провести ассигновки. Если не будем, то так мне и скажите, но я тогда не несу никакой ответственности...

– Сумму, которую юбилейный комитет просит, – не дадим. Но кое-что сделаем. Скажите, какую минимальную сумму нужно, чтобы осуществить ну... самое необходимое.

Как я вспомнила, комитет первоначально запросил около миллиона рублей. Я быстро прикинула, что нам нужно в первую очередь: достроить школу, больницу, общежитие для учителей, ремонтировать такие-то здания, – и сказала ему.

– Хорошо, постараемся.

Для меня было ясно, что ему хотелось, чтобы я скорее ушла. Толстой, толстовские учреждения были ему безразличны. Большевики смотрели на этот юбилей как на средство пропаганды за границей и думали о том, как бы им отделаться от этого подешевле.

По внешности Сталин мне напомнил унтера из бывших гвардейцев или жандармского офицера. Густые, как носили именно такого типа военные, усы, правильные черты лица, узкий лоб, упрямый энергичный подбородок, могучее сложение и совершенно не большевистская любезность.

Когда я уходила, он опять встал и проводил меня до двери.

Выборы

Мужики редко приходили на усадьбу, а коли приходили, то все больше по делу. В школу они тоже не любили ходить. Разве только когда мы ставили спектакли, устраивали концерты.

Разговоры всегда сводились к одному: «Ну как, Александра Львовна, большевики-то скоро кончатся?» Точно про погоду спрашивали: «Как слышно, погода-то скоро установится?»

– Никаких сил уже не стало. Терпеть невозможно! – говорил один. – Вот коллективы эти пошли таперича. В коллектив пойти – неохота, не пойти – все равно житья тебе не будет. Лучшую землю – коллективу, луга – коллективу, лес опять все коллективу... А знаете, кто первый пошел? Самая рвань! Ванька Баран, пьяница, безобразник, Бориска хромой, тоже лодырь, пьяница. Ну Тит Иванов, тот по нужде, никак нельзя ему иначе, а то за кулака сочтут... Но и Тит Иванович уже спохватился, да поздно: дом у него каменный, двухэтажный, как он его на коллективную землю переносить будет? Войну хошь бы Бог послал...

– Не греши, Бог войны не посылает. Все это зло от людей...

– Это хушь правильно, а только мы так думаем... Коли война... оружие-то в наших руках будет. Так неужели ж мы японца там или немца бить пойдем... В Кремль – прямая дорога...

Как-то два крестьянина пришли ко мне.

– Хотим проводить своего председателя в потребиловку.

– Кого же?

– Да Ивана Алексеева. Только трудно. Партийцы своего кандидата выставляют.

– Ну что ж, попробуем. Ивана Алексеева мы поддержим.

Когда я пришла в Народный дом, он был переполнен. Люди толпились у входа, крича и переругиваясь.

– В чем дело? – спросила я, проталкиваясь вперед.

– Да такая буза идет. Обвиняют комсомольскую ячейку, что они колбасу и баранок обещали, кто за партийного ихнего голосовать будет...

Мужики выбрали меня в президиум, и как будто всё успокоилось. Собрание шло гладко, только под конец мужики опять заволновались. Они заметили, что часть наших школьников, комсомольцев, не достигших еще совершеннолетия, также принимали участие в голосовании. Мы начали протестовать, но партийцы и комсомольцы подняли страшный шум, доказывая, что ребята имели право голосовать. Мы не стали спорить, тем более что было очевидно наличие громадного большинства на нашей стороне. Я пробовала убедить учеников не голосовать, но это было бесполезно – они обязаны были выполнять предписания своей ячейки.

Несмотря на это и на то, что часть населения действительно была подкуплена продуктами, – все наши кандидаты прошли. Мужики даже настолько осмелели, что выбрали меня товарищем председателя.

На другой день новое правление собралось в полном составе. Мы уже мечтали о том, как и где мы будем закупать товары, чтобы снабдить население всем необходимым, как вдруг пришла бумага из тульского потребсоюза, в которой было сказано, что ввиду того, что при выборах правления были допущены некоторые неправильности, считать выборы нового правления недействительными и правление переизбрать. Неправильность, допущенная на общем собрании, заключалась в том, что в выборах участвовали несовершеннолетние.

– Ну и сволочь же! – втихомолку ругались мужики. – Ведь сами же, черти, доказывали, что ребята имеют право голосовать, а теперь ишь как перевернули. Это все этот сукин сын мутит – Воробьев... И когда это, Господи, все кончится?!

– Бороться надо, – говорила я, с трудом сдерживая возмущение, – попробуем еще раз провести своего кандидата.

– Нет уж, видно, придется мне свою кандидатуру снять, – говорил Иван Алексеев, – все равно они мне житья не дадут, еще упекут куда-нибудь.

Но мы уговорили Ивана Алексеева и решили еще раз попытаться провести его кандидатуру.

На этот раз собралось гораздо меньше народу. Мне сразу бросилось в глаза, что два первых ряда с левой стороны были заняты незнакомыми девками. Они грызли подсолнухи, плевали на пол шелуху и пересмеивались.

– Чьи это? – спросила я у Ивана Алексеева. – Как будто не наши, не яснополянские...

– Казначеевские. Говорят, товарищ Тимошин, ихний секретарь ячейки, тридцать девок в члены потребиловки записал, чтобы за ихнего партейного голосовали.

С правой стороны передние ряды были заняты незнакомыми людьми, большей частью в кожаных куртках и с портфелями. Были несколько человек из Тульской совпартшколы и местные щекинские власти: председатель райисполкома, секретарь райкома и другие. И хотя они и не были членами нашего кооператива, они принимали участие не только в прениях, но и в голосовании.

– Всех своих партейцев нагнали, – шептали мужики, – с ними бороться нельзя, дело таперича наше пропащее.

Действительно, борьба оказалась совершенно бесполезной. Председателем был выбран командированный из Тулы коммунист.

Я была страшно возмущена и поехала объясняться к секретарю губкома.

«Ведь должна же быть какая-то самая примитивная честность и порядочность у руководителя целой губернии», – думала я.

Я рассказала секретарю губкома про выборы: подкупы крестьян, передержку в голосовании, неправильный подсчет голосов. Он резко перебил меня.

– Ну и что же? Что вы хотите? Ведь в конце концов выбрали коммуниста...

– Да, но выборы были неправильные...

– Ну и что же?! Цель достигнута. Молодец Тимошин! Это только доказывает, что ребята наши работают на ять! А что им пришлось пуститься там на разные хитрости, так без этого нельзя! «Цель оправдывает средства!»

Крестьяне перестали приходить на выборы.

– Чего мы пойдем? Уж двенадцатый год эту комедь ломаем: в советы, в кооператив выбираем. Будет уж... Теперь прислали нового в кепочке, третью неделю, должно, по деревне околачивается, ну и пусть его будет председателем, а чего нам собираться, время зря проводить.

И когда звонили в колокол, собирая народ, на собрание никто не шел.

Наконец, собрали человек двадцать комсомольцев и выбрали товарища в кепочке председателем кредитного товарищества.

Декорум выборов продолжали соблюдать, но свободное выборное начало было убито. Постепенно кооперация выродилась в советское казенное учреждение, выдающее нищенские пайки населению.

Юбилей. 1828–1928

Несколько дней дождь лил, не переставая. Утопая в грязи, рабочие засыпáли ямы, где обжигался кирпич, мостили дороги.

Вешались последние картины и устанавливались экспонаты в новом музее, устроенном во флигеле – бывшей школе Л. Н. Толстого.

Шли репетиции «Власти тьмы» и некоторых пьесок, переделанных из детских рассказов Льва Николаевича. Дети рисовали программы торжества.

Бюст Толстого стоял уже в нише у входа, из которого лестницы с двух сторон вели в главный зал.

За несколько дней до юбилея председатель тульского губисполкома послал за мной. Он хотел знать: как мы будем перевозить гостей со станции? где мы будем угощать гостей? кто будет переводчиком у иностранцев? Последний вопрос разрешился очень просто: в нашем коллективе говорили на восьми языках.

28 августа в 7 часов утра я поехала на станцию встречать гостей.

Лил проливной дождь. Двор маленькой, обычно пустынной станции Ясная Поляна теперь был заставлен машинами, автобусами, присланными из губисполкома. Небольшая группа любопытных, местные партийцы, представители яснополянских крестьян толпились на платформе, ожидая гостей.

Комиссар по народному просвещению товарищ Луначарский, окруженный целой свитой, первый вышел из вагона специального назначения. За ним вышли Книппер-Чехова, артистка Художественного театра, профессора, группа иностранцев, которые резко отличались своей хорошей одеждой, ботинками и перекинутыми через плечо фотографическими аппаратами. Они с любопытством смотрели вокруг, точно ожидая чего-то необычайного. Шныряли репортеры, фотографы, ища знаменитостей.

Официальное заседание, назначенное в это же утро, открыл председатель тульского губисполкома. Говорил он долго, повторялся, заикался на каждой фразе и, наконец, так запутался, что никак не мог закончить свою речь. Лицо его побагровело, покрылось каплями пота, но он никак не мог выбраться из тупика. Наконец он судорожно выхватил из кармана носовой платок, вытер им нос, лоб и шею и, не закончив свою речь, сел.

Простую, сердечную и прочувствованную речь ученика старшей группы Вити Гончарова все выслушали со вниманием.

Да, пожалуй, по своей искренности и чистоте она была лучшей из всех. Речь заведующей учебной частью школы была слишком профессиональная, многие не поняли, что она хотела сказать. Я говорила плохо, не могла сосредоточиться.

Прекрасную речь, перемешивая русские слова со словацкими, произнес словак Вельеминский, который раньше знал и любил моего отца. Заканчивая, он обратился к советскому правительству: мы все, иностранные гости, приехавшие на это торжество, обращаемся к советскому правительству с просьбой разрешить дочери Толстого, Александре Львовне, вести работу в музее и школе Ясной Поляны, следуя заветам отца... Голос у Вельеминского оборвался, глаза покраснели: он не мог больше говорить.

Его горячая и прочувствованная речь меня глубоко тронула и вдохновила. Я должна была ему ответить, должна была высказать то, что было у меня на душе.

– Анатолий Васильевич, – обратилась я к Луначарскому, – я должна ответить!

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать об исключительном положении Ясной Поляны... О декрете...

– Слово предоставляется Александре Львовне Толстой!

«Пан или пропал, – думала я, – или они признают слова Ленина, что Ясную Поляну в память Л. Н. Толстого освобождают от коммунистической, антирелигиозной пропаганды, или же будут проводить, как и всюду, сталинскую политику».

– В то время, когда по всей России проводится милитаризм и антирелигиозная пропаганда, товарищ Ленин... и мы верим, что и в настоящее время советское правительство, которое чтит память Толстого, что мы видим по сегодняшнему торжеству, даст возможность...

Но не успела я окончить, как Луначарский вскочил:

– Мы не боимся, – громко, как привычный оратор, начал он свою речь, – не боимся, что ученики Яснополянской шко-

лы будут воспитываться в толстовском духе, столь противном нашим принципам. Мы глубоко убеждены, что молодежь из этой школы поступит в наши вузы, перемелется по-нашему, по-коммунистическому. Мы вытравим из них весь этот толстовский дух и создадим из них воинствующих партийцев, которые пополнят наши ряды и поддержат наше социалистическое правительство.

Это была обычная пропагандная речь, и последствия ее не сулили нам ничего доброго.

Луначарский с самодовольным видом человека, исполнившего долг, прошествовал вниз в сопровождении толпы. Гости образовали полукруг с двух сторон лестницы против ниши, в которой стоял бюст Толстого, завешенный белым полотном. Ждали торжественного момента официального открытия школы.

– Сегодня, в день столетнего юбилея Льва Николаевича Толстого, мы собрались здесь...

Я не верила своим ушам. В первой своей речи говорил Луначарский – узкий, подчиненный своей партии марксист. Здесь, у памятника Толстого, говорил живой человек. Он говорил о величии Толстого, о его понимании и любви к людям, о том, какое сильное влияние Толстой имел на него, на Луначарского, когда он был юношей. Это была прекрасная, вдохновенная, искренняя и прочувствованная речь. Несколько раз звучный голос Луначарского прерывался от волнения. И когда он кончил, он сильным театральным жестом отдернул полотно с бюста Толстого. Церемония была закончена.

Иностранцы устали и проголодались: несколько часов они слушали непонятные им русские речи.

Ко мне подошел Стефан Цвейг и сказал:

– Вы не знаете, какое влияние имел на меня ваш отец! Я всегда боготворил его!

Шведский делегат сказал мне несколько любезных слов на прекрасном английском языке. Вельеминский вспоминал свое первое посещение Ясной Поляны и свой разговор с отцом.

У одного из иностранных гостей пропал фотографический аппарат, и кто-то высказал предположение, что он был украден одним из корреспондентов.

После завтрака нам надо было показать гостям дом-музей, свести их на могилу отца, давать объяснения на нескольких языках. Было пасмурно, но дождя уже не было, когда мы отправились на могилу. Подойдя к ограде, все молча сняли шляпы. Кто-то нарушил молчание.

– Почему нет памятника, даже нет цветов?

– Эти дубы лучший памятник, а цветы не цветут, мы пробовали, слишком много тени.

Вельеминский и некоторые гости опустились на колени. Профессор Сакулин произнес короткую речь, и мы пошли обратно.

Учителя и сотрудники музея приглашали гостей к себе домой отдохнуть.

– Посмотрите, как мы живем.

Но они отказались. Только несколько человек заколебались: «А где Луначарский?» – и, покосившись на группу коммунистов, тоже отказались: «Нет, спасибо, может быть, Луначарский будет недоволен, если мы отколемся от группы».

Мы не могли понять, чего боятся иностранные гости, – ведь они же свободные граждане, не то что мы...

Вечернее представление имело громадный успех. Хор детей-школьников – около 250 человек – пропел, как мы это назвали, «Прославление природы» из Девятой симфонии Бетховена. Пели из опер Римского-Корсакова, Чайковского. Витя прекрасно прочел «Воспоминания крестьян о Л. Н. Толстом», которые он сам собрал среди крестьян Ясной

Поляны и изложил в литературной форме. Высокий красивый 16-летний юноша произвел прекрасное впечатление на публику. И когда в смешных местах публика громко смеялась, он, вороша свои темные курчавые волосы, останавливался и выжидал.

Но успех последнего номера программы превзошел все ожидания. Не успел открыться занавес, как раздались дружные аплодисменты. Картина действительно была красочная. На сцене около 20 яснополянских баб стояли полукругом, разодетые в старинные русские наряды: белые расшитые рубахи, яркие желтые, красные с разводами сарафаны и паневы, отделанные золотым позументом. Наряды эти не носились бабами годами, а хранились на дне их сундуков вместе с другим добром.

Были приглашены лучшие запевалы и плясуны из яснополянской деревни. Бабы встали в круг, взялись за руки и запели хороводную. А старик Спиридоныч в ярко-красной рубахе и новых, густо смазанных дегтем сапогах и широких плисовых шароварах и бабка Авдотья изображали посреди хоровода все, о чем пелась песня.

Грустные старинные песни сменялись плясовыми и свадебными. Под конец хор спел старинную плясовую «Не будите меня, молодую, рано, рано поутру...» Плавно, словно играючи, держа платочек высоко над головой, выплыла из заднего ряда молодая девушка, Паша Воробьева, а за ней выскочил пулей брат ее, Васька Воробьев, в белой расшитой рубахе и новых лаковых сапогах.

Васька вертелся, как бес, вокруг сестры, то выбивая чечетку, то идя вприсядку, прыгал, кружился... Весь зал встал и разразился аплодисментами.

– Браво, браво! – кричали в публике. – Брава! – кричали бабы и тоже в полном азарте хлопали в ладоши. Но больше всех выражали свой восторг иностранные гости...

А тем временем, как я узнала уже на другой день, внизу, в канцелярии школы, корреспонденты-большевики сообщали по телефону в Москву сведения о праздновании юбилея. О самой школе и речах при открытии школы, о посетивших Ясную Поляну иностранных гостях, об успехе программы ничего не было сказано в газетах. «Правда» только нападала на правительство: как можно было допустить, что полуголодных детей заставляли петь псалмы.

Полуграмотные необразованные газетчики, не имеющие никакого понятия о классической музыке, приняли симфонию Бетховена за церковное пение.

По России

Картошка, свинки и Кавказ

Чего только мы не придумывали в те времена! Я всегда любила возиться с землей: сажать цветы, овощи, деревья. А тут попалась мне брошюра: посадка картофеля огородным способом. Надо было вырыть ямки фута полтора глубины и ширины, удобрить дно ямки навозом, смешанным с землей и древесной золой, посадить картошку и засыпать ее землей. Каждый раз, как картошка даст побеги, опять засыпать ее землей – до тех пор, пока над уровнем земли образуется нечто вроде муравьиной кучи. Когда последние ростки образуют плети и начнут засыхать – тогда надо было выкапывать картошку.

Мы производили этот опыт со стариком Ильей Васильевичем, но не особенно верили, что он удастся. Но опыт превзошел все наши ожидания. Оказалось, что каждый раз, как мы засыпали побеги землей, образовывалась гроздь картофеля. Со ста ямок я получила два воза картошки, столько же собрал Илья Васильевич. Целую зиму он мог кормить свою

семью этой картошкой, да еще осталось немного и на продажу.

А продуктов на рынке было мало, трудно было что-либо достать. Мы не могли нарадоваться на нашу удачу.

Но чудесная сказка на этом не кончилась. Мне удалось купить поросенка. Я выкормила его своей картошкой. И когда моя маленькая свинка выросла в громадную свинью, она опоросила 12 поросят. Когда я продала все свое свиное хозяйство, я оказалась богатым человеком и решила на эти деньги путешествовать. Примкнула к экскурсии и уехала на Кавказ.

Меня тянуло поездить по России, может быть потому, что я чувствовала, что скоро покину ее – навсегда.

Оторваться от вечных ежедневных хлопот, неприятностей, ответственности, а главное, оторваться от советской действительности, попасть в иной мир, куда не проникла еще большевистская отрава, – было великим счастьем! Снова увидеть и почувствовать величие и красоту Кавказа, подниматься по горным, безлюдным, вьющимся над пропастями тропинкам, выше, выше по ледниковым, снежным полям, переходить по сваленным деревьям через бешено несущиеся горные речки – было великим счастьем! Видеть беспрестанно сменяющиеся оттенки гор, то сияющие яркой белизной вечного снега, то покрытые яркой зеленью сосновых деревьев, то прячущиеся за кружевами прозрачных облаков, чувствовать могущество Творца в красоте и величии гор – было великим счастьем!

Нас повезли сначала по Военно-Грузинской дороге, мы поднимались до ледников Казбека. Из Теберды, искупавшись в ледниковом озере, мы пошли через перевал по полуразрушенной Военно-Сухумской дороге в г. Сухум.

Ночевали на воздухе, на земле, жгли костры, чтобы не замерзнуть, питались скудно, но на душе было легко. Все тяжелое, что давило душу, – осталось там, где-то далеко. Не

хотелось думать о том, что будет завтра, а только наслаждаться сегодняшним днем и дышать этим чистым, прозрачным воздухом. Смех, болтовня экскурсантов нарушали гармонию, но я шла, отделившись от них. После перевала – буковые, чистые, вековые леса, затем стали попадаться жилища, сады. Когда на горизонте показалась яркая полоса моря – мы невольно прибавили шагу, потянуло к теплу, к морю, к пальмам.

Мои друзья Смецкие жили в нескольких верстах от Сухума. Я остановилась у них. До революции Смецкий был очень богатым человеком и был известен всему побережью своей добротой и благотворительной деятельностью. Он построил три санатория в горной местности для туберкулезных и пожертвовал их городу. Но главным интересом его жизни был его ботанический сад – один из лучших на всем побережье. Он разводил его много лет, выписывал всевозможные растения и деревья из Африки, Южной Америки, Австралии и других стран. Все имущество Смецкого было реквизировано. Его апельсиновые сады погибли без ухода. Вместо цветущих деревьев стояли оголенные, с сухими ветвями деревья. Но парк еще сохранялся с множеством пород пальм, кактусов, акаций и других тропических растений.

После революции стариков выгнали из большого дома, построенного ими на горе, с видом на море и на сад и поселили их в доме бывшего сторожа. Чтобы не умереть с голоду, старушка Смецкая пекла миндальные пирожные и носила их продавать за 4 версты в Сухум. Я не слышала, чтобы старички жаловались на свою судьбу. Худая, жилистая старушка с гладко причесанными волосами, правильными чертами лица; видно было, что в молодости она была очень красива. Целый день она работала по хозяйству, готовила, убирала свой домик. А старичок Смецкий был счастлив тем, что он мог жить среди любимых им растений. Казалось, ему было безразлично, что на нем был выцветший, много раз стиранный

пиджак, болтавшийся на нем, как на вешалке, что он жил, скудно питаясь, в тесной сторожке. Щечки его розовели и глаза сияли счастьем, когда его просили дать объяснения и показать его необыкновенные тропические деревья.

А в большом, утопающем в цветах и вьющихся розах доме Смецких жили великие вожди революции. Здесь проводил свой отпуск товарищ Троцкий и многие другие.

Иногда ночью, спугнув стаю шакалов с темной тропинки, обсаженной акациями, я, стараясь не шуметь, прокрадывалась в темноте до главного дома и нарезала большой букет чудесных душистых роз для старичков Смецких.

Кавказ. На Афоне

В начале революции монастырь в Новом Афоне не успели еще совсем разорить. Монастырь жил старыми традициями. Потихоньку происходили церковные службы, приходили паломники. Их принимали как гостей и бесплатно делили с ними скудную трапезу.

Монахи все еще работали в лесу, куда вела построенная ими самими зубчатка, по которой спускались дрова вниз, в монастырь. Они работали и в апельсиновых садах, в огородах, сетями ловили рыбу в море. Я редко видела такую красоту и благоустройство, как на Афоне. Сколько труда, уменья, сил и любви было положено, чтобы создать, построить такие церкви, громадные вспомогательные корпуса, где были монашеские кельи, мастерские, гостиница для паломников. Монахи разговаривали неохотно. В их сдержанных ответах чувствовался страх, опасение, внутреннее беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне. И не-даром.

Через несколько месяцев после моего посещения я узнала, что большевики их разгромили. Новый Афон был разорен, погибли сады; вместо благоустройства и порядка – мерзость запустения. Монахов выгнали. И они ушли

подальше от людей в горы, в дикую природу на Псху, где они были совершенно оторваны от цивилизованного мира и куда проникнуть из-за вечных снегов нельзя было почти целый год.

Крым. «Мерли, как мухи»

Я много раз бывала в Крыму, но я никогда не забуду впечатления, которое на меня произвел один из самых старинных и прекрасных городов на Крымском полуострове.

Мы с подругой приехали в Бахчисарай ночью. Нам указали гостиницу, которая считалась самой лучшей.

Грязь, вонь, всюду пыль, сор, комната не подметена, на умывальниках слой сальной грязи.

– Нет ли у вас комнаты почище? – спрашиваем хозяина.

– О чистоте не беспокой! – успокаивает он нас. – Чисто, очень чисто!

– А клопы есть?

– Что вы, что вы! Клопы. Пожалуйста, прошу я вас, о чистоте не беспокой!

Легли, не раздеваясь. Но спать было немыслимо. Кровати, стены кишели клопами.

Вокруг Бахчисарайского дворца фонтаны, во дворе та же мерзость запустения, грязь. «О чистоте не беспокой!»

Худой оборванный татарин бродил по двору. Он не ответил на мой вопрос. Исхудавшее скуластое лицо его было неприветливо, он злобно посмотрел на нас и отвернулся.

Мы, люди, живущие на своей родине, не знали, что происходило по всей России, до нас доходили смутные, непроверенные слухи.

Мы смутно слышали о голоде в Крыму. Но голодали люди везде, кроме самих партийцев, и мы не придавали значения этому слуху.

Мы поехали в Ялту на лошадях. Нас поразили печальные, согбенные, плохо одетые люди, встречавшиеся по пути. Шос-

се шло мимо громадного кладбища. Когда же оно кончится? Проехали версту, две, пять, десять верст... Могилы, могилы, бесконечные могилы.

Сколько их здесь? Тысячи? Десятки тысяч?

– Мерли от голода, – повернувшись к нам, сказал возница, – нечего было есть, травой, как скотина, питались, дети пухли, синели и умирали от голода! Тысячами мерли, как мухи!

Север

Зимой 1928 года я снова присоединилась к экскурсии, которая направлялась на далекий север – Мурманск, Александровск, Кандалакшу. Я уже получала больше жалованья и имела возможность скопить достаточно денег, чтобы оплатить экскурсию, тем более что экскурсии устраивались для служащих наркомпроса очень дешево. Наша группа состояла из школьных и музейных работников.

Мы провели 4 дня в Мурманске, единственном городе в России, где не было ни одной церкви.

Ночевали в школе. Нам отвели одну комнату, где мы все – и мужчины, и женщины, – не раздеваясь, спали 4 ночи на полу.

Первая наша поездка из Мурманска была в лопарскую деревню. Мы наняли трое санок, каждые санки были запряжены парой оленей. На передних санках оленями правил лопарь, остальные санки привязаны к передним.

Глубокий снег, едва протоptенная узкая дорога, какие-то жалкие, низенькие деревья по дороге, ни людей, ни домов. А деревня, куда мы приехали, – всего несколько домов – холодных. Женщины и дети все сидели в доме в малицах[50], унтах. Они производили жалкое впечатление нищеты, дикости.

[50] Меховая расшитая одежда.

Когда ехали назад, сумерки перешли в полную тьму. Лопарь наш напился, гнал оленей из всех сил. Когда мы покатились под гору, лопарь не тормозил; передки саней били оленей по ногам, и они неслись, как бешеные.

Удержаться на скользкой поверхности санок было невозможно, и мы все, один за другим, вывалились в глубокий снег. Мы барахтались в снегу и старались из него вылезти, а олени, домчавшись до подножия горы, останавливались. Лопарь, увидав, что в санях никого нет, пошел нас искать.

– А, вот они! – воскликнул он радостно. – Как бутылки валяются. Вставайте, чего валяетесь?! – И он стал нас считать: – Один, два, три... Сколько вас было? Шесть?!

Поехали дальше. Теперь лопарь то и дело останавливался.

– Что случилось?

– Один, два, три, четыре... – И, пересчитав всех, опять гнал оленей.

Он боялся потерять кого-нибудь, так как с каждого из нас он должен был получить по шесть рублей.

В воскресенье мы бродили по базару. Я люблю базары. На базарах вы всегда чувствуете характер населения, видите людей, их одежду, изделия.

– Кто это? – спросили мы местного учителя. На базар въехала молодая стройная женщина, румяная, с чуть приплюснутым носом и узкими карими глазами.

Она ехала стоя, управляя парой белых оленей, запряженных в санки, покрытые белыми оленьими шкурами. Она была в белой, с цветными узорами на подоле, малице и в белых унтах. Мы загляделись на нее.

– Кто это?

– Это Ульяна, – ответил учитель, – вдова. Ее все знают. Всю мужскую работу делает, да и по правде сказать, ни один мужчина не может так оленями управлять, как она.

Ульяна лихо подкатила к лавке со шкурами и, не глядя ни на кого, стала что-то доставать из саней.

– А умница она какая! – продолжал учитель. – В прошлом году у всех лопарей Советы оленей забирали. Так что ж она сделала? Спрятала в лес своих оленей, да так, что найти невозможно. Да и сейчас никто не знает, сколько у нее голов. Молодчина! Огонь баба!

Мне очень хотелось ее снять, но было слишком темно.

Купить на базаре ничего не удалось. В единственной лавке, где продавались меха, нам сказали, что все, что у них было, забрали Советы – за границу посылают.

Учитель нам рассказал, что в прошлом году Советы реквизировали и зарезали тысячу оленей. Резали оленей в период линьки, и почти все шкуры пришлось выбросить. После этого лопари стали прятать оленей, оставшихся от реквизиции, в леса и болота.

Из Мурманска нам разрешили за небольшую плату сесть на ледокол, шедший на выручку затертого во льду баркаса, который направлялся в город Александровск. С треском, подрагивая от напряжения, ледокол пробивал себе дорогу к застрявшему баркасу и, освободив его от льда, пошел дальше к Александровску.

– Что это? – спросили мы матросов.

Темная, громадная куча чего-то? Дом? Судно? В полутьме никак нельзя было различить, что это такое. И только подойдя совсем близко, мы увидели громадное чудище. Это был мертвый кит. Я никогда не представляла себе животного такого размера! Мне казалось, что он был больше нашего ледокола!

– А вот и город Александровск! – сказал кто-то из матросов.

– Где же он?!

Темные, облепленные ракушками, мрачные скалы у замерзших берегов Ледовитого океана, небольшой домик на берегу, несколько полуразрушенных необитаемых домов, и во всем городе один житель – ученый, заведующий биологической станцией.

Мы поговорили с ним, но он неохотно и резко отвечал на наши, как ему, вероятно, казалось, наивные вопросы: как он может жить здесь совсем один в этой полутьме? около этих мрачных скал? рядом с таким холодным бездушным океаном?

– «Бездушным»? – ученый презрительно фыркнул. – Да этот океан кишит жизнью! – сказал он с презрительной улыбкой. – Тюлени, моржи, киты...

По-видимому, он свыкся с этой жизнью и был счастлив. Здесь он был вдали от жестокой действительности, вдали от лжи, фальши и злобы людской.

Возвращаясь обратно в Петербург, что заняло четверо суток, мы остановились в Кандалакше на берегу Белого моря.

До революции Кандалакша снабжала Россию соленой рыбой: семгой, селедкой, сардинами. Но от многочисленных заводов, которые здесь ранее работали, остался лишь один.

– В прошлом году был громадный улов, – рассказывал нам местный житель, мы не знали, что делать со всей этой рыбой, и около восьмисот тысяч пудов сельдей испортились, и их пришлось выбросить.

– Но почему же?

И невольно мысли мои перенеслись в Москву, где по 8–10 часов стояли люди в хвостах, надеясь получить какие-нибудь продукты.

– Почему? Очень просто! Кадушек не было, не в чем было солить. И о чем эти товарищи там в Москве думают? Только бы...

Он хотел что-то еще сказать, но махнул рукой и замолчал.

Недалеко от Кандалакши наш поезд остановился. Мимо станции красноармейцы гнали группу оборванных, замерзших людей. Люди хотели остановиться, что-то сказать нам, но охранники грубо закричали на них. Страшно было смотреть на эти распухшие, посиневшие от холода лица, на выражение глубокого страдания на них. Люди с трудом передвигали ноги, обутые в разбухшие, стоптанные валенки или порыжевшие сапоги.

Позади, едва передвигая ноги, шел высокий худой священник с длинными волосами и в каком-то странном одеянии, не то рясе, не то длинном пальто. Казалось, что он вот-вот упадет. Больно сжалось сердце. Стало неловко, стыдно за свое благополучие, сытость, за свою относительную свободу.

– Марш, марш! – опять заорал красноармеец. – Не задерживайся! А вы чего глазеете? – повернулся он к нам. – Аль таких орлов не видали? – И он грубо захохотал.

«Боже! Боже! За что? И кто они? Профессора, инженеры, ученые, бывшие буржуи?»

«Один живу, с Богом»

Летом 1929 года я отправилась в Ярославль и оттуда на пароходе вниз по Волге до Астрахани.

В Ярославле мне хотелось посмотреть старинные церкви и монастырь, построенный в XIII веке.

– Какой монастырь? – спросила женщина, которую я просила указать мне дорогу. – Опоздали, голубушка, разрушили монастырь, нет его больше!

– Что вам здесь надо? Чего вы здесь не видали? – грубо спросил меня мужчина, собиравший в кучи ломаный кирпич.

– Думала монастырь посмотреть...

– Монастырь? – И мужчина презрительно захохотал. – Монастырь... Вот ваш монастырь, – и он указал на кучу мусора

посреди двора, – вот тут дом был, в этом доме фабрику валенок хотели устроить, да и это не сумели. Теперь на кирпич сломали... А какой монастырь был! Живо жалко!

Он безнадежно махнул рукой и отвернулся.

Садимся на пароход.

– Дайте я понесу вам вещи ваши...

– Что вы, батюшка, как это можно, да и тяжелые они!

Этот старенький священник садился на тот же пароход, шедший вниз по Волге. Пожилая женщина, покрытая черным платочком, несла его вещи.

Пароход отчалил, а мы стояли на палубе и смотрели, как постепенно удалялся Ярославль. Пыль, грязь, разрушения уже не видны – перед нами расстилалась Волга во всем своем спокойном величии; и издалека Ярославль казался прекрасным.

– Я домой из Москвы еду, – сказал священник и глубоко вздохнул. Иверская-то, а? Иверская... разрушили!

– Да, я видела, – сказала я.

– Как, видели, как разрушали?

– Нет, но я была в Москве накануне того дня, когда ее разрушили. Я видела ее вечером. А на следующее утро, когда я проезжала в трамвае через Воскресенскую площадь, – Иверской уже не было!

– А что же люди?

– Что люди? Молчали. Я раскрыла было рот, но одумалась и тоже смолчала. Боялись говорить, только друг на друга посмотрели, и тяжелый общий вздох пронесся по вагону.

– И подумать только, такую святыню – Иверскую часовню...

Старик понурил голову и замолчал. Волга постепенно расширялась. Уже смутно виднелись берега.

– Заезжайте ко мне, рад буду! – сказал священник.

– А с кем вы, батюшка, живете?

– Один живу. Один, с Богом.

– А кто же о вас заботится?

– Друзья, они обо мне заботятся. Крестьяне нашей деревни. Они мне приносят всё, больше, чем нужно. Ах, какие это прекрасные люди! Вы увидите их, они придут меня встречать.

Солнце стало заходить. Огненный шар постепенно утопал, отражаясь в водах красавицы Волги. Я стояла на палубе, не в силах оторваться от волшебного зрелища, и не заметила, как пароход стал плеваться и бурлить, подходя к пристани.

Священник и молчаливая женщина уже стояли с вещами, готовясь сойти на берег.

– Видите, вон там живу, вон моя церковь.

Вдали, вправо от нас, я увидела белую церковь с золотым куполом. И в ту же минуту я обратила внимание на большую лодку, наполненную людьми, подходившую к пристани. Мужчины поснимали шапки, махали ими в воздухе, женщины махали платочками. Священник снял свою старенькую, с широкими полями, порыжевшую шляпу и тоже махал ею. Он счастливо и радостно улыбался.

Люди оживленно говорили между собой и пытались что-то сказать священнику, лица их сияли радостью. Мы простились со священником, лодка отчалила. Вдруг я почувствовала пустоту, точно я потеряла кого-то очень дорогого. А в ушах все звучали слова: «Один живу, один, с Богом».

Странно, почему глаза мои наполнились слезами?

Машка

Постепенно партия вербовала работников, и у меня появилось новое начальство – Машка Жарова.

Она была неплохая, эта Машка. Пошла в партию, потому что ее уговорили, задарили партийцы и потому, что она была глупая. Ни один порядочный крестьянин или крестьянка в

деревне Ясная Поляна, где население было свыше 800 душ, – не шли в партию.

Машка была совершенно безграмотная. Партийная ячейка решила ее образовывать, и ее послали в Тулу на обучение. Она приказывала запрягать моего любимого гнедого жеребца Османа для поездки в Тулу. С ужасом и болью в сердце я смотрела, как Машка немилосердно его гоняла. Один раз, когда я на маленькой, неказистой лошаденке тащилась в Тулу, я встретила Машку. Она возвращалась из города.

– Маша, куда ты?

– Домой! Больше не могу. Сидишь, сидишь, буквы эти перед глазами пестрят, не пойму ничего. Вот уж третьи сутки голова от их трещит! Провались они пропадом со своей учебой! А ребята в школе такие охальники, лезут, за все места тебя хватают! А ну их к лешему. Подписывать свою хвамилию научилась, и хватит с меня, больше не поеду!

У меня жила и готовила мне моя кума, бабка Авдотья. Хорошая была старуха, но только когда котлеты делала, слюной их скрепляла, чтобы глаже были. Но я держала ее потому, что она чудесно пела. Вечерком после работы мы сидели с ней за самоваром, и она меня учила самым старинным яснополянским песням. Авдотья восхищалась Машкой:

– Разве ты противу нее годишься! – говорила она мне. – В чем ты ходишь, страмота! А ты посмотри на Машку: все на ней новенькое, разодета как барышня, и духами-то от ей пахнет и усем!

Машка хорошо ко мне относилась и даже покровительствовала мне.

– Александра Львовна, потребиловка ситец получила, – говорила она, желаешь? Могу достать, сколько тебе надо!

Как-то раз она пришла ко мне. Я писала что-то за письменным столом.

– Работаешь? – спросила она меня.

– Работаю. А ты что – гуляешь?

– Ну да, гуляю, сегодня праздник большой!

– Не слыхала. Какой же это праздник?

– А я, по совести, сама не пойму. Говорили нам ребята в ячейке, каких-то в Америке Сакку и Ванценту убили, вот мы и празднуем.

Показательный суд

Преследование культурных работников, пресечение инициативы в школах, стремление задушить проблеск талантов в учениках, стремящихся к живому творчеству, забивая их умы скучной, бездушной марксистской пропагандой, – все это удручающе действовало на коллектив, лишало лучших работников всякого интереса к их деятельности.

Среди крестьян наблюдалось такое же подавленное настроение. Насильственное переселение крестьян в колхозы, преследование и ссылка лучших трезвых и работящих людей, так называемых кулаков, в Сибирь вызвали в деревнях пассивное сопротивление, – крестьяне уменьшили площади своих посевов.

В Ясной Поляне кулаков не было. Только один крестьянин подходил под название кулака. Это был Тит Иванович Пелагеюшкин, бывший управляющий богатыми имениями, владелец единственного в деревне двухэтажного кирпичного дома. Тит Иванович изменил фамилию, назвался Полиным и перекрасился в красные. Старший сын служил в ГПУ, остальные ребята были комсомольцы или сочувствующие.

Тит Иванович был в почете у коммунистов, крестьяне же его не любили и не слушались его уговоров увеличить посевы ржи и посадку картошки.

– Чего мы будем зря спины гнуть? – говорили они. – Посеем, а большевики все равно отберут.

Большинство крестьян отказывалось идти в колхозы, резало скотину.

Правительство принимало всевозможные меры, чтобы заставить крестьян поднять урожаи: выдавало семена, посылало партийных работников агитировать ничто не помогало.

Продукты постепенно исчезали. Еще выдавали по карточкам полусырой, тяжелый, с мякиной черный хлеб, но сахар, крупу, муку и другие продукты можно было иногда за большие деньги достать только на черном рынке.

Рабочие и люди, получавшие небольшое жалованье – учителя, врачи, – жили впроголодь.

Полки в потребиловке и ее склад пустовали. Можно было купить уксус, сухую горчицу, дешевые духи – но этими товарами никто не интересовался.

Громадным событием в деревне был привоз мадепалама или затхлой крупы в потребиловку.

Люди становились в хвост очереди уже с вечера. Они стояли всю ночь, иногда на морозе или под дождем, до утра. Когда, наконец, доходила до них очередь товар был распродан, и большинство уходило ни с чем.

На черном рынке обычно продавался товар, предназначенный к отправке за границу, но почему-либо забракованный – негодный, сырой, крошащийся сахар, тухлые селедки.

И люди покупали по дешевке и ели. «Ничего, – говорили они, – подпахивает, правда, но зато питательно, да и давно мы рыбы не ели».

Продовольственное положение становилось все хуже и хуже. Советы нажимали на крестьян, стали применять репрессии, вводили жестокие законы, за неисполнение которых людей судили, ссылали в Сибирь, даже расстреливали.

Одним из самых тяжелых преступлений был срыв посевной кампании.

Вот за это-то преступление и было отдано под суд все правление кредитного товарищества в Ясной Поляне. Председателем товарищества был врач нашей больницы А. Н. Арсеньев, очень культурный, ученый человек, ботаник,

опытный кооператор, либерал, член первой Государственной думы, подписавший Выборгское воззвание и за это тогда лишенный дворянства. Два других члена правления были молодые, умные и энергичные крестьяне.

Доктор был занят: приемы в амбулатории, разъезды по деревням, организация и наблюдение за постройкой больницы, запоздавшей к юбилею. Он мог посвящать кооперативу лишь урывки своего времени, и случилось так, что члены правления проглядели пункт местного циркуляра, где предписывалось выдавать беднякам семена бесплатно. Несколько ссуд были выданы за деньги. Кроме того, товарищество запоздало с выдачей семян одной яснополянской вдове.

Возникло дело. Правление кредитного товарищества обвинялось в «срыве посевной кампании», то есть в преступлении государственной важности.

Показательный суд был устроен в Народном доме. Собрались все крестьяне, персонал школы и музея.

Председательствовал рыжий здоровый мужик, присланный из Тулы. Двое судей были из соседнего местечка Щекино. Председатель щекинской партячейки был назначен прокурором. Все свидетели со стороны обвиняемых были этим «прокурором» отведены, остались лишь свидетели со стороны обвинения.

Доктор Арсеньев, председатель кредитного товарищества, привлекался к ответственности как местный вредитель, умышленно срывающий посевную кампанию в то самое время, когда правительство вело борьбу с кулачеством и контрреволюционными элементами в деревнях, стараясь убедить крестьян переходить в коллективы, где они могли бы производить достаточно зерна не только для себя, но и для социалистического правительства. Доктор Арсеньев должен быть немилосердно наказан как бывший помещик, дворянин, который, пользуясь темнотой необразованных масс, старался пролезть в советские учреждения и их разрушить.

Что же касается двух других обвиняемых – членов правления кредитного товарищества, – то они также являются типичными представителями кулаков с их вредительской психологией, стремящейся сорвать и аннулировать всю плодотворную деятельность компартии в деревнях. Так формулировалось обвинение.

Один из свидетелей доказывал, что доктор не обращал никакого внимания на правительственные циркуляры и не давал никаких отчетов губземотделу о деятельности кредитного товарищества. Чиновник из губземотдела подтвердил показание этого свидетеля.

– Я видел такую бумагу на столе председателя, – сказал он, – но председатель даже не потрудился показать ее мне, что он обязан был сделать.

– Разрешите спросить, какой вид был у той бумаги, о которой вы говорите? спросил Арсеньев.

– Это была небольшая бумага, сложенная вчетверо.

– Может быть, вот эта? – спросил доктор, вынимая бумагу из портфеля.

– Да, да эта самая!

– Я прошу ее огласить! – сказал доктор, подавая бумагу председателю.

– А какое это имеет значение?..

– Это имеет большое значение, – настаивал доктор, – эта бумага – заказ на семена овса. Я никогда не скрывал ни одного циркуляра от местных властей...

– Поговорим об этом позднее, – перебил председатель и поспешно сунул бумагу в свой портфель.

Следующим свидетелем вызвали вдову, не получившую вовремя кредита.

– Что вы имеете заявить по этому делу, гражданка?

– Что заявить? Безграмотная я вдова... всякий может меня обидеть, обойти вдову несчастную.

Было совершенно ясно, что заранее принято решение осудить правление кредитного товарищества. Все вело к тому.

Во время перерыва, когда я вышла во двор подышать чистым воздухом, крестьяне окружили меня.

– Александра Львовна, Александра Львовна, поговорить с вами хотим.

Я пыталась отойти, но они всей толпой окружили меня.

– Что они дурного сделали? За что их судят? Поговорите с судьями, ведь лучшего председателя у нас не было. Скажи им!

Они кричали в страшном волнении, перебивая друг друга, напирали на меня.

– Друзья мои, – сказала я, со страхом оглядываясь кругом, – не губите ни себя, ни меня! Пожалуйста, отойдите. Вы не представляете себе, в какой мы опасности! Если партийцы увидят, что вы разговариваете со мной, они сейчас же обвинят меня в заговоре против правительства. Подите, поговорите сами с председателем суда!

Крестьяне меня поняли и отошли. Мне было противно, грустно и обидно. Я почти всех их знала с детства. С некоторыми мы вместе выросли, другие состарились на моих глазах, со многими мы были друзьями и на ты. А теперь я не могла даже поговорить с ними.

Председатель вышел на крыльцо с небольшой группой коммунистов и курил. Крестьяне подошли к нему и, перебивая друг друга, говорили ему что-то. Я только уловила несколько слов: «Хороший человек... Нам лучше не надо... Справедливый, всем старается помочь». И вдруг громко раздался молодой звонкий голос: «Это все комсомольская ячейка мутит! Уберите вы этих бездельников из Ясной Поляны, не нужны они нам!»

Поднялся крик, шум, напрасно председатель суда старался успокоить крестьян, и вдруг, заглушая всех, прозвучал крикливый громкий голос:

– Товарищи! Не комсомольская ячейка, а Толстая агитирует против партии!

Опять загудела толпа, никто не слушал председателя. Неожиданно из Народного дома выскочил секретарь комсомольской ячейки.

– Я все слышал, товарищи, – заорал он не своим голосом, – я все знаю! Толстая вооружает крестьян против советского правительства. Товарищи! Когда мы, наконец, избавимся от этих буржуев?! Долой вредителей! Долой врагов народа и пролетариата!

Опять загудела толпа. Тщетно старался председатель ее успокоить. Дело пришлось отложить и перевести его в тульский окружной суд. А я в ту же ночь выехала в Москву к Калинину.

– А вы небось не знаете, Александра Львовна, кто эти судьи-то были? спросил меня знакомый крестьянин, когда суд уехал. – Про председателя я ничего не скажу, не знаю, – тульский он, а двое других – здешние. Вот тот, кто слева сидел, высокий, костлявый, с длинным носом, несколько лет тому назад за убийство жены судился. А второй, что справа сидел, чернявый, тот, что узкие глазки щурил и ухмылялся, когда доктор говорил, – этот уж два раза сам под судом был, первый раз за то, что девчонку изнасиловал, а второй раз за то, что заключенных пытал. Нализался и пьяный вывел их на мороз во двор и стал их из шланга поливать. Едва выжили.

Не знаю, исполнил ли Калинин мою просьбу и центр повлиял на решение суда, но доктора Арсеньева и двух других членов правления условно приговорили к трем годам тюремного заключения.

Глубокой иронией звучали слова адвоката, защищавшего Арсеньева:

– Граждане судьи! – заключил он свою речь. – По-видимому, доктор Арсеньев не может угодить ни одному правительству. Царское правительство преследовало его за либеральные идеи; советское правительство преследует его за контрреволюционную деятельность. Он никак не может попасть в тон, как певец с хронической простудой!

Начало сталинской политики

Злостные придирки коммунистов, ревизии в школах и музее продолжались главным образом со стороны местных властей. Приходилось ездить в губисполком и в Москву, давая объяснения и прося защиты. Неожиданные налеты партийцев нагоняли страх на всех сотрудников, мешали работать.

Иногда совершенно неожиданно под вечер приезжала группа большевиков из губпарткома. Они привозили с собой пряники, конфеты для детей, подарки и советскую пропагандную литературу.

Усилилась антирелигиозная пропаганда, детей священников выгоняли из школ, установили шестидневную неделю с тем, чтобы ученики посещали школу и в воскресенье. Не исключалось и Пасхальное воскресенье. Коммунисты требовали, чтобы в этот день школы были открыты. Я отказывалась исполнить требование партийцев. Комсомольская ячейка нажимала.

Машка оказалась между двух огней. Она не хотела огорчать крестьян родителей детей, – настаивая на требованиях партийцев, и не хотела выступать против меня. С другой стороны, она боялась, что ей попадет по партийной линии. Прислали коммуниста из Тулы. Он долго говорил со мной, требуя, чтобы учителя давали уроки в Пасхальное воскресенье. После долгих

разговоров он, наконец, согласился собрать всех учителей и решить вопрос общим голосованием.

Вечером в страстной четверг собрались в новой школе второй ступени все учителя, приехавший из города коммунист и члены коммунистической ячейки. После пропагандной речи партийца, направленной против религиозных предрассудков, говорила я. Я упомянула о мнении Ленина, сделавшего исключение для школ имени Толстого, говорила о родителях: какое это вызовет огорчение и возмущение, если детей заставят учиться в такой большой праздник. После коротких прений поставили вопрос на голосование. Я была спокойна. Учительский коллектив, за исключением нескольких человек, всегда меня во всем поддерживал – работали мы очень дружно. Я не поверила своим глазам, когда на мое предложение не заниматься в Пасхальное воскресенье поднялись четыре руки. Со мной голосовали: школьный врач, двое скромных учителей первой ступени и мой друг преподавательница литературы во второй ступени.

Я вышла в соседнюю комнату, чтобы немного успокоиться. Когда я вернулась, партийцев уже не было, и я могла свободно говорить.

– Мы могли вместе работать, – обратилась я к учителям, – мы могли до известной степени оградить школу от коммунистического влияния, избегать антирелигиозной пропаганды, милитаризации только при большой сплоченности, при общем понимании наших целей и задач. Борьба была нелегка, но мы твердо проводили свою линию и старались придерживаться принципов моего отца, имя которого несет эта школа. Я от всего сердца благодарю тех из моих сотрудников, которые до конца поддерживали меня и те идеи, за которые мы боролись. Потеряв поддержку большинства, я не смогу больше возглавлять нашу опытно-показательную станцию Ясная Поляна, созданную вместе со всеми вами...

Спазмы сдавили мне горло. Я не могла больше говорить.

Во мне росло убеждение, что дальше я бороться не в силах и не в силах больше притворяться, лгать, лучше тюрьма, ссылка, даже смерть!

Работать становилось все труднее и труднее. Ясная Поляна уже не составляла исключения, и бороться с влиянием компартии было немыслимо. Мое решение уйти, освободиться от гнетущего чувства и сознания, что совесть все больше и больше засоряется ложью, что, спасая себя, морально ты падаешь все ниже и ниже, крепло с каждым днем.

Чтобы легче наблюдать за деятельностью сотрудников музея и школ, губпартком решил организовать ячейку в самой Ясной Поляне.

Кроме Машки Жаровой – представительницы от рабочих по совхозу «Ясная Поляна» и кооперативу, – в ячейку были назначены почтарь-партиец и секретарем ячейки – товарищ Трофимов, командированный из Тулы.

Трофимов обладал всеми качествами заядлого большевика: самоуверенной грубостью, нахальством, невежеством и жестокостью.

Он любил всех учить, говорить длинные речи, пересыпая их мудреными словами и фразами, которых он сам и никто другой не понимал.

«– Мы, так сказать, – обращался он к учителям, – страдаем высокообразованным академическим достижением, товарищи... и, так сказать, требуем сознательного понимания партии...»

А культурные – доктор Арсеньев, окончивший три факультета, наш обществовед, окончивший два факультета, – и все мы были обязаны слушать эту белиберду.

Трофимов всегда ходил в черной блестящей кожаной куртке, кепке и лаковых сапогах. Меня он побаивался и ненавидел.

– Ох, гражданка Толстая, – как-то сказал он мне, поигрывая револьвером в черной кобуре, не в силах сдержать своей злобы, – была бы моя воля, застрелил бы я вас на месте, рука бы не дрогнула. И чего центр смотрит?

Я засмеялась. Лицо его злобно сморщилось, и из-под поднятых бровей метнулись на меня белесые, неопределенного цвета мутные глаза. Он круто повернулся и пошел, бессильно сжимая свои нерабочие, узловатые, грязные руки в кулаки. Почему-то эти руки всегда вызывали во мне особое чувство гадливости.

У Трофимова не было никакой определенной работы, но он повсюду совал свой нос, и все его ненавидели. Он считал себя вправе распоряжаться, давать указания преподавателям, учить их, как надо вести антирелигиозную пропаганду, которая усилилась в Народном доме. Меня раздражало, что Трофимов без разрешения проводил собрания с нашими учениками. А когда он, как хозяин, не снимая кепки, входил в музей, и в кабинет, и в спальню отца – все кипело во мне от сдерживаемого гнева.

Постепенно все должности в кооперативах, в Народном доме, на почте были заполнены коммунистами. Заместителем моим по Музею-усадьбе Ясная Поляна был назначен советский писатель Вишнев, ничтожный, безличный человек, полуинтеллигент, начавший с того, что старался внушить мне, что надо употребить учение Толстого как орудие антирелигиозной пропаганды.

– Ведь Толстой же был против церкви, – говорил он, – мы же можем его цитировать в нашей борьбе с религиозными предрассудками.

Мои возражения и доводы, что Толстой был очень религиозным человеком, были бесполезны.

В 1929 году была ранняя весна. Постепенно таял лед на реках. Луга были затоплены водой. В лесу еще лежал снег.

Я не могла спать. Рано утром я встала и пошла через лес на отцовскую могилу. Едва светало. Солнце вставало, освещая верхушки деревьев. Под ногами хрустел и ломался лед. Я села на скамейку у могилы. Тишина – ни звука. Постепенно засветились ярким золотым светом деревья, заверещала одна птичка, и вдруг лес огласился пением. Здесь был покой. Все остальное – ложь, фальшь. И я создала все это его именем, именем того, кого я любила больше всего и всех на свете.

Уже солнце было высоко, когда я пошла домой, – я ни о чем не думала, но чувствовала, знала, что жить во лжи я больше не могу.

Прощай, Россия!

Я подала заявление в Главсоцвос, прося освободить меня от обязанностей заведующей опытно-показательной станцией и музеем-усадьбой. Отставку мою не приняли. Я пошла к заместителю наркома просвещения Моисею Соломоновичу Эпштейну. Я ему откровенно сказала, что не могу больше работать, потому что нарушено указание Ленина о возможности дать некоторую свободу Ясной Поляне, из уважения к моему отцу.

– Мне стало трудно, – говорила я ему, – в школах вводят антирелигиозную пропаганду, милитаризацию, то, что противно взглядам моего отца. Полуграмотные партийцы, как вы выражаетесь, «искривляют линию» и просто-напросто бесчинствуют. Вы не можете себе представить, какое насилие происходит с коллективизацией. Недавно знакомый крестьянин решил уйти из коллектива, не мог в нем работать. Партийная ячейка настояла, чтобы ему не возвращали его имущества. Крестьянин потерял все, семья осталась на улице. В полном отчаянии крестьянин повесился.

– Я только что из деревни, – ответил Эпштейн. – Я посетил большие коллективы. Крестьяне очень довольны. Обрабатывают землю тракторами, завели племенной скот.

– Где вы были? Кто это вам говорил?

– Я был в нескольких коллективах, и, конечно, никто не знал, кто я. Все очень довольны.

«Боже мой! – думала я. – До чего главы правительства глупы и недальновидны. Всегда одна и та же картина: нежелание видеть истинное положение, самообман. Члены ВЦИК кушают осетрину и икру и не верят, что население голодает».

Я молчала. Было бесполезно доказывать, что люди за версту признали бы в нем коммуниста. Каждый раз, когда Эпштейн приезжал в Ясную Поляну, весь Щекинский район, каким-то чудом пронюхав о его приезде, готовился его встретить.

– Товарищ Эпштейн! Я вам честно и откровенно заявляю: больше не могу заведовать опытно-показательной станцией и Музеем-усадьбой Ясная Поляна.

Эпштейн дружески улыбнулся:

– Нет, вы нам нужны, мы отпустить вас не можем.

«Как в плену», – думала я.

Через несколько месяцев я снова пошла к Эпштейну.

– Разрешите мне, товарищ, – просила я, – поехать в экскурсию на три месяца в Японию. Я хочу познакомиться с их методами преподавания. Оттуда я хотела бы проехать в Америку. Вернусь и примусь за работу с новой энергией. Я устала, я чувствую, что мне нужен отдых.

– Почему же Япония?

– Но вы же не пустите меня в Европу. Слишком много эмигрантов в Европе, и мне трудно будет не видеть родственников, друзей и знакомых. И даже если мне разрешат ехать в Европу, и я никого не буду видеть – ГПУ меня все равно об-

винит, что я нахожусь в связи с эмиграцией. А в Японии русских очень мало.

Я никому не говорила о своем намерении уехать, но каким-то образом распространился об этом слух, и все спрашивали меня, вернусь ли я обратно.

Несколько месяцев я не получала никакого ответа.

– Ой, ой, – сказал мне председатель губисполкома, – не верю я вам, гражданка Толстая. Не вернетесь вы обратно! Был бы я в центре, никогда не пустил бы вас, – и он подозрительно и упорно ловил выражение моего лица.

– Неужели Ясная Поляна и все созданное мной здесь не является залогом того, что я вернусь? – спросила я, презирая себя в душе за ложь.

Теперь моей единственной целью, единственным желанием было уехать. Я не могла больше лгать. Работа в школе и музее была мучительна. Разборка рукописей, переписка их и приведение в порядок были закончены. Издание первого 90-томного собрания сочинений Толстого перешло в руки Госиздата, и оно меня не интересовало. Кто мог купить это собрание сочинений, издаваемое в 1 000 экземпляров за 300 рублей? Комиссары? Богатые иностранцы? В народ это издание не проникнет, и простые рабочие люди не смогут читать Толстого, как раньше, когда при старом правительстве сочинения Толстого распространялись в миллионах экземпляров.

Несколько раз ГПУ отказывало мне в выдаче иностранного паспорта. Прошло несколько месяцев. Я не теряла надежды и переписывалась с моими друзьями японцами, посещавшими моего отца.

К концу лета 1929 года я получила телеграмму из Японии. Меня приглашали читать лекции в Токио, Осаке и других больших городах.

С этой телеграммой я пошла к Луначарскому.

– Если вы не пустите меня, – закончила я свой разговор, – мне придется послать телеграмму в Японию, что вы боитесь выпустить меня за границу.

Даже в то время, как я держала в руках ярко-красный с золотыми буквами советский паспорт с ужасающей своей физиономией на первой странице, мне не верилось, что я смогу уехать.

В наркомпросе просмотрели конспект моих лекций, все мои рукописи, книги, письма, записные и адресные книжки. Все это было запечатано, ничего сверх этого брать не разрешили. Не разрешили говорить о школах в советской России.

– А гитара? Зачем она вам?

– Я играю на гитаре и всегда вожу ее с собой.

– Краснощекова, 1828 года, музейная редкость...

– Так я привезу ее назад, когда вернусь...

И гитару взять разрешили.

Каким-то образом по деревне распространился слух, что я уезжаю. Самые мои близкие крестьяне пришли попрощаться.

– Расскажи им, – просили они меня, – непременно расскажи, как мы здесь живем, как мучаемся. Может, помогут нам! Они, верно, там и не знают про нашу жизнь!

– Скажу, непременно скажу!

И я сдержала свое обещание. Я рассказывала всем, кому могла, и в Японии, и в Америке про тяжелую жизнь русских людей в Советском Союзе. Но голос мой остался голосом вопиющего в пустыне.

– Но вы ведь уезжаете ненадолго, вы вернетесь? – спрашивали меня служащие.

– Конечно, вернусь.

– Будем вас ждать, Александра Львовна, – сказал Илья Васильевич, подозрительно глядя на меня, и большие черные глаза его наполнились слезами.

– А вы берегите себя, Илья Васильевич. И смотрите не болейте и не умирайте без меня...

Но старик безутешно рыдал...

Я уехала поздно ночью. Меня провожали только несколько человек из самых близких моих служащих. Все сели. Кто-то всхлипнул. Я не могла говорить и изо всех сил удерживала рыдание и слезы, застилавшие глаза.

К крыльцу подали мою старую истрепанную пролетку, запряженную парой лошадей. Одной из них был мой любимец Осман.

Мы проехали той же дорогой, минуя главный дом, по которой почти двадцать лет тому назад уехал навсегда из Ясной Поляны мой отец: мимо яблочного сада, по плотине мимо большого пруда, мимо школы, больницы...

На кого я все это оставлю? Вернусь ли я?

Нет, лучше не думать, не смотреть... Сломать все, чем жила... сразу.

Прощай, Ясная Поляна! Прощайте, мои любимые, близкие люди! Прощай все, что было у меня дорогого и светлого! Прощай, Россия!

Часть III. Волшебная страна Япония

Отъезд в неизвестное

Это было осенью 1929 года. Моя приятельница, преподавательница русской литературы в яснополянской школе, с дочкой и я решили покинуть Россию и уехать в Японию.

И вот мы стоим с вещами на платформе. Десять минут до отхода поезда. Вышла путаница с плацкартами, и мест в вагоне у нас нет. Плетеный коробок с французскими булками разбился, и булки рассыпались. Мы ловим их и запихиваем куда-то. Эти булки не простые, они дороже конфет, цветов и фруктов, с которыми в былое время провожали за границу. Они собирались неделями, урезывались из пайков наших родных и друзей. Расплющилась и коробочка с пирожками. Ее принес мне брат... И еще принес небольшую красную, в мягком переплете книжечку «Домби и сын» Диккенса. Он очень любил эту книжечку. «Она не займет много места», – сказал он.

Надо сказать так много, но слов нет, скорей бы уходил поезд.

– Постой, дай еще раз обнять тебя...

Когда плачут женщины – тяжело, когда плачут мужчины – непереносимо.

Среди провожающих резко выделяется маленькая, востренькая фигурка стриженой японки. Она дала нам письма к своим друзьям на родину, а сама остается в России изучать революцию. Второй звонок, свисток, поезд тронулся, за нами бегут, стараешься поймать еще один взгляд, запомнить...

Поезд прибавил ходу, убежала платформа... скрылись...

Дождь, дождь бесконечный, однообразный, серый.

Сразу оторваться – нельзя. Отец, бывало, говорил, что первую половину пути думаешь о том, что позади, вторую – о том, что ждет тебя впереди.

Одно впечатление быстро сменяется другим. Урал, Сибирь, грязные, с пустыми буфетами станции, на платформах – оборванные голодные люди, купить ничего нельзя.

В нашем жестком вагоне иностранцев немного. Наш сосед, миссионер-англичанин, удивился, что я говорю по-английски.

– Я очень рад. Может быть, вы поможете мне объясниться с проводником. Я прошу его купить мне на станции белого хлеба, но он меня не понимает. Я пробовал обедать в вагоне-ресторане, но там такая гадость... У меня есть сыр, а хлеба нет.

– Боюсь, что вы не достанете белого хлеба.

– То есть как не достану? – И англичанин полез во внутренний карман.

– Да, белого хлеба на станциях нет. Черный выдают по карточкам.

– Да, благодарю вас, черный хлеб я получил, но я не могу его есть.

Иностранцы выходили гулять на станциях, смотрели по сторонам в брезгливом недоумении. Здесь были прекрасно одетые дамы, все в шелковых чулках, немцы, американцы, толстый, очень большой японец и с ним японка и две девочки в европейских платьях – посол с семьей. Почти все они ехали в мягких вагонах, курили душистые сигары, держались замкнуто и смотрели на все с презрением, свысока.

На пристани во Владивостоке один иностранец пренебрежительно ткнул ногой разорванный мешок, из которого посыпалась фасоль. Должно быть, ее приготовили к погрузке.

– Кому нужна эта дрянь! – сказал он своему спутнику с насмешливым презрением.

«Господи, зачем отняли и за гроши продают, когда своим есть нечего?» подумала я с тоской.

Эти сытые, чистые, бритые и самоуверенные люди казались чуждыми, чужими, а вот на станциях, в порту – рваные, грязные, с привычной покорностью все переносящие – были свои.

Куда ж я еду?

* * *

Во Владивостоке все гостиницы были заняты.

– Где же ночевать?

Советские представители пожимали плечами.

– Ничего не можем сделать, товарищи, переночуйте на станции.

– Но как же это можно? Мы страшно устали от путешествия, 9 дней в вагоне, и... с нами девочка[51]. Дайте хоть какой-нибудь номер.

Но все свободные комнаты были предоставлены иностранцам, частных гостиниц не было, все национализированы, и мы не знали, что нам делать.

Наконец, после того как я несколько раз показывала наши служебные командировки, грозила товарищам Кремлем и всеми московскими комиссарами, нам отвели крошечный грязный номер с двумя кроватями, испорченным умывальником, у которого не действовала педаль, и... с клопами.

Найти еду было еще труднее. О русских не заботились. Валюты у нас не было, а что стоили бумажные червонцы? Здесь на границе они нелегально продавались по 2 американских цента за рубль. В довоенное время рубль стоил 50 японских центов.

---

[51] Дочь Ольги Петровны Христианович, с которой мы вместе уехали из России.

Но за двенадцать лет мы прошли хорошую школу. Как опытный охотник чует, где водится дичь или рыба, так и мы сразу отыскали на главной улице кондитерскую, где нам подали кофе и булочки. Булочки были очень маленькие, мы попросили еще. Но оказалось, что с каждой чашкой кофе полагалась только одна булочка.

– Так дайте нам шесть чашек кофе.

Обед мы получили по карточкам. Пытались есть, но все трое сейчас же заболели, и те двое с половиной суток, пока мы ждали парохода, мы охотились за едой. В одном месте нашли яйца, по рублю за штуку, в другом копченые селедки, которые трудно было есть без хлеба.

Опять шел дождь. Мое новое непромокаемое пальто, в котором я чувствовала себя такой элегантной, полиняло. Краски потускнели, растеклись зеленовато-лиловыми, оранжевыми разводами.

– Ужасная пища в гостинице, – говорил нам при встрече англичанин, – я совсем болен.

– А ведь вы получаете самое лучшее, – хотела я ему сказать, но сдержалась. Он был чужой, и вся эта огромная страна, которую он только что проехал с запада на восток, – казалась ему последней, грязной, нищей. А разве я могла объяснить ему и разве он поверил бы мне, что когда-то она была другой?

* * *

Наши вещи почти не смотрели. Советский агент был очень занят. Он искал на пароходе русских беглецов.

Маленькие, черненькие, очень ловкие матросы помогли перенести вещи. Пробежал повар в белом колпаке, резко оттенявшем его серо-бронзовое лицо. Он скалил зубы и ужасно был похож на провожавшую нас японочку.

– Неужели уедем?

Я не верила, что мы уедем, до последней минуты. Мне все казалось, что кто-нибудь задержит, арестует.

Нас провели в третий класс. Возвышение, покрытое циновками. Ни коек, ни столов, ни стульев, ничего – гладкий, чистый пол. В углу на полу, поджав под себя ноги, сидел японец. Мы хотели войти, но матрос знаками показал нам, что надо разуться. Мы разулись. Сложили вещи, где была уже навалена груда хороших кожаных чемоданов, и, подумав, тоже сели на пол. Все это было так необыкновенно, так заинтересовало нас, что мы и не заметили, как тронулся пароход. Я спохватилась, когда пристань была уже далеко.

Не было ни сожаления, ни сомнения в душе, когда я взглянула последний раз на то, что было моей родиной.

Качка

Нас позвали завтракать.

– Как? Все это нам? – спросила Туся.

Здесь были и суп, и рыба, и овощи, какое-то сладкое, фрукты, кофе и, главное, сколько угодно хлеба и сахара.

Неужели это пища третьего класса? А может быть, нам капитан прислал завтрак второго? Должно быть, так, потому что рядом с нами сидящий японец ел палочками рис.

Я вынула из чемоданчика корку сухого сыра, который приехал с нами из Москвы, открыла люк и запустила ее в море.

– Рыбам, – сказала Туся. Неприятно все-таки было выбрасывать пищу.

Капитан прислал сказать, что очень жалеет, что на пароходе нет ни одного места второго класса. Он с радостью предложил бы их нам.

Но нам даже нравилась наша гладкая и чистая платформа, мягкие циновки, тихий, но полный достоинства японец в углу со своим рисом и палочками. В первом и втором классах было тесно и душно. Когда стемнело, мы постелили и улеглись спать.

Качало. Но немного. Ощущение блаженства освобождения было настолько радостно и полно, что затушевало все остальное: мысли о необходимости заработка, о 150 долларах, составляющих все наше богатство, о плохой одежде, а главное, о том, что осталось позади.

Я скоро уснула и проснулась от страшного ощущения, что лечу куда-то вниз. Я уцепилась за что-то, но сейчас же почувствовала, что качусь в обратную сторону. Я докатилась до какого-то твердого предмета, стала шарить руками, но, не найдя ничего, за что можно было удержаться, тотчас же опять устремилась в бездну. Спутница моя, видимо, давно уже проснулась и строила баррикады из чемоданов. Ползая на коленях, отгородились тяжелыми связками, корзинами, собрали подушки, одеяла и улеглись. Но вдруг чемоданы заколебались, закачались и покатились вниз, а с чемоданами покатились и мы. Пароход скрипел, накреняясь то на одну, то на другую сторону, все звенело, трещало. Из второго класса слышались стоны, крики, boy[52] балансировал между койками со стаканами содовой воды, тазами, лимонами.

Наши чемоданы и связки перепутались с чемоданами иностранцев. Все, догоняя друг друга, скатывалось под гору, неслось куда-то и, ударяясь о стены, стремительно кувыркалось обратно. Большой кожаный чемодан ударил меня по лбу. Я ухватилась за него, думая удержаться, но чемодан дрогнул и устремился вниз, а я за ним. Наконец я забилась за какой-то выступ. Страшно ломило голову. Что-то брызнуло мне в лицо, запахло одеколоном. Надо мной стоял японец.

– Тонем? – спросила я слабо.

---

[52] Юнга (*англ.*).

– Нет, нет, никакой опасности, – ответил он бодро на ломаном английском языке. – Very solly[53]. – Японцы выговаривают иногда р как *л*.

Нас бросало двое суток. День и ночь слились в одно. От неперестающей борьбы и напряжения мускулов болело тело, казалось, что в голове не осталось живого места – все избилось, перевернулось.

Мы больше не радовались хлебу и сахару, boy приносил и уносил еду нетронутой.

Под утро второй ночи стало тише, и мы уснули.

Начало сказки

Сияло прозрачное утро. От искрившейся тысячами серебристо-перламутровых блесток воды слепило глаза. Пароход уверенно и спокойно стоял на якоре, и не верилось, что несколько часов назад море било и швыряло его по волнам, как спичечную коробку. Сновали взад и вперед сердито фыркающие и плюющиеся суетливые катера, в мутной дымке уходящего моря застыли белые трехмачтовые паруса. На море не хотелось смотреть, хотелось туда, на этот высокий, зеленый, крутой берег, где шла новая для нас, незнакомая жизнь чуждых людей.

Это порт Цуруга. На палубе появились важные, точно надутые, японские военные в мундирах цвета хаки, туго перетянутые ремнями, толпились, мешая матросам работать, иностранцы с фотографическими аппаратами и биноклями.

Все люди эти – и моряки, и военные, и иностранные пассажиры, хотя и очень разные – все принадлежали к определенным разрядам людей, признанных и приличных, так или иначе принимающих участие в жизни, но как только мы попытались присоединиться к людям на палубе, я почувствова-

[53] Я очень огорчен (*англ.*).

ла, что мы не принадлежим ни к одной из этих групп, мы вне жизни, как будто мы только что вышли из тюрьмы или из сумасшедшего дома. Люди с удивлением осматривали мое полинявшее всеми цветами радуги непромокаемое пальто, мужские башмаки, круглую «поганку» на голове. Я была для них неприемлема. Они же были мне чужды потому, что они не знали того, что знала я.

Это было давно, в 1929 году, но чувство это хотя и сгладилось, но не прошло и, пожалуй, навсегда оставит во мне следы.

Вопросительное недоумение на лицах увеличилось, когда вдруг у парохода зафыркал катер, капитан подошел к нам и указал на японцев в светлых костюмах, улыбающихся и приветливо машущих нам шляпами.

– Это к вам от газет «Токио Ничи-Ничи» и «Осака Майничи». Куроды-сан[54] и другие журналисты и фотографы, – сказал капитан.

Защелкали аппараты, посыпались вопросы:

– Вы надолго в Японию? Где и о чем вы намерены читать лекции? Кто это с вами? Ваш друг? Она вам родственница? Нет? А эта хорошенькая девочка, ее дочка? А можно их тоже снять?

Нас провели в кают-компанию первого класса, угощали содовой водой и фруктами. Тут же, сидя за столом, мы давали вежливому японцу подписку в том, что не будем распространять коммунистическую пропаганду. Немец, даривший нас несколько раз высокомерно-презрительными взглядами, вдруг подошел к нам:

– Простите, я, собственно, не знаю, почему вас снимают и кто вы, но разрешите и мне снять с вас фотографию. – Затвор

---

[54] Приставленный к нам правительством переводчик.

щелкнул: «Данке зер»[55], и немец пошел узнавать, кто мы такие.

На пристани, среди толпы японских корреспондентов, лениво шмыгая калошами, с портфелем под мышкой, к нам подошел человек, в котором я, к ужасу своему, сразу узнала «своего».

– Я здешний представитель полпредства, – сказал он, – мне сообщили о вашем приезде.

Но, к счастью, он скоро отстал, а мы сели в такси и поехали.

Автомобиль медленно двигался по узким улицам, уступая дорогу пешеходам, женщинам с привязанными на спинах детьми, ребятам, играющим посреди улицы, велосипедистам-мальчикам в синих бумажных пиджаках с громадными белыми иероглифами на спинах, обтянутых штанах и белых, живописно завязанных слева повязках на головах, которые везли большие поклажи в колясочках. Кричали разносчики, стучали по камням деревянные сандалии: «цока, цока, цока, цока». Кружилась голова от непривычного пряного запаха; глаза разбегались. Улица была больше похожа на фантастическую картину, на театр. Я никогда не думала, что Япония до сих пор такая характерно японская. Фигуры женщин с высокими прическами, в шелковых, со странными рисунками кимоно, сужающихся вниз, как вазы на тонких ножках, с бантами на спинах, в белых чулочках и сандалиях, с плоскими разноцветными шелковыми зонтиками в руках; мужчины в темных кимоно и круглых канотье; фонарики: большие, маленькие, круглые, овальные, с иероглифами, разноцветные; бесконечные лавочки, изобилие товаров, шелка... Много-много детей в кимоно, ярких, цветистых, с бритыми затылочками, черненьких, как жучки... Болела голова.

– Простите, вы что-то спрашивали у меня?

– Да, чем вы, Толстая-сан, занимались в России?

---

[55] Спасибо большое (*нем.*).

– В России? Я организовывала школы, музеи... А скажите, почему вон тот человек в широкополой соломенной шляпе идет по самой середине улицы и дудит в дудочку?

– Вон тот? Это массажир (массажист). У нас в Японии слепые всегда избирают эту профессию. Он дудит – предлагает свои услуги.

– А он не боится, что его задавят?

– О нет, это невозможно, у нас автомобили ездят очень осторожно... А сколько же учеников было в вашей школе в Ясной Поляне?

– Около шестисот... А скажите, что везет этот мальчик на велосипеде?

– Обеды. Это подносы один на другом, иногда десять подносов: суп, рис...

– Как же он может везти все это на одной руке?

– О, это очень трудно, мальчики платят за эту науку сто иен. Видите, левую он закидывает назад и держит обеды, а правой управляет велосипедом.

Автомобиль остановился около маленького деревянного дома. Раздвинулась бумажная стена, и мы вошли. Женщина с высокой прической, в кимоно и беленьких чулках, стояла на возвышении, кланялась и улыбалась, и от всего ее существа веяло добродушной лаской и уютом. Мы сняли обувь и вошли, оставив башмаки внизу на полированном полу. Женщина, беззвучно ступая по татами – соломенным матам, вышла из комнаты и сейчас же вернулась обратно с подносом – крошечные чашечки с зеленым чаем и пронзительно яркими пирожными из бобов. От всего этого шел тот самый пряный запах, который нас поразил на улице. Курода писал, изредка задавая мне вопросы. Он посылал телеграмму в свою газету о нашем приезде.

* * *

Я никогда не забуду этот первый день в Японии. Мне казалось, что я перенеслась в иной, фантастический мир; так бывало, когда в детстве няня на ночь рассказывала сказки и, заснув, я во сне продолжала жить теми же волшебными видениями тридевятого царства, ковров-самолетов, волшебников и фей, всем тем, чего в настоящей, скучной жизни – нет.

Я была зачарована. Чем? Что потрясло меня так? Красота, яркость красок? Своеобразие людей, их одежды, богатство, обилие товаров в лавках после нищеты советской России. Меня поразила быстрота мчавшего нас в Токио, на другое утро, европейски оборудованного поезда; мальчик в наморднике, предохраняющем его легкие от пыли, в то время как он мел вагоны. Я, не отрываясь, смотрела в окно: превосходно обработанные, удобренные поля, где использован каждый крошечный кусочек в несколько футов. Фруктовые деревья, виноградные лозы, обремененные плодами; живописность деревень с соломенными крышами и бумажными стенами, храмы с красиво изогнутой линией крыш и ворот, приютившиеся в парках среди темной густой зелени и ярко-красных, желтых кленов; рисовые поля, изрезанные на четырехугольники оросительными канавками. Сквозь туман мутящей головной боли я, не отрываясь, смотрела в окно.

– О бенто! О бенто![56] – кричали мальчики на станциях.

Курода-сан купил нам три коробочки. В них были рис, кусочки мяса, рыбы и овощей, палочки и между палочками зубочистка. Неуклюже действуя палочками, мы пытались есть, но не могли. Мясо и рыба были не соленые, а сладкие, фрукты кислые или горькие, от розового кусочка, который я раз-

[56] О бенто – кушанье из риса.

жевала, рот стал гореть огнем, как от хрена. Рис был без соли, холодный.

– Вам не нравится? – спросил Курода, ловко заправляя палочками рис в рот и заедая какими-то кусочками. – Хотите чаю?

Чай оказался без сахара, зеленый, но нас поразило, что чай продавался по 5 центов[57] вместе с прехорошенькой глиняной кружечкой.

– Мне можно взять такую чашечку? – спросила Туся.

– Да, конечно, но она так грубо сделана...

В Осаке Курода отвез нас в гостиницу. Здесь было чисто, уютно, можно было отдохнуть после нашего двухнедельного путешествия, но мы не могли усидеть на месте, нас тянуло опять туда, в этот мир фантазии, в узенькие переулочки со странными людьми, красивыми изделиями, богатством товаров, красок, жизни...

Мы бессовестно глазели на проходящих японок в ярких кимоно с высокими прическами: «Наверное, гейша», говорили мы друг другу; «А вон тот японец похож на римлянина в тоге».

Наконец, измученные, мы лежали в мягких европейских постелях. Сна не было.

С улицы доносились странные гортанные звуки, где-то протяжно и непривычно ныла на трех нотах струна, мучил тот же пряный, острый запах...

«Цока, цока, цока, цока!» – стучали деревянные сандалии.

«Сыщики»

Когда мы приехали, два японца – один повыше, другой пониже – вошли вместе с нами в переднюю гостиницы. Я покосилась на них. «Корреспонденты»? Но они не подошли к нам, а молча сели, один направо, другой налево.

---

[57] 2,5 американского цента.

Они, вероятно, сидели здесь все время, пока мы устраивались в номере. Но как только мы вышли из гостиницы, они молча встали и пошли за нами. Мы покупали фрукты, они стояли тут же и улыбались, мы зашли в аптеку, они за нами. Мы вернулись в гостиницу и пошли обедать в столовую. Японцы проводили нас взглядами и снова уселись на свои стулья в разных концах передней, один направо, другой налево.

Что им нужно?

Обед был европейский, порции казались маленькими, но мы ели много пушистого белого хлеба. Мне все казалось, что вся эта обстановка: и подкрахмаленные салфетки, от которых я давно уже успела отвыкнуть, сползающие с колен на пол, начищенное серебро, тарелки в подавляющем количестве, слишком чистая скатерть, неизвестно зачем поданные чашки с теплой водой – все это было для тех признанных, «порядочных», которых мы видели в поезде и на пароходе, не для нас... Нам это досталось по ошибке.

Мы вышли на улицу другим ходом, прямо из столовой, шутили и радовались, что так ловко обманули присосавшихся к нам японских человечков. Быстро удирая, мы свернули в первый попавшийся переулок, сделали еще два поворота... «Теперь не найдут», – и пошли тише, разглядывая великолепные, выставленные в витринах изделия из точеной слоновой кости: корабли, дома, животные.

– Это возмутительно! – воскликнула я невольно. – Что они к нам пристали?

Японцы стояли рядом с нами и улыбались.

– Простите, может быть, мы могли бы вам помочь? – спросил один из них на чистейшем русском языке, любезно наклоняя вперед корпус. Не отвечая, мы пошли дальше. Я никогда не видала таких нахалов. Мы искали почту и открытки, но спрашивать у этих нахалов мы не хотели.

– Не можете ли вы указать нам, где почта? – обратились мы к проходящему мимо японцу в европейской одежде.

– Почта! – подскочил к нам один из наших преследователей. – Пожалуйста, сюда! – И он пошел рядом с нами. Теперь они оба подошли к нам, похохатывали, кивали, очень довольные, что могут оказать нам услугу.

– Вам нужны открытки? Мы зайдем сейчас, тут есть хороший магазин.

– Пожалуйста, оставьте нас в покое, – сказала я сердито.

– Вот здесь, вправо, виды Токио, снимки со знаменитых японских картин...

Теперь мы ходили по улице впятером. Большие, европеизированные улицы нас не интересовали, мы забирались в узкие, типично японские переулочки, любовались на горевшие цветами бумажные фонарики, на лавочки, заваленные поражающим обилием и разнообразием товаров, на странных невиданных людей. Человечки следовали за нами. Они отстали, только когда мы ушли к себе в номер.

– Кто эти два человека, которые преследуют нас, как тени? – спросила я на другой день у Куроды-сан[58].

– Полицейские агенты. Таков обычай в Японии. Они приставлены, чтобы охранять вас.

– Охранять? От кого? Сыщики? Значит, нам не доверяют и следят за нами! Это ужасно неприятно!

– Да... Но это всегда так, полиция особенно тщательно охраняет приехавших из советской России.

– Но неужели правительство может нас заподозрить? Мы же не советские агенты... Может быть, можно попросить снять это наблюдение? – Я возмущалась.

– Нет, это бесполезно, – спокойно возразил Курода. – Они перестанут следить, когда сами убедятся в вашей

---

[58] Приставленный к нам правительством переводчик.

благонадежности. Но это будет не скоро. Вам придется с этим примириться.

На другой день я подписала договор с газетами «Осака Майничи» и «Токио Ничи-Ничи», и мы поехали в Токио, откуда я должна была начать свое лекционное турне по приглашению этих газет.

Один из полицейских провожал нас в вагоне. Странные это были сыщики. Совсем не такие, как у нас в России. Здесь они не скрывались, не таились. Они явно следили за нами, прилипали как-то, и не было никакой возможности от них отвязаться.

Не успели мы приехать в Токио, как и здесь появился полицейский агент. Он приходил ежедневно. Передней в квартире не было, входная дверь вела прямо в столовую, он входил, садился и просиживал так с утра до вечера.

Я теряла терпение.

– Неужели вы не понимаете, – как-то сказала я ему, – что это неделикатно. Мы хотим обедать, а вы, чужой человек, сидите здесь, навязываете нам свое общество.

Он вскочил.

– Простите, пожалуйста! Solly! – и стал кланяться быстро-быстро, как фарфоровая фигурка. – Я могу посидеть и на дворе.

На другой день шел дождь. Полицейский сидел на скамейке на дворе, ходил взад и вперед, промок, и, в конце концов, мы пригласили его войти в дом.

Один раз он пришел с торжественным видом, неся что-то в руке, особенно приветливо и значительно улыбаясь.

– Простите меня, – сказал он. – Я плохо говорю по-русски, я не могу выразить вам все, что я чувствую, но вы поймете, я так люблю Толстого, я его поклонник.

Он волновался. Тонкие руки, путаясь, развязывали узелок шелкового цветного платка (фурусики). Он вынул большой портрет моего отца:

– Вот, подпишите, пожалуйста!

Я подписала.

Через несколько дней он принес книги: «Так что же нам делать?», «Не убий», «Царство Божие внутри вас» и др. и снова просил подписать.

– Я читал всего Толстого, все, все, что он написал, а эти религиозные философские книги мне особенно нравятся. Пожалуйста, подпишите.

– Но как же ваша полицейская служба вяжется с тем, что отец писал в этих книгах? «Не убий», например, где он писал о непротивлении злу насилием. Вы знаете, мой отец был против всякого насилия, следовательно, и против полиции.

Он или не понял меня, или не хотел спорить (японцы никогда не спорят). «Я люблю эти книги, – повторил он. – Он имел на меня большое влияние. Я рад, что вижу его дочь. Вот это мой скромный подарок вам».

И он положил передо мной аккуратно завязанный в узелок шелковый платок.

– Спасибо, но я не могу принять вашего подарка.

– О, это большая обида. – Лицо его побагровело, и мне показалось, что он вот-вот расплачется. – По-японски, если отказываетесь от подарка, – очень, очень обижаете, – повторял он. – Пожалуйста, возьмите.

И я взяла. В узелочке оказались яблоки и апельсины.

– Никогда не поверила бы, что я буду рассуждать о взглядах своего отца с сыщиком и брать от него подарки, – говорила я своим друзьям. – Но они какие-то не настоящие, не такие, как были у нас в России.

– Может быть, но если бы этому человеку с розовыми щечками и усиками пришлось защищать императора и

родину, он защищал бы их как лютый зверь и не задумался бы убить и умереть в борьбе.

И все-таки он надоел нам.

– Нельзя ли нас как-нибудь избавить от сыщика? – спросила я у сотрудника газеты «Ничи-Ничи», нашего друга Идзюми-сан. – Он сидит у нас целыми днями, ходит всюду за нами...

– Нет, не надо, – решительно сказал Идзюми-сан. – Этого полицейского, который к вам ходит, я знаю. Он очень хороший человек. Пусть ходит. Когда надо идти в магазины – пусть помогает, надо вещи таскать – он тоже помогает, купить что-нибудь – он тоже помогает. Пусть ходит, он хороший, настоящий толстовец.

Делать было нечего. Когда мы переезжали, сыщик пришел, таскал нам вещи, бегал за такси и все кланялся и улыбался.

Хороший человек, настоящий толстовец!

Новые веяния

Почти все дети ходят в детские сады и в школы в европейской одежде. В Токио мы жили недалеко от школы. Каждое утро я наблюдала, как девочки-подростки шли в школу и из школы.

Эмансипация японской женщины идет главным образом через школы. Влияние иностранных учительниц, многие из коих американки, – сильно. Детские сады, школы переходят на европейскую одежду, причем форма этой одежды проста, удобна и небезобразна. Темные шерстяные платья, иногда матроски, чулки и башмаки, но еще, должно быть, пройдет немало времени, пока японская женщина приобретет привычные для европейского глаза манеры. Я почти не видела, чтобы японка умела носить европейское платье.

От тасканья детей на спинах, скрюченного положения на татами – дети не растут нормально: недаром статистика показывает, что за последнее время, когда дети получают правильное воспитание в садах, школах, – рост японцев значительно увеличился.

– Жили, – говорит Конисси[59]-сан, старый друг моего отца, когда я начала с ним разговор на эту тему, – жили и гораздо были здоровее. Теперь выдумывают разные новшества. Наши дети все на рисе росли. Молоко матери и рис – вот и всё. Коровьего молока не знали.

Конисси-сан прожил в России 30 лет. Два раза приезжал к нам. Ему 70 без одного. Много детей. Старший сын – «крест нашей семьи», сказал Конисси-сан. Увлекся спортом, делом не занимается.

А в Японии старший сын – это наследник отца. Он не имеет права выходить из отцовской воли и обычно наследует дело отца. Часто у японцев на этой почве бывают драмы. Старший сын хочет учиться, а отец велит торговать. Иногда дело даже кончается самоубийством. Во всех пьесах японских фигурирует обычно «старший сын». Для Конисси поведение сына – большая трагедия. Второй его сын толстовец. Живет в горах, далеко, так что туда по железной дороге и не проедешь, – плетет корзины. У него убеждение, что все, что человек сделает, так или иначе вознаграждается. Если отдать последний заработок – так или иначе судьба вознаградит тебя. Если отдать последний рис, кто-нибудь даст тебе работу, заплатит рисом или вообще как-нибудь да вернется отданное.

[59] Конисси Масутаро, известный ученый, публицист, профессор. Долгие годы он жил в России, свободно владел русским языком. Толстой познакомился с ним в 1892 г., когда Конисси был еще студентом Московского университета. Они переписывались, Курода бывал в Ясной Поляне – последний раз в 1910 г., незадолго до смерти писателя. Он перевел для Толстого труды восточных мудрецов.

Он строгий вегетарианец. Старшая дочь учительница, другая учится.

У него японский дом. Годы, прожитые в России, мало на нем отразились, разве только что у него есть самовар, который стоит на низеньком столе. Но сидели мы на полу, на подушках, около хибати[60], и сам хозяин разливал нам чай. Жена его не вышла, пришли две дочери, но чай все-таки наливал сам хозяин. Спит Конисси-сан на полу, пишет, сидя на полу, под ватным одеялом, где греет его старческое тело хибати. Письменный стол у него есть, но он презрительно задвинут в самый далекий угол, и хозяин им не пользуется.

Другой знакомый японец, Набори-сан, живет по-европейски, в кабинете у него письменный стол, электрическое отопление. Но когда мы пошли обедать, то попали в чисто японскую комнату. После обеда мы играли в разные игры с его детьми. Семья необычно дружная, приятная. Когда стали играть, старшая девочка обратилась к нам по-японски: «Можно Кунью-сан?» Это она просила принять в игру их прислугу. Они ее любят как члена семьи. Это я наблюдала везде. Прислуга «сан», и ее уважают и любят.

Чиба-сан студент. Один раз он пришел, молча поставил на пороге корзину с яблоками. Потом подал письмо на трех страницах, где он говорил о своей любви к Льву Николаевичу и о том, как он хочет со мной говорить. Письмо было так прекрасно написано по-русски, что я решила, что Чиба-сан владеет языком, и заговорила с ним на своем родном языке. Но оказалось, что он не может связать двух слов. Он потом сознался мне, что всю ночь составлял это письмо.

Чиба-сан некрасивый, на его лице много-много мелких морщинок, но когда он улыбается и показывает свои ужасные зубы, испещренные золотыми пломбами, как, между прочим, почти у всех японцев, у него детское, доброе лицо. Он

---

[60] Печка, которая топится древесным углем.

хотел непременно мне подарить Полное собрание сочинений отца на японском языке, я едва-едва уговорила его отказаться от этого желания, так как все равно я прочитать по-японски ничего не могу. Он сказал мне: «Я хочу знать: где правда?»

– Так вы ищите и должны найти, если вы будете искать у других, вы ее не найдете, надо в себе найти ее.

– Нет, я нашел, я нашел ее у Толстого, – сказал он мне. – Он мяса не ест, не курит, не пьет.

Он «старший сын». Его отец купец. Он заставил сына идти на юридический факультет. «А я не люблю этой науки, – говорил Чиба-сан, – я хочу учиться литературе, я хочу изучать русский язык, чтобы по-русски прочитать «Войну и мир». Нет ни одного сочинения Толстого, которого бы я не читал. Я хочу ехать в Россию. Но отец не позволяет мне. У меня есть брат. Я люблю его. Брат тоже любит Толстого, кроме Толстого любит Тургенева и Достоевского. Если я не смогу изучать русский язык, ехать в Россию, пусть брат все это исполнит, он не старший сын».

Чиба несколько раз у нас обедал. Я его угостила борщом. Он съел, как я иногда на японских обедах глотаю клейкий суп из сырой горной картошки, – одним духом.

– Чиба-сан, хотите еще?

– Спаси, – сказал он (он всегда говорит «спаси» вместо «спасибо»), – мне уже довольно.

В следующий раз, когда мы его пригласили обедать, он просто сказал: «Спаси, мне уже довольно», хотя не начинал еще есть. Он боялся, что мы его опять накормим борщом.

Чиба-сан каждый раз приходил с записочкой, которую он заранее составляет по словарю на русском языке.

– Здравствуйте, простите, что я вам помешал поздним приходом. Можно ли мне приходить по средам? – и при этом усиленно, как-то неестественно перекатывает букву РРРР.

Японское искусство

Первые непосредственные впечатления ни к чему не обязывают, и потому писать о них через неделю по приезде легче, чем через два месяца. Глаза, слух, все существо человека радуется тому новому, непривычному и прекрасному, что перед ним открывается. Теперь, через два месяца, познакомившись с Японией несколько глубже и шире, я поняла, что для того, чтобы узнать эту страну, нужны многие годы. Освоившись немного с укладом японской жизни, мы уже не оглядываемся с изумлением на улицах, мы научились кое-как изъясняться, пользуясь двумя десятками японских слов, умеем есть палочками, но с каждым днем все больше и больше убеждаемся в том, что за внешней простотой кроется сложная и неизвестная нам жизнь.

Я все время стараюсь уловить сложившиеся веками традиции, угадать внутреннее содержание японской жизни. За это время нам удалось побывать в театре, на выставках картин, на концерте японской музыки, познакомиться с домашней жизнью японцев и присутствовать на чайной церемонии.

Японское искусство для нас «терра инкогнита»; некоторые отрасли его остаются до сих пор не совсем понятными. Так, например, японский театр. Я знаю, что мои соотечественники восхищались театром Кабуки, когда он приезжал в Москву. Но сама я, побывавши два раза в театре, еще не разобралась в массе странных впечатлений, таких необычных и совсем не похожих на реалистический театр, к которому я с детства привыкла. Правда, что, побывавши во второй раз, я начала уже привыкать к странным звукам голосов, минутами увлекаясь содержанием пьесы (я видела «47 самураев»), забывала внешние странности изображения. Моя вера в исключительно тонкий и изящный вкус японцев поддерживает во мне уверенность в том, что, в конце концов, я пойму и эту область японского искусства.

Две другие области захватили меня целиком. Я говорю о музыке и живописи.

Японское пение мне пришлось слышать впервые в Ясной Поляне, когда я была еще девочкой. К моему отцу приехали два японца. После серьезных разговоров они по нашей просьбе спели японскую народную песню. Это было так непохоже на то, что мы называем пением, так для нас необычно, что мы не могли удержаться от смеха, хотя это и было очень невежливо. После этого мне несколько раз пришлось слышать японское пение в России. В последний раз нам пели две гостившие в Ясной Поляне японки, и тогда впервые пение показалось мне не смешным, но мелодичным и приятным.

Когда я приехала в Японию, японская музыка доносилась до меня только отрывками: то на улице из раскрытых окон, то по радио из соседней комнаты, то пела в саду няня-японка, укачивая младенца. Я с жадностью ловила эти случайно долетавшие до меня звуки.

Один раз после суетливого рабочего дня за нами заехал знакомый профессор Ионекава-сан и пригласил нас на концерт его сестры в отель «Империаль». Я устала, у меня болела голова, и хотелось отдохнуть. Но все же я согласилась поехать на часок на концерт.

Впечатление было настолько сильное, что я не вернулась через час домой, но просидела до самого конца, потрясенная тем, что я слышала. Даже внешний вид этих женщин в темных кимоно, с серьезными лицами, с закрытыми глазами, на фоне зеленого бамбука и приземистой сосны поразил меня своей строгой красотой и сдержанностью. При кажущейся наивности и скупости звуков – сложнейшее музыкальное построение и громадное искусство в исполнении. Как будто бы творец этой музыки из стыдливого целомудрия избегал дешевых эффектов и ничем не старался украсить свое

произведение. Сначала кажется, что звуки естественно примитивны, и только через некоторое время начинаешь понимать ту громадную технику, которая необходима при игре на японских инструментах. Особенно поразила нас своей красотой последняя песня, исполненная сестрой Ионекавы-сан под аккомпанемент шякухачи и семисена[61]. Нам сказали, что это была поминальная песня. Но еще не зная этого, мы были уже поражены торжественностью и глубиной ее мелодии.

Не меньшее впечатление произвела на меня и японская живопись. До того, как я попала в первый раз на выставку в Фукуока, я имела довольно смутное понятие о японской живописи. Иллюстрации в книгах, немногие виденные мною гравюры оставили во мне впечатление чего-то не совсем понятного, но изящного. Как и в музыке, меня несколько отпугивала необычность технических приемов, искусственность человеческих фигур и лиц. Но вот я попала на выставку, и у меня осталось впечатление, что люди, имеющие в руках драгоценные камни, меняют их на стекло. Сначала я попала в отделение европейской живописи. Я никак не ожидала того, что увидела. Передо мной были те же пестрые пейзажи, голые женщины, натюрморты – все, что я видела на многих европейских выставках. Здесь не было ничего оригинального, самобытного, японского. Я невольно была разочарована. Неужели это и есть настоящая японская живопись, о которой мне приходилось слышать как об искусстве совсем своеобразном. И только попав в другое здание, я нашла то, что ожидала, и даже больше того.

Первое, что бросилось в глаза, – рыбы. Среди полуфантастических морских водорослей прозрачные, голубоватые рыбы. Я видела, как, уставив глаза в одну точку, они мерно

---

[61] Шякухачи и семисен (сякухати и сямисен) – струнные щипковые инструменты.

шевелили жабрами. А вот другая картина – цветет вишня, сакура. Безлистная, покрытая тяжелыми розовыми цветами ветка изогнулась, по ней порхают маленькие разноцветные птички... У меня разбегаются глаза. Что это? Туман, вы чувствуете, как вас пронизывает едкая сырость, едва вырисовывается лодка, на борту люди в странных соломенных одеждах, и на задранном кверху носу – птицы с длинными клювами.

– Рыбная ловля, – говорит заведующий. – Это птицы кармеранты, они ловят рыб. Вам нравится?

– Да, очень. – Я стою как зачарованная, мне не хочется уходить.

А вот японский натюрморт. В корзине синие, серебристые рыбы. Одна наполовину выскочила из корзины, изогнулась, чешуя серебром отливает на солнце.

Здесь, в Токио, на выставке в Уено-парке я проверила свое первое впечатление. То же ощущение чего-то прекрасного, тонкого и изящного. Нежные, едва заметные линии дают картине необычайную легкость и воздушность.

Но я должна оговориться, я не художница и высказываю здесь только непосредственные чувства.

В Японии мне пришлось познакомиться еще с новым искусством, до сих пор совсем мне незнакомым – с искусством созидания дома. Мы, русские, за редким исключением, привыкли небрежно относиться к обстановке своего жилища. Форма для нас стоит всегда на втором плане, и русские люди точно стесняются позаботиться об окружающих их предметах. Тем более поражает нас сложная обдуманность каждой мелочи японского дома. Это не роскошь европейского или американского жилища, где все приноровлено к внешнему удобству. Нет! Японский дом скорее неудобен для жилья изнеженного европеизированного человека, но все дышит в нем строгой чистотой и скромностью! Его богатства никогда не бросаются в глаза. На первый взгляд дом крестьянина ничем

не отличается от дома богача, и только опытный глаз может постепенно оценить скромные на вид богатства: драгоценное дерево, старинную посуду, камни, растения, привезенные с далеких гор. Каждая вещь в доме, каждое деревцо и камень имеют свою длинную историю. Мы привыкли подходить к предметам с вопросом: удобно, неудобно? красиво или некрасиво? Созерцательный взгляд японца смотрит куда-то по ту сторону красоты и удобства. Мы видим огромный камень в саду, с углублением, наполненным водой для омовения при входе в домик для чайной церемонии, и думаем, каких огромных усилий стоило перевезти сюда этот камень и не проще ли было приспособить для омовения что-либо другое? А углубленный взгляд японца видит за этим камнем водопад в далеких горах, который, тысячелетиями падая с высоты, выдолбил в нем углубление. В прудике, под полукруглым мостиком, лежит огромная каменная черепаха. Золотые рыбки, играя, проплывают между ее кривыми лапами. Она почти незаметна там, в тенистой глубине, и не каждый, гуляя по саду, обратит на нее внимание. Но тем сильнее будет поражен тот, который ее заметит, поражен скромностью хозяина, поместившего драгоценную тысячелетнюю вещь в такое укромное место. По-видимому, в этом и заключается вся тонкость японского творчества: прекрасное, драгоценное не должно кидаться в глаза.

Особенно сильно я почувствовала выражение японского духа в старинном обычае чайной церемонии. Совершенно не подготовленному европейцу, незнакомому с особенностями характера японцев, вся чайная церемония может показаться странной и бесцельной. Сначала нам показали чайную церемонию в самой простой ее форме, чтобы дать нам некоторое понятие об этом обычае. Мы были не подготовлены и недоумевали, почему столько торжественности и труда приложено для того, чтоб выпить чашку чаю. Через некоторое время

после этого мы были приглашены Юй-сан на чайную церемонию по случаю открытия деревенского домика около Токио. Передавший это приглашение Екой-сан принес книгу Окакуро, чтобы познакомить нас с чайной церемонией. Из этой книги я узнала историю этого обычая и его смысл. Отчасти благодаря этой подготовке я могла полнее оценить склонность японцев к созерцанию, к выдержке. Я поняла также, что японцы тончайшие знатоки прекрасного и чайная церемония – вид искусства, возведенного в культ.

Мне пришлось познакомиться и с другими направлениями японской жизни. Я бывала в домах японской интеллигенции. Характер их жизни иной. Видно, что любовь к национальному уступила в них место интересам общечеловеческим. Европейская мебель, удобная для занятий, большое количество иностранных книг все указывает на то, что хозяева вынуждены были оторваться от созерцательной жизни, захваченные общим течением американизации.

Турне

В лекционное турне мы поехали втроем: Курода-сан, «заведующий хозяйством», как его называл Курода, и я. Зачем нам нужен был этот заведующий, я так и не поняла. Правда, он брал для нас билеты, спальные места, заказывал обеды и комнаты, но почему этого не мог делать Курода?

Идзюми-сан и мои друзья провожали меня на вокзале в Токио. Прощаясь, я обняла своих и поцеловала мать и дочь, и вдруг увидела такое изумление на лицах Идзюми и Куроды, что мне стало неловко. Японцы отвернулись, законфузились, как будто мы делали что-то страшно неприличное. Чтобы скрыть смущение, Идзюми-сан громко захохотал.

В поезде я спросила Куроду-сан, почему мое прощание с друзьями так удивило их. Курода сконфузился.

– У нас не целуются, – сказал он.

– Как, совсем не целуются, никогда?

– Это стыдно... Муж и жена иногда, когда никто не видит...

– Ну, а если мать расстается с дочерью или сыном надолго, если сын идет на войну, неужели они не целуются перед расставанием?

– О нет, никогда. Они только кланяются друг другу в ноги.

Пульмановские вагоны. Быстрые поезда, удобные гостиницы. Я и не представляла себе, что Россия так отстала от цивилизации. Почти в каждом городе великолепные универсальные магазины, заваленные товарами, с японскими и европейскими ресторанами, целыми садами на крышах зданий, подъемными машинами.

Какой контраст с советской нищетой! В России мы униженно благодарили и просили еще, когда приказчик грубо бросал нам кило полугнилой картошки, а здесь за несколько центов мы получали столько фунтов хлеба, риса, рыбы, и приказчики кланялись и благодарили. Я никак не могла понять, за что они благодарят? Но везде, во всех городах поражало смешение европейской и японской культуры.

Типографии, оборудованные по последнему слову техники, и – тысячи иероглифов в газете. Автомобили, автобусы, трамваи и – рикши в центре Токио. Дешевые телефоны, телеграф (из Осаки передали мою фотографию в Токио по воздуху), необычайно точно и быстро работающая почта и – в центре Токио на крыше здания газеты «Ничи-Ничи» стая почтовых голубей.

Ни Осака, ни торговый город Нагоя не произвели на меня такого сильного впечатления, как старинный город Фукуока на острове Кьюшью. Я проснулась в вагоне от яркого солнца, бьющего в окна моего купе. Симоносеки. Надо было отсюда переправляться на пароходе (паром) на остров Кьюшью.

К счастью, в городе Фукуока европейская цивилизация мало коснулась быта японцев. Во всем городе не было ни од-

ной европейской гостиницы. Курода-сан и «заведующий» были смущены, а я была очень рада, наконец-то я увижу, как живут японцы. Мы остановились в лучшей японской гостинице. При входе нас встретила толпа людей. Все они низко кланялись и улыбались. Кланялись и мы. На меня смотрели с любопытством, как на чудище. В прихожей, где стояли рядами множество гэта и башмаков, мы сняли обувь, и нас повели по полированной лестнице наверх.

– Хозяин говорит, – сказал Курода, – что он вам приготовил самую лучшую комнату в гостинице.

Действительно, комната была великолепная. Большая, чистая, с балконом на канал и видом на город. В углублении – «такеномо» – высокая ваза и, как полагается, один цветок, на полу – четыре одинаковые большие плоские шелковые подушки, низенький столик, и больше ничего. Трудно это рассказать, но когда узнаешь Японию, ее быт, нравы, традиции, в этой пустоте чувствуешь такую гармонию и красоту, что каждая лишняя вещь – стул, стол, чемодан – режет глаз, как чернильное пятно на белом одеянии.

Вслед за нами беззвучно вплыла женщина в темном кимоно и высокой прическе, она повернулась ко мне, колени ее мягко и гибко подогнулись, она вся свернулась и опираясь руками о татами, склонила голову до земли.

Что мне делать? Падать на колени? Кланяться стоя? Кто была эта женщина? Я с мольбой смотрела на Куроду.

– Это служанка, – сказал он, – здесь они еще сохранили старинный обычай кланяться в ноги, вы просто поклонитесь ей… – И не успел договорить, как вдруг, вздернув штаны, подогнул колени, и вот оба они – и женщина, и Курода лежали на полу и кланялись друг другу, головами касаясь татами и бормоча приветствия. И то же с заведующим…

Сидели мы на полу, на плоских подушках. Ноги мешали, я не знала, куда их девать. Вытянувшись – неудобно, и спине

больно, сядешь по-японски – на колени, колени болят, легче всего было сидеть, скрестив ноги, по-турецки. Женщина входила и выходила. Сначала она принесла печку, похожую на чугунок, полную горячих углей, и, опустившись на пол, щипчиками стала подбавлять черные угли. Это хибати – непременная принадлежность каждого японского дома. Зимой в японском доме в каждой комнате есть хибати, иногда другого отопления не бывает. Трудно себе представить, чтобы в японскую комнату можно было внести тяжеловесную европейскую печку с трубами – это нарушило бы всю красоту, всю гармонию японского дома. С другой стороны, я никогда не видала ничего более непрактичного и мучительного, чем хибати, – туда кладут непрогоревшие угли, отчего у меня всегда начинались страшные головные боли. Я страдала от них хронически, несколько раз почти теряя сознание. Впоследствии я предпочитала холод, надевала на себя несколько теплых кимоно, только бы не вносили в комнату хибати.

Первое, что подают в японском доме, – это зеленый чай с бобовыми пирожными. Чай этот японцы пьют несколько раз в день – среди дня, перед обедом, перед ужином, иногда после обеда.

От чая и хибати в номере у нас стало тепло и уютно. Женщина унесла поднос с чаем, придвинула к нам низенький столик и опять исчезла. Вернулась она обратно уже не одна. Несколько человек несли три подноса и деревянное ведро с рисом. На каждом подносе были чашечки фарфоровые, чашечки деревянные с супом, блюдечки с рыбой, с зеленью, соленая, свежая, тертая редька, бутылочка с соей. Женщина свернулась на полу рядом с рисом, и, как только фарфоровая чашечка с рисом опустошалась, она подкладывала еще. Курода учил меня есть палочками, а женщина ласково смеялась, закрывая рот широким рукавом кимоно.

После ужина опять пришли несколько женщин. Они отодвинули бумажные, с белыми аистами дверцы – «шоджи[62]» – в стене, вынули толстые шелковые не то одеяла, не то матрацы и постелили их на самой середине комнаты. Под изголовье положили круглый, жесткий, набитый стружками шелковый валик. Японки подкладывают его под шею и так спят, чтобы не растрепать прически, которые делаются иногда на несколько дней, других подушек они не употребляют. Сверху японки настелили несколько очень толстых шелковых одеял, громадное шелковое на вате кимоно, в которое было вложено бумажное – это вместо ночной рубашки.

Лекция моя была на другой день. Моими слушателями большей частью была учащаяся молодежь: девушки со свежими матовыми лицами, в кимоно и беленьких таби[63] и с гладко причесанными блестящими волосами, гимназистки в черных с золотыми пуговицами куртках, женщины и мужчины, почти все в кимоно. Они сидели два часа на полу, поджав под себя ноги, и терпеливо слушали. Должно быть, Курода прикрашивал мою речь. Я говорила минуту, две, а он переводил иногда более пяти минут. Но он говорил хорошо, потому что женщины то смеялись, то плакали и, вытаскивая из широких рукавов кимоно платочки, незаметно вытирали глаза.

Курода был доволен собой:

– Я хорошо говорил, – сказал он, – потому что это мой родной город.

На следующий день Курода уехал в деревню проведать мать, а меня оставил на попечение заведующего хозяйством.

---

[62] Шоджи (сёдзи) – промасленная бумага, используемая в японских домах для раздвижных окон и дверей.

[63] Таби – традиционные японские носки высотой до лодыжки с раздельным большим пальцем; их носят и мужчины, и женщины с дзори, гэта и другой традиционной обувью с ремешками.

Мне хотелось побыть одной, я устала от корреспондентов, разговоров, фотографов. Рано утром, записав адрес нашей гостиницы, я ушла в город. Я бродила по узким переулкам, любовалась чудесными лавочками с посудой, здесь ее было особенно много, и она была особенно красочная, покупала ненужные вещи, смотрела, слушала и наслаждалась. Пришла я домой к обеду. Недалеко от гостиницы меня встретил заведующий.

– Что с вами случилось? – спросил он испуганно. – Я хотел обратиться к полиции. Где вы были?

– Я гуляла.

– Са-а-а! Я ужасно волновался. – Он шел рядом со мной, крутил головой и охал: – Са-а-а. – И пока я снимала башмаки у входа, о чем-то оживленно разговаривал с хозяином и охал: – Са-а-а!

После обеда я опять решила уйти, но в передней моих башмаков не оказалось. Я спросила хозяина. Он отрицательно крутил головой. Я стала сердиться, настаивать, указывая на свои ноги и жестами поясняя, что я хочу идти в город. Хозяин ушел, я думала, что он принесет мне башмаки, но вместо этого он привел с собой заведующего.

Теперь заведующий не отпускал меня ни на шаг. Я гулять, он за мной, я на балкон, и он на балкон, я сижу в своей комнате, он сидит тут же. Я выходила из комнаты, он торопливо вставал и шел. Я теряла терпение...

– Пожалуйста, оставьте меня, я хочу быть одна.

Он улыбался и ждал. Стоило мне двинуться, как он шел за мной.

– Извините меня, мне надо вымыть руки...

Он кланялся и улыбался:

– Пожалуйста, я провожу вас.

Когда я выходила из уборной, он стоял и ждал меня. Объясняться с ним было очень трудно. Предполагалось, что он

говорил по-английски, но каждое слово он долго обдумывал, и понять его было трудно. У японцев, не бывших в Англии или Америке, своеобразный английский язык, который понять почти невозможно. Он долго, чему-то удивляясь, наклоняя голову то вправо, то влево, старался мне объяснить что-то и, когда я не понимала, вдруг неожиданно по-детски заливался хохотом.

Тысяча иен

Крестьяне, лавочники, плотники, каменщики, одним словом, все работающие ручным трудом одинаково вас поражают ловкостью, быстротой и налаженностью в работе. Но когда надо обсудить, объяснить, принять какое-либо решение, японцы страшно медлительны. Проходят долгие часы, прежде чем японец продумает и предпримет какой-либо шаг. Он должен вникнуть во все подробности, взвесить все обстоятельства не только прямые, но и косвенные, расспросить о семейном положении заинтересованных лиц, узнать их биографию и только тогда, путем мучительных и длительных размышлений, прийти к определенному решению. Но если японец решил, переубедить его трудно, почти невозможно.

Разговоры начинаются издалека, и вначале нельзя понять, куда они клонятся. Именно так и было, когда к нам в Токио на квартиру приехали два пожилых японца.

– Позвольте представиться, – сказал один из них на прекрасном, отчетливом русском языке. – Это Иванами-сан, большой издатель в Токио. Он поклонник Толстого, всю жизнь любил и издавал его книги. Я – профессор Ясуги. Я работаю у Иванами-сан в качестве одного из переводчиков сочинений вашего отца на японский язык.

Мы долго кланялись друг другу, бормоча что-то по-русски, по-английски и по-японски, а потом сели к столу в «европейской» столовой.

Долго по-японски говорил Иванами-сан – издатель. Он говорил, то повышая, то понижая голос, без жестов, сложив руки на коленях, и только по покрасневшему потному круглому лицу его заметно было, что он волновался.

Профессор Ясуги – сухой, выдержанный человек с правильными чертами лица терпеливо слушал, не перебивая, изредка кивая маленькой головкой. Наконец, побагровев так, что влага выступила на широком мясистом носу, издатель замолк.

Ясуги перевел речь издателя четко, ясно, без тени сентиментальности и волнения. Он с юности увлекался Толстым, его учением. Был вегетарианцем, вел простой образ жизни, исповедуя принцип непротивления злу насилием. С годами юношеский пыл несколько остыл, жизнь заставила Иванами-сан отказаться от воплощения идей Толстого в жизнь, но он навсегда сохранил к нему любовь и благодарность за его благотворное влияние. И теперь он посвятил себя изданию Полного собрания сочинений.

Профессор кончил. И снова долго говорил издатель. Под конец у него задрожал голос, и он замолчал.

– Иванами-сан говорил сейчас о том, – чеканил профессор, – какое впечатление на него произвела первая книга вашего отца. Философия Толстого была для него откровением...

И этап за этапом передо мной развертывалась внутренняя жизнь Иванами-сан. Все, что он говорил, меня очень трогало. «Среди русских редко встречается такое знание и любовь к моему отцу, как среди этих, как будто чужих мне, людей», – думала я. Я чувствовала, что они пришли по делу, мне хотелось узнать, чего они хотят, но прошло уже часа два, а я все еще не понимала цели их прихода.

Опять пространно говорил издатель. Он коснулся отказа моего отца от авторского права. Было время, когда книги моего отца приносили ему доход, но сейчас дела идут плохо и издание ему почти в убыток, но он все-таки печатает Толстого.

– Поблагодарите Иванами-сан, – сказала я, – меня очень трогает и радует, что японцы так хорошо знают сочинения моего отца и любят их.

Ясуги перевел. Иванами радостно закивал головой и стал быстро-быстро говорить.

– Иванами читал про вас, – сказал Ясуги, – он знает, что отец любил вас. Он рад познакомиться с вами...

Прошел еще час. Я еще ничего не могла понять, но почувствовала, что развязка приближается. Мы говорили о России, о революции.

– Иванами знает, как тяжело вам всем жилось в России, – говорил Ясуги-сан, – он знает, что и сейчас вам очень тяжело в чужой стране, без денег, без друзей, он считает, что обязан помочь вам...

Иванами взглянул на Ясуги и стал искать что-то в портфеле, достал длинную бумажку, прикрыл ее рукой и выжидательно уставился на профессора.

–...и он принес вам подарок, чек на тысячу иен, – закончил Ясуги-сан.

Наступило неловкое молчание.

– Поблагодарите его, – сказала я, – но я не могу принять такой подарок.

Стул беспокойно заскрипел под плотным телом издателя. Он заволновался, заерзал.

– Почему же?

– Я не могу взять денег, которых я не заработала.

– Но ваш отец заработал их...

– А завещание? Вы знаете, что отец завещал мне все его рукописи и авторские права с тем, чтобы я могла сохранить

его права – предоставить всем желающим печатать его сочинения бесплатно. Как же я могу нарушить его волю и брать деньги за его сочинения?

Японцы задумались.

– А вы не могли бы принять от меня деньги эти как подарок? – спросил Иванами-сан.

– Нет. Я благодарю вас, но такой подарок я принять не могу.

Издатель волновался, открывал, закрывал портфель. И когда потерял надежду убедить меня, вдруг защелкнул портфель и широко улыбнулся:

– Он спрашивает, – сказал Ясуги-сан, – можно ли вас всех трех пригласить обедать? Ему будет очень обидно, если вы откажетесь.

Мы с радостью согласились. Они долго кланялись и ушли.

Через несколько дней за нами приехали на автомобиле и повезли нас в китайский ресторан.

В небольшой отдельной комнате нас ждали человек двенадцать японцев. Все они говорили по-русски. Это были переводчики русских классиков в издательстве Иванами.

Сели мы обедать около шести, а встали из-за стола около девяти вечера. И что это был за обед! Одно кушанье сменялось другим: суп, дичь, мясо, рыба, раки, салаты, ласточкино гнездо и голубиные яйца, морские водоросли, креветки, омары, знаменитый карп, принадлежность всякого парадного китайского обеда, зажаренный так, что съедались плавники, голова и хвост без остатков. Я насчитала больше двадцати блюд.

– Берите всего поменьше, – шептал нам наш сосед. Но порции на крошечных, кукольных тарелочках нам казались такими маленькими и мы так мало рассчитывали на двадцать блюд, что, когда дело дошло до карпа, мы были совершенно сыты. А под самый конец, когда все уже едва дышали от сы-

тости, снова подали рис и зеленый чай. И все до единого японцы съели по чашечке риса, запили зеленым чаем, а чашки из-под риса сполоснули и выпили, чтобы не пропадала ни одна рисинка. Таков японский обычай. Оставлять рис – грех.

Обед кончился. Китайцы принесли свернутые жгутами горячие, мокрые полотенца. Надо было разворачивать и вытирать лица и шеи от выступившего от обилия еды пота, а затем руки. Иванами-сан был особенно смешон. Он отдувался, пыхтел и, закрывая глаза, с наслаждением тер себе шею, затылок, лысину и весь блестел, как самовар.

Через год после этого Иванами-сан издал мою книгу об отце[64].

Студент

Постепенно мы привыкли ходить одни по улицам, ездить на трамваях, выучили несколько самых необходимых слов, объяснялись по-английски, русски, немецки, французски.

Несмотря на трудности, некоторые лишения – жизнь казалась нам сплошным чудесным праздником. Прогулки по улицам были так же интересны, мы наслаждались, глядя по сторонам, стараясь проникнуть в тайны этой чуждой нам, но прекрасной жизни. Иногда вдруг вечером какая-нибудь улица освещалась фонариками, свечами, вдоль тротуаров устраивались сплошным рядом торговцы со всевозможными товарами: игрушками, посудой, золотыми рыбками, материями, флагами, тут же пекли сладкую картошку, жарили орехи и каштаны. Вместе с толпой мы двигались по улице, толпа постепенно сгущалась, и вот мы приходили к маленькому шинтоистскому храму, освещенному разноцветными

[64]Под названием «Из моих воспоминаний» она была издана в Японии и в парижском журнале «Современные записки». В США вышла под названием «Жизнь с отцом».

фонариками. Оказывалось, что был праздник этого маленького храма, вся улица праздновала его.

Иногда по вечерам взгляд уходил, падал в глубь скромного японского домика с бумажными дверками. Блестели чистые татами, электрические лампочки освещали целомудренную чистоту комнаты. Люди сидели чинно, спокойно и ели палочками рис из крошечных фарфоровых чашечек. Покоем веяло от фигур в широких удобных кимоно, глиняного хибати; и какое тонкое изящество и красота были во всей обстановке, обиходе даже бедного простого японского жилища!

В конце декабря японцы стали готовиться к Новому году.

Украсились лавочки рисовой соломой, сплетенной туго и чисто, как девичьи косы. Она спадала канатами сверху с кистями на концах или красовалась веночками, посредине которых висели апельсины на зеленых веточках. Среди зелени бросались в глаза красные, как кровь, громадные омары. Украшались лошади, автомобили, на улицах выросли аллеи из бамбуков и сосен, в окнах цветочных магазинов появились причудливо изогнутые карликовые фруктовые деревья, осыпанные цветами. И все имело значение: сосна – символ долголетия, бамбук – постоянства, слива – выносливости. В магазинах выставили изображение лошади. 1930-й год посвящен лошади. Счет идет до двенадцати. Первый год посвящается мыши, второй – корове или быку, третий – тигру, четвертый – зайцу, пятый – дракону, шестой – змее, седьмой – лошади, восьмой – овце, девятый обезьяне, десятый – петуху, одиннадцатый – собаке, двенадцатый – кабану.

Отсюда у японцев целая теория характеристики человека, в зависимости от того, когда он родился. Плохо, если жених родился в год, посвященный тигру, а невеста курица (год петуха), – счастья не будет. Самое идеальное, когда оба они родились в год одного и того же животного, тогда они непременно сойдутся характерами и будут счастливы. Но если муж рождается в год, посвященный лошади, а жена – ко-

рове, т. е. животным, которые вместе уживаются, это не так плохо.

Год рождения считается на девять месяцев раньше, чем у нас. Туся ужасно этому обрадовалась: «Мама́, значит мне не 14, а 15 лет», – говорила она с восторгом.

В это самое время, перед Новым годом, пришел к нам студент. Он вошел в столовую, снял свою потрепанную студенческую фуражку (потрепанные фуражки особый шик у японских студентов), поклонился и поставил на пол фурусики[65] с фруктами.

Стоя у входа, он произнес длинную речь. Он говорил, как заученный урок, делая небольшие остановки на слогах и странно, с напряжением катая букву р.

– Я хочу заниматься литературрой и ррусским языком, я люблю Толстого, я его много читал. Больше всего люблю «Воскресение». Я буду очень благодарен, если вы сможете давать мне урроки ррусского языка и ррусской литера-турры.

Он кончил, со свистом и шипением, как это часто от скромности и застенчивости делают японцы, втянул в себя воздух и замолчал.

Я ответила ему.

– Не понимаю, – сказал он.

Я повторила еще раз, внятно выговаривая слова. Он, видимо, даже и не пытался понять.

– Не понимаю, – повторил он, сморщился, около глаз собрались мелкие складки, лицо из серьезного и некрасивого превратилось в детски наивное и милое, и он расхохотался. И мы все: и Туся, и Ольга Петровна, и я – стали смеяться. Оказалось, что он совсем не умеет говорить по-русски, а только что произнесенную им речь выучил по словарю.

Жестами и с помощью словаря, который студент тонкими руками быстро-быстро перелистывал, мы кое-как договорились.

---

[65] Фурусики – узелок.

Он будет приходить к нам два раза в неделю. Туся будет учить его по-русски, а он будет учить ее по-японски.

Юноша сделался завсегдатаем нашей квартирки на улице Минами-Терамачи. Раза два он приходил к нам во время обеда. Мы угощали его, но он никак не мог есть русских кушаний.

– Спаси, – говорил он, – довольно.

И так как японская вежливость не позволяла ему ничего оставлять на тарелке, он давился и ел, но, когда снова приходил во время еды и мы предлагали ему борщ, он, не подходя к столу, поспешно говорил:

– Спаси, мне уже довольно.

Туся, Мария-сан, как называл ее студент, любила кинематограф, и юноша возил ее. Бывало, они не возвращались к девяти часам. Ольга Петровна начинала беспокоиться. Но все кончалось благополучно. Молодой человек заботился о ней, угощал ее японскими кушаньями, если шел дождь, привозил ее домой в такси. Они научились прекрасно понимать друг друга. Правда, Тусе не хватало терпения слушать длинные, заранее подготовленные речи японца. С необычайной быстротой она подхватила несколько десятков японских слов, с помощью которых совершенно забивала его красноречием. Студент не стеснял нас. Он приходил иногда прямо из университета с книгами и, если мы были заняты, а Туся не возвращалась еще из школы, садился в столовой к столу и занимался. Русский язык давался ему туго, писать слова ему было легче, чем произносить. Разговор занимал много времени, он напряженно думал перед тем, как сказать фразу, подумавши, долго водил пальцем по столу – писал, шептал и только после этого произносил слова.

– Я очень... люблю... Катюса... Знаете... песня... Ка-тюса-каваи (милая Катюша).

И, нисколько не смущаясь, он закрывал глаза и пел: «Катюса, Катюса, Катюса каваи...»

Японцы уверены, что, издавая эти странные, чуждые нам звуки, они поют русскую песню.

Студент рассказывал, что его отец купец и не хочет, чтобы он, его старший сын, учился, а хочет, чтобы он тоже был купцом, потому что старший сын должен наследовать профессию отца. Отец недоволен, сердится, что его сын хочет заниматься литературой. После отца старший сын занимает второе место, если отец умирает, он несет ответственность за всех остальных. Ему много дано, но с него много спрашивается. Излюбленная тема в литературе, в театральных пьесах: старший сын, сбивающийся с пути истины, причиняющий горе родителям. Но немало трагедий происходит в японских семьях, когда старший сын лишен свободы выбирать профессию, которая ему нравится, к которой он призван, а должен делать то, что всю жизнь делал его отец.

Пока я писала свою книгу для Иванами-сан, мы жили между Осакой и Кобе в маленьком местечке Асия, около самого океана. Студент приехал проведать нас и привез с собой своего брата.

Меньший брат очень отличался от старшего. Гимназическая тужурка сидела на нем как мешок, он не умел носить европейскую обувь, грубые, грязные, на шнурках башмаки он надевал на босу ногу, не зашнуровывая, и, входя в дом, ронял их с ног, как гэта. Казалось, загорелое лицо его было плохо отмыто, но выражение лица было прелестное – детски наивное и вместе с тем очень вдумчивое и серьезное. Робко и благоговейно, заглядывая в глаза Марии-сан, он раскладывал перед ней на полу знаменитых артистов театра Кабуки, которых нарисовал: с женскими прическами, с выбритыми головами, с длинными шлейфами, в ярких кимоно. Рисунки были сделаны четко, аккуратно, на тонкой бумаге, может быть, срисованы с театральных журналов.

– Приехали советоваться, – говорил старший. Мы только что кончили японский обед, заказанный в ресторане, и сидели, поджав под себя ноги, на полу. Советоваться как с матерями. – Студент быстро-быстро водил пальцем по татами. – Мы ушли из дома. Отец сердится, не хочет, чтобы брат был художником, а я занимался литературой. Он сказал, нам надо торговать. Торговать мы не хотим, и он вопросительно посмотрел на Ольгу Петровну и на меня.

Мы не знали, что сказать им, а между тем юноши приехали за тысячу миль за советом, волновались, ждали решения.

– Постарайтесь добиться согласия родителей, – сказала я неубедительно. Без помощи отца вам трудно будет.

Они прожили у нас два дня. Младший брат нарисовал Тусе много артистов театра Кабуки, старший просил ему на память написать изречение Толстого. Мы проводили их на поезд, и, когда они уехали, у меня осталось чувство, что мы не сумели им помочь.

По-видимому, они добились согласия отца, потому что, когда мы через некоторое время вернулись в Токио, оба брата встретили нас.

На курсах русского языка, которые мы открыли в Токио, старший брат был самым аккуратным и прилежным учеником. Наша дружба продолжалась. Он говорил уже немного по-русски, мы читали Тургенева, Достоевского, Толстого.

Юноша по-прежнему часто приходил к нам в дом и ездил с Марией-сан в кинематограф. Ольга Петровна уже совершенно спокойно отпускала с ним дочь, студент был своим человеком у нас в доме.

Но в один прекрасный день юноша не пришел на курсы. Нам сказали, что он серьезно заболел и уехал на родину. Прошло еще несколько месяцев, он не появлялся.

– Он больше никогда не придет, – сказал мне его друг. – Он был очень болен, лежал в больнице, теперь ему лучше.

– Чем же он болен?

– Серьезно болен, нервно болен...

Так и не добились ничего. А перед самым отъездом в Америку я получила от него милое, наивное и дышащее скромностью и самоуничижением письмо.

Он писал, прося простить его ради Христа за то, что он такой «неправдый», любил Марию-сан, любил, любит и всегда будет любить Марию-сан, чистую, чистую, как небо. Недавно во сне он видел Толстого, Ольгу Петровну, Марию-сан и меня, и все мы простили его и любили... Он проснулся и зарыдал от радости...

Милый, бедный студент, а мы не подозревали, какая драма разыгралась в его душе!

Фехтование

Мы любили старика Идзюми-сан. Он был такой свой – русский, что мы забывали, что это человек другой расы, другой культуры. Может быть, это было потому, что он так долго прожил в России?

По-русски он говорил плохо, так что мы все – и Ольга Петровна, и Туся, и я – покатывались на него со смеху.

Идзюми-сан часто бранил меня за неделовитость, непрактичность.

– Толстая-сан, – говорил он, – большой дурак.

Я делала вид, что обижаюсь.

– Почему же, Идзюми-сан?

– Вот деньги делать не умеет, большой дурак. Граф тоже был большой дурак, – увидав недоумение на моем лице, прибавил: – вот большой умный дурак. Ничего не надо, ничего не надо, все раздавает! Большой дурак! – И, широко открывая рот и показывая полный рот золотых зубов, хохотал.

– А вы умный, Идзюми-сан?

– Я очень вумный, очень хитрый.

– А деньги умеете добывать?

– Деньги у меня мало, денег нету!

Один раз старик пришел грустный, грустный.

– Что с вами, Идзюми-сан?

– Вот я – «Живой труп»[66]. Старший сын, нехороший сын... учиться не хочет, сакэ[67] пьет, все деньги давай, давай... Я хочу, как живой труп, уйти из дома... Не хочу семья, жена, дети... вот уйду...

Но это бывало редко. Он постоянно шутил, смеялся, коверкая русский язык, и смеялся не только над нами, но и над самим собой.

Идзюми-сан казался старше своих лет: голова голая, лицо смятое, похожее на потемневшую, залежавшуюся, мягкую грушу, он ходил, не поднимая ног, волоча их за собой, и казался всегда усталым, разбитым. Мы удивились, когда узнали, что старик – большой специалист по самурайскому фехтованию.

– Когда фехтовает, я как молодой, – говорил он. – Все забываю – нехорошего сына, работу, забываю, что денег мало. Когда фехтовает, я честный, чистый, фурабрый, как Бог!

Мы думали, что преподавание фехтования давало Идзюми-сан побочный заработок, но, когда мы спросили его об этом, он даже испугался:

– Деньги нельзя! Вот чистый, когда фехтовает, о деньгах не думает!

У японцев есть обычай. Зимой, в самое холодное время, в течение известного срока они должны вставать около трех часов утра и заниматься каким-нибудь благородным спортом или искусством. Так, например, приверженцы «Но» поют, играют на старинных инструментах. Идзюми-сан преподавал фехтование.

---

[66] Драма Л. Н. Толстого.

[67] Сакэ – японский напиток, приготовленный из риса.

– А почему же среди ночи?

– От сильный характер. Холодно, вставать не хочется. Идзюми-сан встает, фехтовает, как самурай!

Один раз он пригласил нас посмотреть на фехтование.

За нами приехал громадного роста бородатый японец в темном кимоно и широкой, в сборках юбке. Японцы бород не носят, и этот молодой человек очень похож был на айна[68].

В фехтовальном зале было много народа. Жена и дочь Идзюми-сан хлопотали по хозяйству, готовили чай, ужин. Все собравшиеся, кроме Идзюми-сан, были молодые люди, большей частью студенты, одетые по-японски, некоторые в сборчатых юбках.

Нас усадили на полу, на возвышении, подали зеленый чай. Началось представление. Одновременно выступили несколько пар в шлемах, латах, кольчугах, юбках и белых таби[69]. Противники низко поклонились друг другу, скрестили рапиры и замерли. Мы жадно следили за ними, стараясь узнать среди сражающихся Идзюми-сан. Нашего проводника, похожего на айна, мы признали сразу – он был выше всех. Вдруг они все сорвались с места, дико, пронзительно, по-звериному закричали. Посыпались удары по головам, плечам, японцы метались со страшной легкостью и быстротой по мягкому, покрытому татами полу, прыгали, отлетали друг от друга, налетали снова.

– Раз, раз! – глухо раздавались удары рапир. «Неужели они так бьют по старой голове Идзюми-сан!» И вдруг мы узнали его. Он прыгал как-то боком, семеня ногами, скакал, метался из стороны в сторону, кричал, его так же, как других, били по голове.

– Неужели ему не больно? – беспокоилась Туся.

---

[68] Айны – особое рослое племя, живет на севере Японии.

[69] Особые японские носочки.

Сражение кончилось. Идзюми-сан проиграл. Противники низко, в ноги, поклонились друг другу и через несколько минут, переодевшись, присоединились к нам. И нас поразило, что в них не было заметно ни следа не только ненависти, но даже возбуждения борьбой. Расправив свои широкие юбки, они спокойно уселись рядом с нами, и только старик Идзюми дышал часто и тяжело, голая голова его ничуть не пострадала, а только блестела больше обыкновенного.

– Вот уставал, – сказал старик.

Одна пара сменялась другой. Мы уже устали смотреть. Жена и дочь Идзюми-сан приносили и уносили подносы. Пили много сакэ, постепенно разгорались лица, ожесточеннее сыпались удары, более дикими становились крики сражающихся. В перерывах между фехтованием пели песни, играли на разных инструментах.

Мы решили ехать домой и пошли к выходу. Высокий айн вырос перед нами и молча пошел впереди по направлению к станции.

– Спасибо, спасибо, Идзюми-сан, – кричали мы, поспешая за бородатым.

* * *

Да, мы сами того не знали, как мы привязались к старику Идзюми-сан. А вместе с тем он забыл нас. Недели три его не было. Я хотела позвонить в редакцию, но не сумела этого сделать, хотела поехать, но откладывала. И вдруг я получила открытку. Я едва разобрала, что было в ней написано неверным, расползающимся почерком. Идзюми-сан писал, что он в больнице, что он очень болен, и просил сварить и принести ему русский кисель. Письмо было подписано: ваш старичок. Я немедленно отправилась к нему. Он слабо пожал мне руку.

– Умирает, – сказал он. – Вот, много фехтовал, уставал – воспаление...

Доктора сказали, что он был слишком стар для того, чтобы выносить резкие движения фехтования. У него сделалось воспаление легких и осложнилось гнойным плевритом.

Русский кисель – было последнее кушанье, которое он съел.

И когда пришло известие о его смерти, мы прочувствовали, что потеряли друга.

Деревня

Начало января. Сумерки. Мы подъехали к тяжелым, шалашом свисающим воротам, крытым черепицей. Широким, просторным двором мы прошли к длинному, белеющему бумажными стенками деревенскому дому и через деревянное крыльцо вошли в комнату, ожидая тепла после долгой езды по морозу. Но нас сразу охватил леденящий холод нетопленых, будто нежилых комнат.

– Пожалуйста, входите, раздевайтесь, – говорил нам молодой хозяин Исида-сан.

Никто не торопился закрывать бумажные двери, да и печей кругом не было. Но мы покорно сняли шубы и задрожали. Японцы и не думали согревать дом, они согревали себя. Нас тоже одели в теплые ватные кимоно и пригласили сесть на подушки на пол около жаровни, накрытой большим ватным одеялом.

– Это котацу, – сказал Исида-сан, – сейчас вы согреетесь.

Мы все сели вокруг «котацу», закрывшись чуть не по пояс одеялом. Японка принесла неизменный зеленый чай, и через несколько минут мы почувствовали, как раскаленные угли под одеялом грели нам ноги, тепло поднималось выше, и стало совсем тепло.

Профессор Набори, приехавший с нами из Токио, и Исида-сан – оба говорили по-русски. Года за два до нашего приезда в Японию Исида-сан был в России и в Ясной Поляне. Я

показывала ему школу, музей, деревню, устроила вечер с народным пением и пляской. Теперь он старался отплатить мне за гостеприимство.

Набори-сан ездил в Россию на торжества по поводу столетнего юбилея моего отца в 1928 году.

Сестра Исиды-сан принесла нам ужин – торжественный новогодний ужин каждому отдельный поднос на ножках. Центральное место на подносе занимало январское кушанье – суп, в котором плавали сладкие грибы и кусок белого, особо приготовленного теста.

Отец Исиды-сан – суровый старик с длинными, свисающими книзу усами, скорей похожий на китайца, не ел, он сидел около хибати в сером, грубого шелка кимоно, курил длинную трубку с золоченым наконечником и молчал. В его умных, спокойно-уверенных глазах пробегала усмешка.

Что он думал? Гордился ли своим сыном-интеллигентом, не понимающим, по-видимому, ничего в хозяйстве, любящим книги, литературу, или огорчался, что сын не помогает ему разводить тутовые деревья, шелковичных червей? По одному взгляду на большой новый дом, на двор, служебные постройки было видно, что хозяйство здесь прочное и что старик хороший хозяин.

После ужина все перешли в соседнюю комнату, где тоже не было ни столов, ни стульев, одни шелковые подушки на полу, но зато по стенам стояли полки и шкафы с книгами, большей частью русскими. Профессор Набори, Ольга Петровна, Туся и я жадно принялись рассматривать их. Профессор – потому что он преподавал в университете русскую литературу, а мы – потому что уже несколько месяцев не видали ни одного печатного русского слова.

А старик со своей трубкой перешел в ту же комнату и, сидя неподвижно на подушке у хибати, не переставая курил и насмешливо улыбался. О чем он думал?

Во дворе шло движение. Стучали гэта по булыжнику, кто-то перебегал от одного окна к другому.

– Крестьяне пришли, – сказал Исида-сан.

– Они хотят спросить вас о России, они очень интересуются.

В кухне на полу сидели в ряд восемь человек. Перед каждым из них стояла чашечка с рисом, тарелочка с соленой редькой. Черные с отливом волосы, цвета воронова крыла, были гладко причесаны, точно припомажены, и в почти неподвижных фигурах, заветренных здоровых лицах, больших, привыкших к тяжелой работе, отдыхающих на коленях руках было полное спокойствие.

– Они просят вам сказать, что читали Толстого и очень рады вас видеть. Им очень хотелось бы подробнее знать о революции. Они читают газеты, до них доходят разные слухи, но они не знают, что правда и что нет.

Исида замолчал, склонив голову набок, вопросительно поглядывал то на крестьян, то на нас. Сидевший с краю, постарше других, с серебряными нитями в волосах, высокий жилистый сухой человек поставил перед собой чашечку с рисом, из которой ел, тяжелые, висевшие широкими крыльями шелковые рукава опустились, сложились. Он уперся руками в колени и заговорил:

– Они хотят узнать, что такое пятилетний план? – переводил Исида, – нужна ли народу индустриализация? что делается правительством для крестьян?

Я отвечала.

– Они также интересуются, как происходят выборы.

Они удивились, когда узнали, что в России нет тайного голосования. А когда я сказала, что в России только еще предполагается ввести всеобщее обучение, Исида с гордостью сказал:

– В Японии всеобщее обязательное обучение введено шестьдесят лет тому назад.

Но больше всего их интересовал ответ на вопрос: должен ли в России старший сын наследовать профессию отца? И когда услыхали, что в России все сыновья имеют равные права, очень удивились и громко, разинувши рты, простодушно, по-детски хохотали.

– У нас не так, – сказал Исида-сан. – Даже если отец пьянствует, проживает все свои деньги, сын обязан жить с ним и крестьянствовать. Здесь недалеко есть скала и крутой обрыв. С этой скалы бросился несчастный сын – не мог перенести тяжесть жизни с плохим отцом.

Снова и снова мы сталкивались в жизни японцев с отношениями отца и старшего сына. Традиция-обычай приводил к страшным семейным драмам, играл первенствующую роль в жизни японцев. Мы еще так недолго были в Японии, а уже много раз сталкивались с этим вопросом.

Утром Исида повел нас гулять. Толпа ребятишек – мальчиков, девочек, с прибинтованными к спинам младенцами, – щелкая гэта, бежала за нами. Мы пришли к старинному деревянному шинтоистскому храму. Издали он показался мне пестрым. Подойдя ближе, мы увидели, что все стены покрыты разными иероглифами, орнаментами, фигурами, целыми композициями. Мое внимание привлекла картина: молодой японец с кувшином стоит у ключа, могучим потоком льющего из скалы.

– Что это? – спросила я.

– Это целая история. Хороший старший сын очень любит своего отца. Он хочет все сделать для него. Отец любит пить пиво, но сын беден, у него нет денег, чтобы покупать отцу пиво. И вот он, грустный и задумчивый, бредет по лесу и вдруг видит, как из скалы бьет сильный ключ, и он слышит запах

пива. Это Бог вознаградил сына за его горячую любовь к отцу, и источник воды превратил в источник пива.

Опять та же тема, хотя с вариациями. Исида очень хорошо говорит по-русски, но язык его напоминает язык хорошей старинной хрестоматии.

Нас поражает количество надписей на стенах.

– Это молитвы, – говорит Исида-сан. – Почти все они выражают смирение и покорность воле Бога. Вот, например: «Мы не ожидаем прекращения дождя, а усердно продолжаем работать на рисовом поле».

Мы обошли храм кругом. На задворках лежала большая, больше натуральной величины, красная, одноглазая, страшная голова.

– Что это? Почему одноглазая?

– Это святой – Дарума-сан, – сказал Исида. – У него совсем не было глаз, ему «дали» (т. е. нарисовали) один, потому что в этом году был хороший урожай табака, вот если будет хороший урожай шелковицы – ему дадут второй глаз.

– А где же ноги у этого святого?

– Ног нет, он молился, сидя без движения семь лет, и ноги у него пропали. Крестьяне очень любят этого святого, его часто можно видеть около храмов.

За 10 центов Исида купил нам две небольшие головы Дарума-сан с белыми глазами. И я загадала, что дам своему святому один глаз, когда напишу книгу об отце, второй же – когда попаду обратно на родину. Голова цела у меня до сих пор. У святого все еще один глаз, другой белый. Доживем ли мы с ним, не знаю. Картон, из которого он сделан, потрескался, краска облупилась...

Вечером пришли четыре сельских учителя – скромные, тихие, конфузливые трое мужчин, одна женщина. Они учат в местной сельской школе. В ней 7 классов. Учат всем предметам, подготавливая к средней школе. Всего японцы учатся 18 лет.

– Какой же главный предмет в школе? – спросили мы.

– Мораль.

– Что это такое?

– Буквальный перевод – это учение о том, как должен поступать человек. У нас такое правило: если даже ученик хорошо выдержит экзамены по всем предметам, но не выдержит экзамена по морали, он не может больше учиться, и тогда ему будет трудно, почти невозможно найти службу. Мораль – это самый главный предмет.

– Как же он преподается?

– Сначала в самой простой, легкой форме, постепенно углубляется, расширяется, в университетах это уже философия Конфуция, Лао-Тзе.

Мы спросили, есть ли в школах наказание.

Учителя не сразу поняли.

– Конечно, нет! – с живостью воскликнул Исида.

– Ну, а что вы делаете, если ученик не хочет приходить в школу?

– Этого не бывает. Здесь, в этой школе, у нас есть ученики, которые ежедневно ходят в школу с гор, за 15 верст.

– Ну, а что вы делаете с неспособными, с трудными?

– Чем труднее, тем внимательнее к нему относятся. Если ученик неспособный, с ним занимаются отдельно.

Учителя пригласили нас в школу. Мы пошли на другое утро. К сожалению, занятий не было из-за январских праздников. Но учительница и один из учителей показали нам все, что можно было. Здание большое, двухэтажное, с высокими, на солнце, классами, оборудованными по-европейски.

Когда я просматривала учебники, мне показалось, что все это знакомо мне с детства. Учителя по картинкам показывали нам, как с первых же классов проводится преподавание морали.

Вот мальчик нашел на улице карандаш, он не должен его оставлять себе, а должен сейчас же его отдать.

Птичка попалась в комнату, нужно освободить ее, каждый должен представить себе, как тяжела несвобода.

Отец упрекает сына за то, что сын бросает на дорогу мусор. «Подумай, говорит он, – как неприятно это должно быть другим». А вот женщина лежит на полу среди комнаты. Другая женщина склонилась над ней. В руках у нее кувшин с водой и еда. Соседка пришла проведать больную.

Кроме морали, в японской школе с первых же лет развивают патриотическое чувство. На стенах висят плакаты, Исида-сан переводит: «Помни, что твоя лень, отсутствие трудолюбия, – добросовестно поясняет Исида-сан, – приносят ущерб государству». «Лишняя трата денег – темная тень для государства».

Сегодня мы должны вернуться в Токио. Идем домой. Здесь страшное оживление. Старик, сидя на своей подушке с неизменной трубкой, тоже оживлен и весело улыбается. Сестры Исиды-сан нарядили Марию-сан в венчальное кимоно и радостно смеются. Туся тоже довольна и, хотя по типу она мало похожа на японку, венчальное кимоно очень ей идет.

Японцы, особенно простонародье, радуются, смеются, как дети. Перед самым отъездом пришел гость.

– Мой друг, поэт, – говорит Исида-сан.

Поэт очень любит книги моего отца, много читал. Я дарю ему отцовский портрет, он доволен и смеется. Ольга Петровна просит его написать что-нибудь.

– Я уже написал стихотворение, – сказал он, – написал давно, осенью, как только узнал, что вы приехали.

Он достал лист толстой японской бумаги и прочел:

Горы Харуна в осенних цветах.
Утренний туман стелется по ущелью.

Мы попрощались с хозяевами. Поэт пошел нас провожать и непременно хотел тащить тяжелый чемодан, наполненный книгами, которые мы взяли у Исиды-сан. Горы Харуна очистились от утреннего тумана и лиловатой цепью тянулись вдоль горизонта...

Рис

Почему я так люблю огороды, крестьянские избы, дворы, пахнущие соломой, навозом, амбары, спокойных загорелых людей, с утра до ночи работающих?

Может быть, отец заразил меня своей любовью к деревне? Именно любовью, а не рассуждениями о том, что крестьянский труд самый необходимый, честный, что крестьянин всех нас кормит.

Это я осознала уже гораздо позднее, в молодости эти рассуждения на меня не действовали. А любовь его к мужику, крестьянину и простой жизни была такова, что не могла не повлиять на меня. И хотя японское сельское хозяйство крестьяне, дома, как и всё в Японии – не похоже ни на что виденное мною прежде, все-таки, глядя на широкие, скуластые, загорелые лица женщин, сажающих рис, на пахаря в широкой соломенной шляпе, я чувствовала то же, что чувствовала всегда к швейцарскому, французскому, американскому фермеру, русскому, японскому крестьянину – уважение к настоящей, бесспорной, безыскусственной сущности его. Спокойная серьезность, терпение, чувство собственного достоинства, закаленность, его здоровая красота – выражают эту его сущность, точно крестьяне, сливаясь с землей, с природой, с солнцем, впитывают в себя часть их чудесной мощи.

И странное дело. И здесь, как, должно быть, и на всем земном шаре, именно эти люди, необходимость труда которых совершенно очевидна для всех, самые обездоленные, обиженные. Я никогда не видала, чтобы так работали, как японцы, с раннего утра до позднего вечера! И как работают!

Доходы с крестьянского труда получает скупщик. Передовые японцы это понимают. Для борьбы со скупщиком возникло и ширится кооперативное движение. У японцев мало земли, и нет расчета заводить большие, дорогие сельскохозяйственные машины для обработки крошечных лоскутков земли, их душат большие налоги, и, кроме того, государство искусственно старается удержать низкие цены на продукты сельского хозяйства.

Казалось бы, что политика государства имеет целью облегчить положение всего японского трудящегося народа; на самом же деле она облегчает положение рабочего, но ухудшает положение крестьянина, так как производство его труда все же несоразмерно ниже фабричного производства.

Японские либералы, социалисты в громадном большинстве живут в городах и совершенно не знают крестьянской жизни и, главным образом, интересуются жизнью рабочих, и в Японии сейчас происходит точно то же, что происходило в России перед революцией.

Вспоминается мне один памятный вечер, когда группа видных московских общественных деятелей – либералов собралась, чтобы проводить Мякотина, Пешехонова и других видных социалистов. Большевики высылали их как контрреволюционеров за границу.

– Нас высылают, – говорил один из них с глубокой грустью, – мы отдали свою жизнь на служение «народу», и грустно не то, что нас высылают, а грустно то, что нет ни одного человека среди рабочих, крестьян, который бы вспомнил о нас, пожалел...

Он был прав. Никто не пожалел, никто не вспомнил об этих деятелях, отдавших свою жизнь на служение «народу», на революцию. Думаю, что, если бы мужику растолковали и рассказали про этих народников, мужик сплюнул бы сквозь зубы и сказал:

– И поделом им, сукиным детям, царя свергли, убили, а жизнь во сто раз хуже стала!

Теоретиков этих, кабинетных работников, народ не знал, и они не знали 120-миллионного крестьянского народа, как не знают японские социалисты японского крестьянина, составляющего половину населения.

Такэ-сан, модная коммунистка-писательница, наш друг профессор прекрасно осведомлены о жизни рабочих, но про крестьянскую жизнь они ничего не знают. Японские социалисты-революционеры будут организовывать стачки, юнионы (союзы), скажут вам все про условия труда рабочих: заработная плата, жилищные условия, часы и условия работы и проч., – но спросите их про заработок крестьянина, про цену на рис, табак, коконы? Они не знают, а если и знают, то только теоретически, жизнь крестьян бесконечно чужда и далека им. Социалисты эти и не представляют себе, как тяжело добывается тот рис, без которого они не могут существовать.

Трудно обрабатывать поля в Японии. Требуется глубокая обработка, для риса – вода и большое количество удобрения. Без удобрения земля ничего не дает. Мы видели, как поля засыпались беловатым порошком. Это селедка. Японцы не в состоянии употребить в пищу все то громадное количество сельдей, которое вылавливается, и большую часть гонят на удобрение. Но самое лучшее удобрение человеческое, особенно для огородов. Нам было неприятно есть овощи, когда мы об этом узнали.

– У нас, в России, не употребляют такого удобрения, – сказала я Конисси-сан.

– Не умеют, вот и не употребляют, – ответил он мне с видом некоторого превосходства.

– Но знаете, – начала я довольно робко (я всегда чувствовала себя с Конисси-сан так, как тридцать лет назад, когда я была девочкой, а он приходил к отцу моему переводить «Тао Тэ Кинг» Лао-Тзе), – Мечников говорил, что...

– Глупости говорил ваш Мечников, – перебил он меня. – Надо знать. Когда все это перебродит в герметически закупоренных цементных резервуарах в течение шести месяцев, это уже совершенно безвредно. Японцы спокон веку употребляют человеческое удобрение и гораздо здоровее вас – русских!

Я не могла возражать, хотя было бы приятнее, если бы удобрение в Японии было иное, за Мечникова было немножко обидно. Я думала, что Мечников пользуется уважением среди японцев. Я знаю, что европеизированные японцы очень любят его простоквашу и кормят ею своих детей. Каждое утро я наблюдала, как аккуратненький чистенький мальчик в белоснежном халате и белой шапочке развозит на велосипеде мечниковскую простоквашу, крича во все горло: Ирия, Ирия! – т. е. Илья Мечников (р и л звучат почти одинаково), 田 – этот иероглиф читается «та», а значит – поле. И японские поля похожи на этот знак – квадратики, перерезанные посредине канавками с водой. Весной, перед посадкой риса, японцы водяным колесом накачивают воду в поля. Когда местность гористая и поля террасами идут вниз, необходимо целое сооружение, чтобы удержать воду. Как устроить орошение, чтобы из одного поля вода переливалась в другое, как и насколько вода должна испаряться, как устроить эти плотины на вершинах – целая наука.

– Теперь ни за что не устроили бы этих полей, – сказал Конисси-сан, очень трудно, очень много надо работать, избаловался народ.

Сажают рис большей частью женщины, почти всегда без мерки, всегда с одинаковой правильностью. Нас тянуло в поле, и мы часто ездили смотреть посадку риса. Я снимала фотографии женщин. Они смеялись. Крестьянам всегда кажется смешным и непонятным, когда их снимают за работой. Ну что тут интересного: грязь, будничный, тяжелый труд.

Я пыталась спросить их, трудно ли работать.

– Иэ, – сказала она (нет), вышла к нам на сушу, около дороги, и, показывая на ноги, что-то стала говорить. Мы сразу не поняли. Ноги ее были увешаны чем-то темным. И только когда женщина стала руками отрывать эти темные, висящие гирляндами предметы и на грязных обмотках закраснелась и, мешаясь с жидкой глиной, струйками потекла кровь, мы поняли, что это были пиявки.

А японка смеялась, видя наш ужас.

Нелегка и уборка риса. Рис жнут серпами и связывают в небольшие снопики, похожие на наши.

В небольших хозяйствах крестьяне сами молотят, веют, сушат рис. Видела я молотьбу простыми цепами и примитивными ручными молотилками. Веют примитивными ручными веялками-веерами. Японцы говорили нам, что в старину рис не полировали, как сейчас, а ели черный рис. Он полезнее, и было гораздо меньше болезни «бери-бери», при которой опухают ноги и которая почти неизлечима. Я спросила как-то об этом нашего друга-профессора.

– Черный рис невкусный, грубый, – сказал он, – белый лучше.

И я замечала, что японцы очень не любят грубой пищи. Я никогда не видела, чтобы японец съел яблоко с кожей, они не любят хлеб с отрубями, не любят грубых каш.

Мы как-то угостили профессора гречневой кашей. Он не мог ее есть.

– Не думаете ли вы, – сказал он с самой вежливой японской улыбкой, – что эта пища более подходит лошади, чем человеку?

Я прежде не любила рис. Детьми нас заставляли его есть, когда мы расстраивали себе желудки, и для нас рис был всегда нечто такое, что мы предпочитали не есть, как лапша, макароны, не очень вкусное. В Японии же, может быть, отчасти потому, что это было после голода в советской России, рис вдруг получил для меня громадное значение, как хлеб у нас на родине. Я стала уважать рис, я поняла, что варить его надо особенно, по-японски, без соли, что хотя рис можно есть с чем угодно, с рыбой, мясом, яйцами, редькой, фруктами, но смешивать его с чем-нибудь, нарушая его белоснежную, девственную чистоту, нельзя, почти грешно. Грешно уронить рисинку, как грешно ронять крошки или куски хлеба. Рис нельзя оставить в чашке, надо доесть все. И в рисе открылась для меня особая прелесть, особая красота, и я стала его любить и уважать, стала понимать, какое громадное значение рис играет в жизни восточных народов.

У риса много разных названий. Рис в поле – инэ, черный рис – геммай, белый рис – хакумай, сваренный рис – комэ, чаще всего гохан.

Рис едят утром, едят днем, вечером. Не ест его только тот японец, который не в состоянии его купить. Но любят его одинаково и в крестьянской хате, и во дворце микадо, рисом лечат болезни, рисом выкармливают грудных младенцев.

Рис, рис, рис! Это главное. Все остальное, что культивируется в Японии, не есть основная пища.

У нас на Украине говорили: «хлиб и до хлиба». В Японии можно сказать: «рис и до риса». И все овощи странные, нам, европейцам, совсем неизвестные. Мы очень удивились, когда среди огородных растений вдруг увидали рядами посаженный лопух, который в таком изобилии растет в старых

русских заброшенных усадьбах. Мы ели его, приготовленный с сахаром. Очень поражала нас японская редька, по вкусу похожая на нашу редиску, сочная, сладкая, громадных размеров, иногда с ботвой вместе в рост человека. Под вулканическими горами, где когда-то извергалась лава, редьку выращивают такой величины, что вьючная лошадь может поднять только две штуки. Редьку японцы едят сырую, тертую, вяленую, соленую, с рисом, с рыбой, поливая ее соей. В лавках лежат длинные, фута в два и больше длиной и в кулак толщиной, желтые, соленые редьки в тесте; вам отрезают от них ломоть на один, два, три цента.

Внешне жизнь крестьян красива, красивы дома, сады, поля. Иногда среди полей можно увидеть чудесные цветы, беседку, увитую глициниями, маленький прудик с жирными карпами и белыми лилиями. И в общественной их жизни много прекрасного. В Японии, как и у нас в России до революции, существует общество крестьян. Один за всех и все за одного. Свадьба, похороны, семейный праздник принадлежат не только семьям, но и обществу. Все принимают в этом участие, радуются на свадьбе, плачут на похоронах. В деревнях нищих нет, общество крестьян этого не допустит. Свято чтутся праздники, обычаи, традиции. Они украшают жизнь японских крестьян, вносят то особое, непередаваемое очарование и прелесть, которое вы не всегда можете объяснить, но которое вы все время ощущаете в Японии.

Скрытая красота

Мне трудно было поверить, что он работает на писчебумажной фабрике. Станки, деловой кабинет или контора, писчая бумага мало вязались в моем представлении о нем. Я не встречала ни одного японца, который казался бы мне более японским, не только не зараженным по существу европейской цивилизацией, но полностью удержавшим в себе

японскую культуру, по-настоящему любящим японскую старину. И никто не помог мне так понять скрытую от большинства европейцев красоту Японии, как Екой-сан. Я говорю: понять, хотя на самом деле то, что мы поверхностно узнали, бесконечно далеко от настоящего понимания. Но Екой-сан приподнял завесу, и мы увидели, какой громадный, бесконечно интересный мир за этой завесой, мир, который мы никогда не узнаем, но про который мы узнали, что он существует. Благодаря Екой-сан наше восхищение прекрасным не остановилось на лакированных вещицах и ярких кимоно, продающихся в универсальных магазинах, для нас открылась возможность понимания действительно прекрасного. Только возможность, потому что не всем японцам доступно наслаждение японской живописью, музыкой, чайной церемонией, танцами. Но вообще – японской стариной.

С первого взгляда дом Екой-сан показался нам скромным, даже серым. Я не понимала, почему он так торжественно повел нас в этот маленький домик, когда рядом у него был большой просторный дом, гораздо новее и блестящее. Но я ничего не сказала и хорошо сделала, потому что такое непонимание было бы равносильно тому, как если бы я восхищалась полированной базарной мебелью, не замечая рядом стоящей мебели времен Людовика XVI.

«Они (аристократия Ашигава) любили жить в маленьких хижинах, – пишет Окакуро Какузо, – таких скромных на вид, как простые крестьянские, пропорции которых вырабатывались гениями, как Шоджо или Соами (XV), в которых столбы были сделаны из самого драгоценного, душистого дерева, привезенного с далеких индийских островов, и в которых бронзовые очаги были совершенны своими рисунками, нарисованными Сесшю (великий художник XV в.). Красота, говорили они, ценность вещи чаще сокрыта в глубине, чем выражена на поверхности».

Сначала это казалось нам странным, но постепенно мы проникались тем, что красота скрытая особенно прекрасна.

У японцев есть слово «сибуи», или «шибуи» (звуки с и ш часто сливаются, как л и р). Но сколько я ни старалась проникнуть в глубину смысла этого слова, уловить всю тонкость его – мне не удавалось это сделать. Если платье вульгарно – оно не может быть «сибуи», если букет цветов аляповат, безвкусен – он не может быть «сибуи». Я стала думать, что это просто, что я понимаю, и вдруг один японец мне сказал:

– Ну, как мне вам это объяснить? Представьте себе вечер, закат, озеро, вода совершенно неподвижна. И вот тишину и покой нарушает всплеск. Лягушка прыгнула в озеро. На поверхности вода расходится в круг – шире, шире. Это и есть «сибуи».

Сансом в своей книге «Япония» так характеризует это слово: «Шагуны Ашигава, – пишет он, – развили вид роскоши, далекой от богатой и пресыщенной роскоши, которую японцы называют «сибуи», или «суровой», идея, которая может быть лучше понята путем сравнения сладкого фрукта с кисловатым».

Иногда мне казалось, что скрытая красота и есть «сибуи».

Одна японская дама подарила мне черную простую лакированную коробочку. Когда я открыла ее, на внутренней стороне крышки был изумительно тонкий рисунок золотом. Подкладка на хаори – верхней одежде японцев – всегда красивее, чем верх. Самураи никогда не выставляли напоказ ценные лезвия сабель, а прятали их в ножны.

По-моему, дом Екой-сан – несомненно «сибуи» – построен из нестроганого потемневшего дерева.

– Я привез его с одного северного острова, – сказал он. – Это простой, крестьянский дом, но ему семьсот лет.

В каждой комнате разная отделка. В одной – причудливо изогнутый бамбук, в другой – красное, или камфорное, дере-

во, в третьей токонома[70] отделялась необыкновенно живописным деревом в коре. Ни в чем нет симметрии, и вместе с тем во всем – полная гармония. В первой, самой большой комнате Екой-сан указал нам на судебные грамоты на стене – тяжба из-за быка с соседями, происходившая семьсот лет назад. Все комнаты почти пустые, но то, что есть, старинное, некоторым вещам более тысячи лет.

Нарушает гармонию портрет моего отца, нарисованный тушью на какемоно[71] и вывешенный здесь сегодня в честь моего приезда.

– Смотрите, – говорит Екой-сан, – он смотрит на нас как живой.

В самой маленькой комнате Екой-сан угощал нас чаем. Это не чайная церемония, мы все сидели на полу как попало, вытянув или поджав по-турецки ноги, как обычно сидят европейцы в японских домах, но мы пили тот самый густой зеленый чай, который всегда подают на чайных церемониях и от которого кружится голова. Окно раздвинуто.

– Вы видите эти бамбуки за окном, эти горные растения и траву, – сказал Екой-сан. – Я привез их с далеких гор, куда редко заходит нога человеческая... Я приезжаю сюда в Одавару каждую субботу, в дождливые дни и сижу здесь совсем один, смотрю на эти горные растения, дождь шелестит по листьям бамбука, шумит ветер, я переношусь мыслями далеко в горы, думаю часами, иногда сочиняю танки. Это комната «ночного дождя». Иногда я сижу в другой комнате.

И он повел нас в комнату побольше, окна которой выходили в сторону океана.

– Вы слышите, как шумит море, как шелестят камни. Музыку эту – равномерный прибой моря – можно слушать

[70] Стенная ниша с приподнятым полом и полочками.

[71] Какемоно – длинный прямоугольный лист рисовой бумаги с каким-либо изображением, помещаемый для созерцания в специальной нише.

часами... Но что я особенно люблю, это когда однообразие этих звуков нарушается вдруг гудением гонга из буддийского храма...

У Екой-сан лицо неподвижное, но умное, он мало улыбается, почти не смеется.

– Недавно я сочинил стихотворение, – сказал он. Тотчас же, закрыв глаза и немного раскачивая туловище из стороны в сторону, запел заунывным, внутренним голосом.

– Что это?

– Стихотворение про вашего отца – про старца. Трудно его перевести, здесь игра слов. Говорится про траву Окина Гуса, окина – значит старый. – И он перевел мне его:

Холодно сегодня!
Холодно и в Ясной Поляне, я думаю!
Глубокой осенью могила старца
Орошается тихим, ровным дождем.

Листья Окина Гуса, которые мы сбирали,
Напоминают нам старые времена,
И мы до глубокой ночи говорим
Об Окина – великом старом человеке.

Листья Окина Гуса давно завяли, увы!
Но семена, посеянные великим старцем,
Укрепились в почве Страны восходящего солнца.
Пусть прорастают семена, пусть растут листья!

Смотрите! Трава Окина – жива.
Она укоренилась в Стране восходящего солнца.
Распускайтесь, почки! Растите, листья!
И я молю тебя о том, чтобы распустились цветы!

У Екой-сан маленький сад: старые, серого камня, покрытые зеленоватой плесенью фонари, похожие на грибы, пру-

дик с неправильными изгибами, блестящими листьями водяных лилий на поверхности прозрачной воды, нагроможденные как будто в беспорядке камни, старые, еще дедовские мандаринные и апельсиновые деревья, усеянные тяжелыми плодами, а в конце – ворота, сделанные из простого бамбука и древесной коры.

Здесь так уютно, что не хочется уходить.

Мы уехали обратно в Токио опять через Одавару. По дороге на станцию остановились около большого буддийского храма. К нему вела высокая, усыпанная разноцветными листьями осыпавшихся кленов широкая лестница.

Храм был закрыт. Под ступеньками, ведущими в него, толстый канат. Екой-сан хлопнул в ладоши, призывая, по буддийскому обычаю, Бога, дернул за канат. Колокол загудел, и мне представилось, как по ночам Екой-сан сидит один и прислушивается к этому бархатному, поющему звуку.

На верхней площадке статуя мальчика-подростка с вязанкой хвороста за спиной. На коленях у него заплатки, волосы заколоты на макушке, как носили раньше.

– Это Никомия, – сказал Екой-сан, – святой, он жил сравнительно недавно, учил людей простоте и бережливости – японский Толстой.

Перед самым отъездом в Америку нам пришлось еще раз побывать в доме Екой-сан в Одаваре. Мы были у него недолго, обедали. Это был, как Екой-сан выразился, прощальный обед. В главной комнате на почетном месте висело уже другое какемоно, на котором была написана танка, взятая из знаменитого буддийского храма в Камакура. Эта танка говорила о любви и почитании родителей.

Милые мои! Какая плохая я девочка!
Играя на склоне горы с цветами,

Все это время я провела с другим,
Забыв о том, как дома беспокоятся мои родители!

Екой-сан придавал особое значение этому стихотворению.

– Пусть Толстая-сан уедет далеко-далеко, – говорил он. – Но она все равно никогда не забудет своих родителей, свою родину. Придет время, что она вернется в свою родную страну так же, как поспешила вернуться к своим родителям маленькая девочка, поняв, что главная радость – это родной дом.

Токутоми-сан

«...Был бы очень благодарен, если бы Вы разъяснили мне ваши религиозные взгляды.

Под религиозными взглядами я разумею ответ на основной и самый важный для человека вопрос: каков смысл той жизни, которую должен прожить человек.

...Сердечно благодарю за ваше письмо, за книги и за ваши добрые ко мне чувства. Передайте, пожалуйста, мой привет вашей жене и попросите ее, если это не слишком смело с моей стороны, написать мне, если это возможно, в нескольких словах ее религиозные верования: ради чего она живет и каков главный закон ее жизни, тот закон, в жертву которому должны быть принесены все человеческие законы и желания.

Ваш друг Лев Толстой».

Так писал в 1906 году мой отец известному в Японии писателю Токутоми Рока. А вскоре после этого Токутоми приехал, взволновав моего отца своим приездом, так как отец в то время, интересуясь вопросами религии, интересовался и религией китайцев и японцев, считая, что в основе религия одна у всех народов и что толкователи ее – Христос, Магомет, Будда, Конфуций и др.

Приехал автомобиль. Молодой человек, скорее похожий на испанца, чем на японца, Хори-сан, приехал за нами. Он

говорит по-английски. Час езды. Последние четверть часа мы едем мимо прекрасных садов, бамбуковых рощ, рисовых полей...

Хори-сан показал на горы. «Фузияма». Но ее не видно, она в облаках. День ясный, но холодный. «Сегодня был сильный мороз, многое погибло», – сказал Хори-сан. Автомобиль кружится, наконец заворачивает на узенькую-узенькую дорожку и останавливается, ему приходится пятиться назад, чтобы проехать.

«Приехали». Несколько женщин бросаются нас встречать, среди них маленькая, пожилая, в темном, не то сером, не то коричневом, кимоно. Она берет за обе руки, крепко жмет, прижимает к своему сердцу и ласково смотрит... Это Токутоми-сан, вдова писателя.

«Спасибо, – говорит она по-английски, – спасибо, что приехали, я так рада».

Я чувствую, что это не фраза, она рада, и все лицо ее светится радостью.

Входим в дом, снимаем башмаки. Но дом обставлен по-европейски. В гостиной кресла, стулья, не то диван, не то постель. На стенах портреты Токутоми с женой. На стене тушью надпись, сделанная самим Токутоми-сан: «Стремись всегда вперед». Разговор труден, потому что Токутоми-сан плохо говорит по-английски, и легок, потому что мне кажется, что она близкая и что я ее всегда знала.

После чая мы выходим в садик. Пригревает солнце, со всех сторон свисают огненно-красные ветки клена, тянутся высокие серовато-зеленые стройные сосны с обрубленными макушками, вьются голые стволы глициний...

– Токутоми-сан хочет вам сказать многое, – сказал Хори-сан. – Она хочет, чтобы ее сердце говорило с вашим. Но она не может говорить по-английски, а переводить то, что ей хочется сказать, – нельзя.

Наконец, подумавши, она сказала:

– Мой муж и я любили вашего отца так, как будто он был наш отец...

Она принесла письмо, которое Токутоми писал после смерти отца моей матери, но не послал. Это было уже во время революции, и он не знал, дойдет ли оно. В нем Токутоми писал о своем желании приехать в Ясную Поляну и, слившись сердцами со всеми теми, кто близок был Толстому, поклониться его могиле... Он скорбит о войне, которую пришлось пережить России, и о гражданской войне, но он считает, что Россия приближается к лучшим дням...

Перед обедом Токутоми-сан читает молитву. Обед полуяпонский-полуевропейский. Японский суп, рис, великолепная индейка. Но всех нас особенно поразили апельсины величиной в мою голову. После обеда Токутоми-сан повела нас гулять, показала крестьянское хозяйство – молотьба риса цепами, как у нас. В поле молоденькая японка вяжет снопы, тоже как рожь. Встречается компания студенток-медичек. Они все молодые, у нас в России сейчас нет таких чистых, детских лиц. Они смеются, когда им говорят, что я дочь Толстого. Мы говорим им приветствие по-японски и хохочем все, потом вместе снимаемся.

Идем обратно. Я рассказываю Токутоми-сан про Ясную Поляну, почему уехала, как там жилось, она тихо плачет... потом берет мою руку в свою холодную маленькую руку и крепко жмет.

Я чувствую, что эта маленькая женщина, с которой мы не можем объясниться, близка мне. Она не выпускает моей руки, и так мы движемся обратно.

В саду могила Токутоми, она напомнила мне могилу отца, так же просто и хорошо, стоят цветы, которые, вероятно, ежедневно сменяются.

Чайная церемония происходит в маленькой комнатке вроде беседки. Сидим по-японски на полу. Молодая японочка очень долго заваривает чай, каждое движение размеренно, плавно, немного жеманно.

– Это очень полезно для нашего морального развития, – говорит Хори-сан.

– Почему? – спрашиваю.

– Потому, что это приучает молчать и сосредоточиваться, вроде молитвы, говорит Хори-сан.

Может быть, это правда.

Чай из чайных цветков. Он густо-зеленого цвета и густой и горький на вкус. Вам дают только одну чашку этого чая, который надо выпить в три с половиной глотка. В комнате не должно быть мебели, только одна очень старинная и красивая посуда, иногда одна чашка стоит десятки тысяч...

После чайной церемонии мы уезжаем.

Идем до автомобильной станции. Маленькая женщина в кимоно нас провожает. Она все время держит меня за руку и иногда крепко жмет. Мы садимся в автомобиль. Она, прощаясь, хочет, по-видимому, меня поцеловать, но не умеет (японки никогда не целуются) и только прижимается к моей щеке своей щекой.

Автомобиль трогается. Мы выезжаем из деревни.

– Смотрите, смотрите, – говорит Хори-сан, который нас провожает. Фузияма!

Мы оборачиваемся и видим весь конус величественной горы. Сегодня прекрасный, ясный, чистый день. Нет почти ни одного облачка. Ни от чего на свете не бывает так хорошо, как от соприкосновения прекрасных душ к твоей душе.

Маленькое облачко только было в лице Идзюми-сан, который приехал и привез фотографа, но Токутоми-сан его не пустила.

– Токутоми-сан, когда был жив, запирал всегда ворота от корреспондентов, сказал мне Хори-сан.

Секта Иттоэн

У китайского мудреца Фу спросили: буддийский ли он священник? Он показал на свою таосистскую шляпу. Его спросили, исповедует ли он учение Тао? Он показал на свою конфуцианскую обувь. Тогда его спросили: конфуцианец ли он? И он показал на свой буддийский шарф.

– Мы все и христиане, и буддисты-шинтоисты, все дети одной семьи, – сказал нам один знакомый японец-христианин.

В Японии бесконечное количество религий, и, пожалуй, даже человеку, специально изучавшему этот вопрос, разобраться в религиях японского народа трудно. Ясно одно: что бы ни исповедовал японец, он исповедует все религии по-японски, т. е. по-шинтоистски. Шинтоизм вошел в плоть и кровь японца.

У нас есть знакомый – старый, глубоко верующий христианский священник. Казалось бы, он должен отрешиться от старинных шинтоистских предрассудков. Нет. Он японец, и они крепко сидят в нем. Один раз мы привезли ему в подарок русское варенье. Это было для него целое событие. Священник созвал всех своих друзей и родственников. Пробовать новое кушанье – значит продлить свою жизнь. Шинтоистский обычай этот сохранился еще с древних времен, когда существовало «священное пробование» первого сакэ из нового урожая риса. На эти торжества обычно приглашался сам император.

– Разве христианство и шинтоизм не одно и то же? – говорил нам другой японец, чрезвычайно образованный, культурный человек, убежденный христианин. Разве шинтоизм, так же как и христианство, не учит любви к ближнему?

Первое, внешнее впечатление мое о Японии – не изменилось. Меня поразило количество храмов – больших, маленьких, богатых, бедных, разбросанных по всей стране: в горах, в лесах, среди полей, в старинных парках, на бойких городских площадях и в глуши, на берегах озер, рек, океана. Куда ни пойдешь, куда ни поедешь, в конце концов все пути приводили к храмам. И, по правде сказать, храмы влекли к себе, влекли своей таинственной непонятностью, непохожестью на наши храмы. Мы выискивали их в самых неожиданных местах, иногда в далекой глуши, и, когда находили, радовались, как чему-то необыкновенному.

Помню жаркий летний день. Мы свернули с шоссе и поехали на своих велосипедах проселочной дорогой, мимо японских деревень, играющих на солнце чумазых ребятишек, женщин, вывешивающих сушить громоздкие зимние кимоно, мимо пропитанных смолистым, душистым запахом столярных мастерских, складов риса, огородов, полей, перелесков, залитых водой плантаций, где росли красавцы лотосы с громадными листьями и бледно-розовыми цветами, спрятавшимися на день от палящих лучей солнца. Мы выехали на пешеходную дорожку и поехали в гору. Постепенно дорожка сужалась, шла выше, выше, вдоль быстрого шумящего ручья. Справа стеной спускался откос, сплошь покрытый сосновыми деревьями. Круче, круче, велосипеды передними колесами уперлись в каменистый грунт, заколебались, мы соскочили с них и повели. Остановиться мы не могли, нас тянуло вверх, надо было узнать, куда приведет нас тропинка, где истоки прозрачного горного ручья. Через корни деревьев, по палящему солнцу мы тащили велосипеды всё вверх в крутизну, и вдруг неожиданно дорожка расширилась, и мы вышли на плоское место. С двух сторон нависали клены, сквозь тенистые ветви солнце проникало лишь пестрыми пятнами, пахло сыростью. Дорожка свернула за угол, справа

и слева оказались скалы, направо вдоль скалы статуи богов, наряженные в детские шапочки – красные, синие беретики, а вот и красные изогнутые ворота и за ними вросший в скалу маленький шинтоистский храм. Тропинка кончилась, кругом полная тишина, только где-то за скалой, играя камнями, шумел ручей. Когда же приходили сюда люди? Откуда? Мы не встретили ни души. Но кто-то несомненно приходил ежедневно, у порога в храмик в маленьких чашечках стоял свежий рис.

Но мне пришлось наблюдать не одни только наивные внешние обряды, обычаи, я видела в японцах глубокую веру, желание подвига, жертвы для веры. И так же, как ради вопросов чести японец способен произвести над собой харакири, точно так же он не задумается сломать свою жизнь, если убедится в истинности того или иного вероисповедания или учения.

– Мой второй сын – последователь вашего отца, – рассказывал мне старик Конисси-сан грустным, убитым голосом. – Живет один высоко в горах, по железной дороге проехать туда нельзя, страшная глушь. Он иногда приезжает к нам, но редко. Мать очень страдает за него, жалеет...

– Чем же он занимается?

– Корзины плетет. Заработок небольшой, да и тот почти весь отдает. Все, что человек сделает для другого, к нему вернется, – говорит он: – Если отдашь последний рис, кто-нибудь предложит тебе работу, если отдашь последние бобы, тебе дадут риса. – Старик вздохнул. – Очень плохо живет, ест одни овощи, бобы, рис, и то не всегда... – И опустил голову. Видно было, что не только одной матери жалко сына.

– Я очень почитаю вашего отца, – точно извиняясь, добавил он, – но я не понимаю, зачем из-за любви к нему юноша должен сломать свою жизнь.

Про секту Иттоэн я не знала. Для меня было неожиданно, когда в дверь постучали и вошли трое гостей: один из них, хорошо, по-европейски, одетый, в темных очках, шел осторожно, ногами щупая землю, его поддерживал под руку юноша в студенческой форме. Я узнала в нем слепого профессора, которого встретила у американцев Боульс в Токио; третий человек был одет как рабочий, в рыжей блузе, полинялой круглой шляпе, продранных на коленях штанах. Но рваная одежда, по-видимому, нисколько не влияла на его самочувствие. Он держался совершенно спокойно, с большим достоинством и уверенностью. Он оказался членом религиозного общества Иттоэн и приехал приглашать меня от имени общества прочитать лекцию в Киото.

Мы согрели чай, подали на стол все, что было у нас съедобного. Они, казалось, были голодны, ели все с удовольствием, но от холодного мяса отказались. Это меня не удивило. Многие японцы не едят мяса. Может быть, это влияние буддизма. «Мы чувствуем, что все живое – родное нам», – говорят они. Но меня очень удивило, когда человек с продранными коленками сказал, что секта их основана в память моего отца.

– Мы живем его мыслями, исповедуем его учение и стараемся жить так, как он советовал. Нам хотелось бы узнать про него как можно больше, узнать то, что не написано в книгах.

Я была уверена, что скромное общество это устроит лекцию для небольшой группы в маленьком помещении, и когда вместе с Куродой-сан, которого Иттоэн пригласила переводчиком, мы подъехали к громадному зданию и наш автомобиль врезался в движущуюся пеструю толпу, – я была поражена. Зал, вмещавший тысячи три людей, был переполнен. Девушки-студентки, студенты сидели рядами на полу, стояли в проходах, на эстраде. Распорядители, члены

общества в обтрепанных одеждах, с радостными, веселыми лицами носились по залу, рассаживая публику.

До лекции еще оставалось полчаса. Председатель Иттоэн – красивый высокий старик пригласил нас с Куродой пить чай. Он рассказал нам, какое влияние имел на него мой отец.

– Когда я прочел «Исповедь» и «В чем моя вера», я понял, что не могу жить по-прежнему... Я решил попытаться жить так, как учил Толстой, в труде и простоте. Пожалуйста, когда вы придете к нам, не говорите: я приехала, а скажите: я вернулась.

Больше, чем когда-либо, нам обоим с Куродой хотелось говорить как можно лучше. Мы невольно увлеклись и затянули лекцию на два с половиной часа. Было уже поздно, когда мы все – Ольга Петровна, Туся, слепой профессор, Курода и я – приехали в общину.

Я страшно устала. Слишком велико было напряжение и слишком много было впечатлений за этот вечер. Но не успел автомобиль остановиться, как чувство покоя охватило меня. Мы подъехали к маленькому домику, за ним едва обрисовалось в темноте конусообразное очертание горы, где-то совсем близко журчала вода.

Комната, в которую мы вошли, напоминала мне наши деревенские избы. Посредине стол, кругом лавки, простота, почти бедность... Нам подали настоящий чай, хлеб, печенье – чувствовалось, что это была не каждодневная еда, а угощение для приезжих европейцев. И постепенно усталость забылась, и мы разговорились. Мы узнали, что Иттоэн возникла 25 лет назад. Слово «Иттоэн» означает «один фонарь».

– Хоть один бумажный фонарь пожертвуй ради веры своей, – перевел Курода-сан.

Теперь всех членов общества около тысячи. Здесь, на этом клочке в три с половиной десятины, живут около ста пятидесяти человек. Жизнь их полна лишений, они не пьют, не ку-

рят, все вегетарианцы, едят самый дешевый, черный, необрушенный рис.

– Какие же права у вашего общества? – спросил Курода-сан.

– У нас нет прав, – со сдержанной торжественностью ответил председатель, у нас только обязанности.

Меня интересовало, считают ли они себя христианами.

– Мы не называем себя христианами, ни буддистами, ни таосистами. Из всех религий мы берем то, что ближе нам по духу, что имеет смысл, что помогает жить.

– Как мой отец, – сказала я. И указала ему, что в своих книгах «Круг Чтения» и «Путь Жизни» отец пытался собрать воедино сущность всех учений мира.

– Вот почему ваш отец так близок нам.

– Но чем вы живете? – интересовался Курода-сан. – Как могут 150 человек жить с трех с половиной десятин земли?

Председатель усмехнулся.

– Мы часто читаем сказку об Иване-дураке. Трем листья, сыпется золото, но оно нам не нужно. Мы всегда сыты, всегда довольны, и всё у нас есть. Нам подарили эту землю, построили нам эти дома, мастерские.

– Вам приходится работать на стороне?

– Да, приходится, но с тех, которые нас не понимают, мы не берем платы, нам дают деньги только те, которые понимают нас и сочувствуют нам.

– Ну, вот завтра мне нужен работник?

– Мы пришлем его вам.

– И вы пошлете работника кому угодно?

– Да, если нас попросят об этом. Чаще всего мы чистим уборные, потому что никто не любит это делать.

Нас уложили спать на простых, грубых, но чистых футонах[72] на полу. Солнце было уже высоко, когда мы проснулись. Нас повели умываться во двор горной ледяной водой. Председатель торопил с завтраком, надо было поспеть в храм на утреннюю молитву.

В храме, похожем на просторный японский дом, молились на коленях человек сто. Один из молящихся стоял впереди всех и бил в гонг, и в такт ударам, как пчелы в улье, гудели человеческие голоса. Они пели буддийскую молитву. Когда они кончили, сказал проповедь председатель. Он беспрестанно поминал имя Толстого, и я поняла, что он говорит о моем отце. После него говорила я. Мне страшно мешало то, что приходилось говорить с этими людьми, такими далекими, чуждыми и вместе с тем близкими, потому что они знали и чтили моего отца, через переводчика. Через третье лицо живой связи, без которой всякие слова мертвы, создаться не может.

Из храма разошлись на работу, и мы пошли с ними. Местечко ожило, везде копошились люди.

– Это аристократы, – сказал председатель, указывая на группу людей, кирками разрыхляющих землю. – Они пришли к нам работать, чтобы узнать, как люди живут в бедности и труде, никто не знает их имен, кроме меня. Вон человек, – и председатель указал на тонкого, красивого японца в грубом рабочем кимоно, с белой повязкой на голове, – один из самых богатых людей в Японии. Он все роздал и пришел к нам. А вот тот, пониже, с лопатой, кончил два факультета...

Мне ужасно хотелось подойти к ним, поговорить. Но я не могла говорить без переводчика, да и слишком было нас много.

---

[72] Футон – постель.

По дороге обратно мы зашли в красивый японский дом. Председатель повел нас наверх, в чистую, пустую, залитую солнцем, прозрачную комнату. Один лишь ярко-красный мак в глиняной вазе украшал ее. Председатель раздвинул дверцы в стене, и мы увидали что-то вроде алтаря, в глубине алтаря – портрет моего отца, а над ним круг.

– Это наш герб, – сказал председатель. – Это означает всё, то есть бесконечность, или ничто – ноль. Комната эта для всякого, кто желает сосредоточиться на самом себе, кто хочет думать о Свете, то есть Боге, любить доброту.

Мы сошли в нижний этаж. Здесь была прихожая и из нее низенькая дверь в комнату, похожую на гроб. В ней тоже ничего не было, даже не было татами, только циновки на деревянном полу. В нее можно было только проползти, такая она была низкая и маленькая, нельзя было ни лечь, ни встать, а только сидеть по-японски на пятках. Председатель молчал.

– Это его комната, – сказал Курода. – Здесь он принимает посетителей.

Загорелые толстые ребята встречались нам с матерями, высоко над нами темнели густо поросшие соснами горы, шумела вода.

И вдруг на минуту мне захотелось остаться жить здесь. Мы сели на скамеечку около канала, мимо нас беззвучно проплывали по течению одна за другой баржи с рисом.

Этот канал соединял озеро Бива с Киото, шел сотни миль. Очарование нарушили откуда-то взявшиеся фотографы.

Пора было собираться домой в Асию. Мы попросили хозяина, чтобы нас отправили в Киото на барже с рисом. Нас провожали двое членов общества, молодые японец и японка. Мы сели на скрипящие рисом громадные тюки. Стоя на носу, человек веслом направлял лодку по течению, и мы тихо поплыли мимо зеленых берегов, цветущих садов, поросших

соснами высоких гор и деревень. И это опять было прекрасно, как в сказке.

Мы плыли так около часа, и вдруг перед нами выросла крутая гора, мы не успели опомниться, как лодка наша юркнула в темноту. Лодочник зажег фонарь, желтый свет осветил сырые осклизлые своды над головой, на нас капала вода. Навстречу вдоль стены по канату тащили лодки. Голоса перекликавшихся лодочников гулко неслись по воде. Мы вынырнули на ярко ослепившее глаза солнце и снова тотчас же увидали впереди другую скалу. На этот раз мы долго неслись в темноте и, когда выскочили, увидали пристань. Киото.

– Мы хотим показать вам домик, построенный нами для странников, – сказал нам молодой человек. – Он здесь недалеко.

– Для каких странников?

– Для всех, кто нуждается в крове. Много бедных людей идут по дороге, не зная, где преклонить голову. Наш домик не отличается роскошью, но все-таки странник найдет там все, что необходимо ему.

Мы прошли мимо крутых склонов, сплошь заросших цветущими кустами азалий: белых, оранжевых, розовых, – и стали подниматься по дороге еще выше, в горы. Перешли по деревянному мосту через ручей и уперлись в ущелье. Здесь, среди старых, тенистых деревьев, стояла маленькая хижина. Мы разулись и вошли. В печке лежали обгорелые концы дров, на деревянной полке – котелок, чайник, солонка с солью, примитивная посуда.

– Здесь кто-то ночевал, – сказал молодой человек и, выйдя на двор, нарубил дров, сложил их около печки, принес ведро воды, насыпал риса в котелок.

– Как часто здесь ночуют?

– Почти каждый день.

– А если мы приедем в Киото, мы можем здесь переночевать?

– Конечно, мы будем так рады. Вы всегда найдете здесь воду, дрова и рис.

Самурай

Стояла удушающая жара, жара, которую даже не могут представить себе люди в других странах, разве только в тропиках. Это самое тяжелое время в Японии. Начинается оно в июне, длится около трех недель и называется «нюбай». Почти беспрерывно идет тяжелый, густой дождь, не освежающий, а наоборот, еще больше насыщающий удушливую атмосферу. От малейшего движения люди покрываются липким потом: днем, ночью дыханье сперто, вздохнуть полной грудью нельзя. Просвета, отдыха – нет. Ночью особенно тяжело. Вокруг нашей кровати, или футона, потому что кроватей у нас нет, – полог, сеток нельзя вставить в раздвигающиеся бумажные дверцы, заменяющие окна. А если вы еще с вечера недостаточно аккуратно подоткнете низ полога под футон, – москиты и комары заедят вас. Спать трудно, но если с вечера вам удалось заснуть, вы проснетесь среди ночи, вскочите, сядете на постель и начнете судорожно ловить воздух. Ночная рубашка, волосы, подушка – все мокрое, хоть выжимай. Но выжимать или менять белье смысла нет. Через пять минут тело снова покрывается потом, пот струится по лбу, по шее, по спине.

Нюбай застал нас в Асии. Ольга Петровна и Туся страдали, но не так, как я, минутами я доходила до полного отчаяния. Я задыхалась, как рыба без воды, каждый день болела голова, хотелось бежать куда-нибудь, выскочить из этой пелены удушающей, горячей сырости, но бежать было некуда.

Мне пришлось поехать по делу в Кобе. Вместе с прогулкой на станцию поездка занимала около часа. Дойдя до

станции, я уже почувствовала себя так плохо, что хотела вернуться, но, пересилив себя, поехала. Последнее, что я помню, – это станцию Кобе и вопрос кондуктора, где я живу. Он взял мне обратный билет, посадил в поезд и, когда поезд пришел в Асию, усадил меня в такси и отправил домой.

Какое было блаженство, когда нюбай кончился, и наступило настоящее лето. Стало ясно, жарко, но уже не парило. Люди вывешивали на солнце отсыревшие кимоно, вытаскивали на улицу футоны, рассыпали рис, муку, сахар. За это дождливое время все пропиталось сыростью, вещи, башмаки покрылись плесенью.

Как раз во время нюбая приехал молодой человек с письмом от Куроды-сан. Курода-сан писал, что молодой человек этот – кооператор. Он вместе с другими кооператорами и городом хочет устроить лекцию о моем отце в маленьком городке Гифу. «Я рекомендую его вам, – писал Курода-сан. – Он хороший молодой человек, благородный, потомок самурая».

Потомок самурая, конфузясь, с трудом подыскивая английские слова, добавил, что городской голова и члены правления кооператива приглашают нас всех троих в Гифу, что они оплатят нашу поездку, гостиницу и заплатят 100 иен за лекцию. Кроме того, они надеются, что мы сделаем им честь и поедем с ними посмотреть на ночную ловлю рыбы на реке Нагара, которой славится их город. Мы поблагодарили и обещали приехать. Но за несколько дней до поездки мне стало так плохо, что я послала телеграмму, что не смогу приехать, но вслед за этим выглянуло солнце, мне стало лучше, и я вдогонку послала вторую телеграмму, что мы приедем.

Нас встретил на станции потомок самурая. Вид у него был странный, растерянный. Он торопился, волновался, беспрестанно приглаживал растрепавшиеся волосы, отчего, спускаясь, широкий рукав кимоно обнажал очень тонкую, с острым

локтем и синими жилками, руку, и, не знаю почему, мне было жалко его.

Замечали ли вы, что человек, у которого много денег, расплачивается всегда не спеша, движения его спокойны, уверенны, если он даже забыл кошелек дома, он нисколько не смущается и голосом, внушающим полное доверие, говорит, что заплатит завтра... У человека же, не имеющего денег, всегда вид суетливый, он торопится расплатиться, и, если у него не хватит копейки, он волнуется и старается убедить кого-то, кто и не думает подозревать его, что он непременно привезет эту копейку, что ему очень неловко, что он забыл деньги дома.

Когда самурай расплачивался за такси, я подумала, что денег у него нет, и мне было неприятно. Но это смутно промелькнувшее ощущение неприятного забылось, когда мы приехали в гостиницу и нас провели в комнату, выходившую террасой на реку. Стремглав, бурля и пенясь, неслась вода. Кривые, изогнутые ветви сосен с мягко падающей бахромой игл протягивались над рекой. По реке, вниз по течению, неслись длинные, с загнутыми кверху носами лодки, другие, бешено борясь с течением, переплывали на ту сторону, куда влекли, манили крутые, поросшие лесом горы. У пристани, пониже гостиницы, раскачивались на воде большие крутые лодки, украшенные разноцветными фонариками, – плавучие чайные домики.

Неприятное ощущение снова появилось, когда пришел молодой человек с толстым японцем, похожим на коммивояжера, в засаленном пиджаке, лоснящемся жилете и больших круглых очках.

– Переводчик, – сказал потомок самурая, – он будет переводить вашу лекцию.

– Да, я знаю, – сказал переводчик, – Толстой был знаменитый русский граф. – И, блеснув таким образом своей ученостью, толстый человек сквозь огромные очки самодовольно

взглянул на самурая, на меня и пухлым, с ямочками, кулаком уперся в жирный бок.

Он попросил у меня рукопись и тут же стал переводить лекцию на японский язык. От его вопросов кровь бросилась мне в голову. В его толстых блестящих устах простое упрощалось до азбуки, недоговоренное получало оформление и превращалось в пошлость, вульгарность, такую же, как его лиловый, с белыми горошками, галстук, как все его существо! И как только этот галстук, эти обвислые щеки и пошлость уживались рядом с горами, соснами, бешеной рекой и потомком самурая!

Я должна была читать в три, я была готова без четверти. Японцы аккуратны. Но в три часа никого еще не было, ни переводчика, ни молодого человека. Половина четвертого, четыре. Я начала уже серьезно волноваться, неприятное чувство, что случилось что-то, росло. Они пришли в половине пятого, посадили меня в такси и повезли.

Зал был полупустой, публика странная. Здесь были мальчики с иероглифами на спинах, торговцы и торговки с корзинами, древние старушки, старички. Люди выходили, приходили снова, как будто случайно заходили с улицы, отдыхали и опять уходили. Переводчик размахивал руками, кричал до хрипоты, стучал кулаком по столу, в двух, трех местах люди грубо смеялись, а так как смешного как будто и не было, смех этот больно резал мне слух. Я никогда не чувствовала себя глупее. Мне казалось, что нет ничего общего между тем, что говорила я и о чем кричал лиловый с горошками галстук. Перед самым концом я сделала последнее усилие, стараясь поднять настроение. Напрасно. Люди сидели на своих местах с тем же скучающим, безразличным видом. Ни публика, ни толстый человек не поняли, что я кончила. Но я больше не могла оставаться на эстраде и ушла. Толстый человек подождал, оглянулся кругом и, увидав, что меня нет,

тоже сошел со ступенек. Кто-то нерешительно хлопнул, никто не поддержал, и хлопок одиноко замер. Потягиваясь и позевывая, люди стали расходиться. Вороша волосы, криво, болезненно улыбаясь, самурай подошел ко мне.

– Что же все это значит? – спрашивали мы друг друга. – Где же кооператоры, городские власти? Что это была за странная публика? Может быть, молодой человек потерпел неудачу и не знает, как оплатить расходы?

Мы решили ехать в Асию как можно скорее. Но весь вечер мы тщетно прождали самурая – он исчез. Когда мы сказали хозяину, что хотим уехать, он решительно замотал головой, давая нам понять, что сделать этого никак нельзя. Но утром, когда юноша снова появился, я решительно потребовала, чтобы он отправил нас сейчас же домой.

– Я не могу этого сделать, – сказал самурай, и на щеках его зарделись два красных пятна.

– Почему же? Если вы потерпели неудачу с лекцией, мы заплатим за гостиницу, но мы не можем дольше здесь оставаться, мы должны уехать...

– Умоляю вас! Не делайте этого, не позорьте меня! Я должен исполнить свое обещание до конца... Я не могу сказать всего, но только верьте мне. Я опечален, очень опечален, все ничто в сравнении с тем, что я потерял друзей, которым верил. Но если вы сейчас уедете, это будет для меня последним ужасным ударом, пожалуйста, умоляю вас...

У него был вид человека на краю отчаяния. Впалые щеки горели, под глазами темно.

– Простите, я, должно быть, болен... Я не спал уже несколько ночей, я ничего не могу есть... – И он опять исчез.

Его не было сутки, двое. Мы чувствовали себя брошенными. С каждым днем счет в гостинице увеличивался, а так как денег у нас вообще было очень мало и мы не знали, чем все это кончится, мы стали серьезно беспокоиться. Нам еще

давали есть три раза в день, но с каждым днем обеды и ужины становились проще и скуднее. Мы спросили хозяина, когда приедет наш молодой человек, но он только рукой махнул.

Самурай появился на четвертый день. Он казался веселее, улыбался, заказал хороший обед и сам обедал с нами. «Может быть, все благополучно, – думали мы, – может быть, нам только казалось, что случилось что-то...»

– Куда вы ездили? – спросила я его.

– Приятель заболел и вызвал меня, – сказал он.

– Когда мы можем ехать домой? – спросила я.

– Я завтра посажу вас на поезд.

Мы уехали из Гифу на другой день. Самурай провожал нас. Мы взяли билеты, сели в поезд. И когда поезд уже тронулся и самурай простился с нами, в окно влетел конверт. Юноша бросил его нам и сам исчез. Это были деньги за дорогу.

– Что случилось? – спросила я у Куроды-сан, когда мы встретились с ним. Почему вы писали мне, что городские власти, председатель кооператива и другие влиятельные лица города приглашали нас, а между тем мы видели только одного молодого человека, и он казался таким смущенным.

– Да, я знаю, – перебил меня Курода-сан. – Юноша был у меня и поделился своим горем. Вышло недоразумение. Они получили вашу первую телеграмму, вторую же не получили, ее продержал в кармане один из служащих кооператива. Они отменили лекцию. Когда вторая телеграмма была получена, было поздно что-либо делать, публику нельзя было собрать. Увидав, что лекция провалилась, председатель кооператива и другие струсили и спрятались. Молодой человек решил вынести все трудности на своих плечах. Ему пришлось оплатить зал. Публики не было. Чтобы вам не было неприятно читать при пустом зале, он стал загонять людей с улицы бесплатно. С громадным трудом он нашел переводчи-

ка, тот переводчик, с которым они сговорились раньше, живет в другом городе...

– Почему же он просто не отменил лекцию, не телеграфировал?

– Он считал, что вина не ваша, и не хотел этого делать. Он говорит, что ему тяжелее всего было разочароваться в его друзьях кооператорах, которые в такую тяжелую минуту бросили его. Материальные потери ничто в сравнении с его горем. Чтобы уплатить по счетам гостиницы, ему пришлось поехать в родной город к отцу. Отец его был богатым человеком прежде, но разорился, и единственное, что у них осталось, это старинные картины. Он продал одну из них, чтобы расплатиться... Беда еще в том, что хозяин гостиницы не хотел отпускать его, ему пришлось вас оставить в виде залога. Он обязан еще уплатить вам за лекцию...

– Ну нет, скажите ему, чтобы он этого не делал...

Но самурай приехал. Смущаясь и краснея, он подал мне конвертик, перевязанный красным с белым шнурочком – знаком подарка. В конверте были деньги – сто иен. Я не взяла их.

Через неделю он снова приехал и, кланяясь, положил на татами длинный пакет, перевязанный подарочным шнурочком. Это было старинное китайское какемоно. Отказаться от подарка было нельзя. Я взяла картину.

Картина – вид домика в горах – и сейчас находится у меня. Когда я разворачиваю и смотрю на нее, мне представляется бурное течение Нагары, столбы огня, дождь огненных искр, птицы на вожжах, мифический человек в соломенной одежде, и из-за всего этого великолепного зрелища на меня смотрит робкое, испуганное лицо юноши с взлохмаченными волосами – потомка самурая.

Семья профессора

Каждое утро в доме напротив раздвигалось шоджи и маленькое существо, точно весенний цветок в своем ярком кимоно, в белом фартучке, с бритым затылочком, выползало на балкон и кричало тоненьким голосом:

– Тарутая-тан! Тарутая-тан (Толстая-сан).

– Охайо! Кадзу-чан! (Доброе утро!) – кричала я в ответ.

Семья профессора жила через дорогу. У него был полуяпонский-полуевропейский большой дом, с террасой, балконами, лужайкой перед домом и множеством цветов.

А через некоторое время няня – добродушная, смешливая Суми-чан – приходила к нам, таща на спине нашего маленького друга. У кого запас японских слов был больше – у Кадзу-чан или у нас, – я не знаю, но их было мало, мы почти что не могли разговаривать, а только улыбались друг другу. Кадзу-чан сейчас же решительно слезал со спины Суми-чан и, неуверенно семеня босыми крошечными ножонками – он только недавно научился ходить, – бегал по татами.

Но и Кадзу-чан, и мне очень хотелось разговаривать, и потому каждый день повторялось одно и то же.

– Корэ нанни? – спрашивал Кадзу-чан, тыкая пальчиком в незнакомые ему предметы (что это?).

– Корэ пан (это хлеб), – отвечала я, радуясь, что могу поддержать разговор.

– Корэ – нэко, – глубокомысленно заявлял Кадзу-чан, указывая на мирно спящего кота Дэбу-чан. Кот, прикрыв лапкой поднятую вверх морду, вывернувшись, любит спать на татами, выставив свое черное с белым пузо теплоте солнечного луча. Кота этого нам подарила сестра профессора, и мы страшно любили его. И хотя название у него было японское – Дэбу-чан, то есть толстый господин, разговаривали мы с ним по-русски, и он прекрасно понимал нас. Он часто гулял с

нами, но шел за нами не по улицам, боялся автомобилей и собак, а по верху улиц, т. е. по крышам, заборам, и никогда не отставал от нас.

Один раз с котом случилось несчастье, после которого мы еще больше привязались к нему. В соседнем дворе был колодец, покрытый деревянным кружком. Дэбу-чан любил сидеть на колодце, и мы никак не могли отучить его от этой привычки. И вот как-то соседи доставали воду и забыли положить круг на место. Случайно выйдя на двор, мы услышали приглушенные котиные вопли, не сразу поняли, откуда они, не сразу привязали доску к веревке и опустили в колодец. Должно быть, кот был некоторое время в воде, он ослабел, никак не мог уцепиться за доску. Я побежала на соседнюю улицу за рабочими. Слов не было, и, задыхаясь, я только повторяла:

– Ирошай, дозу, хаяку ирошай! (Идите, пожалуйста, скорей идите!) – и они побежали за мной.

– Нэко, нэко-сан! – чуть не плача, повторяла Туся. Один из рабочих быстро скинул с себя куртку, привязал полено к канату, а другой спустил его. Колодец был очень глубокий, не меньше 30 футов, мне страшно было за японца. Дэбу-чан, видимо, слабел, крики его были едва слышны, порой замирали совсем, он тонул. Но вот японец крикнул что-то из колодца, другой стал поднимать его. Кот лежал на руках японца, но мы были уверены, что он погиб. Он окоченел, не двигался, глаза были закрыты, ушки прижаты, мокрая шерсть прилипла, обрисовывая неестественно худое, жалкое тело и тонкий длинный хвост.

Мы не знали, как благодарить японцев. Я дала им денег и просила сейчас же выпить сакэ. Тот, который лазил в колодец, был совершенно мокрый. Но японцы в ужасе замотали головами:

– Ийэ! Ийэ! – повторяли они (нет, нет). И еще что-то говорили, из чего я только поняла, что они денег взять не могут, потому что спасти кота было их долгом, они сделали это из уважения к Нэко-сан, то есть к господину коту.

А Нэко-сан отогревался на груди у каждой из нас по очереди. Мы влили в него сакэ, валерьяновых капель, теплого молока, и каким-то чудом он выжил.

Обычно Дэбу-чан недолго нежился в солнечном луче, когда у нас в доме был Кадзу-чан. Переваливаясь на непокорных еще ногах, хитро улыбаясь, Кадзу-чан подкрадывался и тащил кота за хвост. Дэбу-чан вскакивал, дико кричал и бежал в другую сторону. Падая, снова подымаясь, Кадзу-чан бежал за ним. Кадзу-чан был ужасно толст и пушист. Может быть, если бы снять с него широкое кимоно, одеть его по-европейски, Кадзу-чан оказался бы очень стройным мальчиком, но во всех этих одеждах он казался страшно неуклюжим, и неуклюжесть эта, пушистость увеличивали его прелестную очаровательность. Он был действительно очарователен, и это сознавали решительно все; это смутно чувствовал и сам Кадзу-чан, конечно, больше всех это сознавала сама кроткая Оку-сан – мать.

И вдруг мы лишились общества Кадзу-чан. Случилось это по моей глупой необдуманности. Таскала я Кадзу-чан на руках и так была увлечена его очаровательностью, что неожиданно для самой себя, забыв осторожность, чмокнула его в темнеющий бритый затылок.

Господи! И зачем только я это сделала! Я сейчас же спохватилась, но было уже поздно! А что я наделала, я мгновенно поняла по лицу Суми-чан. Я никогда не думала, что у добродушной японки мог быть такой злой, колючий взгляд! Она покраснела, побурела, все дружественное мгновенно слетело с ее лица, оно выражало презрение, ненависть. Я почувствовала себя преступницей, когда Суми-чан, точно охраняя

от меня своего питомца, схватила его на руки и побежала домой, через дорогу, бормоча что-то. Я поняла только одно слово: «Китанай, китанай!», то есть грязно, грязно!

С тех пор Кадзу-чан не кричал мне больше по утрам: «Тарутая-тан!» И не приходил к нам в дом. Мы были «китанай». Мне казалось, что и отношение Оки-сан к нам изменилось, она уже не улыбалась нам так приветливо, как раньше, в ее обращении с нами была холодность, сдержанность.

Старший сын – надежда и гордость каждой семьи – умер. Профессор рассказал нам, как это случилось. Мальчик поехал на курорт купаться в море с товарищами и заболел, сделались боли в животе. Профессор не предполагал, что сын его серьезно болен, когда получил первую телеграмму. Родители поехали к сыну, только когда получили вторую телеграмму, что мальчику плохо. Они перевезли его в Токио в госпиталь, но время для операции было упущено, и мальчик умер от гнойного воспаления аппендикса и брюшины.

– Я ужасно мучался, упрекал себя в смерти сына, – говорил профессор, улыбаясь и похохатывая. – Если бы я выехал сейчас же после получения первой телеграммы, может быть, нам удалось бы его спасти, но я, ха, ха, ха, решил, что это несерьезно, был занят к тому же и не поехал... – Голос его вдруг оборвался, он замолчал, но продолжал растягивать рот улыбкой.

Мне было так тяжело слушать этот смех, видеть гримасу, заменяющую улыбку, что я не выдержала.

– Вам тяжело, почему же вы улыбаетесь? – спросила я его.

– Мы считаем, что не имеем права печалить других своим горем, – сказал он серьезно. – Поэтому смеемся, когда нам хотелось бы плакать.

Еще когда сын его был жив, профессор ездил в Россию, чтобы пополнить свои знания русского языка. Говорит он по-русски отлично, почти без акцента, пожалуй, единственный

недостаток его речи – слишком большая старательность в выговаривании окончаний слов. Профессор знает не только классическую русскую литературу, но и современную советскую, и мы нашли у него довольно хорошо составленную библиотеку русских книг.

В Москве профессор познакомился с советским писателем. Это было в то время, когда в России было очень голодно, провизию доставать было трудно, особенно тяжело было с детьми – не хватало жиров, молока. У русского писателя жил племянник, мальчик лет семи, круглый сирота, недокормленный, как и все.

– Отдай мне племянника на воспитание, – сказал раз профессор своему приятелю. – Он будет разговаривать с моим старшим сыном по-русски, а я хочу, чтобы мой сын изучил русский язык и сделался переводчиком и профессором русской литературы, как я.

– Ну что же, возьми, – ответил писатель.

Это была шутка, но бывает иногда, что шутка вдруг начинает приобретать смысл, находит оправдание, превращается в серьезное, и вот решается судьба человека, как в данном случае решилась судьба мальчика Толи.

Профессор привез Толю в Японию, где Толя сейчас же превратился в Тору-чан. Тору-чан скучал, плакал, ничего, кроме риса, не мог есть, а потом привык. В школе его прозвали «зеленые глаза».

Учился он плохо, иероглифы не давались ему. Но говорить по-японски он научился очень быстро и так же быстро стал забывать русский язык, а когда мальчик умер, особого смысла в пребывании Тору-чан в Японии для профессора уже не было.

Мне жалко было Толю. Положение его было не из легких. И хотя я никогда не чувствовала, чтобы к нему были недобры, несправедливы, наоборот, я всегда поражалась, до какой степени ровно и беспристрастно вела себя Ока-сан по отноше-

нию к не только чужому, но совершенно чуждому ей ребенку, все же Толя был одинок. Большой, широкоплечий, с большими серо-зелеными глазами, опушенными длинными, кверху загнутыми ресницами, розовыми, как у грушовки, щеками, Тору-чан был совсем не похож на японских мальчиков.

Ольга Петровна занималась с Толей русским языком. Он говорил плохо, с трудом подбирал слова, с акцентом, писал небрежно, с ошибками, уроки мало интересовали его, может быть, он чувствовал, что они не нужны ему. Но приблизительно раз в месяц Толя получал длинные нежные письма от бабушки из Москвы. Он не мог сам читать их и прибегал к нам. Старая бабушка писала ему, как часто его сестра и она думают о нем, как они надеются, что он помнит еще Россию, их, просила его не забывать русский язык, чаще читать, чаще писать ей письма. Она писала, что Толина сестра ходит в школу, учится хорошо и она надеется, что и Толя учится хорошо, старается...

Не знаю, что чувствовал Толя, когда почти по складам разбирал бабушкины письма, тосковал ли он по родине, по бабушке, сестре и понимала ли старая бабушка, такая по письмам русская, представляла ли она себе, что внук ее уже почти японец, что он выводит иероглифы, ест лопух и сырую рыбу палочками, что он почти забыл русский язык и охотнее одним взмахом ноги накидывал гэта вместо нудных башмаков, которые надо было зашнуровывать и расшнуровывать, называл профессора «диадей», а Оку-сан тетей?

Часто по вечерам, когда профессор и Ока-сан уходили из дому, Тору-чан оставался за старшего с Суми-чан. Суми-чан заводила граммофон. Тору-чан любил слушать музыку, но не любил, когда Суми-чан ставила патриотическую песню, сочиненную в честь победы японцев над русскими.

– Не смей! – кричал Тору-чан. – Не смей ставить эту песню! – Но Суми-чан любила дразнить Тору-чан.

– Останови сейчас же! – кричал мальчик вне себя, топая ногами. – Если ты не остановишь, я сейчас уйду, и ты можешь весь вечер сидеть одна.

Суми-чан боялась оставаться одна, боялась доробо-сан – вора-жулика, – и ей волей-неволей приходилось сдаваться.

Один раз Толя пришел к нам прямо из школы, взволнованный, возбужденный, и стал без предисловия по-детски рассказывать нам, что случилось:

– Сегодня в школе у нас рассказывали про японцев, какие они храбрые ничего не боятся: ни страданий, ни смерти, каждый японец готов умереть за свою страну и что это очень хорошо, потому что японцы победили русских... а русские все трусы! Мальчики стали дразнить меня, что я русский, трус. Мне стало очень обидно, я так рассердился, что почти что с ума сошел. Я стал бросаться на всех мальчиков и бить их кулаками...

– Ну и что же, учитель наказал тебя?

– Нет, не наказал, он даже не сделал замечания. Должен же я был показать им, что мы, русские, не трусы!

Я не знаю, где сейчас Тору-сан. Взял ли его русский писатель обратно в Россию или он остался у японского профессора, и кто из него вышел – русский или японец?

Ока-сан – госпожа или окаа-сан – мать – это существо, которое должно быть всегда незаметно в японской семье. Ока-сан грациозно, тихо движется, никогда ни на кого не кричит, не сердится, не выражает протестов. Когда муж и жена делают покупки, то всегда Ока-сан принимает покупки от приказчика и покорно несет их домой. Вы сплошь и рядом увидите женщину с тяжелой ношей в одной руке, с ребенком в другой, с грудным на спине в то время, как повелитель спокойно, налегке идет рядом, беззаботно покуривая папиросу.

В трамвае женщина заботливо усаживает мальчиков 10–12 лет на свободное место, а сама, балансируя на своих гэта, держится за ремень, стоя в проходе с маленьким на спине.

Ока-сан обычно не понимает, что значит жить для себя, она вся полна только жизнью, желаниями своего «дана-сан» и своих детей. И немного еще в Японии женщин, которые имеют смелость заявлять о своих правах и желаниях.

Мы любовались Ока-сан. Кротко улыбаясь, она неслышно двигалась по дому, целый день что-то делала, принимая ванну в последнюю очередь, после мужа и детей, обедая после всех, когда рис и рыба уже остывали и лучшие куски были съедены, ложась спать последней, когда всё в доме успокаивалось, и просыпаясь первой, чтобы позаботиться о завтраке для мальчиков и мужа. И никому в доме, наверное, и в голову не могло прийти, что Ока-сан была первым, самым главным человеком в доме.

После нашего отъезда из Японии у профессора родился еще один сын, которого в честь моего отца назвали Лев, что по-японски произносилось: Риову-чан.

А через два года после рождения Риову-чан Ока-сан умерла от несчастных родов. И мне страшно подумать, как осиротели без нее и Тору-чан, и Тэт-чан, Кадзу-чан, и незнакомый нам Риову-чан.

Джин-рикша

Он отшвыривает ноги, как рысистая лошадь, и они быстро-быстро мелькают между гнутыми легкими оглоблями. Стальные сильные мускулы пружинят, шары перекатываются в икрах, как чугунные гири. Копыта его похожи на коровьи: черная суконная обувь с тяжелыми резиновыми подошвами сделана так же, как «таби», большой палец отделен и ступня раздвоена, отсюда и сходство с коровьими

копытами. Зимой они в черных, летом в белых обтянутых куртках и штанах, широкие, плоские, как хлебные блюда, шляпы защищают худые загорелые лица. Джин-рикши толстые не бывают.

– Десево, – говорит старик Конисси-сан, совершенно не понимая, почему вопрос о рикшах мучительно меня волнует, – десево, спокойно.

И действительно, легко и быстро, без всякого, казалось, напряжения несся человек-лошадь по дорогам и улицам между автомобилями и, только когда останавливался, дышал тяжело и часто и бумажными чистыми платочками вытирал с лица и шеи обильный пот.

– Ну, теперь им плохо стало, – продолжал Конисси-сан, – большая конкуренция, автомобили отбили у них всю работу, все предпочитают такси, многим рикшам пришлось уйти обратно в деревню, делать стало нечего.

А меня рикши выводили из равновесия. Я часто смотрела на седока, особенно сердили меня толстые, упитанные европейцы, и я с раздражением думала, что хорошо было бы заставить их поменяться, запрячь седоков в колясочки и заставить их побегать. Неужели меня испортила революция? Неужели, когда я смотрю на толстого европейца, воняющего толстой сигарой, я испытываю злобу большевика-пролетария?

Мне хотелось побольше знать о рикшах, но из Конисси-сан было трудно что-либо вытянуть.

– Что, рикши болеют? – спрашивала я.

– Должно быть, болеют, как и все люди, – отвечал он, – только они умирают рано, немногие из них живут больше шестидесяти лет, у большинства расширение легких, сердца...

– А вы часто ездили на рикшах, Конисси-сан, расскажите что-нибудь про них.

– Ну что рассказывать, нецево рассказывать. Вот когда первая железная дорога прошла, то прошла она между Токио и Иокогамой и между Осака и Кобе. Передвигались по озерам, океану на пароходах. Вообще ездить было неудобно, но когда выдумали джин-рикшу, сообщения очень облегчились.

– Ну и что же?

– Ну и ницево. Стали ездить на джин-рикшах. По-русски джин-рикша значит человеческая сила. Есть у них и еще название – курума – значит колесо или коляска. Очень умный был человек изобретатель джин-рикши! Очень умный! Японцы уважали его, а правительство настолько оценило его изобретение, что даже выдало пособие на сооружение колясочек.

– Ну а почему же у вас не ездили на лошадях, как у нас в России? Разве лошади были дороже?

– Нет, не дороже, пожалуй, десевле...

– Ну так почему же предпочитали ездить на рикшах?..

– Ну как вам сказать?.. Рикша удобнее, лошадь идет медленно, шагом, а рикша бежит скорее, рысью, да и возни с лошадью больше, надо за ней ухаживать, кормить, поить...

– Почему же лошадь идет шагом, разве лошади не бегают рысью?

– Ну поцему? Лошадь погонять надо, а рикша бежит сам...

Старик замолчал, тема его не интересовала, мы надоели ему своими вопросами.

– Вы хотели рассказать, как вы путешествовали, Кониссисан? дипломатически прерываю я молчание.

– Ну так и ездил... Верст 160, 170. Из Осака в Нагою. Ну ницего, удобно, рикша бежит верст по восьми в час, через 15–20 верст станция, рикша меняется, везет другой, свезий...

– Ну а багаж?

– Ну что же багаж? Брали с собой. На одного человека можно было полтора пуда... И не так уж это было дорого, за один ли – около четырех верст – рикша брал 15–20 сен.

– Ну как же в гору?

Наши глупые вопросы стали заметно раздражать старика.

– Ну и сто же! Сто в гору! Если уж очень крутая – слезали, а то вез потихоньку. В горах у нас, вот на Формозе, тоже употребляли каго, по-вашему носилки, что ли? Каго несут два человека, потому дорозе.

И старик призакрыл глаза и замолчал, явно показывая, что он устал от этого скучного, бесполезного разговора и что больше мы из него ничего не вытянем.

Мне пришлось видеть каго, когда мы жили на горячих источниках.

По узким извилистым тропинкам я взбиралась на крутую гору. Я уже почти добралась до вершины. Направо – обрыв, слева с горы несся широким потоком кипящий источник. Действительно кипящий, я видела, как в этой воде два японца варили яйца. Самой вершины видно не было, она окутана была густым паром. Пар, желтый, вонючий, расстилался по глубокому ущелью, пахло серой, тухлыми яйцами, желто-серые скалы, облезлые кустарники, ни птиц, ни травы, точно вымерло все. «Если ад существует, то это место на него похоже», – думала я, со страхом пробираясь по тропинке по самому краю обрыва. От сильного запаха мутило, и я остановилась отдохнуть на небольшой площадке. Снизу, догоняя меня, шла целая процессия.

Четверо носилок, крытых яркой цветной материей. Одни люди, лежа на носилках, в каго, кричали, смеялись. Мне показалось, что они пьяны – двое мужчин и две женщины. Пестрыми шелковыми зонтиками женщины сбоку защищались от солнца. Другие люди были серьезны и трезвы. Они шли твердой, уверенной поступью, бережно, по краю обрыва

неся пьяных, они знали здесь каждый поворот, каждый камень. Носить веселящихся туристов в горы – их заработок, их ремесло. И занимаются этим, как я потом узнала, – «эта»[73].

Доктора

Человек, потерявший богатство, лишившийся привычной, удобной обстановки, испытывает то же, что человек, лишившийся теплой шубы. Без шубы ему легко, но надо работать, чтобы согреться.

Нам было легко, мы ничем не были связаны. Жили, где хотели, как хотели, согревались той или иной работой: писали статьи, давали уроки, я читала лекции, организовали курсы русского языка под Токио, в бойком месте Синджуку. Но бывали полосы, когда работы не было, и тогда согреваться было трудно.

Потребности свои мы довели до минимума. Жили в крошечном, в две комнатки домике, ели рыбу, куриные и телячьи почки и печенки (японцы не едят внутренностей животных и продают их за гроши), рис, фрукты «на тарелочках». Этого я нигде раньше не видела. Если яблоки, груши, бананы хоть немного помяты, с пятнами, они откладываются на тарелочки и продаются по счету за гроши. Очень часто эти фрукты даже вкуснее, потому что они спелее, чем те, которые дороже. Долларов на сорок мы не только ухитрялись втроем жить, но и платили за Тусину американскую школу.

Но и сорок долларов временами нам трудно было заработать. Предприимчивый японец открыл русские курсы против наших, через улицу. Он широко рекламировал их и брал со студентов не пять иен, а три иены в месяц. Наши ученики постепенно стали перебегать к японцу, и у нас осталось лишь семь верных учеников. Пришлось закрыть курсы, а семь

[73] Особая, мало уважаемая секта.

студентов стали ходить к нам на дом. Наше финансовое положение заколебалось.

Как на грех, я заболела. Началось с жабы, болезнь перекинулась на десны. Температура поднялась до 41 градуса. Я металась на своем футоне в полубредовом состоянии, мучила Ольгу Петровну, почему-то составляла свое духовное завещание, хотя завещать мне было совершенно нечего. Ольга Петровна настаивала на докторе, я, как всегда, протестовала, тем более что пять иен, которые надо было заплатить доктору, составляли весь наш ка-питал.

Было довольно неприятно. Хотелось пить, а утолить жажду нельзя было больно глотать, татами были слишком жесткие и слишком тонок был футон, из низкого раздвижного окна страшно дуло, меня раздражало, что стакан с водой, градусник, часы находятся на той же плоскости, что и ночные туфли, беспокоили мысли о завтрашнем дне...

Наконец мне пришлось уступить. Решено было позвать доктора. Но какого? Русских докторов в Токио не было. Американца? Но единственный американский доктор, о котором мы слышали, был специалист по нервным болезням.

– Я приглашу к вам нашего доктора, – решительно сказал наш сосед профессор. – Он много лет уже лечит нашу семью, он добросовестный, добрый человек и берет дешево.

Действительно, доктор был добродушный. Толстенький, кругленький, в сером европейском костюмчике, с цепочкой в жилетном кармане, от холодного прикосновения к которой мороз пробегал по телу. Он подтянул штаны кверху, сел на пятки и стал меня осматривать. Несколько раз он выпрямился:

– Са-а-а-а!

Долго мучил меня. Я открывала рот, закрывала, снова открывала.

– Са-а-а-а!

Он позвал профессора. Сидя передо мной на полу, они долго о чем-то толковали, по-видимому, он советовался с профессором литературы, все-таки профессор чаще имел дело с европейцами и лучше понимал их... Они качали головами, и доктор прописал мне порошки, должно быть, аспирин.

Мне не стало лучше. Утром повторилось то же самое.

Он пришел, опять вздернул европейские штаны, опять уселся на полу по-японски. Штаны натянулись, и я думала: лопнут или не лопнут.

– Са-а-а! – глубокомысленно тянул доктор. – Вакаримасэн! Не понимаю!

Он больше не приходил.

– Доктор сказал, – сообщил нам профессор, – что приходить ему бесполезно. Он все равно не может помочь, он не понимает, что у Толстой-сан за болезнь!

Но он действительно оказался добросовестным, как говорил профессор, и дешевым, в конце месяца я получила счет на одну иену.

Что было делать? Профессор сказал, что у него есть приятель – молодой доктор, очень талантливый, ему предсказывают блестящую будущность. Он с удовольствием придет, денег ему не надо. Всякий более или менее сложный медицинский случай интересует его с научной точки зрения, он даже будет очень благодарен, если Торусутая-сан позволит ему исследовать ее и попытаться поставить диагноз.

И молодой доктор пришел. Это был очень юный человек. По-мальчишески ему хотелось блеснуть своими знаниями. Но при первых же нелепых вопросах, переведенных мне с некоторыми ужимками профессором, о моей наследственности, я, несмотря на свое болезненное состояние, чуть не выпроводила этого ученого. Он расспрашивал меня о здоровье моих родителей, о здоровье моих дедов и бабок, ему надо

было знать, сколько детей у моей матери, сколько у бабки, почему я не вышла замуж... Он смотрел горло, нажимая язык деревянной лопаточкой, смотрел без лопаточки, взял мокроту для анализа. Порой он замолкал и сидел на татами в чисто классической японской позе с руками на коленях, совершенно неподвижно думал. Наконец он спросил:

– А у ваших родителей, Торусутая-сан, сифилис был?

Я хотела его выгнать. Наконец он сказал «инфекция» и дал перекись водорода для полоскания, как раз то, что мы старались купить, но не могли, потому что не знали, как спросить по-японски.

И не знаю, от докторских ли вопросов, от полосканья ли, но мне стало лучше – я стала поправляться.

Доктору мы уплатили последние 5 иен, и не осталось ни одной иены на приобретение еды.

Я собралась с силами и, узнав про бывшего посла в Японии Абрикосова, попросила у него взаймы несколько иен.

Абрикосов отказал. Помогли японцы, а затем, позднее, охотно дала взаймы большая приятельница моей старшей сестры Татьяны.

И это было спасение. На эти деньги мы через несколько месяцев переехали в Америку.

Сакура – цветущая вишня

Воздух напоен благоуханием. Бегут облака на темном фоне реки. Свисают безлистные тяжелые цветы. Еще раннее утро, только что проснулись разноцветные маленькие и большие птицы, названий которых я не знаю, но слышу их ликующее властное щебетание. Здесь по берегам цветет сакура. Уже некоторые бело-розовые лепестки опадают, оседают на воде и медленно исчезают, но одни сменяются другими, и весь апрель вся Япония похожа на благоухающий

сад. Тяжелая махровая нежно-розовая сакура зацветает последней.

Сакура везде: на дорогах, вдоль заборов, в парках, на опушке леса. Она заполняет все дороги, поля, берега озер и рек, она украшает дворцы богатых и хаты бедных, шинтоистские, буддийские, таоистские храмы. Везде гулянья, всеобщее празднество: празднуют старики, празднуют дети, взрослые. Все нарядные и веселые, как на Новый год. В Японии сейчас большой праздник цветет сакура!

Наш сосед, профессор, предложил нам поехать на велосипедах верст за тридцать в парк, где много сакуры. В Японии приличные люди не ездят на велосипедах, и нужна смелость для того, чтобы почтенному японскому профессору пуститься на такую авантюру и спуститься до мальчиков, развозящих товары из лавочек на велосипедах, но наш друг профессор – передовой, культурный человек, он не обращает внимания на условности. Несмотря на недоумевающие, может быть, косые взгляды Оки-сан, профессор вывел из сарая свой новенький блестящий велосипед, и мы поехали.

Погода чудесная, на солнце жарко, узенькие проселочные дорожки только что просохли, и пыли нет. Велосипеды катятся легко и быстро. Мы едем около двух часов и вот наконец доезжаем до широкой, полноводной реки. Нас перевозит паром. За рекой на многие версты прозрачное бело-розовое поле, конца ему нет, оно сливается с горизонтом. Это сакура! И мы торопимся к ней, нам надо почувствовать ее ближе, насладиться ею, ощутить ее аромат!

Людей все больше и больше. Ехать дальше нельзя, мы слезаем и ведем велосипеды. По дороге, подымая пыль, тянутся бесконечные автомобили. По истоптанной тысячами башмаков и гэта, пыльной, засоренной бумажками, мандаринными корками, окурками аллее тянутся люди. Они идут большими группами, семействами, с детьми, идут парочками,

в одиночку, они веселятся, потому что сегодня праздник – цветет сакура!

Но где же сакура? Я уже больше не вижу ее, не ощущаю, не чувствую ее аромата, не вижу ее лепестков, падая, они смешиваются с пылью...

Я вижу бойких торговцев. Воспользовавшись праздником, вдоль аллей из старых вишневых деревьев они развернули временные лавочки, я вижу кабаки, они бойко продают сакэ, лотки торгуют орехами, бобовыми пирожными, жареными каштанами и игрушками, полупьяные торговки, хватая людей и выкрикивая что-то, зазывают к себе в палатки. Я вижу женщин, которых не видела прежде, в ярких кимоно и высоких прическах, они нескромно визжат, жесты их развязны, одна из них – пьяная, ухватив детей, заставляет их делать неприличные жесты. Публика отвратительно, пьяно гогочет. Пьяные, надевши маски с длинными косами, кривляются, громко орут. Я вижу студента и девушку. Студент ведет ее, бережно поддерживая под руку. Девушка, по скромности своей одежды и облику похожая на курсистку, виновато, бессмысленно улыбается, раскачиваясь во все стороны. О, Господи! – она пьяна...

Японцы празднуют. Пусть человек не пьет целый год, но сейчас он должен напиться до потери сознания и, если даже он не может пить, он должен хоть притвориться пьяным. Какое же может быть веселье, если люди не пьяные?

Мы остановились, чтобы снять эту дикую толпу, но нас немедленно окружили, что-то кричали, хватали, и мы поспешили уехать.

Мы поехали домой другой дорогой. Нам пришлось несколько верст лавировать между пьяными, нас обгоняли бесчисленные такси. Но вот, наконец, мы выехали на проселок, вдоль тихо струящегося канала, обсаженного сакурой. Мы остановились и сели отдохнуть.

Кругом божественная тишина, воздух напоен нежным, горьковатым запахом сакуры. Осыпаясь, она роняет лепестки. Лепестки трепещут в воздухе и беззвучно осаживаются на прозрачной воде.

Эта

Японцы не любят говорить об эта. Кто они? Откуда? Чем они отличаются от других людей?

В наших глазах они были такие же, как и все остальные, но японцы утверждали, что они всегда могут узнать эта, что у эта совершенно особый тип, другие глаза, волосы, сложение. Они уверяют, что от них нехорошо пахнет.

Кто же эти люди, эти парии японского народа, всеми презираемые, отделенные в особую касту?

В VIII и IX веках, когда буддизм имел такое громадное влияние в Японии, свято соблюдался буддийский закон, воспрещающий есть мясо. Позднее религиозное чувство ослабело, но японский народ привык к растительной пище. Они могли убивать, но есть животных – это вызывало в них страшное отвращение и брезгливость. После X века, когда вспыхнули междоусобные войны и для военных целей – седел, сапог, ремней – понадобилась кожа, никто не хотел убивать животных, и те, которые соглашались это делать, вызывали брезгливость и отвращение. С ними не желали общаться, их презирали, и постепенно люди эти выделились в особую касту, они селились в отдельных поселках, не принимались в японское общество, не смешивались с ним, молодые люди не женились, девушки не выходили замуж за эта.

О существовании эта мы узнали от одного русского, прожившего много лет в Японии.

– Смотрите, – предупреждал он нас, – громко не произносите это слово на улице, это ругательное слово. Если вас услышит эта, он может броситься на вас, избить.

Эта долго были лишены всех гражданских прав. У них было свое управление, свой уголовный кодекс, их не принимали на государственную службу, дети не желали учиться в школах, где были дети эта. В 1865 году, после воцарения династии Меджи, они были восстановлены в правах. Но за ними остались навсегда некоторые профессии: кожевников, мясников, кузнецов и самые низкие санитарные должности в госпиталях, на кладбищах. Еще позднее им была предоставлена еще одна специальность. В Кобе был мор. Весь город вымер от голода, опустел маленький, очень старинный шинтоистский храм, некому было за ним ухаживать. И только эта из ближайшего поселка приходили, убирали, чистили вокруг храма и приносили цветы. После этого за ними закрепилось право быть цветоводами.

Но хотя формально эта и были восстановлены во всех гражданских правах все продолжали их чуждаться. Напрасно либералы и либеральные министры произносили речи о том, что эта такие же люди, как и все, что надо уважать их, – никто не хотел иметь с ними дела.

– Неужели и теперь существует это предубеждение? – спросили мы у одного своего друга, либерального, передового японца.

– Да нет... – неуверенно сказал он, вызывая в нас желание проникнуть глубже в сущность вопроса.

– Ну как бы поступил ваш сын, если бы ему пришлось в школе сидеть рядом с эта?

– Са-а-а-а! – Либеральному японцу наш вопрос был явно неприятен. – Да... Пожалуй, ему было бы неприятно. Откровенно говоря, всем неприятно. Когда эта приносит мясо, никто не желает пускать его в дом...

– Ну, а образованного, культурного эта вы пригласили бы к себе в дом?

– Приглашают, – ловко уклонился от прямого ответа либеральный японец. – Но в большинстве случаев приглашают, если не знают, кто он такой. Да, к сожалению, предрассудок этот еще существует. По правде сказать, и до сих пор эта редко утверждают на государственную службу, это всегда вызывает недовольство у остальных служащих...

– Но почему же? Ведь сейчас все японцы едят мясо? – допытывались мы. – Что они, грязные? Бедные?

– Нет, есть среди эта очень богатые люди, у них прекрасные дома, служащие, автомобили... Трудно сказать, почему ими брезгуют. Некоторые японцы думают, что это совершенно чуждая нам, пришлая раса.

– Вы их тоже не любите? – спросила я.

– Ну как вам сказать?

Вдруг глаза либерала сузились, лицо сморщилось, и он стал хохотать. Мы смотрели на него с недоумением, но он так заразительно хохотал, что и мы невольно заулыбались.

– Ох, – наконец с трудом выговорил он сквозь смех. – Ох, я вспомнил одну историю, которая случилась с моим соседом. Он очень хороший человек, из очень хорошей семьи, но очень бедный. И вот один раз он пришел домой пьяный. Я слышу, он кричит, жена кричит, сыновья ругаются... Я бегу к ним... Ха, ха, ха! – опять закатился японец. – Они все били, били его, больно били...

– Потому что пришел пьяный?

– Нет, нет! За то, что эта напоил его и пил с ним! Ох, как та женщина ненавидит эта, она говорит, что узнает их по запаху, что от них воняет...

Передовые женщины

– Что такое? Вы говорите, что в Японии больше свободы, чем в СССР. Для кого? – И над громадными, в темной оправе круглыми очками поднялись, углами заострились узкие

брови, тонкие пальцы изнеженной руки быстро-быстро завертели карандаш. – Вы просто не знаете. Женщины, например. В Японии женщины – рабы. Отцы продают девушек на фабрики, в... ну как это... нехорошие дома...

– Дома терпимости?

– Да. Вы знаете, сколько в Японии этих девушек, шоджи по-японски?..

– Проституток?

– Да. Да. Пятьдесят две тысячи, не говоря уже о гейшах!

– Но ведь гейша не проститутка, это же совсем другое.

– То же самое. У гейши всегда есть, ну как это сказать, богатый человек...

– Покровитель?

– Да. Ну, иногда этот человек выкупает гейшу, но ведь это та же проституция, только гейши тоньше, образованнее, умнее, чем обыкновенные шоджи. Ведь это же ужас! Детей, маленьких девочек воспитывают, как гейш, заранее решая их судьбу. Видели их?

Да, я много раз их видела в концертах, в театре. Девочки лет 10–12-ти, набеленные, накрашенные, в ярких кимоно, в сопровождении скромно одетых японок в высоких прическах. Гейши всегда скромно одеваются, мы никогда не отличили бы их от других женщин, но японцы безошибочно узнают их. На этих кукольных девочек было всегда тяжело смотреть. Но особенно волновалась всегда Туся.

– Мама́, кто эти девочки? Почему они такие? – спрашивала она с тревожным любопытством, точно чувствуя, что здесь крылось что-то нехорошее.

– Но ведь сейчас проститутки в Японии свободны?

– Ах, это только так говорится. Ну представьте себе, что родители получили деньги за девушку, у них есть обязательства. Ну как она уйдет? Сейчас, правда, среди передовых людей, особенно женщин, началось сильное движение против

проституции и кое-что им удалось сделать, но что это? Капля в море! А вы говорите, что в советской России нет свободы. Там проституция ликвидирована, женщина получила права, а здесь...

Ее наивность начинала раздражать меня.

– У вас все знают, что проституция существует, и борются с ней. А в советской России она существует в скрытой форме. Служащие советских учреждений, получая нищенские жалованья, учительницы вынуждены по ночам выходить на улицу, беспризорные девочки с восьми лет продают себя, в школах, в университетах разврат...

– Что разврат? Пустяки это все... Почему разврат? Молодежь увлекается, сходится, это вполне естественно, никакого разврата нет. А если в церкви, как это у вас по-русски называется, жениться, тогда не разврат? А если и есть что-нибудь плохое, то вы же знаете, какое наследство советское правительство получило от царя? Как оно может сразу ликвидировать беспризорность?..

– При царе не было беспризорных...

– Советское правительство бедно, оно не может сразу увеличить жалованье служащим. Но разве дело в этом? Советское правительство старается улучшить жизнь пролетариата, оно дало все права женщинам, организовало помощь матерям и детям, ввело восьмичасовой рабочий день на фабриках, а наши девушки продаются на фабрики. И какие там условия! Нищенское жалованье!

–...А массовые расстрелы, отбор хлеба у тех, кто его производит, лишение свобод, уничтожение тайного голосования, нищета, голод?

– Голод? У нас крестьяне не могут есть рис, едят только бобы, нет одежды... А у вас все это временно. Посмотрите, что будет через несколько лет! Теперь, когда капитализм, буржуазия уничтожены...

– Вы большевичка, Такэ-сан! – Мне не хотелось больше спорить.

– Что? Я... Нет, пожалуйста, не называйте меня так.

– Но разве это неправда? Все, что вы говорите, я много, много раз слышала от большевистских ораторов...

– Да нет, но я не состою в партии. И пожалуйста, я прошу вас, не называйте меня так, что я сочувствую большевикам.

Едва заметная дрожь пробежала от одного острого плечика к другому, сдвинулись удивленные брови. Я невольно улыбнулась. Она поймала мой насмешливый взгляд.

– Если бы вы знали, как здесь мучают в тюрьмах, особенно мучают коммунистов. Бьют, больно бьют...

– А в России коммунисты пытают людей...

Она пропустила мое замечание мимо ушей, она была так полна неправдой своего правительства, так хотела верить в правду большевиков, что мои слова не задевали ее, не входили в нее.

–...стоять, лежать не позволяют, надо по-японски сидеть целый день. И так жестоко бьют, – снова повторила она. – Ах, как я боюсь. Много раз хотела записаться в партию, но не могу. Знаю, что я нехорошая, что это плохо, очень плохо так бояться, но я не могу, не могу...

Раздражение во мне совсем улеглось. Такая она была смешная со своими выпяченными губками бантиком и таким неподходящим к губкам широким, умным, важным лбом, приплюснутым носом, блестящими узкими глазами и женской ласковостью, которая так и светилась в ней и которую скрыть мужской рубашкой, галстуком и мальчишеским обликом – ей никак не удавалось.

Такэ-сан была та самая японочка, которая провожала нас на московском вокзале, та, которая похожа была на повара на японском пароходе. Она недавно вернулась на родину.

Во Владивостоке закрылся японский банк, менявший японцам валюту не по советскому курсу, а по действительной стоимости иены и советского червонного рубля. И так как русский рубль в то время котировался на пограничной полосе приблизительно в два американских цента, то жизнь в России стоила японцам очень дешево. Многие профессора, служащие, имевшие дело с русским языком, ездили и в Москву и за гроши скупали ценные старинные русские книги, учебники, классиков. Но советское правительство пронюхало об операциях японского банка и закрыло его. Японцам, жившим в России, пришлось менять иену по правительственному курсу, и жизнь стала так дорога, что многие японцы должны были вернуться на родину. Я это знала, но мне ужасно хотелось подразнить Такэ-сан.

– Ну и сидели бы в своей советской России, а я поживу в капиталистической Японии, мне здесь гораздо больше нравится. Зачем приехали, коли тут вам плохо?

– Да, это правда, – отвечала она с серьезной искренностью, – там люди ищут новых форм, движутся куда-то, а здесь... Но мне нельзя больше жить в России.

– Почему же?

– Кушать нечего.

– Как так кушать нечего! Все делается для бедных людей, для пролетариата, и вдруг кушать нечего!

– Да, для бедных, – повторила она убежденно, – но временно немножко трудно, риса нет, то есть, конечно, можно достать, но очень дорого.

– Ну, и без риса можно революции помогать. Русские рабочие не только без риса, но и без хлеба сидят. А наши старые революционеры – Фигнер, бабушка русской революции, Морозов и другие жизнью жертвовали, по двадцать лет в одиночном заключении сидели за идею, а вы боитесь без риса остаться!

– Да, это правда, – сказала она.

– Плохой вы революционер, Такэ-сан, – сказала я. Она была слишком бесхитростна, наивна и искренна, и желание дразнить ее постепенно пропадало. Замуж вам надо, Такэ-сан, детей рожать и воспитывать.

– Мне надо замуж? – И она вдруг расхохоталась надтреснутым тенорком, как хохочут мальчики-подростки, у которых ломаются голоса. – Ха, ха, ха! Замуж, мне? Никак нельзя!

– Почему нельзя?

– Никто не захочет меня! – И она законфузилась. – Очень не-кра-си-ва-я.

Когда она приходила к нам, соседи глазели на нее. Профессорская Ока-сан с Кадзу-чан за спиной выглядывали из дома, Суми-чан, вытирая на ходу красные руки и расправляя подвязанные рукава кимоно, выбегала на улицу и кричала:

– Смотрите, смотрите, какой хорошенький мальчик!

Японки смеялись, закрывая рты широкими рукавами кимоно, перешептывались и с жадной откровенностью рассматривали мальчика-японку. А она, в черном костюме, мужской шляпе и желтых башмаках на низких каблуках, с портфелем, быстро и деловито шагала по улицам, ни на кого не глядя. Она привыкла к насмешкам.

Такэ-сан часто с восторгом говорила нам о своей приятельнице, передовой и очень популярной среди молодежи писательнице, которая тоже сочувствует большевикам.

– Она очень умная, – говорила Такэ-сан, – не такая, как я.

Но мне показалось не так. Разговаривая с писательницей, я несколько раз вспоминала одно из любимых сравнений моего отца – человека с дробью. Числитель – качество человека, говорил он, знаменатель – его самомнение. У Такэ-сан был небольшой знаменатель, у писательницы – громадный.

– Здравствуйте, – сказала писательница и, не дожидаясь, пока Такэ-сан нас познакомит, это была излишняя формаль-

ность, протянула мне руку, немного выворачивая локоть. – Давно из России? – Она бойко говорила по-русски.

– Да, уже скоро год.

– Когда же думаете возвращаться?

– Да при большевиках возвращаться не думаю.

– Вот как!

Она пристально посмотрела мне в глаза, я не отвела своих. И как иногда, неизвестно почему, в людях мгновенно вспыхивает любовь, так здесь вспыхнула враждебность. Я не столько увидала это по тени, пробежавшей по ее бледно-серому, нездоровому, ожиревшему лицу, сколько почувствовала. Она мне тоже не понравилась. Я любила японских женщин, в писательнице же не было ничего ни женственного, ни японского. Ее развязность, непринужденность, мужеподобная одежда, манера, с которой она не переставая курила, опираясь на правый локоть, держа папиросу между двумя пальцами и тонкой струей пуская в потолок дым, – все показывало, что она давно уже переросла ненужную и глупую, с ее точки зрения, нежную скромность и застенчивость японской женщины.

– Я думала, вы сочувствуете большевикам, вы столько лет работали с ними. Разве ваш отец не сочувствовал бы освобождению народа из-под гнета царизма?

– А что общего между большевиками и освобождением рабочего класса? – «Ох, не надо было бы спорить», – думала я.

– Что, что такое? Не понимаю... – Писательница вся насторожилась, готовясь броситься в бой; короткая рука с папиросой замерла в воздухе. – Большевики же раскрепостили рабочий народ.

И я не сдержалась, начался глупый, ненужный спор. Мы обе кричали, не слушая друг друга, недоброе чувство разгоралось все сильнее и сильнее. Писательница спорила так же, как я, то есть несдержанно и грубовато. Минутами я забывала, что

она японка, мне казалось, что передо мной – большевистская агитаторша.

– Вы говорите, что крестьян ссылают? – кричала она. – Ссылают не крестьян, а кулаков! И хорошо делают! Надо в порошок стереть всех тех, которые мешают советской власти! – Пухлый кулачок сжался и с силой опустился на стол. – Может быть, вы скажете, что надо и буржуазию по головке гладить? Пускай опять царя сажают...

– Но почему вы думаете, что именно вы, ваша партия имеют право карать? Почему именно вы знаете, что лучше народу?

Она не слушала меня.

– Ах, ну что вы можете мне сказать, вы, у которой революция отняла все?..

– Революция дала мне все: научила меня работать, дала мне положение, хорошее жалованье... Но не во мне дело, дело в миллионах рабочих и крестьян...

– Крестьян? Мелкая буржуазия, собственники, мещане, не могущие понять своих же собственных интересов...

– Вот вы их и учите ссылками, разорением, расстрелами!

– Да, да, да! – кричала она в исступлении. – И надо расстреливать, если они мешают нам...

Наступило неловкое молчание.

Ольга Петровна и Такэ-сан, не принимавшие никакого участия в споре и тщетно старавшиеся нас остановить, перевели разговор на другое.

Она не приходила больше, и я была рада. И я рада, что таких мало. Хорошие, честные, спокойные женщины борются за свои права в Японии другим путем.

Отказ вернуться в СССР

3 февраля 1931 года, после почти полутора лет пребывания в Японии, я получила следующее отношение:

«3 февраля 1931 г.
Г. Александре Львовне Толстой.

Настоящим прошу вас прийти в мою контору в пятницу 6-го сего месяца в 12 ч. дня по вопросу, связанному с вашим пребыванием за границей.

Генеральный консул СССР в Токио
Подольский».

Перед этим я только что написала письмо замнаркому по просвещению Эпштейну, прося его продлить мою командировку, так как я в настоящее время пишу книгу об отце и хочу ее здесь, в Японии, закончить. Кроме того, я прошу его дать мне обещание, что школа и музей будут вестись на тех началах, как это было при Ленине, то есть не будет в них никакой антирелигиозной пропаганды. На это мое письмо Эпштейн мне ответил, что хотя работы много, но все же они разрешают мне продлить командировку до сентября, а что касается принципиальной установки толстовских учреждений, сговоримся, когда вы вернетесь. Получив бумагу от заместителя наркома, я сразу же приняла решение: порву окончательно с советским правительством и не вернусь больше в Россию, если власть не переменится. И я написала следующее:

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПРОСВЕЩЕНИЯ
от Александры Львовны Толстой

Заявление

3-го сего февраля мною получено отношение от советского генерального консула в Токио с просьбой явиться для выяснения вопроса о моей задержке за границей.

Главная причина моей задержки – невозможность продолжать работу в память моего отца на родине.

Еще перед своим отъездом в Японию я не раз подавала письменные и устные заявления с просьбой об отставке от заведования опытной станцией «Ясная Поляна» Главсоцвоса. Я хотела уйти, потому что школа постепенно переставала быть исключением из рядовых советских школ, и я, как дочь своего отца, не могла возглавлять учреждение, противное его учению. В данное время школа совсем перестала считаться с тем, что она является «памятником» Толстому введена военизация, антирелигиозная пропаганда и пр.

Если это неизбежно, то я не могу возглавлять «памятник» отцу, который проповедует диаметрально противоположные его учению взгляды и учит ребят обращаться с оружием.

Еще до моего отъезда за границу в Толстовском музее поднимался вопрос об антирелигиозной пропаганде. Теперь же в газетах пишут и о полной военизации его работников.

Правительство прекрасно знает, что, пока оно стояло на точке зрения исключения в смысле идеологии для толстовских учреждений, бережно охраняя их, я работала не покладая рук. Теперь же, когда товарищ Эпштейн на мое письмо отвечает: «Приезжайте, сговоримся», а на деле все толстовские учреждения не только превратились в рядовые советские учреждения, но имеют как бы главную цель – распространение антитолстовского учения, я, как дочь Толстого, работать в них не могу и потому в данное время от возвращения на Родину воздерживаюсь.

4-го февраля 1931 г.
Александра Толстая.

7 апреля появилась заметка в «Последних новостях»:

«Нью-Йорк. Сюда сообщают из Токио: Александра Львовна Толстая, добивающаяся визы в Канаду, получила распоряжение из Москвы вернуться в СССР. А. Л. Толстая заявила, что приказа не исполнит и в Россию не поедет».

В Японии мы прожили 20 месяцев, многое видели, со многими японцами подружились, но чувствовали, что пора было выбираться и устраиваться в другой стране на постоянное жительство, где мы могли бы обосноваться и где Ольга могла бы дать своей дочери хорошее образование.

Но выбраться из Японии было нелегко. К кому только я не обращалась: к бывшему русскому послу в Токио Абрикосову, к влиятельным американцам – нашим друзьям квакерам, чтобы они переговорили с американским консулом. Писала я и духоборам в Канаду. Мне казалось, что духоборы могли бы помочь мне в память отца, который отдал им весь гонорар с первого напечатания «Воскресения», а брат мой Сергей помог им переселиться в Канаду, сопровождая их на пароходе и проводив их до самой Саскачевани, где они и поселились на постоянное жительство. Но от них я получила неудовлетворительный ответ. Они писали, что эмиграционные власти за последнее время стали очень строги и никого к себе в Канаду не впускают.

Хотя, судя по газетам, в Соединенных Штатах тоже было тревожно коммунисты и там производили беспорядки – Голодный марш в столице штата Нью-Йорк – Олбани, депрессия, недовольство, рост числа безработных, дошедший до пяти миллионов, – я все же наивно верила, что я как дочь Толстого легко найду себе заработок, читая лекции о России и о своем отце.

В Японии становилось тревожно. Война с Китаем, захват Маньчжурии, бедность, отсутствие заработков. Но особенно тяжело было еще и потому, что, как только японцы, особенно либеральная интеллигенция, узнали о том, что мы порвали с советской властью и отказались от возвращения на родину, положение наше резко изменилось, интерес к нам пропал и сменился снисходительной жалостью. Из «полноправных» граждан советской России мы превратились в «беженцев». Мы оказались «беспаспортными», бесправными.

Меня поразило, когда наш приятель профессор Ионекава, захлебываясь, рассказывал мне о предстоящем съезде писателей в Японии, куда будут приглашены все советские писатели: Шолохов, Федин, Романов и др., и на мой вопрос, будут ли приглашены такие писатели, как Бунин, Зайцев, Куприн и др., он с кривой усмешкой сказал:

– О нет, эти нас не интересуют, они эмигранты.

– Почему вы не возвращаетесь домой? – спрашивали нас японцы. Они не верили, что это опасно, что нас могут сослать куда-нибудь в Сибирь или сгноить в тюрьме, может быть, даже расстрелять.

Часть японской интеллигенции была против своего микадо, против военной партии, охраняющей японский монархический строй, и, как бы в противовес консерваторам, видела спасение в коммунизме. Они считали коммунизм интереснейшим экспериментом русских людей и восхищались им, считая, что он освободил русский народ от деспотизма царского правительства и открыл путь к свободе и благополучию.

Мы были в отчаянии. Казалось, что нам никогда не удастся уехать из Японии. Но неожиданно мы все трое получили приглашение обедать у американского посла.

Прощай, волшебная страна – Япония

За 12 лет жизни в советской России я отвыкла от цивилизации. В России мы одевались бог знает во что, только бы прикрыться, мерзли с маленькими железными печками-лилипутками, которые топили дровами, жили без горячей воды, без ванн. А теперь, в Японии, мы жили в крошечном домике в три комнаты, в одной из которых, побольше, жила Ольга с дочерью, в другой, поменьше, я, а в третьей, кухне, мы и готовили, и ели. Мыться мы ходили в баню, где прислуживал мужчина-банщик, ходили в доме без башмаков в

таби – подобие японских носков с одним большим пальцем, спали на полу, как японцы, потому что кроватей не было; во всей квартире был только один стол, за которым обедали, писали и Мария готовила уроки, и три стула, которые переставляли из одной комнаты в другую.

Как мы ни старались получше причесаться и одеться для посольского обеда, но каким странным казалось, вероятно, мое чересчур длинное, с длинными рукавами и высоким воротом черное шелковое платье, которое я называла «лекционным», мои «лаковые» мужские башмаки, единственные, которые я могла достать на свою ногу в Японии, весь наш облик, потому что, как ты ее ни прикрывай, нищета всегда кладет на людей свою печать.

Посол и его жена прекрасно нас приняли, стараясь сделать все возможное, чтобы мы хорошо и просто себя чувствовали. Но... мы были люди из разных миров. Они жили в мире порядочности, уважения к личности, довольства, уверенности в себе, а мы пришли из мира насилия, бесправия, нищеты... Мы отвыкли от салфеток, роняли их и ныряли за ними под стол (в советской России из салфеток шили белье), я не знала, зачем после сладкого подали чашечки с теплой водой. У нас в доме в старое время подавали чашечки со стаканчиками теплой воды и мятой, чтобы полоскать рот после обеда. Я следила за другими и увидала, что они ополаскивают руки после сладкого и указательным мокрым пальцем утирают себе губы, и я, хотя смысла в этом действии не уразумела, сделала то же... Кроме того, я заметила, что американцы, отрезав мясо, перекладывают вилку в правую руку, кладут мясо в рот, затем снова вилка переходит в левую, нож в правую. Нас в детстве гувернантки так не учили... Ужасная канитель, особенно если есть хочется, но и эту премудрость я тоже скоро усвоила. Надо же было цивилизоваться!

За обедом посол меня много расспрашивал о советской России и с большим интересом слушал мои рассказы. А после кофе посол встал и, сказав, что ему необходимо со мной весьма конфиденциально переговорить, попросил меня в свой кабинет.

Я испугалась. Что это могло быть? Может быть, что-нибудь связанное с Советами? Может быть, они требуют, чтобы нам не выдавали виз в Соединенные Штаты? Разные лезли в голову глупые мысли, мысли, которые только и могут лезть в голову потерявшего уверенность советского человека, психология которого так отличается от психологии людей, живущих в свободной стране.

Посол пропустил меня вперед, подвинул мне кресло, и мы сели за громадный письменный стол. Он выдвинул один из ящиков и достал письмо.

– Это письмо адресовано на мое имя, – сказал он. – Прочтите и дайте ответ. Я его содержание знаю.

«Дорогая г-жа Толстая, – писал человек из Канады. – Газеты печатали, что вы в Японии и не хотите возвращаться на свою родину – Россию и что вы хотели бы приехать в Канаду, если иммиграционные власти вам позволят это сделать. Вам это удалось бы, если бы вы вышли замуж или за американца, имеющего собственность в Канаде, или за канадца. Пишущий эти строки – американец, который имеет собственность и в Канаде, и в Соединенных Штатах, что дало бы вам возможность устроиться в любой из этих стран. Я очень хотел бы познакомиться с вами и, если бы мы не подошли друг к другу, я, как супруг-приятель, мог бы выбрать вам мужа, который подошел бы, так как я изучаю физиономию (student of physiognomy), френологию (phrenology), линии рук (palmestry) и другие науки. Дам здесь мало. Я женюсь только по любви, иначе нет. Здесь есть люди, которые видели и знают вас, которые думают, что вы чудо. Они говорят, что вам

около 30 лет. Мне – 49. Если бы мы нашли, после того как мы женимся, что мы сделали ошибку, я сделаю все от меня зависящее, чтобы произвести дружеский развод. Пришлите вашу фотографию и вашу биографию. Я сделаю то же самое, если бы вы захотели попробовать новую форму романа, как я вам предложил. Побывайте у американского консула для дальнейшей информации, если вы заинтересованы, и этим сделаете большое одолжение приглашающему вас другу. Саскачеван, Канада.

Подпись».

– Что вы об этом думаете? – спросил посол.

– Как что? Напишу ему письмо с отказом и благодарностью...

– Но вы не хотите серьезно обдумать его предложение?

Я расхохоталась.

– Что вы находите в этом смешного? – спросил посол с некоторой обидой в голосе.

– Простите, но мне смешна одна мысль, что я могу выйти замуж в моем возрасте, мне уже 48-й год. А потом, что за странная идея – пишет совершенно чужой человек...

– Но я все-таки вас не понимаю? Это было бы выходом из вашего положения, а он же предлагает вам, в случае, если вы не подойдете друг другу, немедленно дать вам развод.

Но посол не мог убедить меня. Я взяла письмо домой и ответила канадцу, что благодарю его за предложение, но воспользоваться им не считаю возможным.

В это же приблизительно время приехала из Европы большая приятельница моей сестры Тани, мадам Майриш, очень милая, живая, образованная люксембуржанка, с которой было легко и приятно. Она обещала моей сестре разыскать меня и узнать, чем она может мне помочь, и сразу же предложила мне денег. Я сказала ей, что в настоящее время у нас нет визы, но что если бы ее получили, то я очень просила

бы ее дать мне тогда взаймы достаточно денег, чтобы нам троим проехать в третьем классе в Америку.

Наконец, в конце апреля 1931 года нас вызвали к американскому консулу и вручили нам то, что называлось Affidavit reunavailable documents. Это были документы на простой белой бумаге, которые мы должны были подписать и где было сказано, что бумаги эти выданы нам вместо паспортов, которых мы не имеем, так как не признаем власти, которая теперь в России, на нашей родине.

Казалось, что трудности все превзойдены. Но не тут-то было! Когда мы заказали билеты третьего класса до Сан-Франциско в пароходной линии N.Y.K. Nippon Yusen Kaisha, то общество отказалось нам эти билеты продать.

«Наша контора в Гонконге, – писали они мне, – получила 2 июня 1931 года распоряжение от генерального консула США в Гонконге, гласящее, что эмигранты, получившие визу в США, должны иметь достаточно средств, чтобы содержать себя до конца жизни, и что только люди, которые представляют конкретные доказательства, что они независимы в финансовом отношении и не будут искать заработка, получат разрешение на въезд в Соединенные Штаты».

Снова отчаяние, хлопоты через наших друзей американцев, через американского консула.

– Боятся, – говорил нам наш приятель японец. – О-о-очень боятся. Вы едете Америка. В Америке спрашивают: Толстая-сан имеет деньги? – Нет, не имеет. Толстая-сан, уезжайте обратно. Ольга-сан, Мария-сан, все уезжайте обратно в Японию. А кто повезет обратно? Пароходная компания. Денег нет, повезут даром, потеряют деньги. Боятся. Но будем хлопотать...

И мы опять без конца хлопотали.

И вот, наконец, все препятствия устранены. Мадам Майриш дала нам 750 долларов, из которых мы 600 заплатили за билеты. Мы на пароходе. Летают в воздухе конфетти, броса-

ют нам на палубу гирлянды, сделанные из разноцветных бумажек, мы за них держимся – это наша последняя вещественная связь с этой чудной страной, давшей нам возможность счастливо прожить в ней 20 месяцев. Третий гудок, бумажная цепь разрывается, группа японцев и японок машут нам руками, у многих японок на глазах слезы, да и мы недалеки от того, чтобы расплакаться.

Прощай, милая красавица Япония, прощайте, дорогие японские друзья! Мы никогда вас не забудем.

Погода тихая, небо ясное, безоблачное, море не колышется. Пароход медленно отплывает.

Что нас ждет впереди?

Часть IV. Первые шаги в Америке

Предисловие

Неужели прожита только одна жизнь? А кажется, что их было много и ни одна из них не была похожа на другую.

Первый и самый лучший период моей жизни – жизнь с отцом, которая длилась 26 лет, может быть, лишь 6–8 лет сознательной, а может быть, и не совсем сознательной жизни. Но этот период был не легкий. И когда отец умер, все на время остановилось и казалось, что жизнь кончена и дальше жить не для кого и незачем. Пустота, которую я не умела заполнить. Но разразилась мировая война, и я отдала всю свою энергию на работу сначала сестрой милосердия, а потом уполномоченной Земского Союза.

В 1917 году – революция, и вся жизнь перевернулась. Ничего не осталось от традиций, веры, в которых я воспитывалась, снова нужно было искать новых жизненных путей.

12 лет я билась, чтобы найти возможность творчески работать в создавшихся условиях. Наконец, мне удалось организовать культурный центр в Ясной Поляне. Был образован музей из дома и комнат, где жил мой отец, и, кроме того, второй музей, наполненный его вещами, фотографиями и портретами из бывшей школы, а в Москве создано, вместе с группой ученых и академиков Срезневского, Шахматова, профессоров Грузинского, Цявловского и других, товарищество по изучению творений Толстого.

Это нашей многолетней работой воспользовался Госиздат, чтобы напечатать первое и единственное Полное собрание сочинений моего отца в 92 томах. Это 92-томное издание Советы выпустили под своим именем и редакцией, и, насколько я знаю, оно было напечатано в одной тысяче экземпляров, так что купить его могли только очень богатые люди и большие заграничные университетские библиотеки.

Трудно было работать в толстовских музеях в Ясной Поляне, где все было создано в духе учения Христа и веры в Бога, а теперь было окружено атмосферой, пропитанной идеологией марксизма, отрицающей божественный дух в мысли и творчестве, в музеях, в школах, в колоссальной пропаганде атеистического материализма, который всеми силами старались внедрить большевики. Я спешила все бросить и уехать.

Я оторвалась от родной земли, где прожила 45 лет своей жизни, оторвалась от родных, друзей, от всего, что было мне дорого, от родного отцовского гнезда, его могилы...

Я прожила 20 месяцев в Японии, где я не знала ни языка, ни обычаев, ни людей.

А теперь я хочу рассказать, как я сюда приехала, как постепенно привыкла к стране. Хочу рассказать о тех замечательных людях, которых здесь встретила, чему я научилась в Америке и как постепенно полюбила эту страну, которую теперь считаю своей второй родиной.

Но родину я не забуду никогда.

Как растут ананасы

На пароходе, каком-то «Мару», – неплохо. Кабинка на четверых, рядом ванны – морская вода. На палубе чисто, публика разная, большей частью японцы, филиппинцы. В нашем третьем классе европейцев мало, два русских коммерсанта из Китая.

Прошли полпути.

Земля. Гонолулу. На пароход взбираются тонкие, великолепно сложенные, ловкие, как обезьяны, смуглые мужчины в одних трусиках. Пассажиры первого класса бросают в море монеты. Гавайцы, как утки, ныряют в море и через секунду выплывают с монетой в зубах. На берегу вереницей выстроились громадного размера некрасивые женщины, увешанные гирляндами цветов, похожих на гардении. Не успели мы

оглянуться, как толстые женщины и нас увесили цветами, от приторного запаха которых кружилась голова.

Тепло, но не душно, дышится легко, на душе весело и свободно, ничто не давит, будущее впереди, надежда на лучшее, а пока что в нашем распоряжении 12 часов, чтобы осмотреть все, что можно, в этом раю и... выкупаться. На пляже достали купальные костюмы на прокат. Вода теплая, мягко катятся одна за другой ласковые волны. Молодежь скользит по волнам на морских лыжах. Вдали яхты, парусные суда, а вдоль берега жестко шелестят листья пальмовых деревьев.

– Бананы, настоящие бананы, – кричит Мария в полном восторге. – Красные бананы... А вот это что такое?

Это манго – очень сладкий, но приторный плод.

А когда мы расстались с морем, захотелось увидеть, как растут ананасы, и, подойдя к полицейскому, мы спросили, как далеко до ананасовых плантаций. Полицейский удивился, но все-таки очень вежливо нам объяснил, что надо сесть в трамвай, проехать до конца города, а там идти миль шесть пешком. Далеко, но нам уж очень хотелось видеть, как растут ананасы. Другого такого случая в жизни уже не будет...

Шли мы долго. Начался дождь. Брызнул и через минуту перестал. И так несколько раз. Мокли и сейчас же на жарком солнце высыхали. Должно быть, мили три прошли, видим, на правой стороне шоссе ферма, дом, пасущиеся рядом в поле коровы. Решили зайти спросить, далеко ли до плантаций ананасов. Но только стали подходить к дому, как на нас бросилась свора собак: все разные маленькие, большие, лохматые, гладкошерстные, с висячими, стоячими ушами, черные, белые, рыжие... Мы остановились.

– Что вам угодно? – спросила вышедшая из дома женщина.

– Мы хотим видеть, как растут ананасы, – сказали мы робко. – Вы не выращиваете ананасов?

Она рассмеялась.

– Нет, у меня молочная ферма. Плантация ананасов гораздо, гораздо дальше, вы, пожалуй, не дойдете... Мили три...

– Но нам очень хочется посмотреть!

– Так идите прямо по шоссе...

Мы поблагодарили и побрели дальше. Мария уже приустала, но мы упорно шли вперед. Несколько автомобилей нас обогнали. Один из них остановился.

– Хелло! – В машине сидела точно такая же дама, как на молочной ферме с собаками, только немного тоньше и моложе. – Моя сестра сказала мне, что две дамы с девочкой хотят посмотреть, как растут ананасы, и я решила подвезти вас.

Мы рассыпались в благодарностях, влезли в автомобиль и покатили. В первый раз в жизни я видела, что машиной управляет женщина.

– Кто вы? Откуда? – спросила дама.

Мы рассказали, что мы сейчас из Японии, но что мы беженцы из России, направляемся в Америку.

– Вот совпадение, – сказала она. – А я только что читала книгу русского писателя, «Анну Каренину». Вы, наверно, знакомы с ней?

– Да, – сказала я. – Много раз читала ее. Эту книгу написал мой отец.

– Что? Что вы сказали?

Дж-ж-ж-ж... заскрипели тормоза, и машина круто остановилась. Дама повернулась лицом ко мне и в упор уставилась на меня своими серыми ласковыми глазами.

– Что? Здесь, в Гонолулу, я встречаю на дороге женщину, которая хочет видеть как растут ананасы, и она оказывается дочерью того, чью книгу я только что кончила и которой я так восхищалась! Это поразительно! Amazing!

Мне даже показалось, что она сразу мне не поверила.

Мы разговорились. К концу дня мы совсем подружились, многое узнали друг про друга и провели день так интересно, что он долго жил в нашей памяти.

Кусты ананасов были похожи на крупные артишоки с колючими, острыми листьями. А я-то думала, что ананасы – большие, красивые растенья! Мы были разочарованы. Но сколько их было! Акры и акры. Они росли здесь в таком же количестве, как у нас капуста или картошка.

Милая американка повезла нас затем на плантации сахарного тростника, оттуда на сахарный завод, и закончили мы день у директора сахарного завода, который угощал нас чаем.

На другое утро мы уже плыли дальше. Наша каюта была увешана целыми стволами бананов, благоухали манго, ананасы, которых мы накупили за гроши и которые были сладки, как сахар.

Прощай, Гонолулу, чудесный город! Прощай, милая американская дама! В ней впервые почувствовала я доброту и гостеприимство, которыми впоследствии мне пришлось столько раз пользоваться в Соединенных Штатах.

Первая «лекция» на американской земле

В Сан-Франциско нас встретила миссис Стивенсон, представительница моего лекционного менеджера Фикинса, с которым списывалась по поводу моих лекций Джейн Аддамс[74]*.

Много, много лет тому назад, когда мне было только 11 лет, Джейн Аддамс была у моего отца, и я только очень смутно ее помнила. Но из Японии я писала ей и просила ее устроить мне какой-нибудь заработок в Америке. Мне каза-

[74] Американская общественная деятельница, создавшая колонию для бедных г. Чикаго, Jane Addams (1860—1935).

лось, что самое лучшее и, пожалуй, единственное, что я могла делать, если не говорить о простой физической работе, это читать лекции на тему о моем отце и о советской России.

Миссис Стивенсон – очень милая, живая американка лет 50-ти, с умными карими глазами, в которых мелькал огонек не то юмора, не то насмешки над дикими русскими, которые никак не подходили под трафарет приличных американок. Ей, наверное, никогда не приходилось встречать лекторов, так бедно одетых, приехавших в третьем классе. Поговорив с нею, я поняла, что рассчитывать на какой-либо более или менее существенный заработок от лекций невозможно. По-видимому, безработица коснулась не только рабочего класса, но отразилась и на психологии людей состоятельных и интеллигенции. Американцы поприжали деньги; клубы и организации уменьшили число лекций, и миссис Стивенсон удалось устроить только одну лекцию об отце в городском зале Сан-Франциско.

Смущение наше усилилось, когда оказалось, что нас, как третьеклассников, не выпустят сразу, как выпускали весь первый и второй класс, а повезут на «Ангельский остров».

Мы были возмущены. Почему такая несправедливость? Почему нас посылают на остров, в то время как перво- и второклассников выпускают сразу на берег?

Нам объяснили, что всех, кто приехал из Японии в третьем классе, проверяют, нет ли у них глистов. В Японии поля удобряются человеческим навозом, и очень часто люди заражаются глистами. Прежде чем впустить иммигрантов, американские власти должны убедиться, что у них нет глистов.

– Но почему же глисты не смеют заводиться у богатых, а предпочитают жить в третьеклассниках? – спросила я.

Но этого никто объяснить мне не сумел, даже миссис Стивенсон.

Маленький пароходик привез нас к «Ангельскому острову». Вдали круглый, как мне показалось, остров, Алькатрас – тюрьма. Одноэтажный дом. Чистые комнаты, аккуратные кровати, ни пылинки нигде. На окнах решетки. «Как в тюрьме», подумала я.

Горько мне стало. Опять вспомнилась советская Россия... «Но ведь мы не допущены еще в Америку», – утешала я себя.

Наконец мы выдержали этот первый экзамен – к вечеру нас выпустили чистенькими: мы не могли заразить глистами Соединенные Штаты. Но испытаниям нашим далеко еще не было конца.

Проверяли глаза. Заставляли читать буквы, слова. Ольга и Мария легко прошли экзамен, со мною было несколько сложнее.

– Но вы же ничего не видите, – сказал мне врач. – У вас только 26% зрения. Чем вы будете зарабатывать себе на жизнь?

– Я буду писать, читать лекции...

– Да... Ну, пожалуй, для этого зрения у вас достаточно...

Пропустил.

Но и это было не все. Иммиграционные власти должны были убедиться, что мы не заразим страну большевизмом.

«Ну, здесь все пойдет просто и легко, – подумала я. – Я приехала в Америку, чтобы бороться с коммунизмом, читать лекции против большевиков, и они, конечно, это понимают и немедленно нас отпустят».

Но не тут-то было... Сначала начальник, который меня спрашивал, был очень строг.

– Я не понимаю, – говорил он. – Почему, раз вы такая противница большевизма, вы могли прожить на свободе 12 лет и большевики вас не тронули?

И мне пришлось рассказать ему, как я пять раз была арестована, как мне помог Ленин и как вышел декрет о том, что

толстовские учреждения избавляются от антирелигиозной пропаганды в память Л. Н. Толстого.

– Почему же все-таки они в конце концов решили вас отпустить?

Я рассказала, как мне пришлось обмануть власть, обещая вернуться через несколько месяцев, сказав, что мне надо, как директору яснополянской опытно-показательной станции, изучить школы в Японии и Америке. Я рассказывала о положении русских крестьян и рабочих, о репрессиях... Я говорила около двух часов. Это была моя первая и, пожалуй, самая трудная лекция в Америке.

Чем больше я говорила, тем больше начальник меня расспрашивал. Теперь уже он был не один, а позвал своего помощника, который также с громадным интересом слушал мои рассказы, и, когда я кончила, они оба улыбались.

– Теперь я вам признаюсь, – сказал главный начальник, когда допрос был закончен, – что я никогда не слыхал ничего более интересного. Вы меня познакомили, как никто другой, с положением в советской России. Я рад, что вы попали в США, и я надеюсь, что вам будет хорошо в этой стране и вы сможете просветить наш народ в вопросе коммунизма. Но теперь еще один последний вопрос, – добавил он, помолчав. – Вы хотите заявить о вашем желании сделаться американской гражданкой[75] и взять первые бумаги?

– Нет, – сказала я и в ту же минуту почувствовала, что я сделала ужасную вещь. – «Теперь я пропала, не пропустит», – подумала я.

– Что? Почему вы не хотите стать гражданкой? – спросил он сурово. – Вы плохо относитесь к нашей стране?

---

[75] В 1945 г. Александра Львовна приняла американское подданство и отказалась от графского титула.

– Нет, нет, – поспешила я сказать. – Но как же я могу сейчас заявить о своем желании быть гражданкой, когда в душе я еще русская, я живу интересами своей страны, я все еще надеюсь, что пройдет, может быть, год, два, три, десять, но что кончатся большевики, и тогда я вернусь в Россию. Как же я могу обманывать ваше правительство? Взять бумаги, сделаться гражданкой, а потом уехать обратно в свою страну? Нет, я этого сделать не могу. Когда я поживу, когда я врасту в эту страну, узнаю ее, полюблю, как свою, и только тогда – я заявлю о своем намерении сделаться американской гражданкой.

Я замолчала. Молчал и начальник. Потом он повернулся к своему помощнику.

– Что вы об этом думаете?

– Постановка вопроса очень оригинальная, но по-своему она права, – сказал помощник. – Мне хотелось бы, чтобы все въезжающие в нашу страну относились так же серьезно к этому вопросу, как она.

– Я тоже так думаю, – сказал главный начальник.

И, наконец, мы легально вступили на американскую землю. Америка нас приняла. Миссис Стивенсон повезла нас в первоклассную гостиницу, оплаченную менеджером. Это было в начале сентября 1931 года.

Погоня за шляпой

Положение наше было серьезное. От 750 долларов, полученных в долг от мадам Майриш в Японии, оставалось уже очень мало. Надо было во что бы то ни стало одеться. Я сразу поняла, какое имеет значение в Америке одежда. Надо было купить пальто, шляпу, перчатки, башмаки... В магазинах разбегались глаза.

Вот, наконец, я оделась. Черное шелковое платье, но уже не со стоячим воротником, а с открытым, модное; башмаки,

пальто с дешевым крашеным мехом и коричневая шляпа «to match»[76], как говорят американцы. Но когда мы выходили из магазина, сильный порыв ветра сдул мою драгоценную шляпу, и понеслась она прямо на середину улицы. Я бросилась ее спасать, чуть сама не попала под заскрипевшую, зарычавшую тормозами машину. Все уличное движение остановилось, высунувшиеся из окон шоферы ругались, но я видела перед собой только шляпу... На секунду ее бег приостановился, но как только я хотела ее схватить, новый порыв ветра ее подхватил, и она, подлая, покатилась дальше и попала прямо под проезжавший автомобиль! Очень было досадно. Шляпа сплюснулась, превратилась в блин. Расправив ее, как могла, сдунув с нее пыль, я опять водрузила ее на голову. Нельзя же было покупать новую! Но можно ли будет в ней читать лекции?

Надо было искать заработка. Наняли квартиру в три комнаты за 60 долларов. Мария пошла в школу, Ольгу пригласили молокане, русские сектанты, живущие на высокой горе в Сан-Франциско, учить детей русскому языку.

В молоканах меня поразил невероятный контраст между старым и молодым поколением. Бородатые старики громадного роста, благообразные, спокойные, придерживающиеся своей веры, не курящие, не пьющие; женщины в платочках, раздобревшие на жирных щах и русских ватрушках, и худенькие барышни с накрашенными губами и ногтями; юноши с нездоровыми лицами и папиросками в зубах.

– Пойдем, сестра, ко мне, – приглашал меня бородатый молоканин громадного роста, косая сажень в плечах, – я тебе покажу, как мы живем. «Кара»[77] у меня новая, дом я купил на выплату, а «форничур» самый модерный я уже выплатил.

---

[76] «в тон» (*англ.*).

[77] Русифицированное английское слово «car» – автомобиль; то же см. далее: «furniture» – мебель (*англ.*).

Вечером было собрание на частной квартире одного молоканина, и меня просили рассказать о России.

Зная, что молокане в прошлом крестьяне, я старалась в своей беседе осветить тяжелое положение крестьянства в советской России, описала им коллективы, невозможность крестьянства пользоваться своими продуктами и продавать излишки, о запрещении передвигаться с места на место, уходить на заработки в города, если они того пожелают.

Когда я кончила, на меня набросились несколько человек из молодых. За два года отсутствия в России я отвыкла от этих агитационных, трафаретных большевистских речей. Захлебываясь от волнения, нервно закуривая одну папиросу за другой, они громко и витиевато доказывали, что все, что я говорила, – была неправда. Крестьяне никогда не жили так хорошо, как теперь. Народ освободился от царских наймитов, помещиков, которые эксплуатировали рабочий класс. Народ свободен, правительство снабжает крестьянские колхозы машинами.

И вспомнила я, как через Москву-реку, по мосту, везли бочку с патокой. Одна бочка скатилась, упала на мостовую и раскололась. И не успела я оглянуться, как десятки людей, спеша, обгоняя друг друга, бросились к этой патоке, собирали ее с мостовой в чашечки, жестянки, в ладони и тут же поглощали...

Ольга начала свои уроки на молоканской горе. И каждый день она приходила усталая и расстроенная.

– Ты даже и представить себе не можешь, – говорила она мне, – что это за дети – распущенные, испорченные, ругаются, плюются во время уроков, а вместе с тем у девчонок ногти накрашенные, мальчишки курят...

Я не думала, что мне придется иметь с ними дело. Но так случилось, что Ольга подвернула себе ногу, не могла ходить, и, чтобы не терять заработка, я отправилась на молоканскую гору учить детей.

Начали мы с диктовки. Но не успела я произнести первую фразу, как вдруг с задней скамейки мальчишка с необычайной ловкостью запустил в стену жевательную резинку. Я сделала замечание. Один раз, два. В третий раз в меня полетела ореховая шелуха... Тогда я взяла одного мальчишку, двух девчонок, виновных в беспорядке, и, потрясши каждого основательно за ворот, – выставила за дверь. Водворилась тишина, и я продолжала диктовку. Я была очень счастлива, когда Ольга выздоровела и смогла возобновить занятия.

– Да ты больно с ними стесняешься, – говорили Ольге родители. – Ты лупи их как следует, в американской школе и то их лупят, а иначе разве с ними справишься? Энта учительница лучше умела с ними справляться.

– Ты энту толстую к нам больше не пущай, – жаловались Ольге дети, – она дерется.

Я должна признаться, что в Сан-Франциско меня поразила распущенность молодежи. Никогда ничего подобного я не видела. В советской России, правда, многие женщины курили. Но чтобы курить на улице или при всем честном народе целоваться и прижиматься друг к другу в парках, в автомобилях, было дело неслыханное. Я уже не говорю о Японии, где я не видела ни одной курящей женщины и где поцелуи считаются высшим неприличием, а если и целуются, то делают это тайно.

«Портовый город, – думала я. – Наверное, на востоке лучше».

– Боюсь за Марию, – говорила Ольга. – Уж очень тут нравы распущены.

Американская тюрьма

Миссис Стивенсон познакомила нас с мистером Барри, человеком лет 50-ти, корреспондентом одной из сан-францисских газет, радиокомментатором. Мы очень с ним подружились, и он стал часто заходить к нам, расспрашивая

нас о советской России, о нашей прошлой жизни. Может быть, кое-что из наших сведений он употреблял в печати или на радио.

Тем временем я подготовлялась к лекции: «Мадам Чэрман» (председательница)... – я, став в позу, громко повторяла бесчисленное число раз одно и то же. Бедная Ольга не знала, куда ей деваться от моих речей. Она затворяла двери, но квартира маленькая, все было слышно. А тут еще м-р Барри взялся меня учить, как надо произносить речи.

И я зубрила, как ученица, часами, – без конца повторяла одну фразу за другой.

И вот, наконец, наступил день лекции в городской зале (Таун-Холл). Публики было полно. В первом ряду сидел мой учитель – Джон Барри, не сводил глаз с меня, что никак не содействовало моему спокойствию. Так было страшно, что я не помню, как я читала, что говорила, знаю только, что от волнения забыла все уроки Джона Барри. Публика аплодировала, а я кланялась, но Джон Барри был не очень доволен и сказал, что было неплохо, но что я не обращалась к последним рядам, как он учил, а к первым, и несколько раз под конец фразы говорила «ит».

М-р Барри нас часто возил по городу, знакомил с жизнью в Америке.

– Хотите посетить американскую тюрьму? – спросил он меня.

– Да, мне было бы очень интересно сравнить ваши американские тюрьмы с советскими, в которых мне пришлось сидеть.

И на другой день мы поехали в Сейнт-Квентин, одну из самых больших тюрем в Америке. Громадные серые здания, часовые кругом, но их немного, гораздо меньше, чем в советских тюрьмах. Чистота. Большинство заключенных ходят каждый день на работу. Нас провели не то в контору, не то в приемную и туда же привели несколько человек заключен-

ных. М-р Барри сказал им, что я приехала из советской России, что я дочь большого русского писателя Толстого и что, может быть, они хотят мне задать вопросы на интересующие их темы. Как всегда в таких случаях, люди не знали, с чего начать, переминались с ноги на ногу, и всем было неловко.

– Да, – сказала я, – знаю, как должно быть трудно, тяжко ежедневно смотреть на ту же самую стену, изучить все царапины и трещины на этой стене, знать, что каждый день повторится одно и то же, что вы увидите тех же людей, которые скажут вам те же слова, видеть один и тот же кусочек неба из камеры...

– Да почему вы-то все это знаете? – вдруг перебил меня один из заключенных постарше.

– Потому что я все это испытала... – сказала я. – Я сидела в тюрьмах при большевиках.

– Так, значит, вы наш товарищ по заключению, – сказал пожилой, хлопая меня по плечу.

Лед был разбит, и заключенные, перебивая друг друга, стали задавать мне бесчисленные вопросы: за что меня посадили в тюрьму? Как долго я там сидела? Каков тюремный режим?

– Чем вас кормили?

– Утром, – рассказывала я, – полфунта сыроватого хлеба с мякиной, которого должно хватить на целый день. Пол чайной ложки сахара на целый день. Жидкий чай. В обед суп из мороженой картофельной шелухи, плохо отмытой, так что надо было ждать, пока грязь не осядет на дно тарелки, прежде чем начать его есть, сухая вобла. – Надо было объяснить, что такое вобла и как надо было бить рыбу обо что-то твердое, прежде чем можно было ее укусить. – На ужин иногда тот же грязный суп, иногда пшенная каша без масла. Вот и все.

Заключенные переглянулись.

– А мы получаем даже мороженое по воскресеньям.

– А какие были кровати?

– Не было кроватей. Нары. Три плохо сбитые доски. Тоненькие тюфяки, набитые стружками, которые проваливались в широкие щели, края больно резали тело. Я подкладывала под бок подушку, а то образовывались пролежни.

– А у нас удобные кровати, – сказали заключенные.

– Но все же жизнь кончена для нас, – сказал, сильно покраснев, очень молодой белокурый мальчик с наивными голубыми грустными глазами. – Я учился, был в колледже, теперь приходится отсиживать три года. Молодость пройдет, отвыкну заниматься. Пропала жизнь...

– Жизнь не пропала, – сказала я. – Конечно, не знаю, что у вас на совести...

– Чек подделал, – просто сказал юноша.

– Ну вот видите... Все мы в жизни спотыкаемся, даже падаем. Но это не значит, что мы и останемся в этом лежачем положении. Вы споткнулись, почему же вам в жизни не поправиться и не начать ходить твердо, стараясь в дальнейшем не спотыкаться? Используйте это время. Я знала одного прелестного юношу в Москве, который был заключен в тюрьму на пять лет только за то, что он был князь. И за пять лет своего сидения он закончил полное университетское образование. Почему же вы не сделаете того же и не продолжите ваши занятия, чтобы потом экстерном держать экзамены?

Мы расстались с заключенными друзьями, юноша долго тряс мою руку.

– Я вам обещаю заниматься, даю слово... – Видимо, ему нужно было дать это слово для самоутверждения, чтобы самому убедиться, что он его сдержит.

Было уже 12 часов. Мы пошли в женскую столовую. Чистота, светло, раздавали суп, на второе какое-то мясо с зеле-

нью. «Как в ресторане», – подумала я. И невольно воображение рисовало советские тюрьмы...

Нам позволили посетить и некоторые камеры пожизненно заключенных. Одна камера меня особенно поразила. Это была чистенькая, светлая комнатка. На окне с решетками распевала канарейка. Повсюду множество книг, чистая, удобная кровать. И молодая, очень молодая девушка, пожизненно заключенная за убийство. Я пробовала с ней заговорить. Она не ответила. По сжатым губам, серьезному, почти злому выражению лица я видела, что наше посещение ей было неприятно.

Когда мы уходили, Джон Барри мне сказал, что группа мужчин, с которыми я говорила утром, просила, чтобы разрешили мне вечером прочитать лекцию большой группе заключенных, но смотритель не позволил.

Мормоны[78]

От лекции и от Ольгиных уроков накопилось немного денег, и мы двинулись из Сан-Франциско на восток.

У меня была лекция в Солт-Лэйк-Сити, в царстве мормонов. На вырученные с этого выступления деньги мы должны были ехать дальше, я – в Чикаго, где у меня предвиделись еще две лекции и где я была приглашена остановиться у знаменитой Джейн Аддамс, а Ольга и Мария – прямо в Филадельфию, к одной американке и ее племяннице, где обещали стол и квартиру в обмен за работу по хозяйству.

Солт-Лэйк-Сити совсем особенный город, расположенный около большого свинцово-серого солончакового озера, с

[78] «Святые последнего дня» – религиозная секта, возникшая в США в первой половине XIX в., проповедовавшая заботу о физическом здоровье и личной нравственности, понимаемой ими как добродетель трудолюбия и бережливости. Они жили по законам полигамии, отмененной в 1890 г.

серыми, скучными, плоскими, точно мертвыми, берегами. В городе чуть ли не самый громадный в мире храм «Табернакл», построенный мормонами, в котором с утра до ночи играл первоклассный музыкант классические вещи на колоссальном органе. Воображение рисовало этих сильных, но страшных людей, которые, руководимые своими вождями, Джозефом Смитом и Бриггамом Юнгом, преодолевая бесконечные трудности борьбы с природой и людьми, дошли до этого места, названного штатом Юта, и основали удивительный город. Здесь мормоны окончательно оформили свою секту, назвав ее Church of Jesus Christ, Церковь во имя Иисуса Христа, и хотя исповедовали христианство, но признавали многоженство. Только гораздо позднее правительство Соединенных Штатов запретило многоженство и стало строго преследовать тех, кто преступал этот закон.

Встретила нас небольшого роста, гладко причесанная, живая, энергичная старушка, Сюзи Юнг Гайтс, одна из младших, оставшихся в живых, 56 детей мормонского вождя, Бриггама Юнга. Она сразу покорила наши сердца, такая она была милая, ласковая и интересная старушка. Она старалась все нам показать, возила нас по разным красивым и историческим местам и показала дом, в котором она родилась, и в котором жили в свое время все 17 жен и 56 детей ее отца.

– Ссорились жены между собой? – спросила я.

– Нет, жили дружно. Да, впрочем, я была тогда очень еще маленькая и плохо помню.

Меня интересовал вопрос, насколько молодежь придерживается сейчас законов веры мормонов, запрещающих курить и пить? Я скоро получила ответ на этот вопрос. Один раз, когда мы в поезде возвращались с одной из наших поездок с миссис Гайтс, в наше отделение подсел молодой человек лет 20-ти. Он узнал миссис Гайтс, почтительно ей поклонился, и они перекинулись несколькими словами.

Юноша происходил из мормонской среды, миссис Гайтс знала его отца. Во время разговора она вдруг наклонилась к юноше.

– Дыши, дыши на меня! – закричала она сердито. – Нечего задерживать дыхание, не отворачивайся! Табачищем от тебя несет... Мормон тоже... Если бы твой отец знал... Уходи отсюда! Видеть тебя не хочу!

И юноша молча, потупя голову, вышел.

Лекцию я читала в мормонском храме, в котором помещалось 2–3 тысячи людей. Кафедра была такая высокая, что пришлось подниматься на нее по лестнице. Таких я никогда еще не видела. Я посмотрела вниз, увидала эту громадную толпу и... испугалась. Заиграл орган... «Боже, Царя храни!» И мне вдруг стало весело. «Для меня, русской, национальный гимн играют, – думала я. – Как мило с их стороны». Вот прошло еще несколько минут, и страх мой совсем рассеялся... орган весело играл «Очи черные»!

«Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные», – пела я внутри себя. Знает ли мормонский пастор слова этого романса, знает ли он, что это цыганский романс, исполнявшийся во всех русских кабаках?

Я уже никого и ничего не боялась, сосредоточилась на своей теме «Толстой и русская революция» и без всякого усилия использовала уроки моего милого учителя Джона Барри. А в газете «Миннеаполис Трибюн» появилась заметка: «В конце концов гигантский экономический и государственный эксперимент в советской России должен рухнуть, так как он основан на исключительно материальной концепции и движется только насилием, – заявила графиня Александра Толстая, дочь великого русского писателя, графа Льва Толстого».

Либералы и пацифисты

В Чикаго я приехала уже вечером. Шофер такси помог мне втащить мои многочисленные вещи в большую, просторную переднюю.

Меня немедленно окружила целая группа старушек, и в первую минуту я никак не могла понять, кто – кто? Хозяйка дома, мисс Смит, друг мисс Аддамс, сказала мне, что Джейн сейчас нет, она в Хулл-Хаузе, но что она очень рада со мной познакомиться и иметь меня гостьей в своем доме. С первого момента, как я ее увидела, я полюбила Мэри Смит. Лицо спокойно-красивое, почти классическое, чудные, ласковые серые глаза, естественно волнистые седоватые волосы. Ничего искусственного, мелкого, повседневного. Ее царственная высокая фигура спокойно двигалась по дому, и видно было, что все – и горничная Анни, и кухарка, и другая мисс Смит, которая жила с ней в доме, но которую звали Элеонора Смит, все ее обожали. Элеонора была совсем другого типа. Грузная, высокая, с крупными чертами лица и низким раскатистым голосом.

– Вещи ваши придется оставить здесь до завтра, – сказала Мэри Смит. Истопник придет завтра топить и снесет вам их, а пока что Анни возьмет наверх все, что вам необходимо на ночь. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.

Она дышала тяжело, когда поднималась по лестнице, у нее была астма.

Я вымылась, причесалась, но, спустившись вниз и увидав груду своих безобразных вещей – тут были и русские портпледы, и японские корзинки, и старые чемоданы, – решила, не дожидаясь истопника, освободить переднюю от этого хлама и, взвалив тяжелый чемодан на плечо, потащила его наверх. Когда я снова спустилась, в передней уже собрались

все старушки. Анни увидала, побежала за кухаркой, потом пришли обе мисс Смит.

– Оставьте, зачем вы это делаете? – в ужасе воскликнула Мэри Смит.

– Я никогда ничего подобного не видела. Как мужчина! Ужас! – возмущалась Элеонора.

И они стояли и наблюдали до тех пор, пока я не перетаскала все вещи, вскидывая одну за другой на плечи и забавляясь их удивлением.

На другой день в Хулл-Хаузе я познакомилась со знаменитой Джейн Аддамс.

– А я вас помню девочкой с косичками в Ясной Поляне, когда я была у вашего отца. Вам было лет 11, – сказала мне мисс Аддамс. – Вы вбежали в комнату, где мы разговаривали. Отец ваш повернулся ко мне и сказал: – А это моя младшая Саша.

Мы обе расхохотались.

Мисс Аддамс спрашивала меня, как я намерена устроиться в Америке, и вызывалась всячески мне помочь. Жила она в отдельной небольшой квартирке, показавшейся мне очень темной, в Хулл-Хаузе, со старинной, немного потертой мебелью. Горел камин.

Поговорив с мисс Аддамс и познакомившись с ее окружением, я поняла, какое влияние она имела на окружающих. Слово ее – закон. Она управляла людьми, не приказывая, подавляла без желания давить. Хулл-Хауз – это Джейн Аддамс. Джейн Аддамс – это Хулл-Хауз.

Она царила не только в Хулл-Хаузе. Дом Мэри Роз Смит, обе мисс Смит жили и существовали только для Джейн Аддамс.

Очень скоро я поняла, что политически мы расходимся с мисс Аддамс, и я почувствовала, что она разочаровалась во мне как дочери величайшего гуманиста и либерала – Толстого.

Я не скрывала своих убеждений. Для меня пацифизм отца, его любовь к народу, желание облегчить его участь было искренним, глубоким убеждением, основанным на годами продуманном религиозном мировоззрении. Если говорить об уничтожении насилия, то всякого насилия; капитализма – то всякого капитализма, включая государственный капитализм; если говорить о пацифизме, то только о пацифизме, основанном на словах Христа «не убий», а не только когда это выгодно одному атеистическому, беспринципному правительству, которое говорит о пацифизме, потому что не готово к войне. На эту приманку пацифизма и ловит наивных американских либералов советское правительство. Умные, живые глаза мисс Аддамс омрачились, когда я сделала несколько подобных замечаний.

Джейн Аддамс считала, что при всех недостатках в коммунистическом режиме путь к свободе им открыт, что заслуга революции в том, что она раз и навсегда опрокинула монархический строй, лишила возможности помещиков и капиталистов эксплуатировать крестьян и рабочих. Но главное достижение – это было стремление большевиков к миру. К пацифизму надо стремиться при всех условиях, добиваться мира какой угодно ценой. Что касается признания советского правительства, то тут не могло быть вопроса – признание, с точки зрения мисс Аддамс, было необходимо, так как это признание гарантировало мир.

Я очень скоро поняла, что убедить Джейн Аддамс, заставить ее понять ужас большевизма – невозможно. Она была окружена тесным кольцом интеллигентных людей – профессоров, ученых, штампованных либералов и пацифистов. Мисс Элеонора Смит рассказала мне, как Хулл-Хауз посетила бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Бабушка жила в Хулл-Хаузе и направо и налево пушила коммунизм.

Но этого было мало... Бабушка захотела прочитать лекцию для Хулл-Хауза и его опекаемых.

– Но тут, – как рассказывала, смеясь, мисс Элеонора, – случилось нечто совершенно ужасное. Узнали, что бабушка будет говорить против большевизма, и в зале начался невероятный шум. Рассвирепевшая толпа кричала, люди повскакивали с мест и бросились к эстраде, и если бы не Джейн Аддамс, то бабушке бы несдобровать. Ее увели с эстрады, и она так и не смогла прочитать свою антибольшевистскую лекцию.

Я была счастлива, что не жила среди этого левого окружения Хулл-Хауза, а сидела в доме мисс Мэри Смит и писала свои тюремные воспоминания. Мисс Элеонора Смит была хорошей пианисткой, и ее работа в Хулл-Хаузе заключалась в том, что она давала бедным детям бесплатные уроки музыки. Я сказала ей как-то, что музыка всегда вдохновляла моего отца, особенно Шопен, и что я унаследовала эту черту от отца. Под влиянием музыки полет мысли выше, яснее, образы ярче. И мисс Элеонора каждое утро играла мне, большею частью Шопена и Моцарта, а я писала под ее музыку.

Давно-давно не жила я в таких условиях тихой, патриархальной обстановки, с таким комфортом и уютом. Комната убиралась, вовремя подавалась прекрасная еда. Тихо, еле слышно двигались по дому великолепно выдрессированные служащие, состарившиеся вместе с хозяйкой. И я писала... Иногда мои хозяйки помогали, когда я искала английские слова или выражения, так как писала я по-английски. Но один раз мы все зашли в тупик, и пришлось нам обратиться за помощью к... истопнику.

Дело в том, что в этой главе книги я описывала скверную ругань и драку двух проституток в тюремном лагере, где я отсиживала свое наказание. Но хотя в русских тюрьмах я в совершенстве изучала весь лексикон ругательств, английских ругательских слов я совершенно не знаю. Старушки

переглянулись между собой и оказались еще более беспомощными, чем я. А истопник, когда старушки его спросили, рассмеялся, закрыв рот рукой, и сказал: «Perhaps «bitch» is good enough» (Может быть, «сука» достаточно хорошо). Так «bitch» и осталась в книге.

По вечерам я читала старушкам вслух написанное, мисс Элеонора тихонько утирала слезы, а на другое утро снова играла мне Шопена и поправляла мой английский язык. Мои тюремные рассказы прочла и мисс Аддамс, одобрила их и начала переговоры с несколькими журналистами об их напечатании.

Но, увы, все кончается на свете. Кончилось и мое райское житье в Чикаго. На заработанные с лекций деньги я купила железнодорожный билет и, распростившись со своими милыми хозяйками, двинулась в Филадельфию.

Бездушный Нью-Йорк

– Нет, нет, не четыре и не шесть, а ровно пять, – говорила Ольге ее хозяйка. – Вы не понимаете, если четыре дырочки, то сыпется слишком мало порошка, если шесть или семь, то слишком много, you waste too much[79], верьте моему опыту, надо точно пять...

Ольга покорно брала банку с порошком «Бон Ами» для чистки эмали и пробивала ровно пять дырочек.

Целый день или г-жа Х., или ее тощая, с поджатыми губами и тоже старая дева племянница делали бедной Марии замечания:

– Мария, не сутулься, держись прямо. Мария, ты ешь слишком быстро, так у нас не едят в Америке. Не качайся на стуле! Убери книги!

---

[79] Вы слишком расточительны (*англ*).

Не только Марии, но и нам, взрослым, было чему поучиться. Американская система, применяемая г-жой Х. в хозяйстве, была выработана в совершенстве, ни одного лишнего движения. Необычная во всем точность. Надо было научиться, как стелить постели: в России подушка накрывалась отдельным покрывалом, здесь надо было стелить по-другому, по-другому накрывать на стол, знать, сколько каких тарелочек, маленьких, средних и больших, с какой стороны раскладывать ножи, вилки, ложки. Все было по-другому, и всему придавалось необычайное значение; и вот этого-то мы, беспорядочные русские, усвоить никак не могли и никак не могли вызвать в себе большого интереса к этим новым открывающимся нам горизонтам.

Харчи и кров для себя и дочери давались Ольге нелегко, платы за свою работу она, разумеется, не получала. Она питалась с Марией и имела комнату с ванной.

Я была большей частью в разъездах, в лекционном турне, но когда я изредка приезжала, то видела, что Ольге тяжело не столько физически, сколько морально. Мы мечтали о собственном угле.

Следующая моя лекция была в Нью-Йорке, в Таун-Холле.

По рекомендации Джейн Аддамс, которая написала письмо своей приятельнице Лилиан Волд, я поселилась в Хенри-Стрит-Сеттлменте, где-то в самом бедном еврейском районе. Кругом – базары, лотки со всевозможными овощами, фруктами, дешевыми вещами первой необходимости. Здесь пахло луком и чесноком и можно было слышать не только еврейский жаргон, но иногда и русскую речь. Грязь, беднота. Я обрадовалась, когда со мной заговорили по-русски, но скоро поняла, что и здесь многие евреи не знали, что черту оседлости в России, так же как и процентное ограничение для студентов-евреев, уничтожило Временное правительство. Они думали, что это заслуга большевиков. В Хенри-Стрит-

Сеттлмент я столкнулась с теми же либеральными, просоветскими идеями, как и в Хулл-Хаузе. Лилиан Волд заставляла меня много рассказывать о советской России, внимательно слушала, и иногда черные умные глаза ее удивленно смотрели на меня: «Я никогда не думала, что там до такой степени плохо!»

Нью-Йорк меня подавил. Давно я не испытывала такой гложущей, жуткой тоски одиночества. Самое страшное одиночество – среди толпы чуждых людей. Люди, люди... спешащие, холодные, равнодушные, с изможденными, усталыми лицами. Я ходила по бесконечным улицам, ездила на автобусах, терялась в сабвеях, наблюдала... На некоторых молодых лицах уже лежит печать порока, зрелости. Тяжелый опыт жизни наступил, прежде чем успела расцвести молодость. На улице женщины курят, спешат на ходу затянуться, в сабвеях с тупым выражением лица жуют жвачку, на остановках толкаются. Один поток людей сменяется другим, все спешат, никому нет дела до другого, у всех печать заботы, тревоги на лицах. И глядя на эту толпу, невольно думалось: «А есть ли у них души?»

И становилось страшно.

В Хенри-Стрит-Сеттлменте было легче. Здесь жизнь людей была поглощена тем, чтобы помочь другим, дать совет, отвезти роженицу в больницу, проведать тяжелобольного, помочь детям со школами, но все же иногда грызла тоска одиночества, и, сидя в своей комнате, я плакала. Плакала о том, что оторвана от родного гнезда, о том, что большевизм так глубоко проник в свободные страны... О том, что кругом все чужие...

Стук в дверь.

– Можно войти?

И передо мной выросла высокая широкоплечая фигура большого бородатого человека.

– Илья!

– Ну и ну! Покажись-ка! Какая ты стала, старая? Ну, еще ничего, молодцом... Как ты попала в эту трущобу?

Он сыпал один вопрос за другим, вероятно, чтобы скрыть волнение, а у меня в зобу сперло, сказать ничего не могу. За эти двадцать лет, что мы не виделись – он уехал в Америку до большевистской революции, – он стал еще больше похож на отца. Те же серые глаза, только больше, те же широкие брови, широкий нос, оклад бороды, только выражение лица и рот другие.

С чего начать разговор после двадцати лет разлуки? Я знала, что он еще в России сошелся с какой-то женщиной, на которой, получив развод от прежней своей жены Сони, женился. Это мне было неприятно. Вся наша семья была привязана к Соне и очень огорчилась этой женитьбой.

Постепенно разговорились. Ему было трудно материально. Во время депрессии он не мог найти заработка. Ему было уже 65 лет. Жил он здесь, в Нью-Йорке, с женой Надей. Говорили о России, о семье, родных и чем дальше, тем ближе. Он очень изменился, помудрел, ближе подошел к отцу в своих убеждениях. Не было у нас разногласия и в вопросе коммунизма. Он ненавидел его так же, как и я. И когда мы расстались, он только сказал:

– Саша, я очень доволен.

И в тон ему, едва сдерживая слезы радости и волнения, я повторила его слова:

– И я тоже очень довольна.

Мы пожали друг другу руки и расстались. Я уже не чувствовала себя одинокой – в Нью-Йорке у меня был брат.

Лекции

Милейший был у меня менеджер, м-р Фикинс, веселый, остроумный. Закинув голову, покатывался со смеху, когда я

ему рассказывала про Джона Барри и про мою лекцию в Солт-Лэйк-Сити.

– Я хочу вас познакомить, – сказал он мне, – с господином, для которого вы будете читать в очень аристократическом районе под Нью-Йорком. Он очень требовательный, этот господин. Долго расспрашивал меня про вашу личность и сможете ли вы дать правильную картину жизни в советской России, хотел знать, каков ваш английский язык. Он никак не может решиться вас пригласить, потому что гонорар довольно высокий, и он хочет быть уверенным, что вы подойдете ему как лектор.

Свидание было назначено. Мистер Н., упитанный старичок с розовым гладким лицом, рыжими седоватыми волосами, подстриженными ежиком, встретил меня в конторе Фикинса, и мы пошли завтракать.

– Не переходите улицы, пока не зажжется зеленый свет, – поучал он меня. Ну вот, теперь быстро, надо торопиться, потому что на поперечных улицах зеленый свет только полминуты. Скорей, скорей переходите, а то нас задавят...

Странный какой-то джентльмен, думала я. Чего он так волнуется?

В ресторане у меня даже пища стала поперек горла. Мистер Н. сверлил взглядом в течение всего завтрака, выворачивал меня наизнанку, расспрашивал о моей жизни, взглядах, привычках, планах на будущее. Впоследствии мне Фикинс, смеясь, рассказывал, что господин Н. даже пошел слушать мою лекцию в Таун-Холле и только после этого решился пригласить меня читать лекцию в свой клуб.

– Ну смотрите же, постарайтесь, говорите громче, у вас в аудитории есть глухие, не торопитесь. Дайте картины из советской жизни, – говорил мне стройный джентльмен перед самым моим выходом на эстраду.

Я всегда волнуюсь перед выступлением, особенно в начале лекции, а тут я была уже так напугана, что все дрожало во мне. Мистер Н. представил меня как «блестящего» лектора, великолепно владеющего английским языком, что тоже всегда действует очень плохо.

С первых же слов я почувствовала, что провалилась. Хотела поправиться, взглядывала на свой конспект, руки дрожали, в глазах было темно, прыгали строчки, и я ничего не могла разобрать. Чтобы выиграть время, я все повторяла well... А мистер Н. сидел в первом ряду и не сводил с меня глаз... Немного поправилась в ответах на вопросы.

Это был настоящий провал, и я решила, что моя карьера лектора – погребена навеки. Каково же было мое удивление, когда несколько дней спустя я получила от м-ра Н. следующее письмо:

«Дорогая Графиня,

Я не думал, что упущу целую неделю, прежде чем напишу вам о том, какое огромное удовольствие доставило вашим слушателям ваше выступление в прошлый четверг в Соммит.

Администраторы Атенеума даже бранили меня за то, что я не предоставил больше времени для вопросов после вашей речи.

Точность ваших утверждений и понимание положения в России были крайне поучительны. Многие сказали мне, какое удовольствие и какую пользу они извлекли из вашего доклада.

А сегодня утром я встретил в поезде приятеля, который прожил в России два года и продолжал с тех пор внимательно следить за всем, что там происходит. Он инженер и как таковой приходил в соприкосновение со многими официальными лицами. Он всецело поддерживает ваши утверждения.

...Если вас интересуют отзывы газет о вашем докладе, я с удовольствием пришлю их вам.

Еще раз благодарю вас за то, что вы дали возможность членам Атенеума выслушать вас, и остаюсь вас уважающий и преданный вам

(Подпись)»

Следующая лекция была назначена в Соммит, Нью-Джерси, в очень богатом женском клубе. Я взяла себя в руки, подготовилась, приоделась и отправилась в клуб.

Одни дамы, очень просто, хорошо одетые. Простая, хорошо сшитая одежда в Америке очень дорога. Небольшая аудитория на 300–400 человек. Полно. В первом ряду сидела молодая дама и вязала. Почему-то это меня задело. «Ты перестанешь у меня вязать, если я чего-нибудь стою», – сказала я ей мысленно. На этот раз лекция была удачна, и, когда я вспомнила про вяжущую даму и посмотрела на нее, я увидела, что вязание ее упало к ней на колени и она, перегнувшись вперед, внимательно слушает. Я была удовлетворена.

Следующая лекция состоялась в Бостоне. Внук поэта Лонгфелло, Генри Дэна, приезжавший в Ясную Поляну на празднование столетнего юбилея со дня рождения моего отца в 1928 году, пригласил меня у него остановиться. М-р Дэна встретил меня на вокзале и привез к себе в дом – чудный особняк, бывший дом поэта Лонгфелло, с большими комнатами с высокими потолками, старинной мебелью, громадной библиотекой.

Когда за чашкой чая мы разговаривали и Дэна вспомнил о своей поездке в Ясную Поляну с Цвейгом и другими иностранцами и сказал мне, что снова собирается ехать в Россию, я поняла, что он сочувствует советскому правительству. Опять те же псевдолиберальные суждения, которые приводили меня в отчаяние.

«Куда я попала», – думала я. Мне стало не по себе в этом большом историческом доме.

Дэна был также очень разочарован, увидав во мне такого непримиримого врага советской власти. Мы сразу же горячо поспорили, и я решила на другой день уехать из его дома.

– Я пойду на вашу лекцию в Форд аудиториум, – сказал он. – Будьте осторожны в своих словах, иначе I will heckle you badly[80].

Тема моя была «Толстой и русская революция». Зал был набит до отказа. Публика самая разношерстная – интеллигенция вперемешку с простыми рабочими. Председателем собрания был пастор лет 60-ти, кругленький, розовенький, лысый и очень доброжелательный человек.

Первая часть лекции, где я говорила об убеждениях отца, прошла благополучно, но когда я дошла до коммунистического эксперимента и описала жизнь в России после революции и как большевики исказили теорию самого Маркса (я знала, что в зале много социалистов), то почувствовала, что в зале уже началось беспокойное движение и недовольство.

Когда я кончила, поднялся неистовый шум. Часть зала бешено аплодировала, другая шикала, свистела, выкрикивала какие-то оскорбительные слова. Бедный пастор, как шар, метался по эстраде, не зная, как успокоить публику. Начались вопросы.

Сколько у меня акров земли и какое состояние я имела перед революцией? Был ли у меня графский титул, которого я лишилась? Преследовались ли религиозные секты в старой России?

Я отвечала.

Но вот вскочил какой-то человек и злобно, грубо закричал:

---

[80] Я вас здорово освищу (*англ.*).

– Лектор, а чем вы объясняете, что вы приехали, как вы говорите, из голодной страны советской России, а вы так хорошо упитаны, вы, верно, весите около 200 фунтов?

Пастор замахал руками: – Я не позволю здесь никаких вопросов, касающихся личности спикера, – сказал он.

– Разрешите, я отвечу, – попросила я. – А вот почему, товарищ, – сказала я, смеясь. – Из голодной советской России я поехала в капиталистическую Японию, где прожила 20 месяцев. Здесь, в другой капиталистической стране, Америке, я нахожусь уже тоже несколько месяцев, вот и я отъелась на капиталистических харчах.

Снова поднялся невероятный рев. Часть публики хохотала, другая часть шипела.

– Лектор, – вскочил еще один «товарищ», – будьте добры, объясните, почему в советской России мы не слышим про гангстеров, киднаперов, всяких жуликов, а здесь их так много... Чем вы это объясняете?

– А это очень просто, товарищ, – ответила я. – В Америке преступников сажают в тюрьмы, а в советской России они управляют страной.

Опять рев, аплодисменты, хохот, шиканье... Пора было заканчивать лекцию и уходить. На эстраду лезли люди, улыбающиеся, ласковые, взбешенные, с искаженными злобой лицами, лезли со всех сторон, круг замыкался. Маленький пастор подбежал ко мне. На голову он быстро нахлобучил мне шляпу, накинул пальто и протиснул меня сквозь толпу на улицу... Дэна следовал за нами.

– Почему же вы не задавали вопросов, я ждала их? – сказала я ему.

– Вопросов было достаточно без моих, – ответил он.

Хотя я и чувствовала, что лекция прошла хорошо, но на душе было тяжело.

Я никак не могла свыкнуться с мыслью о том, что западный мир не только не может избавиться от большевиков, но что почти во всех свободных странах неблагополучно. В Америке – депрессия. Во всех европейских странах недовольство; в Англии – голодные демонстрации, организованные коммунистами; в Японии – террористические убийства, война с Китаем, захват Маньчжурии; в Испании – назревающее недовольство... Наивно было думать, что русский народ может с какой-либо стороны ожидать помощи. Общественное мнение? Лидеры? Знаменитые писатели, как Стефан Цвейг, заигрывающий с Москвой; Бернард Шоу и леди Астор, которые поехали в Москву; Ромен Роллан, находящий всяческое оправдание большевизму и оправдывающий насилие тем, что народ против его желания надо вести к счастью и благополучию?..

Надежда на избавление, которая составляла главную цель и смысл всей моей жизни, постепенно испарялась... Церковь? Протестантские секты? Католики? Да, одна лишь католическая церковь продолжала свою постоянную борьбу с большевизмом. Я обрадовалась, когда узнала, что папа́ Пий XI установил неделю молитвы и поста во имя борьбы с коммунизмом и атеизмом.

Сизифов труд

Г-жа Х. познакомила нас с четой Макаровых. Он русский, она американка, очень добрая, общественный деятель, принимавшая участие в работе Нэйборхуд Лиг[81].

Как-то раз мы с Ольгой были в гостях у Макаровых, разговорились и рассказали им, как мы мечтаем жить самостоятельно где-нибудь на ферме.

---

[81] Neighborhood League – Объединение соседей (*англ.*).

Прошло некоторое время, и вдруг, чего мы никак не ожидали, Макарова к великой нашей радости сообщила, что через Нэйборхуд Лиг можно бесплатно получить, правда, довольно разрушенную, ферму. Там никто не живет, и хозяева разрешают делать с ней что угодно.

Но то, что мы увидели на ферме, превзошло всякие понятия о «разрушенности». В доме все стекла были разбиты, провалились полы, везде грязь: паутина, вероятно, не сметалась годами. На маленьком курятнике клочьями моталась бумажная крыша, от сарая остались лишь три каменные стены. Рядом с домом сильный, холодный как лед, источник. Нам потом объяснили, что он служил холодильником для молока и ледником. Он был разделен бетонными стенками на несколько отделений, и над ним, по-видимому, когда-то было целое здание. Теперь оставалась одна стена, покрытая зеленым мхом. Все на ферме нам казалось очень поэтичным: поле, заросшее бурьяном, внизу, под горой, журчащий ручеек, вокруг дома несколько старых деревьев, вдали лес...

Была весна, душа тосковала по природе, по физической работе и, главное, по своему углу. И мы переехали со всем своим скарбом на эту ферму, вблизи Ньютаун Сквера в Пенсильвании.

Надо было срочно вставлять окна, чинить крышу, мыть дом. Со страшным рвением мы принялись за дело. Но плотницкой работы мы делать не могли и попросили нашу благодетельницу, Макарову, прислать нам поденного рабочего. В то время рабочие были дешевые, пять долларов в день. Но нам казалось, что пять долларов в день – целое состояние.

Как-то утром – а вставали мы, конечно, очень рано – в восемь часов к ферме подъехал господин на прекрасной, блестящей машине. Мы очень удивились, так как на полторы мили кругом решительно никого не было.

– Что вам угодно? – спросила я.

– Как что угодно? – переспросил господин с удивлением. – Вы же меня, кажется, вызывали работать. Если я не ошибаюсь, это то самое место и вы те самые русские лэдис, о которых говорила Макарова.

Господин-рабочий работал необычайно добросовестно и быстро. Очень скоро наш дом приобрел жилой вид. Вставлены были окна, появилась какая-то мебель, которую нам пожертвовали миссис Х. и Нэйборхуд Лиг. Мисс Мэри Розет Смит друг Джейн Аддамс – прислала нам кровати, ковры, кресла из своего деревенского дома, который она ликвидировала.

Начали обрабатывать огород. Пахать нечем. Копали вручную. Весь огород был полон громадных камней. Зарывать их было трудно. Каменистая почва не давала возможности глубоко копать. Приходилось эти тяжеленные камни поднимать рычагом, постепенно подкладывая под большой камень маленькие, пока, наконец, он не выкатывался наружу. Это была сизифова работа, но одолели и ее и посеяли огород.

Иногда, редко, кто-то забредал в наши владения.

– Вы не знаете, где тут живет графиня Толстая, the Countess? Здесь она сейчас? Можно ее видеть?

А я в это время сражалась с каменьями или копала землю, обливалась потом, и одежды на мне было очень мало.

– Не знаю, – бурчала я, – здесь никакой графини нету.

Проезжали иногда верхами элегантные дамы с кавалерами, а ближе к осени скакали по полям охотники в красных мундирах.

Осенью Ольга отправила Марию в школу, в Филадельфию, и мы остались вдвоем на ферме. Я часто уезжала читать лекции, и Ольга оставалась одна. Все наши друзья в Филадельфии считали, что нам, двум женщинам, небезопасно жить вдвоем на ферме, и особенно страшно жить Ольге, когда она остается совсем одна. Кто-то нам сказал, что в

Филадельфии живет одинокий старый казак, который сейчас попал в безработные и с удовольствием пошел бы за стол и квартиру к нам жить и помогать работать, жалованья не надо, только немного карманных денег и табак.

Казак серьезно отнесся к своим обязанностям, потребовал револьвер, который нам достал один знакомый американец, а когда приезжали чужие люди, он вырастал как из-под земли и стоял молча, расправляя усы, до тех пор, пока не убеждался, что люди эти не большевики и не опасны.

Казак был громадного роста, широкоплечий, с седоватыми волосами и усами с проседью, которые он постоянно тщательно закручивал. Ну совсем гоголевский тип, мы его так и прозвали Тарасом Бульбой. Ноги у него были с выгибом, вероятно, согнулись от постоянного сидения в седле и так и остались кривыми с круглым просветом. Разговор его был простой и короткий.

– Ох, как спина болит, – иногда жаловались мы вслух.

– Ну и щож? – хладнокровно замечал казак. – Это не смэртэльно.

И возражать было нечего.

Нэйборхуд Лиг пожертвовал нам тяжеленную чугунную плиту, которую можно было топить и углем, и дровами.

– Надо будет попросить Макарову прислать двух-трех человек поставить эту плиту на место, – сказала я. Казак только рукой махнул. Когда мы с Ольгой пришли с огорода, плита стояла на месте. Как он ее сдвинул – до сих пор не понимаю.

В другой раз нам прислали громадную старомодную ванну, теперь таких не употребляют. Я попробовала ее сдвинуть – невозможно.

– Не думайте ее ставить на место, – сказала я казаку, – надорветесь.

– Ну и што? – ответил казак.

И когда мы ушли, он каким-то способом и ванну водрузил на место.

Один наш знакомый рассказывал, что несколько лет тому назад казак не мог найти работы. Его товарищ повел его к «контрактору», разрушающему дома.

– Мне рабочие не нужны, – сказал контрактор.

– А вы его попробуйте. Вон у вас там четверо людей бьются, рушат стену, дайте этому человеку задачу ее свалить.

– Ну так щож, – сказал казак, которому перевели разговор. Он, разумеется, не мог ни «да», ни «нет» сказать по-английски. – Попробуем.

Как хватил молотом в стену, так стена и рухнула.

Звали казака Федор Данилович Гамалей.

Мы купили несколько кур, и яйца были у нас свои, постепенно вырастали овощи, и для полного благополучия недоставало только коровы. Травы было много. И мы стали узнавать, где можно купить корову.

На большой соседней ферме разводились маленькие породистые красавицы джерси. У нас разбежались глаза. Цены были жуткие. Сотни и сотни долларов за одну корову. Мы очень огорчились – цены были нам недоступны. Но вот управляющий показал нам несколько коров.

– Этих я могу вам продать, они у нас предназначены на убой.

– Но почему же? Они не молочные? старые?

– Нет, нет, они молодые и прекрасно дают молоко, только у них в крови «бруцелозис».

Мы не знали, что такое «бруцелозис».

– Это вредно для людей? – спросила Ольга. – У меня 15-летняя дочь.

– Нет, нет, это совсем не опасно для людей, но эти коровы часто не могут растелиться, у них мертвые телята...

Чудная была одна коровка с выпуклыми, большими, томными глазами и с курносым носиком. Мы сразу в нее влюбились и купили ее чуть не за 50 долларов.

Теперь у нас было уже вволю молока, масла, сметаны и творогу. Мы пили, ели эти молочные продукты и не подозревали, что мы могли сами заболеть «бруцелозисом», тем, что называлось у нас мальтийской лихорадкой, трудноизлечимой, опасной болезнью.

А затем семья наша еще разрослась. Одна американка подарила нам чудную черную собачку – щенка шести месяцев – бельгийскую овчарку, которую мы назвали Вестой. Вместе с собачкой шофер привез от дамы меню собачки: полфунта мяса в день, два желтка, морковь, еще что-то. Одним словом, собачкины харчи были куда роскошнее, чем харчи, которые мы могли себе позволить; так что записку мы разорвали, собачку приняли с благодарностью и стали ее кормить овсянкой, что нисколько не повлияло на живость и страстность ее натуры, и, как только ей минуло 9 месяцев, вся наша усадьба подверглась осаде десятков собачьих женихов всякого размера, пород и возрастов.

И теперь в лавочку, в Ньютаун Сквер, который находился от нас в полутора милях и где мы получали почту и закупали продукты, мы ходили уже в большой компании. Впереди, когда она бывала дома, шла Мария, за ней Веста тянула маленькую тележку, в которой мы возили продукты, за ней шла Ольга, я, и шествие замыкала корова. Пока мы делали покупки, корова стояла в углу леса, никогда не выходила на большую дорогу и терпеливо ждала. Обратно мы шествовали в том же порядке.

Мы были довольны своей жизнью. Материальные условия, лишения, физические трудности нас не пугали. Мы с Ольгой получили хорошую тренировку в Советском Союзе. Угнетали мысли о России.

«Не могу молчать!»

Не думать, только не думать. Не думать о России, о тех, кто там остался, о крестьянах, с которыми я была очень дружна, которых раскулачили, сослали в Сибирь только за то, что они не были пьяницами, умели хозяйничать и со своими сыновьями работали и расширяли хозяйство. Только не вспоминать брата, родных, друзей... Касаться всего этого было так больно, как обнаженный нерв, который трогать, бередить нельзя.

Чтобы меньше страдать от всех этих мыслей и воспоминаний, надо было что-то делать, бороться... Но как? Мои лекции против коммунистов давали некоторое удовлетворение – я тогда еще наивно думала, что они на кого-то повлияют. Но этого было мало.

Я была очень счастлива, когда мои тюремные рассказы, написанные в доме у мисс Розет Смит, появились в «Пикториал Ревью». Йель Юниверсити Пресс приняло к печати мою книгу «Жизнь с отцом». Книга эта впервые была напечатана в Японии, и теперь она должна была появиться на нескольких языках и по-русски в журнале «Современные записки» и в «Последних новостях», издававшихся в Париже.

Круг наших знакомых постепенно увеличивался. Особенно близко мы сошлись с профессором музыки и пианистом Ал. Ал. Сваном и его женой. Сван преподавал в соседних колледжах и жил недалеко от нас. Через них мы познакомились с несколькими другими семьями.

В конце 1932 года всех нас, русских, потрясло известие о расстреле 1200 казаков, восставших на Кубани. Расправа была жестокая, убивали женщин, детей. 45 000 человек сослали на север...

– И напрасно вы молчите, с вашим именем можно выступить, и вашу статью напечатают, – говорили мне мои друзья. Особенно горячились наши русские знакомые Вороновы:

– Пишите, пишите, мы дадим американцам исправить английский перевод и поможем вам поместить статью в газеты.

Я взяла заглавие статьи, которую мой отец написал в 1908 году против смертной казни: «Не могу молчать!». Вот выдержка из этой статьи:

Когда в 1908 году царское правительство приговорило нескольких революционеров к смертной казни, из уст отца вырвался крик: «Не могу молчать!». И русские люди подхватили этот крик в дружном протесте против смертной казни.

Теперь, когда на Северном Кавказе происходит жестокая расправа и когда тысячи казнены, а другие ежедневно ссылаются, и моего отца нет в живых, я чувствую, что я должна поднять свой слабый голос против этих злодейств, тем более что я работала 12 лет с советским правительством и видела, как на моих глазах террор увеличивался с каждым днем.

Но мир молчал. Миллионы были сосланы, многие умерли в тюрьмах или концентрационных лагерях на севере России, тысячи были расстреляны на местах. Большевики начали со своих классовых врагов, старых священников, просто верующих людей, профессоров, ученых, теперь они дошли до крестьян и рабочих. И опять мир молчит.

15 лет люди живут в рабстве, терпят холод и голод. Советское правительство обворовывает народ, отнимает у него хлеб и все, что он производит, и посылает это за границу, так как ему нужна валюта не только для того, чтобы приобретать машины, но также и для большевистской пропаганды. А если крестьяне протестуют, прячут хлеб для своих голодных семей, расправа короткая – их расстреливают.

У русских людей нет сил терпеть это дольше. То тут, то там вспыхивают восстания. Тысячи голодных крестьян, бросая свои дома и хозяйство, бегут с Украины, где им грозит голодная смерть.

Что же делает советское правительство? Издает декрет о высылке сотен и сотен тысяч людей из Москвы (одну треть всего населения) и карает восстающих крестьян и рабочих пулями и ссылками.

Даже времена Иоанна Грозного не ведали таких жестокостей. И теперь, когда казаки, населяющие юг России, взбунтовались, советская власть организовала страшное, неслыханное по своей жестокости истребление целого народонаселения. Целые семьи казаков были расстреляны. 45 000 людей, с женами и детьми, – были сосланы, по приказу Сталина, на верную гибель в Сибирь.

Неужели и сейчас мир будет молчать? Неужели и сейчас правительства будут спокойно подписывать торговые договоры с большевистскими убийцами, укрепляя таким образом их положение и подрывая собственные страны? Неужели Лига Наций будет спокойно обсуждать вопрос о мире всего мира с представителями власти, главная цель которой – мировая революция, основанная на терроре и потоках крови? Неужели возможно, чтобы такие идеалисты-писатели, как Ромен Роллан, который так тонко понял души двух величайших пацифистов нашего времени, Ганди и Толстого, и другие, как Андре Барбюс или Бернард Шоу, будут продолжать хвалить социалистический рай? Неужели они не понимают того, что они несут ответственность за распространение этой заразы большевизма, которая грозит разрушением и гибелью всему миру? Неужели возможно, что люди до сих пор верят, что кровавую диктатуру группы людей, стремящихся уничтожить мировую культуру, религию и мораль, можно назвать социализмом?

Кто кликнет клич на весь мир: «Не могу молчать!»? Где вы, проповедники любви, правды и братства? Где вы, христиане, настоящие социалисты, пацифисты, писатели, социальные работники, почему вы молчите? Неужели вам нужны еще доказательства, свидетельства людей, цифры? Неужели вы не слышите криков, молящих вас о помощи, или, может быть, вы сами думаете, что можно достигнуть счастья путем насилия, убийства, лишением свободы целой нации?

В этом своем призыве я обращаюсь не к тем, чьи симпатии к большевизму куплены за деньги, которые советское правительство украло у русского народа. Я обращаюсь к тем, кто верит в братство, равенство людей, к религиозным людям, к социалистам, к писателям, к социальным и политическим деятелям, к женам и матерям:

откройте глаза, соединитесь в одном протесте против мучителей 160 миллионов беззащитных людей!

Александра Толстая.
13 января 1933 года.

Ответы на мою статью были самые разнообразные. Было несколько писем с просьбой прислать мой автограф. Было письмо от одной американки, возглавляющей литературный клуб. Она сообщала, что ее клуб изучает Россию и что они устраивают завтрак, на котором они хотят прочитать мою статью. Но они не знают, что им приготовить к завтраку, и просят меня составить для них меню.

Отставной «черносотенец», как он подписывается, пишет: «Необходимо сказать, что пятнадцатилетнему страданию русского «революционного» народа и его ни в чем не повинного поколения виновна только та безвольная царская власть, которая не имела в свое время гражданского мужества Вашего папа́шу со всей вашей семьей и всех подобных ему российских пророков посадить в сумасшедший дом...»

«Я очень одинок, – пишет какой-то американец из штата Нью-Йорк, – и хотел бы с вами переписываться».

Американка из Портленда пишет: «В. Дюрант в «Сатердэй ивнинг пост» от декабря 24, 1932 года пишет, что Россия под Лениным сделала необычайные успехи и продолжала счастливо жить и под руководством Троцкого. Правда ли это? Нам казалось, что Россия сделалась беспомощной скоро после большевиков. Среди нас, рассеянных по всей Америке, есть группы лиц, настроенных против коммунизма, но эти группы обвиняются в милитаризме...»

Очень интересное письмо было получено от молодого еврея. Привожу выдержки. «Я пишу вам только несколько слов. Это слабая попытка поаплодировать вам за вашу статью... Мир в целом против евреев и употребляет всевозможные

средства, чтобы нападать на евреев. Необразованные, невежественные евреи, беря сторону коммунистов, ухудшают положение евреев в целом. Коммунистическая деятельность должна быть прекращена, даже если надо будет употребить крайние меры. В конце концов эта деятельность приведет к мировому кризису, если энергичные меры не будут предприняты немедленно».

Получено было и несколько телеграмм. Вот одна из них:

«Ваше полное благородного пафоса воззвание глубоко волнует душу русских и будит совесть иностранцев, не совсем еще поддавшихся влиянию нашего похабного времени. Воззвание необходимо и своевременно, ваш отец поступил бы так же. Честь и слава русской женщине, низкий поклон достойной дочери достойнейшего отца».

Очень меня также тронуло письмо от «Русского общества помощи национальной России».

«Глубокоуважаемая Александра Львовна, Русское общество помощи национальной России услышало Ваш громкий голос в защиту русского народа, который уже 16 лет проливает кровь от коммунистов-палачей. Десятки, сотни и тысячи русских невинных людей гибнут от руки изувера Сталина и его шайки.

Считаем своим долгом принести вам свою искреннюю благодарность за Ваше честное и справедливое заступничество в защиту угнетенного народа. Мы верим и надеемся, что Ваше веское и авторитетное слово разнесется по всему земному шару и будет услышано цивилизованным миром, как некогда было услышано слово Вашего покойного отца, всеми нами уважаемого Льва Николаевича. Мы верим в то, что многие сильные люди последуют Вашему примеру.

Подписи».

«Очень немногие понимают, что такое в действительности коммунизм, – пишет американец из Чикаго. – Мое искреннее желание, моя надежда, что ваша умелая статья не только заставит людей думать, но скорее даже заставит их действовать и поднять голос протеста против самих ужасающих условий, против этих людоедов и убийц, против уничтожения русского народа, против разрушения религии и русских семей. Да благословит вас Господь и да поможет он вам в вашей работе».

А вот выдержка из письма русской женщины: «Мне было отрадно прочитать в газетах ваше воззвание. Вы высказали то, что каждый русский (непродавшийся) чувствует, но не всякий может, по многим причинам, говорить открыто, да и не всякий умеет это делать. Приветствую вас и желаю успеха в дальнейшем...»

Вот выдержка из письма студента колледжа: «Я прочел с удовлетворением и полным согласием с вами вашу статью, где вы обличаете коммунизм. Мне кажется, я родился с врожденной ненавистью и страхом ко всему, что напоминает деятельность, которую ведут коммунисты в настоящее время в России... Я бы очень хотел активно участвовать в борьбе против этой современной цивилизации».

Меня очень заинтересовали письма учеников средних школ. Привожу выдержки из этих писем.

«...В апреле в нашей школе будут устроены дебаты по вопросу: принято решение, что Соединенные Штаты должны официально признать советскую Россию. Но американские молодые юноши и девушки слишком невежественны в этих вопросах и причинах, почему надо советскую Россию признать или не признать». И в конце письма юноша просит меня его принять, чтобы дать ему информацию по этому

вопросу. «Я стою за непризнание, но мне очень хочется найти веские аргументы в пользу моего убеждения».

Другой ученик средней школы пишет: «Мы обсуждаем вопрос: постановлено, что Россия теперь в гораздо лучшем положении, чем при царе...»

Получены были сотни писем, но я привела самые интересные. Видимо, вопрос об отношениях с Советами волновал более сознательную часть американцев. Но когда в ноябре 1932 года громадным большинством прошли демократы и президентом был избран Франклин Д. Рузвельт, стало ясно, что признание советской власти неминуемо.

Жизнь в деревне

Я только читала о том, как лопались банки и как люди богатые, рабочие, фермеры, всю жизнь копившие гроши и рассчитывавшие на спокойную старость, за один день оставались нищими, но мне никогда не приходилось этого ни испытывать, ни видеть. Когда прошел слух, что банки один за другим лопаются, я помчалась в Филадельфию, но... было уже поздно. У меня было всего около 1 400 долларов, полученных за книгу и рассказы. 1 000 долларов друзья посоветовали мне положить на почту, а 300 с чем-то долларов лежали в банке, в Филадельфии, на текущем счету.

В банке собралась толпа людей. Женщины плакали, мужчины нервно курили, банковские чиновники – просто исчезли. Все окошечки были закрыты, мы видели, как за решеткой ходили люди, но они с нами не разговаривали, и добиться каких-либо объяснений было невозможно. Меня особенно поразил один старый, высокого роста, костлявый и загорелый фермер в рабочей одежде. Вероятно, как услышал ужасную новость, так, как был, сел в машину и примчался в банк. Он стоял, прислонившись к стене, беспомощно глядя по сторонам и как-то странно выкидывая руки вперед, точно желая

объяснить что-то. «Не может этого быть. Здесь какое-то недоразумение, чего-то мы не понимаем», – говорил он соседу. «Никакого недоразумения, – огрызнулся тот. – Пропало все. Банк объявил себя банкротом...» – «Да, но я работал, тяжело работал... Здесь труд всей моей жизни... Как же я скажу жене, она этого не выдержит?.. I can't face my wife[82]».

Смятение было ужасное. Американцы не знают, что значит терять имущество. Что имущество?! Терять семью, страну, терять все! Но хоть я и привыкла к потерям, должна сознаться, что и я была расстроена, для меня 300 долларов были большими деньгами, особенно теперь они были нам очень нужны, так как мы снова оказались бездомными бродягами. Когда мы привели в порядок ферму, вложив в нее столько труда и денег, хозяин потребовал с нас такую высокую арендную плату, что мы не в состоянии были ее платить. Три года спустя я проезжала мимо фермы, там никто не жил, и она была еще более разрушена, чем до нашего прихода.

Опять надо было искать угол, но тут судьба сжалилась над нами. Надо сказать, что к нам редко заезжали люди. Мы жили версты полторы от главной дороги, к нам же вела проселочная грунтовая дорога. Как чуть дождик – машины застревали, поэтому каждый приезд был событием.

Никогда не забуду, как наша приятельница и переводчица моей книги «Трагедия Толстого» Елена Варнек, гостившая у нас летом, искала закрытого места, где она могла бы принимать солнечные ванны. Устроилась она около дома, выкосивши себе площадку среди высокого бурьяна, «в крапивке», как она говорила. И вот как-то в самую жару она блаженствовала «в крапивке», как вдруг – «Are you the Countess?»[83] – прозвучал над ней мужской голос.

---

[82] Я не могу смотреть в глаза жене (*англ.*).

[83] Это вы графиня? (*англ.*).

– Нет, нет, уходите, пожалуйста.

Но корреспондент, так как этот господин, конечно, оказался корреспондентом, ничуть не смущаясь ее видом, добивался, чтобы Елена ему сообщила, где же Countess?..

Мы взволновались, когда в один прекрасный день к нашему дому подъехал великолепный новенький автомобиль с прекрасно одетой дамой и двумя юношами.

– Саша? Вы? Как я рада, how happy I am...

Знакомое лицо... Но где? Когда? Мысли побежали назад, 10, 20 лет назад. Революция, первая мировая война... Меня командировали сестрой милосердия на Турецкий фронт. Знойно, жарко, безоблачное, глубокое, темное, как в плохих картинах, синее небо, высокая, густая, темная, жирная трава... Шесть лошадей, расседланных и по-кавказски стреноженных, быстро наедают себе круглые бока. Двое братьев милосердия, один из них мой племянник, я, ординарец и санитар отдыхаем под кустиками, дающими скупую, жидкую, прозрачную тень. Мы устали, уже пятый день в походе. Все в барашковых серых папáхах, защищающих нас от солнечного удара, в запыленных черкесках с револьверами на кавказских ремнях. От солнца, перехода через снеговые горы лица загорели, почернели, со лбов и носа хлопьями слезает обожженная кожа... И тогда, как и теперь, подъехала элегантная дама в чудной машине: «Are you the Countess Tolstoy?» И countess смущенно поднялась с травы, отряхивая черкеску и широкие шаровары.

Jane, Jane, Yarrow...

«Yes! Как я рада, что нашла вас! Вот это мой второй сын Майк, помните, он тогда только родился, а это Эрнест, младший, его тогда еще на свете не было».

Сидя на террасе за чашкой чая, мы вспоминали прошлое, перебивая друг друга, захлебываясь от воспоминаний. А вспомнить было что.

Ярроу были миссионерами в Турецкой Армении, в городе Ване, на озере Ван. Я работала там сестрой...

В трех зданиях бывших школ 1 500 курдов и турок умирали от всех видов тифа, дизентерии... Стоны, призывы о помощи, грязь, тут же на полу испражнялись, воды нет, ни холодной, ни горячей, умирающие женщины. Вши везде, даже у американцев. Первым заболел тифом доктор Юшер, потом Джейн. Муж ее, Сайм, умирал. Когда мы к нему пришли с русским военным доктором, у него уже был цианоз. Вливали соляной раствор, впрыскивали камфору, дигиталис... Спасли. Все американцы выжили, но заболели оба мои брата милосердия...

– You saved our lives[84], – говорили Ярроу и Юшеры, и мы на всю жизнь сохранили дружбу.

И вот Джейн разыскала меня и теперь, как когда-то ее муж разыскал меня, когда я была в тюрьме в Москве, и принес мне богатую американскую передачу.

Джейн приехала с определенным предложением. Друг Ярроу и их ближайший сосед нашли маленькую ферму по соседству с ними в Коннектикуте. Ферма продавалась за тысячу долларов: маленький домик, два курятника, семь акров земли. Свой угол! Земля! Что могло быть привлекательнее!

Мы не долго думали. Поехали, посмотрели. Кругом штатный лес-парк, домик маленький, три комнаты, маленький огород, старый разрушенный хлев, несколько тонких кривых березок, не таких, как в России, но все же березы.

Наняли громадный грузовик, нагрузили его мебелью, клетками с курами, чемоданами, сами поехали поездом в Мериден, Коннектикут, откуда нас подвезла Джейн Ярроу. В багажном вагоне ехала Веста со своим семейством, слепыми еще щенятами. Корову продали – Коннектикут не позволял

---

[84] Вы спасли нам жизнь (*англ.*).

привезти корову с «бруцелозисом». Это было для нас большим ударом. Эта корова была для нас как член нашей семьи.

На ферме было два так называемых дома. Главный дом состоял из трех комнат: две спальни и гостиная. В гостиной поднимался люк, и по крутой приставной лестнице вы спускались в кухню.

– Владелец этого дома был моряком и построил его в виде парохода с трюмом, – сказал нам сосед, старик дядя Джо, который пришел с нами познакомиться, не один – за ним шли, как собачки, две козочки, которых Веста немедленно прогнала домой.

В этом «большом» доме поселилась Ольга. В маленьком, бывшем брудере[85], поселилась я. Впоследствии казак настелил мне новые полы, покрасил, сделал перегородку, разделив домик на две крошечные комнаты – в одной была спальня, где помещалась одна кровать и шкаф для платья, в другой – письменный стол, кресло и шкаф для книг. Было тесно, но это был мой собственный угол.

Кругом нашей фермы – холмы, покрытые лесом, внизу, за полторы мили от нас, большая река Коннектикут, в лесах множество ягод, грибов. Устроили нам заем в банке, мы купили маленьких цыплят, и началась наша фермерская жизнь.

США признает СССР!

Когда я вспоминаю эти первые месяцы и годы своей жизни в Америке, я невольно думаю, какая я была наивная, надеясь, что могу кого-то убедить. Когда на своих лекциях я говорила, что в царские времена в России народу было

---

[85] Англ. «brooder». Это не только печь для обогревания выведенных в инкубаторе птенцов домашних птиц, но и помещение, в которое ставятся брудеры.

гораздо легче жить, чем теперь, мои слова встречали недоверчивым молчанием: «Конечно, она монархистка, она не признает никаких социальных реформ», наверное, думали они. Или: «Разве может графиня, бывшая помещица, думать иначе! Она, верно, мечтает получить свое имение и имущество обратно!» То, о чем я говорила, понимали по-настоящему лишь немногие.

Мы так созданы, что у каждого человека должна быть какая-то цель в жизни, и я вбила себе в голову, что цель моей жизни – передать западному миру все, что я знаю про Советы, предупредить его о грозящей ему смертельной опасности большевизма. Я знала многое, чего свободный мир не знал, надо было только уметь передать. И я проводила бессонные ночи, обдумывая лекции, статьи, письма к президенту. Я говорила в залах, аудиториях, на форумах, в дамских клубах, я заставляла людей смеяться, плакать, и, видя женщин, утирающих слезы, когда я рассказывала про жуткую жизнь в советской России, нищету, тюрьмы, пытки, голод, я верила, что я достигаю своей цели.

– Но все же жизнь стала лучше для рабочего народа? – спрашивали меня после лекции.

– А разве вы не находите, что при Советах стало гораздо больше школ, университетов? Ведь при царе 90% было безграмотных.

– 45% безграмотных, – поправляю я. – Правда, что школ и университетов больше, но уровень образования ниже.

– А как надо выговаривать: Анна Каре́нина или Карени́на? – вдруг огорошила меня неожиданным вопросом очень накрашенная и чудно́ причесанная дама.

Я отвечала, трясла тысячи дружественных рук, но иногда думала с отчаянием в душе: «Безнадежно... они не смогут понять...»

Меня один раз, в одну из моих лекционных поездок, пригласили на заседание, посвященное Лиге Наций. Просили сказать несколько слов.

– Когда моего отца пригласили на мирную конференцию в Стокгольм в 1909 году и он туда не поехал, то не жалел об этом, так как позднее узнал, что часть заседания была посвящена разоружению, но часть – вопросам о вооружении для защиты. Лига Наций не может способствовать миру. Все страны, начиная с советской России, усиленно вооружаются. Настоящего, христианского отношения к войне, особенно при участии представителя Советского Союза, который не нападает на свободные страны только потому, что еще недостаточно силен, быть не может. В то, что Лига Наций может иметь серьезное влияние на ход мировых событий, я не верю.

Вежливое американское молчание было мне ответом, но моя карьера среди американских либеральных кругов раз и навсегда была загублена.

Разве эти люди, часто упиваясь своим красноречием во дворцах, залитых светом, люди свободные, не знавшие рабства, нищеты и голода, разве они сознавали, что сейчас, сегодня сотни тысяч крестьян пухнут и умирают от голода, искусственно созданного теми самыми лидерами, которые рассуждают с ними в Лиге Наций о мире? Разве они верили, что миллионы умирают сегодня на принудительных работах? Либералы западных стран верили еще в сохранение мира, в возможность добрых отношений с Советами, верили, что беднейшее население произвело революцию в Испании, они радовались отречению Альфонса XIII[86], сочувствовали и материально помогали лоялистам, не подозревая дьявольской руки коммунистов, руководившей восстанием. Пусть грабят,

---

[86] Король Испании Альфонс XIII после победы на муниципальных выборах республиканских партий в апреле 1931 г. отрекся от престола и бежал за границу.

разоряют католические храмы под руководством коммунистов, пусть режут буржуев, национализируют частное имущество – это не важно. Важно одно – лоялисты добились свободы, демократии.

Как объяснить правду? Неужели, если бы увидать Рузвельта, только что избранного президентом, и все ему рассказать, он не понял, не поверил бы? И я писала президенту Рузвельту, прося свидания. Но напрасно, он был слишком занят...

Я тогда верила еще в то, что люди руководствуются логикой, я тогда еще сомневалась в том, что теперь я уже твердо знаю, что люди верят только в то, во что им хочется верить. Мне было обидно, что русские эмигранты не соединятся в едином дружном протесте против зверств советской власти, как это делают евреи, протестуя против зверств только что захватившего власть Гитлера. Ведь устроили же 20 000 евреев в Нью-Йорке грандиозный протест против гитлеровских зверств, которые принимали все более ужасающие формы и размеры. Увольнялись все еврейские интеллигентные работники, конфисковались деньги и имущество евреев, в том числе конфисковали деньги Эйнштейна. Справедливое возмущение против наци и Гитлера росло в Америке. Почему же такое же, еще большее возмущение не растет против Советов? Наоборот, все чаще и чаще, настойчивее и настойчивее растут слухи о том, что новый президент Рузвельт, поддержанный либеральными кругами Америки, признает советскую власть. Президент Рузвельт хочет мира, президент Рузвельт обращается к 54 нациям, включая советскую Россию, предлагая разоружение и соглашение о ненападении. И я продолжала наивно верить, что все это увлечение высокими идеями, миролюбивыми предложениями советского правительства, сочувствие испанским лоялистам происходит только по незнанию. Стоит людям узнать действительную

правду, и люди поймут, что Советы злейшие враги капиталистической Америки, что испанские лоялисты не что иное, как шайка большевистских наймитов-агентов.

И я писала и говорила всем тем, кто, по-моему, имел влияние и вес. Писала квакерам, секретарю их организации Кларенсу Пикету, прося квакеров протестовать против зверств на Кубани и против признания советской власти Америкой.

Пикет ответил, что у квакеров будет собрание 22 марта 1933 года. «Американские квакеры глубоко проникнуты значительностью дела, которое Вы представляете».

На этом собрании в Филадельфии было человек 30. Сначала, по обычаю квакеров, все склонили головы в молчаливой молитве. Вероятно, я молилась, потому что когда я встала и заговорила о страданиях русского народа, о голоде, ссылках, расстрелах, то говорила не я, а кто-то во мне. Я почти физически ощущала, переживала страдания своего народа. Я говорила минут двадцать и под конец так разволновалась, что перехватило дыхание и говорить я больше не могла...

Квакеры молчали.

– Мы вам сообщим наше решение, – сказал мне Кларенс Пикет.

Затем я получила от него письмо следующего содержания:

«Дорогой Друг,

Я получил ваше письмо и документ, который вы приготовили для печати. Как вы могли уже заметить, он привлек внимание в печати Филадельфии.

Одно обстоятельство смущает меня в данное время. Я, конечно, полностью возражаю против тех преследований, которым теперешнее правительство подвергает как вашу, так и другие религиозные группы в России. Однако в настоящее время протест на этой почве будет на руку самым реакционным и консервативным группировкам нашей страны, как тем, например, которых представляют

«Паблик Леджер» и «Бюллетень». Наша группа в своем большинстве поддерживает признание правительства России – не потому, что она сочувствует тому, что оно делает, а потому, что это установившееся правительство, и потому еще, что нельзя влиять на правительство, которое мы не признаем.

Мне лично кажется, что в данное время целесообразнее было бы содействовать признанию советского правительства, с тем чтобы затем иметь возможность официально и неофициально протестовать против его действий, когда мы им не сочувствуем. Наше правительство не станет в настоящее время протестовать против действий советского правительства, потому что оно не признает самого существования советской России. Признание, конечно, несколько задержит наши существенные усилия в борьбе с тем угнетением, которое практикуется в России, но, в конце концов, я думаю, что это будет полезнее. Думаете ли вы, что я безумец? Я с удовольствием поставлю этот вопрос на решение комитета в ближайшем его заседании, если бы вам хотелось узнать его мнение. Искренно ваш

Кларенс Пикет».

На это я ответила ему следующим письмом:

«Дорогой Друг.

Я не смею говорить, что вы «безумец», но думаю, что вы и ваши друзья жестоко ошибаетесь. Не потому, что вы «безумны», а потому, что вы не знаете.

Прежде всего: советское правительство не является «установившимся» правительством. Оно захватило власть вопреки воле русского народа как раз накануне того Учредительного собрания, которое должно было избрать правительство, угодное воле народа. Оно не «установившееся», главным образом, потому, что народные массы русского народа – 160 миллионов душ – стремятся его сбросить. Восстания, всюду в России возникающие, достаточное для этого доказательство. Такое восстание было в Иваново-Вознесенске – оно было усмирено пулями и газом. Серьезные восстания возникли

на Северном Кавказе – 45 000 местного населения было сослано в Сибирь и многие расстреляны.

Вы говорите, что протест против действий Советов – казней, массовых истреблений крестьян, ссылок, голода, истязаний детей и женщин – будет на руку реакционным и консервативным группам вашей страны. Я думаю, что, если вы признаёте убийство недопустимым, вы должны это сказать. И добро никогда не родит зло.

Вы говорите, что ваше правительство не станет протестовать в настоящее время, потому что оно не признает самого существования советской России. Может быть. Но я очень сомневаюсь в том, что, признав советское правительство и установив с ним сношения, оно заявит протест. Англия такового не заявляет. Но когда я обращаюсь к квакерам, я не думаю о правительствах. Я обращаюсь к тем, кто верует в Учение Христа, как верил мой отец, к тем, кто понимает, что значат любовь и братство и страдание, кто верит в святость духа в человеке, кто помогает страдающим и обездоленным, кто протестует против зла и жестокости.

И еще... вы пишете мне, что ваша группа, в большинстве своем, поддерживает признание советского правительства России. Признание убийц. И, таким образом, сама того не сознавая, ваша группа содействует деятельности Советов и затягивает петлю на шее русского народа!

Что означает признание какого-либо правительства? Дружбу или, по крайней мере, доверие к тем, с кем ваше правительство имеет сношения.

Готовы ли вы были бы признать, или довериться, или иметь дело с бандой грабителей и разбойников? А если да, то не думаете ли вы, что это послужило бы поощрением их деятельности?

Советы много хуже разбойников и грабителей! Ибо, ничем лично не рискуя, имея в руках власть, оружие, пушки и газ, они поработили русский народ и ограбили его, они грабят и убивают беззащитных людей. Большевики являются самыми страшными капиталистами в мире, ибо, ограбив народ, превратив его в нищего, они сосредоточили весь капитал в руках немногих. Они самые крайние консерваторы, потому что они против какого бы то ни было вида свободы.

Как я жалею, что моего отца нет в живых! Может быть, люди прислушались бы к его голосу и он сумел бы объяснить им, что, как в прошлом инквизиторы прикрывались именем Христа, так советские убийцы прикрываются увлекающей идеей социализма!»

Потерпев неудачу с квакерами, я все не унималась и написала письмо Джейн Аддамс с изложением своих мыслей, прося ее ходатайствовать перед президентом о непризнании советской власти. На это я получила следующий ответ:

«Дорогой Друг.

Я вам очень благодарна за ваше письмо. Вы знаете, как мне неприятно расходиться с вами в вопросе, в котором вы знаете куда больше моего, и мне хочется объяснить вам мою точку зрения. Та группа пацифистов, к которым я принадлежу, почувствовала с самого начала, что признание правительства России де-факто скорее приведет нас к умиротворению народов, нежели отношение враждебное. Мы, может быть, ошибались, но во всяком случае правительства, которые применили другие методы, не избежали того безобразного положения, в котором мы теперь оказались, и, может быть, время для мирного разрешения и упущено.

Но так как я с давних пор ратовала за признание и настаивала на этом еще недавно, в июне, в программах обеих политических партий, то мне невозможно отказать в своей подписи на той петиции, которая подается новому президенту.

Я, может быть, сочту это когда-нибудь ошибкой и буду горько об этом сожалеть, но в настоящее время мне кажется, что пацифистам в этой стране нужно преследовать именно эту цель».

Свой угол

Жизнь наша на ферме была трудная, но счастливо-ясная, без страха, без угнетенности. Вставали рано. Бывало, только солнце покажется из-за лесистых холмов, на кустах переливаются, блестят тысячью огней крупные капли росы, нежно благоухает цветущий виноград или с лугов несется запах

скошенной травы, бежишь в курятник за ведрами, натаскаешь из колодца воды, раздашь курам корму и идешь в свой домик к письменному столу... Тишина. Только слышишь, как кудахчут куры в курятнике да Веста громко лязгает зубами, стараясь поймать пристающих к ней мух. На чугунной плите в «большом» доме варятся борщ и каша. Казак стучит молотком, что-то ремонтирует или строит.

Еды было довольно. Яиц, овощей сколько угодно – свои выращивали. Даже дыни были свои. Грибов и ягод – малины, ежевики, голубики – в лесах было полно. Покупали мясо, масло и молоко, пока снова не обзавелись коровой, рыбу, чай, кофе, сахар. Цены были низкие: 11–12 центов за фунт рыбы, 16–17 центов за фунт лучшего молотого мяса, 12–13 центов за кварту молока. Но зато мы на яйцах тоже не разживались, продавая дюжину по 15–17 центов. Но главное – ни с чем не сравнимое, блаженное чувство свободы. Что хочешь, то и делаешь, и никого и ничего не боишься. Хочешь – работаешь, хочешь – идешь за грибами или книгу пишешь.

После обеда и до самой поздней ночи мы работали. Вычищали навоз из курятников, подсыпали в кормушку муку, работали в огороде. Вечером чистили, просвечивали и укладывали яйца на продажу.

Постепенно мы расширили свое хозяйство. Одна тысяча кур, весной – 2 500–3 000 цыплят. Две коровы, огород; летом подрабатывали еще тем, что собирали по болотам и лесам голубику и продавали ее по хорошей цене нашим богатым соседям. Богатые жили внизу, на берегу реки Коннектикут, а бедняки – на верху горы, вроде нас. У Весты появился красавец муж, которого я привезла от своего брата, – Мики, или, как мы его прозвали, Митька – большой серый полицейский пес, которого Веста полюбила с первого взгляда и которому осталась верна до гроба.

Собаки жили на свободе, охотились, изредка приносили нам зайца, а раз как-то Веста принесла нам куропатку, которую мы вычистили и с удовольствием съели. Охотились они и на скунсов. Помню, как однажды я проснулась от страшной вони. Когда я вышла из своей избушки, то увидела, что у порога сидит Веста. Она облизывалась и с победоносным видом смотрела на меня. Перед самым моим домиком, на лугу, лежали в ряд загрызенные, мертвые скунс и трое деток. Пришлось скунсов закапывать, а собак мыть...

Очень хорошие у нас были коровы. Одна – чистокровная джерси, мне подарил ее приехавший из Италии муж моей племянницы, дочери сестры Татьяны, Альбертини. Вторая корова родилась у нас. Джерси, как полагается породистой леди, была тихая, скромная, похожая на ту, которая была у нас в Пенсильвании, с грустными, выпуклыми, большими глазами и курносая. Молодая была озорная и умная, она несколько раз портила нам огород. Чтобы проникнуть за проволоку, которой была загорожена кукуруза, она падала всем своим грузом на забор и приминала его к земле. Затем вставала, переступала через повалившийся забор и спокойно паслась на кукурузе. А джерси стояла как вкопанная и смотрела на озорницу томными глазами, не смея перешагнуть через забор. Но этого было мало. Молодая корова повадилась залезать в курятники. Рогом она поддевала крючок на калитке, входила в курятник, съедала весь куриный корм, опрокидывала кормушки и, вдоволь наевшись, рогом же отворачивала кран, пила воду и принимала холодный душ. Пришлось переменить все запоры, укрепить заборы.

Иногда наши интеллигентные посетители пугались наших громадных собак и коров. «Собаки не кусаются, – говорили мы. – Не бойтесь. А коровы не бодаются. Нет». Коровы были очень общительные и как только видели людей, так, к ужасу наших городских друзей, шли к ним.

Теперь казак наш часто уезжал. Мечта его жизни была – жениться, на скопленные деньги купить небольшую ферму и жить там с женой.

– Поеду в Филадельфию, – как-то сказал он нам.

– Дело есть?

– Да шо там. Може, и выйдет дело. Казаки невесту сватают.

Уехал. Прошло около недели, возвращается казак наш домой злой. Не разговаривает, спросишь что-нибудь – молчит, только рукой машет.

– Федор Данилыч, ну что невеста? Расскажите. Понравилась?

– Да шо там! Нечего рассказывать. Какая там невеста. Никудышняя баба, кривобокая...

– Но, может быть, женщина хорошая?

– Хорошая, хорошая, – передразнил он нас. – Кривобокая, опять же астма, дышит, как запаленная лошадь... – и казак тяжело вздохнул.

– Вы бы американку взяли, – сказала я.

– Американку. Шо я, с ума, што ли, сошел! Американку... Што от них толку? Американку... – с презрением фыркнул он.

Одним из самых знаменательных событий в нашей жизни была покупка автомобиля: 65 долларов, да еще регистрация, страховка. Для нас это было целым состоянием. Никогда, даже когда с годами я приобретала новые «форды», ни одна машина не казалась мне такой красивой, уютной, удобной! Это был маленький черный старый двухместный спортивный автомобиль. Училась я ездить без учителя, сама. Ездила по двору взад и вперед, сшибла один столб, чуть не задавила Весту, которая немедленно приревновала меня к машине и, когда машина трогалась с места, со страшным визгом и лаем хватала зубами передние колеса.

Но мне необходимо было ездить. Мой брат Илья серьезно заболел, нужно было его навещать, а добираться до него на автобусе или поезде было очень сложно.

Рядом с нами жила эстонская семья; старший сын, юноша лет 18-ти, иногда возил нас на автомобиле.

– Альберт, – сказала я ему, – можешь ты поехать со мной завтра к моему брату в Саутбери (за 70 миль)?

– Почему нет, если заплатите.

– Заплачу, но ставлю одно условие: я буду править.

– Но вы же не умеете...

– Не умею, вот ты и будешь меня учить.

Юноша задумался. Через минуту согласился, под условием, что я буду его беспрекословно слушаться.

– Конечно, но теперь я поставлю тебе условие: мы выедем в половине четвертого утра, когда на дорогах никого нет.

Он согласился, и мы поехали. Чудное было утро, свежее; солнце еще не всходило, и на прозрачном серо-голубом небе потухали звезды, блестела трава, седая от росы. Громко зарычал, получивши слишком обильную порцию газа, мой черный «фордик», но я обеими руками крепко уцепилась за руль, и все, кроме дороги, перестало для меня существовать. Казалось, что я непременно влечу в каждый придорожный столб, в каждое дерево. Ехали мы медленно, 25 миль. В Мериден, первом городе на нашем пути, кое-где стали встречаться и обгонять нас грузовики. В следующий большой город, Вотербери – 50 миль – приехали часам к семи. Градом катил с меня пот, промокло насквозь белье.

– Альберт, – сказала я юноше, – я изнемогаю, – и мы переменились местами. Но на обратном пути я правила одна все 70 миль, а через несколько дней сдала экзамен в ближайшем городке Миддлтаун, куда мы вместе поехали с Джейн Ярроу.

Брата я застала в тяжелом состоянии. Я заезжала к нему и раньше, месяца три назад, по пути из Бостона. Тогда он еще был молодцом, лихо вез меня на машине, сам колол дрова для печки. Жил он почти всегда один. Надя, его новая жена, постоянно ездила в Нью-Йорк. В доме грязь, мухи, везде сор, никакой еды... Подоткнув свое городское платье и повязав голову платком, я целый день мыла, скребла, выносила сор.

За то время, что я его не видела, брат очень изменился, похудел, жаловался на боли в боку, двигался с трудом. И опять был один. Дом был еще более запущен. Сеток в окнах не было, рои мух, полная ванна нестираного, намоченного белья, в леднике посеревшая, несвежая свекла. И снова я стирала белье, убирала, истребляла мух, ездила за провизией, готовила... а брат улыбался, он был рад, что не брошен, не один... Я вызывала врача из Нью-Хейвена. Осмотрев брата, доктор вызвал меня в сад и сказал, что думает, что у брата рак, и что надо его свезти в больницу. Когда доктор уехал, я вошла к Илье.

– Ну что, рак у меня, Саша? – спросил он.

Я молчала.

– Не надо скрывать, я хочу, я должен знать!

Глаза наши встретились, и как ни тяжело было сказать правду, я поняла, что лгать нельзя.

– Он не знает еще, тебе надо лечь в больницу на исследование.

– Но по всей вероятности – рак... – с трудом, запинаясь, повторил он и закрыл глаза. Я знала, чувствовала, что он должен был переживать в эту минуту. Он так любил и умел наслаждаться жизнью. Говорить он не мог, молчал. Я заплакала, тихо вышла из дому и пошла в лес по дорожке, мимо насаженных им цветников, фруктовых деревьев, березок. Все это он так любил... Тихо в лесу, пахнет перегнившими листьями, то тут, то там виднеется изъеденная улитками шапочка

белого, торчащего из мха, гриба, подберезовик с пестрой ножкой, аккуратный, с коричнево-красной головкой подосинник. Я сняла с себя головной платок, набрала грибов и пошла домой.

– Я рад, что ты пришла, – сказал он мне и широко улыбнулся. – Ты не волнуйся, он уже у меня в руках.

– Кто?

– Илья Толстой. – И помолчав. – Да будет Его воля... Какие чудесные грибы!

На другой день приехала Надя, и мы решили отвезти брата в нью-хейвенскую больницу. Ему нужен был уход, лечение. Я еще надеялась, что его можно спасти.

Когда я вернулась домой, мне Ольга сообщила, что приезжал господин, с ним еще двое. Господин назвал себя капитаном Макензи и сказал, что был в Москве, виделся с моим братом Сергеем и привез мне от него поручение.

– Ну и что же? Ты узнала, когда он приедет, его адрес? – спросила я.

– Нет...

Я рассердилась:

– Но как же так? Мне это так важно!

– Да ты меня выслушай, Саша, – спокойно перебила меня Ольга, – я не расспрашивала этого господина, потому что и он, и те, кто с ним приехали, показались мне очень подозрительными.

Прошло недели две. Было часов 9 утра. Я сидела в своем маленьком домике за письменным столом, писала. Веста лежала у меня в ногах. Вдруг она свирепо зарычала, поставила шерсть дыбом и бросилась к двери. Почему-то я испугалась. Встала и быстро повернула ключ в двери. Стук.

– Кто это?

– Я продавец персидских ковров, хочу показать их вам.

– Мне не надо ковров, да и денег у меня нет.

– А вы только посмотрите... Если не хотите покупать, не надо... – Торговец коврами говорил по-английски с русским акцентом. Застучала наружная ручка двери, торговец, видимо, пробовал ее открыть. Дверь трещала, сыпалась сухая краска. Я выдвинула ящик, достала револьвер, взвела курок. Веста, стоя у порога, рычала. Все внутри у меня дрожало; я молча выжидала, не спуская с двери глаз. Но вдруг исчезло напряжение, Веста отошла от порога, дверь уже больше не сотрясалась, слышен был шум подъезжавшего автомобиля. И через несколько минут Ольга была уже у двери и звала меня:

– Саша, Саша, отопри! Уехал капитан Макензи! Тот самый, который на днях приезжал, якобы с поручением от твоего брата Сергея! Это же был он!..

– Макензи... уехал... что случилось? – И не успела я спросить, как вижу, что посреди двора стоит грузовик. Это наш мясник со своим помощником привезли нам мясо.

Громадная черная машина с тремя мужчинами – я заметила, что один был с бородой и в картузе, – быстро катила вниз по дороге, под гору.

– Скорей, скорей, звонить в полицию! – Но полиция за 17 миль! Пока дозвонились, пока полиция поняла, в чем дело, а быть может, и не поняла и не поверила нашему рассказу, капитан Макензи, он же персидский торговец коврами, он же товарищ коммунист, со своими спутниками был уже далеко.

Смерть Ильи Львовича

Жизнь – сон, смерть – пробуждение.
Л. Толстой

Мой брат Илья умирал в нью-хейвенской больнице.

Он сильно страдал от боли в печени, задыхался. Постепенно это сильное большое тело разрушалось, разъедаемое

раком. Он был один. Надя, его жена, жила в Нью-Йорке и только изредка навещала его.

Я старалась приезжать к нему как можно чаще. В Нью-Хейвен мне было ближе ездить, чем в Саутбери, где жил мой брат. Он всегда трогательно радовался моим при-ездам.

– Саша, – как-то сказал он мне, – ты уже не можешь мне помочь жить, помоги мне умереть. Сначала трудно было, – продолжал он, – вот жил, надеялся, что заработаю изобретением одним, получу деньги. Посадил фруктовые деревья, ждал, когда плодоносить будут, а теперь ждать от жизни нечего – надо умирать. Все думаю, перед кем я был виноват в жизни, и у всех у них мысленно прошу прощения. Очень виноват перед... – И он мне рассказал целую историю. – Если когда-нибудь встретишь этого человека, скажи ему, попроси простить меня.

Диктовал мне письма всем родным... прощальные, и тоже у всех просил прощенья.

Как-то раз я приехала, а он радостный такой.

– Саша, новое занятие себе придумал, – сказал он. – Жить я уже не буду. Себе желать ничего не могу. Так вот я и придумал. Я теперь всех перебираю близких и думаю о том, что каждому из них нужно, чего бы я для каждого из них пожелал, и вот лежу и думаю. – По-видимому, он не хотел говорить слова «молился». Мысли, слова выросли для него, превратились в его святая святых, которой касаться надо было бережно, осторожно.

В другой раз он мне сказал: «Знаешь, Саша, на меня страшное впечатление произвела смерть Семена». – Семен был друг детства моих старших братьев, крестник моей матери, и всю жизнь, до революции, Семен был у нас поваром. Он умер в Ясной Поляне от рака печени. Умер с ропотом, со страшным душевным страданием, не смирившись.

– Я должен смириться, принять как посланное...

В другой раз я пришла к нему, он был очень расстроен.

– Слушай, – сказал он. – Сосед, слышишь? Вот так продолжается часами, днями. Иногда среди ночи криком кричит. Тяжко...

– О Господи, Господи! – раздавалось в следующем отделении. – Господи, я не хочу умирать. Не хочуууу! – Голос повышался до крика, затем снова понижался. Подумать только... Такая красивая машина, только что купил погребец, холодильник... И мы едем с женой во Флориду... Взяли провизию, кофе в термосе... А там солнце, тепло, пальмы, море... Мы ходим в одних купальных костюмах по пляжу... Ах, как жжет солнце... – И вдруг снова крик: – Не хочууу, доктора, позовите доктора!

Иногда он затихал, но ненадолго, и снова начинал кричать:

– Проклятие, проклятие... – Голос прерывался стонами, дрожал. – Почему Бог такой злой... Я не хочу умирать. Мы только что собрались. Ах, если бы знали, какая у нас машина... Купили для Флориды.

– Бедный, – говорил Илья, – бедный, как Семен-повар, не может смириться!

А вечером пришел доктор. И было еще хуже.

– Спасите меня, спасите, – кричал старичок. – Аааааа.... ааааа... – кричал он с пронзительным визгом. – Дайте лекарство, помогите! К чему вы приходите, если не можете помочь! – И так шло до тех пор, пока не впрыскивали морфий, тогда он затихал, брат тоже успокаивался, и мы могли разговаривать. А говорили мы так, как можно говорить только перед лицом смерти, то есть перед лицом Божиим. Без прикрас, без сентиментов, всегда имеющих место в разговорах здоровых, нормальных людей. Говорили о смерти, мы оба верили, что смерти нет. Я знала, как напряженно думал брат, как глубоко и основательно он готовился к переходу.

Каждое слово его было веско и значительно, и невольно он заразил меня этим настроением. Я изо всех сил тянулась вместе с ним, так насыщена я была его серьезным, каждую минуту приближающимся к Богу душевным состоянием.

Страдал он ужасно, и хотя Надя, его жена, уговаривала его впрыскивать морфий, он избегал его. И видя тот духовный процесс, который он переживал, на вопрос, надо ли впрыскивать морфий, я ему ответила, что я бы морфий избегала, и, точно поняв мою мысль, он тихо про себя сказал: «Много я грешил в жизни. Страдания посланы мне как искупление и как подготовка к концу, к Богу, терпеть надо...»

И последние три дня своей жизни он отказывался от морфия. Я была с ним все время. Надя приезжала и уезжала. Лечиться ему уже не хотелось. В лечении он видел какую-то неправду, потому что знал, что спасти его нельзя уже.

– Сестра, систер, – говорил он. Он всегда звал их сестрами, не nurse. Зачем вы мне принесли клизму, не надо, я же все равно умираю.

– Ну что вы, вы еще поправитесь...

– Не надо, сестра, не надо так говорить, я же знаю.

И сестра замолкала и уносила клизму.

За два дня до смерти я просила, чтобы мне позволили провести ночь в его палате. Но он не был включен в список критических больных, и как я ни хлопотала, меня не впустили. Я боялась, что он скончается один, без меня.

На следующий день забежала Надя.

– Саша, я еду в Нью-Йорк.

– Не советую, – сказала я, – лучше останьтесь, Илья сегодня ночью скончается.

Но она не послушалась меня и уехала. В эту ночь я осталась в больнице. Брат был в полусознании. Но меня узнал, взял мою руку, когда я села около него, и долго не выпускал. Он уже ничего не мог есть, только пил. Я поила его с ложеч-

ки. Около двух часов утра он вдруг забеспокоился, заметался. Я подошла к нему. Он стонал, в груди клокотало.

– Илья, успокойся, это тот переход, которого ты так мучительно ждал.

Я стала читать молитвы... Не помню какие. Вдруг он поднял руку ко лбу, опустил на грудь; я закончила за него знамение креста. Прошло несколько секунд, может быть, минут. Вдруг он широко-широко раскрыл свои большие, как мне показалось, глубокие, синие глаза. На лице его выразился такой восторг, такое удивление, что я ясно поняла, что он видит что-то такое, что было мне недоступно. И я вдруг почувствовала себя такой маленькой, ничтожной по сравнению с тем, что открылось ему...

Еще один вздох, последний...

Я ехала к знакомым на такси в 3 часа утра. Я плакала не от горя, а от умиления. Я была счастлива. Я присутствовала при величайшем таинстве перехода, возрождения...

Подозрительные типы

Я жила двойной жизнью. Ферма – тяжелый физический труд, и – лекции. На ферме – заношенная, старая одежда, огрубевшие руки, слишком выдающиеся сильные мускулы.

Кто-то мне сказал, что надо было смазывать руки глицерином и на ночь надевать перчатки, чтобы руки делались мягкими. Это было довольно неприятно, но что делать? От работы руки становились жесткие, как щетки, появлялись трещины, заусеницы, ломались ногти. И какая была дисгармония, когда, бывало, наденешь элегантное платье, тонкие чулки, открытые башмаки, шляпку на один бок или кружевное или бархатное вечернее платье, снимешь белые перчатки, а руки красные, грубые, шершавые...

Дня за три до лекций я начинала ухаживать за руками. Они отмокали в горячей воде, мазались всякими душистыми мазями, облекались на ночь в перчатки.

Уезжала я иногда на несколько недель, читала иногда через день, иногда раза два в неделю. Постепенно узнавала американцев, бывала в их семьях, знакомилась с их детьми. Люди на Западе казались мне проще, сердечнее, чем на Востоке. Мне было с ними легко и свободно, и отношение ко мне, где бы я ни говорила, было прекрасное. Принимали сердечно, интересовались Россией, аудитории были всегда переполнены.

Из небольшого города в штате Мичиган мне надо было попасть в Терр От, Индиану. Дело было зимой 1934 года. Пришлось несколько раз пересаживаться. На одной из станций я заметила человека лет 35-ти. Он сидел напротив меня, курил. Почему-то мне стало не по себе... «Этот человек русский», – подумала я. Но я немедленно отогнала эти глупые мысли и, когда села в поезд, совершенно о нем забыла. Вспомнила только, когда увидела его на следующей пересадке. Он сидел недалеко от меня, чиркая зажигалку. «Где я видела такие зажигалки? – подумала я. – В России». И снова в суете пересадки я забыла про господина. Вспомнила опять в вагоне – он сидел в соседнем со мной отделении.

На станции Де-Мойн, штата Айова, куда я направлялась, попросила носильщика вызвать такси. Было уже около 11 часов ночи. Плохо освещенная, темная станция, далеко от города. Наконец подъехало такси, носильщик стал укладывать вещи, я уже почти влезла в машину, как вдруг в левом углу увидела своего подозрительного спутника. Пулей выскочила я из машины. Носильщик потащил мои вещи обратно, и машина быстро отъехала.

– Вы с ума сошли, – накинулась я на носильщика. – Разве вы не видели, что в машине сидит человек!

– Простите, мадам, – сказал он. – Я не знал... Этот господин указал мне на вас и сказал, что вы вместе...

Что это? Действительно этот человек был преследующим меня коммунистом, или у меня началась мания преследования?

Приехав в гостиницу, я немедленно вызвала председательницу клуба. Через несколько минут она приехала с мужем, я рассказала ей эту историю, она сообщила о ней полиции. Но... ни подозрительного господина, ни такси найти не могли.

Неужели в самом деле я схожу с ума? Я схожу с ума! У меня мания преследования, мне кажется, что за мной гоняются большевики. Может быть, я вообще все преувеличиваю? Может быть, я ошибаюсь, что миру грозит смертельная опасность? Господи, помоги мне разобраться. Разум не может объять, постигнуть, разум не может успокоиться. Может быть, мне кажется, что коммунисты укрепляются во всем мире? Может быть, я напрасно огорчаюсь, что Америка признала советскую власть, что Рузвельт любезно пригласил Михаила Ивановича Калинина к себе в гости, что Максим Литвинов, комиссар по иностранным делам, посетил как почетный гость Америку и тряс руку президенту? А теперь, когда Конгресс принял решение, обеспечивающее социалистам и коммунистам полную свободу для распространения их учения, как они расплящутся в Америке, имея к тому же своего посла, Александра Трояновского, которого с почетом привез в Америку американский посол Буллит! Разве можно было что-нибудь понять во всем этом? Все эти мысли не давали мне покоя.

Между лекциями я прочитывала газеты, которые приводили меня в отчаяние. И я продолжала ездить из города в город, читая лекции, объясняя американцам, что такое коммунизм. Одна из самых ответственных лекций была в

Де-Мойн – 4000 человек в аудитории. Дискуссия о коммунизме с тремя большевиками. Мои оппоненты, крикливые, напористые, решительные, самоуверенные мужчины среднего возраста, говорящие по-английски с несомненным акцентом. Во время прений они, перебивая друг друга, налетали на меня с вопросами. Но хотя они были внешне бесстрашны и агрессивны, их на самом деле легко было победить. Беда их была в том, что они были местные, американские коммунисты, совершенно не знакомые с жизнью в России, я же знала, и мне легко было разбить их доводы. Публика устроила мне овацию. А при выходе я увидела, что в громадном, уже почти пустом зале стояла отдельная группа людей, среди них – мои оппоненты. Они, энергично жестикулируя, о чем-то оживленно и взволнованно разговаривали, бросая на меня косые взгляды.

Во время моих поездок по Америке я чувствовала себя очень несчастной и одинокой. Особенно было неуютно в гостиницах. Кругом чужие, поговорить не с кем, но я любила ездить в поездах. Попросишь портера принести тебе столик, расположишься писать письма, готовишься к лекции, читаешь или просто смотришь в окно.

Как-то раз я ехала в Чикаго. В моем отделении сидел мужчина, но он скоро вышел, и я осталась одна, что было очень приятно. В 6 часов вечера я пошла обедать и, проходя по вагону, услышала русскую речь. В самом конце вагона сидели трое и оживленно говорили по-русски. Один из них был мой сосед. Они были так заняты разговорами, что не заметили меня. А когда сосед зашел в мое отделение, я спросила, русский ли он. «Я не понимаю», – сказал он по-английски с явным акцентом и вышел.

Была уже полночь, когда поезд пришел в Чикаго. Почти все пассажиры вышли. Русские оставались. Я боялась выйти и задержалась, надеясь, что они уйдут, и боясь, что они про-

следят, куда я пойду. Но вагон почти опустел. Надо было выходить. Я позвала носильщика и вышла на платформу. По какому-то неопределенному состоянию всего существа, неловкости в спине, я чувствовала, знала, что трое русских идут за мной... Но при выходе с вокзала меня приняла в свои объятья милейшая американка с сыном, у которой я когда-то гостила. «Я знала, что вы будете одна, – сказала она. – Я знала, что вам будет тоскливо, вот мы с сыном и приехали вас встретить. У нас здесь машина». Боже мой, как я обрадовалась! Отлегло от сердца.

Неужели же у меня действительно мания преследования?!

Добрые люди

Только что я научилась ездить, как мой черненький «форд», который мы прозвали «жуком», разбился.

Купили новую машину, подержанный «стэйшен вагон», на котором было гораздо удобнее возить яйца.

Приблизительно в это время к нам приехал наш хороший знакомый, Александр Александрович Кащенко. Они с женой только что купили землю и решили заняться куроводством. Чтобы познакомиться с делом, он часто приезжал к нам, живал по нескольку недель и помогал нам по хозяйству. Иногда он за меня возил яйца на продажу. Сначала мы продавали их в общежития Миддлтаунского колледжа, Альфа-Беты, Ипсилоны... Сиденья у грузовичка вынимались и вместо них ставились ящички. На ферме обычно их грузили казак или Кащенко, но когда я привозила их в общежития, мне приходилось их таскать в кухню самой, что было не тяжело, но неудобно. Главное, я чувствовала себя очень неуютно, когда на крыльце стояли студенты, покуривая папиросы, и никогда ни один не предложил мне помочь. Да и в самом деле, какое им было дело, я была egg woman, «яичная женщина», поставляющая им свежие яйца. Я получала за это деньги, и это было

мое дело таскать ящики. Но хотя мы и получали на два-три цента больше в общежитиях, чем на рынке или в кооперативе, и в кооператив в Хемден надо было ездить за 35 миль, я решила прекратить доставку яиц в Альфа-Беты и стала возить яйца в хемденский кооператив. Туда я отвозила яйца, затем заезжала в Нью-Хейвен, в университетскую библиотеку, и оттуда привозила книги.

В кооператив съезжались такие же фермеры, как и я. Приезжали на хороших, больших грузовиках, наполненных ящиками с яйцами, приезжали небогатые в старых машинах, были и грузовички, как мой. Все мы разговаривали между собой, делились опытом: какие самые лучшие породы кур, какие стоят цены на яйца, как поднять носкость кур и т. п. Я редко таскала ящики сама, большей частью помогали мужчины-фермеры, особенно один, уже немолодой, постоянно переносил мои яйца в магазин. Я привыкла уже ездить, и поездки эти мне нравились. Зимой, конечно, было гораздо труднее, особенно когда дороги покрывались льдом или выпадал глубокий снег.

Один раз я возвращалась из Нью-Хейвена. Уже с утра небо заволокло, и посыпал мелкий снежок. Пока я съездила, сдала яйца, насыпало с полфута снега. Пришлось надеть цепи. Милях в шести от дома цепи соскочили и закрутились за кол. Я подставила домкрат, чтобы поднять и распутать цепь на колесе, но домкрат провалился в глубокий снег, а дощечки, чтобы подложить, у меня не было. Билась я около часу, но никак не могла распутать цепь. Мороз крепчал. Ноги так застыли, что я уже совсем не чувствовала больших пальцев. Пришлось машину бросить и идти искать помощи. Я знала, что около полумили назад по дороге жил кузнец. Идти было трудно по глубокому снегу. Ноги совсем окоченели.

Кузнец жил в маленьком домике в две комнаты, тут же наковальня. Куча маленьких детей. Когда я вошла, кузнец,

громадный человек с черными руками и шапкой курчавых черных волос, раздувал мехи; жена сидела с младенцем на коленях, дети разных возрастов возились тут же. Я рассказала им про свое горе. «Сейчас мы все сделаем», – сказал кузнец. Надел куртку и вышел на двор. А я, сидя у печки, разулась.

– Господи! – сказала женщина, увидав совсем белые, помертвевшие большие пальцы моих ног. – Вы же отморозили ноги! Подождите минуту, – и она, положив ребеночка в колыбельку, стала тереть мне пальцы на ногах. Очень было больно, когда они отходили.

Скоро пришел и кузнец, принес оборванные цепи и немедленно же стал их паять и чинить. Когда я снова собралась ехать, уже обогретая и с починенными цепями, я протянула кузнецу три доллара «за потерянное время», сказала я.

– Не обижайте меня, – ответил он. – Мы же все христиане и обязаны помогать друг другу.

Как это было сказано! Я не могла настаивать. Когда я ехала домой, мне было так легко и радостно на душе. Эти простые, добрые люди согрели меня не только физически, но и душевно. До дома я все-таки не доехала, опять оборвались цепи, и последние полмили я дошла пешком, бросив машину до утра. В следующее же воскресенье я поехала к этим милым людям и повезла им продукты нашей фермы: кур, яйца, масло, варенье. С тех пор прошло почти 40 лет, но семью эту я никогда в жизни не забуду.

Первая леди

Волей судьбы Америка оказалась лидером политического свободного западного мира. Но к чему вел нас свободный мир? К освобождению народов России от рабства коммунизма или же ко все большему их закрепощению?

Часть демократических стран прислушивалась к мнению Америки, с ним считалась. Почему Франции было не

заключить пакт о взаимопомощи с советской Россией? Почему Бельгии, Чехословакии, Англии и другим странам не признать советской России, если Америка не только признала ее, но даже обменялась с ней послами? Представители Советского Союза фигурировали теперь уже открыто в американской жизни. На поклон к Сталину поехали из Франции Пьер Лаваль, из Чехословакии – премьер Бенеш.

И «товарищи» наглели все больше и больше. Америка постепенно превращалась в великолепно приготовленное поле для широкой коммунистической пропаганды. Советские агенты проникали всюду: в профсоюзы, в школы и университеты, в церковные протестантские круги; они инспирировали негритянские массы, устраивали негритянские беспорядки в самом Нью-Йорке, в Харлеме, они даже проникали в американские правительственные учреждения!

Вероятно, товарищи браудеры, фостеры и др. имели точные указания из Москвы, хорошо разработанные планы о системе завоевания Америки – одном из самых важных шагов к достижению мировой революции. Я не сомневалась, что в то время, как товарищ Браудер утверждал, что в Америке 30 000 партийцев, эта цифра была сильно преуменьшена, особенно если принять в соображение те сотни тысяч так называемых либералов, которые, некоторые бессознательно, другие вполне сознательно, служили орудием для проведения коммунистических веяний, разложения молодежи, подрыва религии, морали, разложения профсоюзов и проч.

С помощью этих так называемых либералов русский вопрос все больше затуманивался, рос большевистский обман, забывались нестерпимые страдания подсоветского народа.

В газетах, по радио, даже в правительственных сообщениях везде писалось и говорилось о «русском» правительстве, везде писалось и говорилось о деятелях Советов, что «русские» люди сделали то и то. Для многих американцев и, увы, для правительства Рузвельта коммунистическая власть, воз-

главляемая грузинским разбойником, участником экспроприации, беспринципным неучем Сталиным, удерживавшим власть лишь путем насилия, жестокости, пыток, убийств, грабежа крестьян и рабочих, – это было «русское» правительство.

И сила Сталина все росла и крепла. Он никого уже не боялся, потому что прекрасно понял, что может играть на низости, обмане, слабости людской, на их трусости, подлости, шкурничестве.

Сталин признан Западом. Он правит одной из величайших стран мира.

Тысячи и тысячи жертв платят за убийство его сподвижника Кирова – 1 декабря 1934 года.

Сталин силен. Он сметает со своего пути могущих стать его конкурентами сподвижников Ленина, старых большевиков. Один за другим арестовываются Зиновьев, Каменев, Енукидзе и много других.

В то время как российский измученный, угнетенный народ под нагайкой, изнемогая от голода, холода и усталости, кричит, спасая свою шкуру: «Да здравствует великий наш вождь Сталин!» – в Германии все выше восходит звезда полусумасшедшего фанатика Гитлера. «Хайль Гитлер!» – кричит немецкий народ Гитлеру, призывающему к уничтожению целой еврейской нации, предающему анафеме целые народы, зовущему к покорению этих народов... «Хайль Гитлер!»... В Нюрнберге ему преподносят шпагу за его речь, в которой он кричал о трех опасностях, грозящих миру. Первая – еврейский марксизм со своей так называемой парламентской демократией; вторая – это политически и морально извращенные католические умеренные центристы; и третья – это некоторые неисправимые и глупые реакционные элементы.

Нацизм был такой же уродливый, страшный нарост, как и коммунизм, руководимый теми же безбожными силами, отрицавшими христианскую религию. Недаром во дворце спорта в Берлине 15 000 антихристиан совершенно открыто справляли языческий праздник.

Мы часто слышали споры: какая власть хуже, нацизм или коммунизм? Для людей свободомыслящих, для людей верующих обе власти неприемлемы. Важно восприятие свободным миром и, в частности, либеральной частью Америки коммунизма и наци-фашизма.

В то время как христианский западный мир признал коммунистическую советскую власть, и либералы были не только склонны ее оправдывать, но многие приняли ее, ей сочувствовали, даже восхищались ею, нацизм был оценен совершенно правильно и дружно и бесповоротно предан анафеме всем американским народом.

Такая точка зрения по отношению к коммунистической власти всей культурной Америки была для меня не только неприемлема, но и очень мучительна. Я выходила из себя, стараясь объяснить, доказать людям свою точку зрения на советскую власть. Не понимали или не хотели слушать.

Один раз мне пришлось читать лекцию в Ричмонде, в Вирджинии. Я заехала к своим двум подругам – Наде Данилевской и Алисе Дэйвис, которые жили поблизости. Как-то утром они мне сказали, что ждут на следующий день к завтраку жену президента миссис Рузвельт. Я очень обрадовалась. Наконец, я имела случай поговорить с человеком, стоящим близко к власти.

Миссис Рузвельт приехала в маленьком автомобиле со своей приятельницей. Я помогла своим друзьям приготовить все необходимое, сделала маленькие пирожки к супу, зажарила курицу.

Во время завтрака я несколько раз поднимала вопрос о России. Но каждый раз миссис Рузвельт или заговаривала с кем-нибудь другим, или меняла разговор. Я решила, что она не хочет говорить о серьезных вещах за едой. После завтрака, в гостиной, подали кофе. Снова я попыталась заговорить о России, о коммунизме, но миссис Рузвельт отвечала рассеянно, и разговор не удался. А после завтрака мы все пошли гулять, и в последний раз я попыталась ей сказать, что я недавно из советской России, что мне хотелось бы ей рассказать, как там живут люди...

– Посмотрите, – сказала она мне, явно меня не слушая, – какой прелестный вид. Я очень люблю Вирджинию. А вы?

Больше я уже не пыталась. Вновь встретила я миссис Рузвельт гораздо позднее, незадолго до смерти президента. Об этом я расскажу позже.

А жизнь на ферме шла своим чередом. Реформы, которые вводил президент с такой невероятной быстротой, отразились косвенно и на нас. Вокруг нас дикие, запущенные леса превращались в чудный парк с новыми прекрасными дорогами, пролегавшими мимо лесных озер, через которые перекидывались новые плотины, мосты... Теперь каждый день мимо фермы около восьми часов утра проносились громадные грузовики с молодыми людьми – PWA[87]. Их возили на работу, и возвращались они часов в пять с криками, песнями.

– Не очень-то они переутомлены, – говорил сосед фермер, все время работавший на огороде. Он пахал, а я водила лошадь по мягкой, рыхлой борозде. – Пять часов, а уж домой едут, лодыри. А пусть спросят, когда я кончу работу. Слава

[87] Public Works Administration. Во время «депрессии» и безработицы президент Рузвельт, чтобы спасти молодежь от праздности и разврата, организовал сеть лагерей, в которых юноши сажали деревья, строили дороги и мосты и т. д.

Богу, если к девяти управлюсь. А налоги кто платит за этих никудышников? Вы платите, я плачу...

Как-то на обратном пути грузовик с юношами остановился у нашего дома.

– Хэлло, – сказал нам старший. – У вас, кажется, есть животные. У нас мясная похлебка осталась. Хотите?

Они наложили нам несколько ведер этой похлебки. Но наши животные, коровы и куры, ее не ели. Зато собаки и мы очень оценили пожертвование PWA. Дня три мы ели и ели, поделились обедом с дядей Джо и все-таки всего съесть не могли.

С тех пор мы часто питались на даровщину за государственный счет, или же, как говорил фермер сосед, за счет налогоплательщиков.

Что делать?

Еще одна весна. Март 1936 года. Ливнями унесло остатки снега. Почва насыщена водой, а дожди все льют, льют без конца. Дороги размыло, развезло, и веселый булочник Айзек, три раза в неделю доставлявший нам хлеб, сегодня прибежал с большой дороги, прибежал пешком. Он всегда сообщал нам самые свежие новости.

– Вода поднялась на 5 футов в реке Коннектикут. Вода поднялась на 9, на 14 футов, я ехал кругом, главную дорогу залило, – говорил он. – Залило железнодорожные пути...

Чтобы пробраться в кооператив в Хемден с яйцами, которые необходимо было продать, мне пришлось ехать более ста миль вместо сорока, окружными путями. Большую дорогу залило. Бедствие было большое: сносило мосты, здания, разрушались дороги, затапливало целые предприятия, причиняя сотни тысяч убытка.

Для всех куроводов-фермеров март ответственный месяц. Если не заведешь в марте цыплят, год пропал, так как осен-

ние яйца очень дорогие. В марте пустишь цыплят, в сентябре уже куры начнут нестись. Мы готовились заранее. В феврале купили петухов-производителей леггорнов, с высокими гребнями, горделивой походкой, отобрали лучших кур и от них заложили яйца в инкубатор.

В марте, как раз во время разлива, начали вылупливаться цыплята. В яйцах уже слышался писк, и цыплята заработали внутри яиц, продалбливая кружок в яйце, откуда они могли вылупиться.

Электричество еще горело. Мы спокойно легли спать.

Ночью слышу жалобный вой из кухни-подвала, где ночевала Веста со своими только что родившимися щенятами. В полусонном состоянии я открыла люк и в темноте спустилась по лестнице вниз и сразу же попала по щиколотку в холодную воду. Зажгла свет. Вижу – вода уже почти дошла до угла, где были щенята.

Выкинули щенят наверх, и мы с Ольгой стали ведрами откачивать воду из подвала. Но скоро поняли, что уровень воды настолько поднялся, что вода просто из колодца по трубам переливалась в нашу кухню – сделать ничего было нельзя. Плита погасла. Но все это было ничто по сравнению со стрясшейся над нами бедой. Потухло электричество!

Инкубатор! Со 102 градусов температура спустилась до 80.

Ольга бросилась зажигать керосиновые лампы под инкубатором, закрывать его одеялами. И тут вспомнили о печах, под которыми у нас были цыплята. Половина печей согревалась электричеством. Пришлось всех цыплят переводить под отапливаемые углем печи. Цыплята крошечные, теснота, давка... Десятками, сотнями мы выбрасывали маленькие желтенькие расплюснутые трупики.

Убыток был для нас немалый. В этот потоп мы потеряли почти весь выводок цыплят в инкубаторе и по крайней мере 50% цыплят в брудерах.

Прошло две недели. Постепенно дороги обсохли, река вошла в берега, загорелось электричество. За это время мы очень устали, а работы было очень много. Бурей поломало деревья, снесло крыши, погибли цыплята. Денег не было. Мы подумывали продать или закрыть ферму и самим куда-нибудь наняться. Мы сказали о нашем желании Джейн Аддамс, которая гостила у своей приятельницы, профессора Гарвардского университета. Сказали, что мы очень хотим найти работу, может быть, в имении у кого-нибудь по хозяйству. И очень скоро мы получили ответ, что место есть и что в такой-то день наши наниматели приедут к нам с предложением.

И вот к нашему домику подкатил прекрасный автомобиль. Из него вышли две дамы: профессор Гарвардского университета и другая дама.

– Я очень рада, что мне посчастливилось достать вам это место, – сказала профессорша. – Я знаю, что вы очень устали жить в таких условиях...

Но никакого восторга, как ожидали дамы, с нашей стороны не последовало, когда нанимательница изложила нам свои условия.

– У меня большая молочная ферма, – сказала она. – Семь человек рабочих. Их надо обслужить. Готовить, убирать, стелить им постели, стирать белье – у меня есть машина, гладить...

– Простите, а сколько, вы думаете, вы сможете нам платить?

– Вы будете иметь две хорошие комнаты, ванну, хорошую пищу три раза в день... Да, я забыла еще сказать. По воскресеньям вы должны будете продавать мороженое на большой дороге...

– Да? И...

– При всем том, что я вам предлагаю, вы еще, каждая из вас, будете получать до 15 долларов в месяц.

– Thank you, – сказала я.

– Вы будете обеспечены всем, никаких забот, все к вашим услугам, и главное, прекрасные комнаты с ванными, – продолжала дама.

– И никакой грязной работы, – добавила профессорша.

– Спасибо еще раз, – повторила я. – Но я предпочитаю чистить навоз своих коров и кур. Разве вы не понимаете? Мы здесь сами хозяева, что хотим, то и делаем. А что касается заработка, то мы вдвоем на ферме зарабатываем не менее 200 в месяц.

Ольга молчала, но я знала, что она вполне согласна со мной.

Дамы, по-видимому, обиделись неблагодарностью русских женщин, сели в свой блестящий автомобиль и уехали.

Мы с Ольгой их провожали.

Мы продолжали искать работу. Мы просили м-ра Ярроу и его друга, очень влиятельного американца Р., помочь нам найти работу.

– А не знакомы ли вы с кооперативной работой? – спросил меня г-н Р.

Вспыхнула надежда.

– Да, я много работала в России по кооперации, устраивала в Ясной Поляне всевозможные кооперативные общества и товарищества, была членом нескольких больших коопераций, изучала теоретически кооперацию, как русскую, так и скандинавскую.

Г-н Р. мне сказал, что как раз сейчас разрабатываются проекты по кооперации, которые оплачивают PWA, и в Нью-Йорке требовались работники по этой специальности.

Не откладывая в долгий ящик, я немедленно поехала в Нью-Йорк. Дама, которая меня приняла, задавала мне бесконечные вопросы по кооперации и под конец мне заявила:

– Я не сомневаюсь в том, что вы будете приняты. Должна вам честно признаться, что я гораздо меньше знаю по кооперации, чем вы. I enjoyed our talk[88]. Вы многое мне открыли. Я, например, никогда не подозревала, что около 30% русского населения было кооперировано во время войны, что кооперация вообще была настолько развита в России.

Мы расстались друзьями, и я не сомневалась, что буду принята. Хотя обещанная плата была небольшая, только 80 долларов в месяц, но зато работа была мне очень по душе.

Но каково было мое изумление и разочарование, когда я получила извещение, что меня не приняли.

– Бросьте это дело, – сказал мне наш сосед, житель аристократического района у реки, г-н Р. – Вас все равно не пропустят в кооперативное дело. Мне приятель сказал, что в Нью-Йорке оно пронизано коммунистами... А скажите, вы когда-нибудь торговали?

– Да, – ответила я. – Не в России, нет, там только меняла на барахолке старые платья на муку. А здесь, вы же знаете, торгую овощами и яйцами с фермы.

– Я не про такую торговлю говорю, я говорю про настоящий бизнес.

– Нет, а что?

– Могли ли бы вы продавать дома, готовые дома, которые можно собирать и перевозить?

– А почему же нет? – спросила я. Воображение мое уже рисовало, как я буду описывать покупателям преимущества таких домов: удобство, быстрота сооружения.

– Ну, я подумаю, – сказал г-н Р.

---

[88] Рада была нашему разговору (*англ.*).

Но торговать домами была приглашена молодая американочка, дело не пошло и вскоре закрылось.

Что было делать?

Конец фермы

Марта Кнудсен приехала к нам из Швеции. Марта, так же как Ольга и я, работала в Яснополянской школе и была моей заместительницей. Она рассказывала, что, когда я уехала из Ясной Поляны в Японию, – все сразу изменилось. Большевики немедленно ввели антирелигиозную пропаганду в школе и музее, чего при мне не было. Шла усиленная коллективизация крестьян. Лучших из них ссылали в Сибирь только за то, что они были хорошие хозяева, работали не покладая рук. Царили пьяницы и лентяи.

Меня особенно огорчил рассказ про Илью, Сашу и их сына Мишу. Саша с ранних лет была моей подругой, постоянно приходила к нам в дом, и я много часов своего детства провела с ней. Я очень ее любила за ее веселость и приветливость. Смеется, бывало, а носик вздернутый смешно так морщится, и щурятся узкие серые глазки. А волосы были у нее светлые, как лен. Она рано вышла замуж, и мы уже реже с ней виделись. Илья был совсем другого типа. Он был писаный красавец, такой, какие бывают только на картинках. Здоровый, стройный, с черными кудрявыми волосами, румяный, с темно-синими глазами. У них был сын Миша. Миша учился в Яснополянской школе днем, а по вечерам и в праздники помогал отцу. Собственными руками отец с сыном выстроили себе кирпичный дом, кирпич били и обжигали сами. Строили по-новому, советовались со школьным врачом, какие сделать окна, чтобы было больше света, устроили вентиляцию, покрыли дом железом... Но именно этого-то в советской России никак нельзя было делать. В глазах коммунистов семья

превратилась в буржуев, и их всех троих приговорили к ссылке в Сибирь.

Марта рассказала, что вся яснополянская деревня провожала Илью, Сашу и сына их Мишу, когда они отправлялись в Сибирь. На станции собралась толпа народу. Хоть и голод был, во всем недостатки, но каждый тащил на вокзал кто что мог: несколько кусочков сахара – величайшее лакомство и роскошь, кусок сала, несколько крутых яиц... Многие плакали.

На советском языке это называлось: раскулачивание буржуазного элемента.

Постепенно коммунисты вводили своих людей в управление Ясной Поляны, и атмосфера создалась настолько тяжелая, что Марта уехала к своим родным в Швецию. Хотя она и родилась в России, но по русским законам она считалась шведской подданной, так как родители ее были шведы.

Мы с Ольгой давно мечтали, чтобы приехала Марта и помогла нам на ферме, и приезд ее не только принес нам большую радость, но и сильно облегчил нашу работу. Марта быстро привыкла как к нашим лишениям, так и к фермерскому труду.

Но, несмотря на помощь Марты, нам было трудно. Не хватало денег. Лекций становилось меньше. Ольга скучала по дочери, да и, кроме того, она была озабочена будущим, надо было заработать денег, чтобы Мария могла закончить свое образование.

Гибель наших цыплят отразилась на нас не только материально, но и психологически. Уже не было той энергии, с какой мы раньше работали, чтобы поднять хозяйство, на которое мы уже затратили столько сил в продолжение этих пяти лет. Даже вспомнить было страшно, как я, стоя выше колен в ледяной воде быстрой речки, бушелями набирала мелкий камень для бетона и как мы лопатами о машине и думать было нечего – мешали цемент и делали полы в курят-

никах. Все, что нам удалось сделать, далось нам большими усилиями. За эти пять лет мы провели с помощью Джейн Аддамс воду в курятники и в дом, хотя ванны у нас не было, построили еще один новый, хороший, просторный курятник и небольшой домик, в котором раньше жил казак, а теперь поселилась Марта. Эти постройки нам удалось сделать только благодаря буре и потопу.

Когда во время ливней поднялась вода в Коннектикуте и часть города Миддлтаун была затоплена, весь лесной склад, где мы всегда покупали доски, был разрушен и строительный материал поплыл вниз по реке. Часть его выловили, но он почернел от воды и продавался за полцены. Мы этим и воспользовались.

Жалко было ликвидировать хозяйство, но все-таки мы,в конце концов решили продать всех кур, коров и ехать во Флориду. Марта, видя, что жизнь наша должна, по-видимому, перемениться, переехала жить к нашему влиятельному соседу Р. – помогать больной миссис Р. по хозяйству. Полицейского пса Мики Марта брала с собой, Веста же ехала с нами.

Молодые курочки были очень удачны – тяжелые, широкие нью-хемпширы. В сентябре они уже начали нестись. Наши соседи очень их оценили, и они очень быстро распродавались.

Приезжал к нам старик, живший за Миддлтауном, он и раньше покупал у нас молодых кур и был ими очень доволен. На этот раз он решил купить у нас все, что оставалось, – несколько сот кур. Часть их он перевез сам, часть же я отвезла ему по его просьбе в нашем грузовичке.

Перетаскали клетки из машины, пересадили кур.

– А вы не зайдете ко мне в дом? – спросил старик, когда мы кончили. Может быть, я могу вас чем-нибудь угостить?

Мне не хотелось заходить, но надо было сделать расчет, получить деньги, и я пошла.

На пороге я невольно остановилась. Боже мой! что это была за комната! «Гоголевский Плюшкин, – подумала я. – Нет, диккенсовский Скрудж». Да и сам старик был похож на Скруджа, как его изображают в иллюстрациях Диккенса: худой, высокий, нос крючком, он все похохатывал и пресмешно приподнимал левый глаз, точно подмигивал, отчего брови становились треугольником. Волосы редкие, желтые от грязи и табачного дыма.

Наверное, комната эта была раньше гостиной, но теперь она была завалена хламом. Тут были и мешки, и картины в золоченых рамах, и старые негодные ведра, стоптанные башмаки, железо – половина комнаты была завалена этим хламом. Хозяин, по-видимому, привык к этой обстановке и не замечал ее.

– Можно вам предложить чашку чаю?

– Нет, нет, – сказала я немножко слишком поспешно.

– Стакан вина? Может быть, сидр?

– Нет, спасибо. – Меня тошнило от одной мысли, что я могла бы здесь что-нибудь съесть или выпить. Мне хотелось только поскорее выскочить из этой грязи, из этого ужасного помещения, пропитанного затхлостью, пылью и табаком.

– Знаете, что я вам скажу? – вдруг сказал старик, подмигнув, отчего обе брови поднялись треугольником. – Ваша жизнь никуда не годится. No good. – И помолчав: – Но и моя жизнь тоже no good.

– Да почему же?

– Ха, ха, ха, – вдруг разразился старичок звонким смехом. – Вы, – сказал он и ткнул в меня пальцем с желтым, длинным и грязным ногтем, – вы – одна. Нельзя женщинам быть без мужчины. Я – один. Нельзя мужчине жить без жен-

щины. No good! Давайте соединимся. У меня есть деньги... но я один, it's no good.

Мне стало так противно, что я решительно встала.

– Давайте мне деньги за кур, – сказала я и, получив деньги, вылетела от него как ошпаренная. Больше кур я ему не возила.

Ферма постепенно пустела. Я никогда не думала, что так грустно будет разорять то, что мы сами с таким трудом создали! Особенно грустно было расставаться с животными.

Приехали люди за коровами. Поставили большой грузовик задом к пригорку, чтобы коровы могли взойти.

Они упирались, их хлестали. Коровы мычали, а я плакала.

– Не плачьте, – сказал мне покупатель, который купил коров с платежом в рассрочку, – будьте спокойны, я вам все уплачу на следующей неделе.

– Да я не о том, я знаю, что вы заплатите...

Старенький «стэйшен вагон» 1929 года был уже очень плох, почернел, шины потерлись, верх местами провалился. Нельзя было ехать на нем во Флориду. Я присмотрела в городе «стэйшен вагон» 1933 года, 8 цилиндров. Приплатила за него несколько сот долларов и поехала на нем домой. Проезжая мимо тюрьмы, у подножья горы, где жил шериф, я дала газу и лихо взяла гору. Параллельно со мной, не глядя по сторонам, опустив хвост, бежала дворняжка. Не успела я с ней поравняться, как она со страшной быстротой кинулась мне под колеса. Толчок. Я знала, что я ее задавила. Я наддала газу и через несколько минут была дома.

По телефону я вызвала шерифа.

– Как раз против тюрьмы, – сказала я, – я задавила собаку. Я не избегаю ответственности, но я не могла видеть страданий этой собаки. Очень прошу вас, пошлите кого-нибудь из ваших людей посмотреть. Если она ранена, я заплачу за ее

лечение, если собака убита, я заплачу хозяину, сколько он потребует.

Через несколько минут шериф вызвал меня обратно.

– Мисс Толстой, – сказал он мне, – не беспокойтесь. Слава Богу, что собака убита, да, впрочем, я думаю, что она покончила самоубийством. Три дня назад умер ее 90-летний хозяин. И вот с тех пор она не ест, не пьет, все ищет хозяина и какая-то стала странная, точно ума лишилась. Хорошо, что вы ее задавили и что она околела сразу, без мучений.

Но прошло много времени, прежде чем ощущение живого тела, которое я переехала, меня покинуло.

Накануне отъезда я читала лекцию поблизости от нас, в колледже. Ночью, когда вернулась, почувствовала острые боли в желудке. Я буквально каталась по кровати, всю ночь не спала. Под утро боли утихли. Что было делать? Электричество было выключено, вещи уложены, все было готово к отъезду. Мы сели в машину. Веста улеглась на заднее сиденье, и мы покатили.

Солнечная Флорида

Те, кто ездил на машине во Флориду, знают это блаженное чувство, когда из сырого, холодного климата вы постепенно попадаете в южное тепло, снимаете свои тяжелые зимние вещи, жаркое солнце вас прогревает, и вы с наслаждением вдыхаете в себя соленый морской воздух. Где купальные костюмы? Скорее в воду! Мягкие, мелкие волны, плоский песчаный берег Дайтон-Бич. Твердый белый песок, пляж широкий-широкий... Уточки, стайки чаек испуганно вспархивают из-под ног...

А после Дайтона – внутрь штата, мимо апельсинных рощ, озер, на ту сторону, где берега омывают спокойные воды Мексиканского залива, Тарпон Спрингс, где греки разводят

губки, и, наконец, мы в Озоне, маленьком местечке между Тарпон Спрингс и Клир Вотер.

Наш друг, американка, достала нам две палатки и разрешила поставить их в апельсинном саду, принадлежащем ее знакомым. Палатки поставили между апельсинными и лимонными деревьями. У входа в палатку свисали ветки гуавы, осыпанные зелеными, почти уже зрелыми плодами; у правой стены – высокие стройные кусты бамбука... В горячем воздухе резкий запах апельсинов. Под деревьями вся земля усеяна фруктами: лимонами, мандаринами, апельсинами, грейпфрутами.

Улеглись спать. Ольга и Веста так устали, что очень скоро уснули. А я была взволнованна, мне было так весело на душе. Я вдруг почувствовала радость бытия, радость от окружающей меня природы... И жалко было спать... Такое чувство бывает в молодости, когда влюбишься и от счастья, от переживаний спать не можешь... Я была, очевидно, влюблена и в любимое мной море, и в горячее солнце, и в апельсинные и лимонные деревья, и, может быть, в свободу, которую я ощущала...

Так прожили мы в своих палатках около месяца. Купались, ловили рыбу, ели цитрусы во всех видах, готовили на маленькой керосинке, ходили полуодетые и блаженствовали.

Но вот наша райская жизнь кончилась. Я приглашена была протестантской церковью в Бабсон Парке при Бабсон колледже, где я должна была говорить четыре воскресенья подряд «проповеди» на евангельские темы и прочесть одну лекцию в колледже.

Г-на Роджера Бабсона я лично знала, так как читала лекции в его колледже в Массачусетсе несколько раз. Г-н Бабсон предложил нам маленький бесплатный коттедж и очень небольшую плату – 100 долларов за четыре проповеди.

Ольга в церковь со мной не ездила и подтрунивала над моим новым амплуа проповедника, а я относилась очень серьезно к своим обязанностям, добросовестно готовилась, надевала свое единственное белое платье и... проповедовала. По правде сказать, своего я вносила очень мало. Я брала Евангелие и старалась давать толкование его по Толстому. Слушали внимательно и элегантные дамы в шелковых белых платьях и белых шляпах, и мужчины в светлых костюмах с загорелыми лицами.

Из дневника 2 марта 1937 года:

«На юге поражает дискриминация по отношению к черным. В дамском клубе разговор такого содержания:

– Скажите, – спрашиваю, – вы не думаете, что запрещение неграм ездить в общих вагонах, разделение уборных на вокзалах создает великолепную почву для большевистской пропаганды среди негров?

– Ах, нет, – быстро возразила мне дама, – мы очень любим негров, они такие великолепные иногда бывают служащие, такие преданные... Добрые, наивные, как дети... Я люблю негров... Нужно только, чтобы они знали свое место...

Отношение к неграм, как и к другим расам, мне совершенно непонятно, как и непонятна мне, с одной стороны, демократия, а с другой – шоферы на вытяжку: Yes, ma'm, а вся прислуга называется просто по имени, кто бы и какого возраста они ни были».

Из дневника 9 марта 1937 года:

«Машина «роллс-ройс» с шофером, замирающим, держа правую руку на дверце. Дама в белом платье и господин, выбритый, отутюженный весь, чистый, в светло-сером костюме, с блестящими седыми волосами... В его соседстве – в Палм-Бич, Маунтен-Лейк – только такие же, избранные. Про себя они говорят, что у них удобные скромные дома, простая жизнь...

В Маунтен-Лейк, куда меня пригласил Роджер Бабсон, у ворот сторож.

– Куда? Зачем? – спрашивает. Вероятно, только негры-служащие ездят на таких машинах, как мой старый «форд».

– Я к мистеру Бабсону.

Странно, почему старый «форд»? Кто эта женщина? Но берет под козырек и любезно предупреждает: «Поезжайте осторожно. Скользко после дождя».

Я никогда не видела такой роскоши. Море цветов, чудные тропические деревья, зеленые газоны, японские вишни... На башне, которую построил миллионер Бак, играют колокола траурный марш Шопена...»

Из дневника 15 марта 1937 года:

«На днях один американец спросил меня в клубе, на обеде, где я выступала, ездила ли я на Парижскую выставку?

– Нет.

– Ах, как жалко, почему же? Надо было бы вам посмотреть, очень интересно! А вот что я бы вам еще посоветовал сделать: съездить в Аризону и пролететь на аэроплане над...

Я старалась не слушать. «Если бы у меня было 300 долларов, я бы поехала в Италию проститься с сестрой, может быть, навсегда», – думала я с тоской. Я недавно читала «Исповедь» Руссо. Его приглашали обедать, гостить, предлагали ему кров, он был окружен богачами, но ни один из них не дал ему настоящего выхода из нищеты. Как же смею я надеяться, что выход для меня будет иной...

Научиться надо, как наши странники, бывало, в старое время, получив пятачок, перекреститься: «Спаси вас Христос», и не презирать, с высоты своей гордыни бросающего тебе этот пятачок».

И когда прошло последнее воскресенье и надо было опять искать заработок и пристанище, мы поехали в Палм-Бич, на восточный берег, – там живут богатые люди, авось найдем заработок?

Мы наняли две комнатки над гаражом в Вест Палм-Бич за 35 долларов в месяц и стали искать работу. Палм-Бич – великолепное место на берегу океана, с аллеями громадных пальмовых деревьев, дворцами, садами, полными цветов. Великолепные пляжи, но все частные.

В Палм-Бич богачи тратят деньги, а в Вест Палм-Бич люди стараются деньги заработать.

Когда вы делаете грязную работу у себя на ферме, вы сами себе хозяева, но когда надо наниматься – тяжело!

– Ваше имя? А сколько вы весите? А какие у вас рекомендации? Интеллигентный труд? Нет, нет, у нас спроса нет. Хотите в помощницы по дому?

У американцев не принято говорить «прислуга», они говорят «помощница».

– Но разве знание языков, литературы не пригодится? Может быть, репетировать детей, переводить, может быть, нужны гувернантки, компаньонки?..

Ничего не выходило. Деньги подходили к концу. Но тут неожиданно счастье нам улыбнулось: с нами познакомилась одна русская дама, очень богатая. Она скучала и предложила Ольге давать ей уроки итальянского языка. А я снова получила предложение прочесть несколько лекций.

Здесь же, в Вест Палм-Бич, мы познакомились с братом нашего хаддамского м-ра Ярроу и его женой. Они были такие же бедняки, как и мы. Он продавал какие-то журнальчики и очень обрадовался, когда я ему предложила 25% с лекций, если он мне их устроит. Но это дело для Ярроу было новое, знакомств не было и... размаха не было. Приходилось читать за гроши, 25–30 долларов за лекцию, но и этому была рада.

Из Вест Палм-Бич я ездила по окрестным городам. В Майами меня пригласили читать в большой гостинице «Макфаррен», расположенной на пляже. Зал полон. Рядом со мной с одной стороны сам Макфаррен, с другой – предсе-

датель торговой палаты, который меня представлял. Начинаю читать, тема: «Толстой и русская революция». Говорю с микрофоном. Много народу, низкие потолки, вместо окон люки, как на пароходе. Когда дохожу до революции и начинаю говорить против большевиков, под окнами начинается неистовый кошачий концерт. Публика не слышит. Хотя я говорю с микрофоном, мне под этот неистовый шум говорить трудно. Тогда, чтобы обратить внимание председателя, чтобы он как-то прекратил этот концерт, я, продолжая свою речь, где я говорю о расстрелах большевиками сподвижников Ленина – Зиновьева, Каменева, Рыкова и других, добавляю: «К сожалению, вам не слышно, но и здесь, сейчас, под окнами на дворе, товарищи большевики кошачьим концертом справляют тризну по тем, которых они казнили».

Но глухой председатель или не расслышал моих слов, или их не понял. Так я и докончила свою речь под звуки этого кошачьего мяуканья. А после окончания лекции:

– Почему же вы никого не послали унять большевиков, которые безобразничали под окнами? – спрашиваю я у председателя.

– Какие большевики?

– Да те, что под окнами безобразничали.

– О, нет, – сказал председатель. – Это же были кошки.

В ту же минуту, почтительно согнувшись, подошел к Макфаррену его секретарь:

– Сэр, – сказал он, – вот что оказалось на каждом столике! – И он протянул Макфаррену листок. Это была типичная нахальная коммунистическая листовка.

С лекции я возвращалась в автомобиле Макфаррена. С двух сторон на подножках стояли полицейские.

Оказалось, что лекция имела успех. Ярроу с восторгом мне сообщил, что меня приглашают в университет Майами и еще в два места читать лекции. Кроме того, намечается

поездка в Ки Вест, где мы должны были с сенатором Кулиджем ловить рыбу. Но все наши планы расстроились – я заболела. У меня опять сделались страшные боли в желудке. А вскоре после этого надо было ехать обратно, так как у меня уже были назначены три лекции в Северной Каролине.

Перемена жизни

Из дневника 1937 года. Апрель.

«Неужели большевики имеют такую силу гипноза на мир? В чем дело? Когда документально доказано в печати, что Сталин, Литвинов – бывшие экспроприаторы, когда иностранные корреспонденты установили, что правительство Сталина не только в продолжение многих лет терроризирует население, но искусственно создало голод, погубило на Украине миллионы людей, экспортируя пшеницу и рожь и в то же время предавая суду людей за каннибализм, что оно в год неурожая вывезло 160 миллионов пудов зерна, а на следующий год 39 миллионов, когда люди несомненно знают, что где только появляются советские агитаторы, там горе, убийство, предательство и зло, точно дьявольская крамола разрушает целые народности, сея смуту и раздоры, знают, что все, что есть наивысшего в мире религию, философию, искусство, большевики топчут и поносят, – люди с пафосом восклицают: «Мы восхищаемся великим экспериментом, мы заинтересованы, мы взволнованы, мы потрясены сдвигами и достижениями, которых добился великий вождь Сталин!»

Стыд и позор миру, который в Лиге Наций обсуждает вопросы всеобщего мира вместе с Литвиновым, слугой кровопийцы Сталина! Стыд и позор правительственным деятелям, позволяющим себе серьезно считаться с правительством Сталина! Стыд и позор нам, русским, допустившим, чтобы нашим народом правили убийцы, грабители и разбойники, подобные Сталину!

Неужели мир и сейчас так же безразлично-постыдно будет относиться и поддерживать рабство, в которое попал русский народ? Неужели не поймет, наконец, что такое большевики? Газеты в заголовках печатали об убийствах одних разбойников другими, а почему все газеты молчали и молчат об убийствах и терроре, который 20 лет длится в России?

Христианские организации, молодежь, почтенные профессора с гордостью называют себя радикалами и сочувствуют советскому правительству, Сталину, советскому Нерону, обезумевшему и залившему Россию кровью, отнявшему у народа решительно все свободы. Стыд и позор этим псевдорадикалам, обманутым или обманывающим общество!

Но Бог поможет нам. В конце концов изведется нечисть, освободится русский народ, вскроются темные дела разбойников и позорным клеймом запечатлеется деятельность тех, кто помогал этим разбойникам!»

На душе было невесело и смутно. Кроме того, что беспокоили мировые события, я совершенно не знала, куда и как приложить свои силы. Вернувшись из Флориды, мы не сразу поехали на ферму. Мы все-таки решили попытаться найти работу в Нью-Йорке. Мы просили Марту найти нам квартиру в Нью-Йорке. Но каков был наш ужас, когда мы узнали, что Марта сняла квартиру на 120-й улице Ист, в негритянском квартале, около Мэдисон-авеню.

Мы прожили там недолго. Все мое существо протестовало против городской жизни, среди подонков человечества. Вечером даже нельзя было выйти в парк. За Ольгой гнался какой-то негр, когда она гуляла в сумерки с Вестой. Веста же спасла – не подпустила близко...

Почему же, почему я живу в этой дыре на 120-й улице, среди чуждых мне и страшных людей, негров, мексиканцев? Что это: гордость, презрительное отношение сверху вниз к

черной или желтой расе? Нет, нет... Не к расам, а ко всему городскому, испорченному. По ночам дикие, отчаянные крики. Что случилось? Я видела, как два негра тащили девушку в автомобиль – она отбивалась, кричала. Я видела, как в темном угла сада взрослый человек прижимал к себе девочку, тоненькую, маленькую, как куколку, она вырывалась от него, но он успокаивал ее и держал... крепко. Наверху над нами стук, возня, глухие удары, жуткие, душераздирающие крики – это пьяный муж, возвратившись домой, бил свою жену. Это повторялось почти каждый день.

«Зачем, – думала я, – я трачу, может быть, последние годы моей жизни, не работая, ища заработка вдали от божественной природы, тишины, покоя, без творчества, которое дает силу жизни и которому так трудно приспособиться в этом городе греха, порока, смрада и ничтожной суеты. Все мое нутро возмущается, ропщет. Жизнь моя проходит в беготне по городу в тщетных поисках работы.

Сабвей. несется, громыхает, раскачиваясь, поезд под землей. Лица смятые, усталые, хмурые и нездоровые. Читают газеты, дремлют. На остановках спешат, толкаются. Толкаюсь, спешу и я... Куда? Зачем? Контора по найму. Нет, нет, больше я не могу. Сотню кур, небольшой огород, овощи свои... Опять на ферму. Проживу как-нибудь. Ольга уехала под Нью-Йорк, нашла работу, а мы с Мартой, забрав Весту, которая радовалась не меньше нашего, уехали на ферму.

1938 год. Настроение подавленное. Я устала физически. Но, несмотря на тяжелый труд, на материальные неудобства, тесные помещения, отсутствие ванны, скудную одежду, я все же люблю свою ферму...

Полученная из Европы телеграмма в корне изменила мою жизнь. Телеграмма эта извещала меня о приезде Татианы Алексеевны Шауфус, с которой я не виделась 18 лет.

Я встретила ее на маленькой станции Мериден, расположенной в 15 милях от фермы. Татиана Алексеевна была страшно огорчена моей ветхой одеждой и заметила, что на ногах у меня разные чулки, парных у меня тогда не было.

Я знала Татиану Алексеевну еще по Москве: она и ее друг Ксения Андреевна Родзянко – обе краснокрестовские сестры милосердия – любили приходить ко мне в Мерзляковский переулок, где была штаб-квартира Общества изучения творений Л. Н. Толстого, подготовившего первое Полное 92-томное издание сочинений моего отца. Я жила рядом с редакционной комнатой и, что было тогда редкостью, в квартире была горячая вода и ванна. Сестры приходили ко мне мыться.

А потом я потеряла сестер из виду, но вскоре узнала, что обе сестры арестованы за свои религиозные убеждения и сидят в тюрьме. Сначала они сидели на Лубянке, а потом были переведены в Иважский лагерь. Оттуда они были сосланы до окончания Гражданской войны в Сибирь, где они работали в деревнях во время эпидемии сыпного тифа. За эту работу крестьяне платили им продовольствием, приносили кур, яйца, молоко, масло. А в богатых сибирских лесах, на Илиме, куда они были сосланы, они собирали грибы и ягоды. Они жили там неплохо.

Я была в это время тоже арестована и осуждена по делу Тактического центра, по подозрению в участии в антисоветской деятельности, и просидела сначала на Лубянке, потом в Новоспасском лагере, и еще год была машинисткой на принудительной работе в советских учреждениях.

И вот, 18 лет спустя, Татиана Шауфус приехала ко мне на ферму!

Американский Красный Крест пригласил ее в США из Чехословакии, где она и Ксения Андреевна Родзянко работали в Комитете помощи беженцам, под руководством дочери президента Масарика, Алисы Масарик.

– Что ты делаешь в этой глуши? – спросила меня Татиана Алексеевна. – Навоз чистишь в своих курятниках?

– Да, – отвечала я, – кормлю кур, неумело дою коров и в свободное время кое-что пишу, тоже неумело, но я довольна своей судьбой.

Здесь впервые, на моей ферме, после долгих разговоров, у нас родилась мысль создать Комитет помощи беженцам. Но как? Кто поможет? Откуда взять средства? Денег ни у Татианы Алексеевны, ни у меня не было.

Случайно мы встретились с Елизаветой Витальевной Алексеевой, секретарем Детского общества. Она очень сочувственно отнеслась к мысли о создании комитета, который занимался бы всеми русскими, нуждающимися в помощи.

Е. В. Алексеева, чтобы нам посодействовать, предложила нашему обществу, как подотделу, войти в Детское общество. Несмотря на то, что мы очень сочувствовали Детскому обществу, мы отказались. Цели и задачи Толстовского фонда были гораздо шире, чем у Детского общества.

В 1939 году ранней весной, на квартире последнего русского посла[89], Бориса Александровича Бахметьева, было созвано первое организационное собрание в составе Б. А. Бахметьева, Б. В. Сергиевского, С. В. Рахманинова, графини С. В. Паниной, друга бывшего президента Хувера д-ра Кодтона, профессора М. А. Ростовцева, присяжного поверенного Гревса, Т. А. Шауфус и меня.

В память моего отца, Л. Н. Толстого, решено было назвать комитет Толстовским фондом, и он был зарегистрирован в нью-йоркском штате 15 апреля 1939 года. В моей жизни начался новый, очень важный этап.

На этом я заканчиваю эту часть своих воспоминаний. История Толстовского фонда – обширная и отдельная тема.

---

[89] Б. А. Бахметьев был последним послом царской России в США.

Содержание

Александра Львовна Толстая

Дочь

12+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru